Анатолий Пинский — пять декад

Москва
Издательский дом ГУ ВШЭ

2008

УДК 37.013(081)
ББК 74я44
А64

Составитель *М. Пинская*

А64 **Анатолий Пинский – пять декад** / сост. М. Пинская. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 411, [1] с. : ил. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7598-0588-5 (в пер.).

УДК 37.013(081)
ББК 77я44

ISBN 978-5-7598-0588-5

© Пинская М.А., 2008
© Оформление. Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008

Посвящается
Ане и Зое Пинским,
решившим,
что надо делать книгу
о папе.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Эта книга написана Толей и близкими ему людьми. В первой части собраны тексты, которые в той или иной степени являются автобиографическими. Во второй части – устные рассказы и письменные воспоминания тех, с кем он был тесно связан в разные периоды своей жизни.

Кто-то из поделившихся своими воспоминаниями знал Толю на протяжении чуть ли не всей жизни, кто-то познакомился с ним тридцать лет, а кто-то три года назад. Но почти все, рассказывая о нем, смотрели на его жизнь в целом, стараясь ее охватить и осмыслить. Поэтому порядок расположения этих текстов определен не их содержанием и тематикой, а простой хронологией – тем, когда автор воспоминаний встретился с Толей. В большинстве случаев с этого момента и начинается рассказ[1].

В приложении размещены два больших текста: первая сохранившаяся Толина работа – «Игра (критико-философский

[1] На пятидесятилетии Толи 19 июня 2006 г. возник подобный вопрос – о порядке выступлений. Ефим Рачевский, бывший на юбилее тамадой, решил его так: начнет тот, кто познакомился с Толей раньше всех. (Здесь и далее примечания составителя.)

анализ)», датированная 1984 г., и последняя – «Автоинтеграция. Опыт современной постановки еврейского вопроса», написанная и опубликованная в 2006 г. Помимо них в приложение включены материалы «Хоббитиздата» – Толины переводы стихов Р.Толкиена, объединенные им в сборник в 1987 г.

Я хочу выразить свою огромную благодарность Жене Кнорре и Жене Штейнеру, сохранившим старые Толины работы, представленные в приложении, — доклад об игре и переводы из Толкиена. А также Александру Михайловичу Юркевичу, передавшему мне единственный в прямом смысле автобиографический текст Толи – «Третья декада», о существовании которого ни я, ни остальные друзья не знали. Заглавие этих автобиографических описаний и размышлений определило деление книги на разделы и ее название.

Я также бесконечно признательна за добрый совет, поддержку и помощь в сборе материалов, подготовке и публикации книги Володе Загвоздкину, Володе Рокитянскому, Павлу Мейксону и Сергею Кравцову.

И, конечно, наша семья благодарит всех друзей, написавших эту книгу вместе с Толей.

В «Воспоминаниях о Щедровицком» Толя задал важный для себя вопрос: «Остается ли человек (не его мысли, скажем, а сам человек) в своих делах, в пресловутых продуктах и результатах своей деятельности?» И ответил: «Нет, не остается». Так в чем же остается человек? Сегодня могу ответить так: «В любви».

Часть 1

А.Пинский

Статьи, очерки, автобиографические тексты

АВТОБИОГРАФИЯ

Пинского Анатолия Аркадьевича

Я, Пинский Анатолий Аркадьевич, родился 19 июня 1956 г. в Москве. Отец — Пинский Аркадий Аронович (1922–1997) был преподавателем физики, доктором педагогических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии образования, академиком Российской академии профессионального образования. Мать — Дашевская Берта Ильинична, 1927 г. р., по специальности врач-стоматолог, в настоящее время зам. главного врача стоматологической поликлиники № 2 Гагаринского р-на Москвы[1].

В 1972 г. я закончил среднюю школу № 596 и поступил на физический факультет Московского государственного педагогического института (МГПИ). Окончил институт в 1977 г., получив специальность учителя физики. Работал учителем физики в 1976–1978 гг. в школах № 78 и № 179 г. Москвы. В 1978 г. поступил в очную аспирантуру НИИ содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР (АПН СССР). В конце 1981 г. закончил аспирантуру и поступил на работу в НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации (НИИ ТОиПО) АПН СССР. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Формирование представлений о границах применимости физических теорий».

[1] В 2003 г. Берта Ильинична скончалась.

Работал младшим, затем старшим научным сотрудником в НИИ ТОиПО АПН СССР и в НИИ управления и экономики образования АПН СССР. Был председателем Совета молодых ученых НИИ ТОиПО.

С 1984 г. стал членом Московского методологического кружка Г.П. Щедровицкого, что потом, в частности, дало мне возможность принимать активное участие в ряде больших организационно-деятельностных игр по образовательной тематике в конце 80-х годов, в период школьной реформы. Во второй половине 80-х годов занимался — наряду с плановой академической тематикой по профориентации и управлению образованием — также вопросами истории образования, сделав ряд соответствующих публикаций (о гимназическом образовании в России в XIX в., об учебной книге в России в XVIII в. и т.д.). Принимал участие в работе днепровского ВНИКа «Школа», участвовал в разработке новой концепции средней школы.

С 1989 г. областью моих интересов и практической деятельности стала вальдорфская педагогика, пути ее реализации в современных российских социальных и культурных условиях. В 1990 г. я перешел на работу в Российский открытый университет на должность руководителя Вальдорфского учительского

семинара. В 1991 г. стал соучредителем и председателем Московского центра вальдорфской педагогики. В 1992 г. Московский центр вальдорфской педагогики учредил Московскую свободную вальдорфскую школу, где я был назначен на должность исполнительного директора, оставаясь при этом председателем Центра вальдорфской педагогики.

Всего имею около 70 публикаций по различным темам образования, из них более 10 в зарубежных изданиях[2]. В 1996 г. опубликовал небольшую монографию «К новой парадигме в образовании». В 1997 г. вышла моя монография «Пайдейя». Как председатель Центра вальдорфской педагогики получил в 1994 г. грант и диплом Минобразования России и Фонда Сороса «Культурная инициатива» по номинации в конкурсе инновационных школ. Являюсь членом правления Ассоциации инновационных школ и центров, членом совета Международной ассоциации вальдорфской педагогики стран Средней и Восточной Европы.

С 1995–1996 гг. область моих интересов все больше расширялась на проблематику инновационных процессов в современной российской школе. В этой связи я принимал участие в разработке московского Положения об инновационных школах, выступил соредактором коллективной монографии «Инновационное движение в российской школе» (1997). С 1997 г. назначен руководителем Центра инновационного образования при Московском институте повышения квалификации работников образования.

В политических партиях не состоял и не состою.

Женат с 1980 г. Жена — Гиверц Марина Александровна[3], 1956 г.р., психолог по специальности, работает с 1992 г. учителем Московской свободной вальдорфской школы. Имею двух дочерей — Анну (1982 г.р.) и Зою (1984 г.р.).

25 июня 1997 г.

Подпись (А.А. Пинский)

Советник министра образования РФ (2001–2003 гг.), создатель московского ансамбля идишской песни «Дона» (2004 г.), в настоящее время (2005 г.) директор проектного образовательного центра Высшей школы экономики[4].

[2] Указано количество публикаций на 1997 г. К концу 2006 г. их число достигло почти 200.

[3] С 1997 г. — Пинская.

[4] Этот абзац взят из биографической статьи, написанной А. Пинским в 2005 г. для сборника «ММК в лицах» (М., 2006. Составитель М.С. Хромченко).

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ДЕКАДЫ: 1956—1976

Родители
•
Калининград
•
Москва
•
Отношения с отцом

Комментарием к этому периоду времени могут служить воспоминания Е. Степановой, С. Белкина, А. Клевцова, Е. Кукуева, Н.Кукуевой

А. Пинский

Воспоминания об отце, Аркадии Ароновиче Пинском[1]

(Фрагменты)[2]

1

Одно из самых первых моих воспоминаний об отце относится примерно к 1959 г., когда мне было около трех лет и мы с отцом пошли высаживать головки лука, проращенные нами дома в баночках, на нашу «делянку» во дворе дома, где мы жили по улице Пушечной (ныне Вали Котика) в Калининграде. Дом был немецкий, и, конечно, какие-то структуры, детали немецкой жизни прежнего Кенигсберга продолжали действовать в нашей жизни, в жизни советских калининградцев. В частности, к каждой квартире был во дворе отнесен небольшой участок земли, прямо под окнами квартиры; там росли вишни, яблони, и квартиранты иногда выращивали на своих маленьких «земельных наделах» лук, укроп, огурцы и тому подобную зелень.

Конечно, это все немаловажно. Например, в том отношении, что это был именно Калининград-Кенигсберг, и там прошло все мое детство, и там же прошли самые активные, творческие годы отца (по его же признанию). Почтительное отношение к немецкой культуре, Kultur, всегда присутствовало у отца, я это отчетливо помню. Он очень хорошо знал немецкий язык, всегда уважительно отзывался о немцах, во всех мелочах. Помню, мы как-то шли в детский сад, мне было года четыре, и я решил, срезая угол, пройти через травяной газон по диагонали, а не обогнуть его по прямому углу асфальтовой дорожки. Отец мне сказал, что это нехорошо, и я ему возразил: «Папа, ведь здесь (т.е. по газону) идти короче, и к тому же здесь уже протоптана дорожка». Он мне ответил, причем с горячим возмущением: «Это не немцы протоптали, это уже наши. Немцы траву не затаптывали, а ходили по асфальту, как люди».

[1] Москва, 2002.

[2] Печатается с сокращениями, названия глав опущены.

Итак, нечто немецкое. Я помню с детства, как звучали слова «Эйнштейн», «Планк», «Гейзенберг». Конечно, я их не понимал, но ощущал, что здесь, так сказать, вибрирует какой-то особый смысл. Кстати, тут присутствует не совсем простая вещь. Скажем, отец воевал против немцев (и это был Сталинград; отец был рядовым, в связи, таких выжило, вероятно, один на 10 или даже меньше); его младший брат Додик (Давид) погиб в начале войны, будучи призванным в армию; я не говорю о Холокосте, где немцы убили не одного нашего родственника, но тем не менее почему-то никакой ненависти, даже просто негативного чувства у отца по отношению к немцам я никогда не чувствовал. Словно для него было просто самоочевидным, что наци Третьего рейха, с одной стороны, и немцы из мира Гейзенберга, Рентгена, Ремарка, с другой стороны, суть абсолютно разные категории людей, просто разные народы, что ли, и их никак невозможно, даже мысленно, хоть как-то соотнести. Иногда я задумываюсь над этим феноменом до сих пор, и мне кажется, что здесь нет простых объяснений.

Каким-то неясным, но уверенным памятованием я вижу, что отец был тогда — во время высадки лука — очень бодр, активен, и это тоже важно. В нем практически никогда не было меланхолии, он почти всегда был по-

Родители вскоре после свадьбы

Берта Дашевская (до замужества) с сестрой Кларой

зитивен к жизни. Конечно, многое в жизни он не любил, мог гневаться — по отношению к очень многому и даже к «системному» в нашей жизни, например к всепроникающей советской власти, — но в целом, по характеру своему и как бы по корневой жизненной установке он был радостен, радушен. На панихиде кто-то нашел правильное слово — *незлобивость*.

Мое последнее воспоминание о нем приходится на 18 или 19 января 1997 г., за несколько дней до его ухода. Я тогда последний раз навестил его в больнице. Это 31-я больница на улице Лобачевского. Он лежал под капельницей, но был внешне весьма бодр, читал «Литературную газету» и говорил, что скоро его уже снимут с этой «виселицы» (т.е. с капельницы), а вот у его соседа по палате было пару дней назад совсем жуткое состояние. Прошло несколько дней. 23 января вечером мне позвонила мама и сказала, чтобы я срочно приезжал в больницу. Я примчался, меня встретила мать; конечно, я заметил по ней, что что-то произошло, но внутренне не мог еще, вероятно, «позволить себе догадаться». Потом медсестра сказала маме: «Ну пусть же он войдет в палату». Я вошел и увидел на кровати, под простыней, тело отца; лицо было еще открыто, глаза тоже открыты. На лице было выражение, которое я бессознательно попытался тогда удержать, запомнить. Это трудно, невозможно описать, но ближе всего к тому, что это было выражение мучительной боли — и одновременно удивления. Потом подошла медсестра и сказала мне: «Ну не надо… Он же почти не мучился. Так праведники умирают, легко». Потом она задернула простыню. Через некоторое время мы с мамой вышли из больницы, было очень холодно, я поймал на проспекте Вернадского машину, и когда мы сели, по магнитоле вдруг зазвучала одна из любимых его песен — Марк Бернес про журавлей: «…Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».

Мы с мамой приехали на родительскую квартиру. Потом пришла моя жена Марина с детьми Аней и Зоей. Через некоторое время я вспомнил, что на нашей квартире, на Ленинском проспекте (где я тогда жил с женой и дочками) у меня лежит его конверт, заклеенный, который он мне дал несколько лет назад, когда у него был инфаркт. На конверте было написано «Толе. Вскрыть после моей смерти». Я почувствовал, что должен немедленно прочесть, что там написано; сказал домашним, что надо отъехать и скоро вернусь. Я приехал к себе домой, вскрыл конверт, и там на маленьком листке было записано, по восьми пунктам, его завещание, составленное еще в 1991 г. Он просил тело его кремировать и прах захоронить в Калининграде, рядом с могилой его мамы. Просил сообщить ученикам о его смерти (был приложен список его аспирантов и соискателей). Также он просил дать хорошее образование внучкам и постараться, чтобы были переизданы его книги. Завещание заканчивалось фразой, которая — даже с учетом моего тогдашнего состояния — меня потрясла. (Дело в том, что отец всю свою жизнь, сколько я помню, был очень последовательным фи-

зиком — по профессии, интересу и по мировоззрению, а также очень убежденным атеистом.) Последней строкой в завещании было написано: In God we trust.

2

В конце 1955 г. он женился на моей маме, Дашевской Берте Ильиничне, я появился на свет летом 1956 г. Мало кто знает, даже из моих домашних, что и эта ситуация, казалось бы исключительно радостная (все же — рождение сына-первенца), чуть не стала абсолютно трагичной (я уже не говорю о своей маме). Вот отрывок из сохранившейся записки мамы из роддома:

«Аркадий, милый, послушай: роды прошли ужасно сложно. В течение 3 дней не могла разродиться; а когда наступил момент родов, который был

Аркадий Аронович с Толей, 1956–1957 гг.

Толя, 1957—1958 гг.

вызван искусственно, то ребенок потерял сердцебиение — меня предупредили о том, что ребенок будет мертвый. Я заявила: ценой моей жизни спасайте ребенка. Были приняты срочные меры, и через некоторое время оживили ребенка. Вес — 2850 г, размер — 49 см. На головке родовая опухоль, через некоторое время пройдет. <…>

После того как спасли малыша, я потеряла сознание, около 1 литра крови, и весь медперсонал был мобилизован на спасение моей жизни.

Под наркозом мне вновь открыли матку, и оказалось, что остались части последа. После отхождения наркоза мне влили 700 г крови. К утру я ожила. Как выразился гл. врач — “спасли двух умирающих”. Думаю, что все будет благополучно. Об этом не говори у меня дома и товарищам».

Все обошлось в конечном итоге. Отец был невероятно рад моему рождению. Он стал жить на два дома — со своей мамой на Калибровской и в доме жены, моей мамы, это была подмосковная деревня Головино (сейчас — район метро «Водный стадион»).

В Головине у моего деда — отец моей мамы Илья Маркович — был деревянный домик, весьма бедный.

Там еще жил брат мамы, дядя Миша, и я, еще младенец. Отец говорил, что когда он писал диссертацию, зимой на веранде (комнаты для этого свободной не было), то вечерами и ночами у него в чернильнице замерзали чернила. Он их как-то отогревал и продолжал писать.

В 1957 г. вышла его первая публикация — статья «Содержание темы “Переменный ток” и методика ее изложения» (журнал «Физика в школе», 1957, № 3). В конце 57-го он завершил диссертацию, в 58-м успешно защитил, но тут вдруг возникли тяжелые проблемы. Диссертацию не утверждала ВАК. Дело в том, что у отца появился очень влиятельный недоброжелатель, некий Ноздрев. Точнее говоря, насколько я понял потом, Ноздрев исходно имел конфликт с научным руководителем отца Леонидом Исааковичем Резниковым и, как это было тогда нередко, «отыгрывался» в том числе и на аспирантах научного руководителя. Более подробно историю с диссертацией см. ниже.

Забегая вперед, лишь скажу, что ситуация эта была очень тяжела, она длилась шесть с лишним лет. Помню, когда мне было уже лет 5–7, я слышал какие-то обрывки резких разговоров между родителями на эти темы (хотя, конечно, ничего толком не понимал). Но это уже было в Калининграде.

3

В Калининград отец попал примерно так. Друзья и коллеги в Москве ему ясно дали понять, что история с диссертацией вряд ли

разрешится быстро. Без степени трудно было рассчитывать на нормальную работу. А ему было 35 лет, и, конечно, он искал свой путь — в жизни, в науке. И вот кто-то ему сказал, что в Калининграде собираются создавать Институт рыбной промышленности и что там можно устроиться. И тот фактор, что у него уже защищена диссертация (пусть и не утверждена еще ВАК), может для Калининграда оказаться весомым. Потому что практически никто из «солидных» людей в этот непонятный и полуразрушенный город ехать не хочет. А самое важное — в Калининграде, если устроишься, можно получить без проблем квартиру, они тогда еще были не все «разобраны». Это был 1958 г.

Отец пошел к какому-то важному лицу в Министерство рыбной промышленности, и там ему сказали, что «если поедешь, выпишешься из Москвы и пропишешься там — проблем не будет». Более того, отцу обещали дать доцента и, весьма вероятно, затем заведование кафедрой физики. И квартиру.

Мама моя вроде не совсем хотела ехать, она всю жизнь мечтала попасть в Москву. (В скобках замечу, что моя мама совершила нечто невероятное — она прожила в Калининграде с 1959 по 1971 год с мужем и ребенком, не прописываясь, т.е. не потеряв московской прописки. В те-то годы! И именно поэтому мы потом без проблем могли вернуться в Москву.) Но вариантов не было, отец поехал с моей бабушкой.

Отец рассказывал, что он получил квартиру в течение трех часов. Это было как чудо. Он пришел к ректору, написал заявление, потом в отдел кадров — а в институт вроде уже было сообщено из Москвы по его вопросу, согласовано с ректором, потом ректор его послал к завхозу, завхоз дал ему ключи и написал на бумажке адрес. Отец доехал с бабушкой до квартиры, открыл дверь, они туда вошли. Это были две маленькие смежные комнаты, с печным отоплением, но это была отдельная квартира! Бабушка спросила: «Неужели это наша квартира? Может, тебя разыгрывают?» Отец ответил: «Да, мы здесь будем жить и Толика с Бертой привезем». Тогда бабушка заплакала и сказала: «Ничего лучшего не надо. Тогда я здесь и умру». Так оно и вышло, она прожила в этой квартире с нами еще 4 года и скончалась в 1962 г.

Через некоторое время приехала моя мама со мной. Кажется, это было начало 1959 г. По моим воспоминаниям, у нас была чудесная жизнь.

Мне очень нравился Калининград, папе тоже. Он очень энергично, с удовольствием работал на кафедре, фактически строил ее с нуля.

Его институт сначала назывался Калининградский рыбвтуз (Институт рыбной промышленности), а потом был переименован в КТИ — Калининградский технический институт.

4

Теперь скажу несколько слов о том, как мы тогда жили, каким я запомнил папу в тот период. Он со мной проводил очень много времени. И это важно, хотя, казалось бы, тривиально; попытаюсь что-то рассказать.

Но сначала один случай. Когда мне было года три или даже еще не исполнилось три, он взял меня к себе на работу, на кафедру. Там в то время постоянно велись самые разные работы — что-то ремонтировалось, где-то шкробили стены, прокладывались электросети и т.п. Я очень любил заниматься следующим: отец зажимал мне в тисках большой гвоздь или кусок стального прута, а я его опиливал напильником, «затачивал». Так вот, я попилил свой гвоздь, пальцы у меня оказались в стальной крошке, «пыли», а потом я полез что-то исследовать в помещении. Я нашел какие-то провода, которые меня, видимо, весьма заинтересовали, и взялся за них руками. И здесь — это оказалось вообще моим первым сознательным воспоминанием в жизни — меня жутко затрясло. Оказалось, что там прокладывали силовую линию (наверное, электрики куда-то отошли, не закончив работу или, по крайней мере, не заизолировав провод), и я схватился руками за оголенный провод. Меня заколотило, я не мог разомкнуть пальцев и оторваться от провода. По счастью, в этот момент в лаборатории находился ассистент папы, Вадим Алексеевич Тихонов (он жив и посейчас, по-прежнему живет в Калининграде). Он мгновенно все понял, схватил

Толя, 1957—1958 гг.

какую-то большую тряпку или полотенце и, сильно толкнув, фактически ударив меня, оторвал от провода. Получается, я лишь на секунду—другую был в сознании — это и оказалось моим первым жизненным воспоминанием, я и сейчас могу восстановить в памяти ту картину, — а потом сразу потерял сознание.

Поскольку мои пальцы были в металлической крошке от пиления гвоздя, там все жутко раскалилось, кость на правом указательном пальце, видимо, расплавилась, и с той поры мой палец так и остался искривленным. Потом специалисты из института, проживавшие в нашем доме (например, известный и авторитетный профессор Архангородский), говорили моей маме, что «по всем законам физики» я на 100% должен был погибнуть, ибо это была силовая линия, а я схватился за провод обеими руками, т.е. ток проходил через все тело, через сердце. Получается, меня непонятным образом спасла судьба, да еще Вадим Тихонов.

Меня доставили в больницу. Отец рассказывал, что ему вскоре после этого позвонила на работу мама и спросила: «Ну, как там Толик?». Он ответил (вероятно, долго подбирая слова и представляя себе ее реакцию): «Не беспокойся, он жив». Дальнейшее легко представить. Он говорил: «Я думал, она меня просто убьет». Но, в общем, обошлось.

Итак, мои первые воспоминания (будь то данный случай либо кратко упомянутая мною в самом начале «высадка лука») все время связаны с какой-то ситуацией, когда мы были вместе с папой. И это, по сути, главный мотив этих моих воспоминаний детства. Он очень много работал — и в институте, и писал что-то все время, потом он стал еще работать по совместительству в городском пединституте, — но постоянно находил возможность вместе со мной проводить время.

Берта Ильинична с Толей, 1956–1957 гг.

Мы много гуляли вместе с ним, он катал меня на лодке на озере (учил меня грести, «табанить», вести весло «ласточкой»), потом он учил меня кататься на коньках; на роликах — тоже, хотя на роликах мы катались редко. Как-то он учил меня играть в городки.

Мы шли, например, из детского сада и учили вслух таблицу умножения. Он вообще очень много мне рассказывал, любил рассказывать сыну.

Он был прекрасный рассказчик, потом, через четверть века, он все время что-то интересное рассказывал внучкам, и они ужасно любили его слушать, все время просили: «Деда, расскажи сказку (или: “про Ваню и Петю”, “про войну” и т.п.)».

И что важно — он это делал не по причине педагогической целесообразности, не потому что понимал, что «это надо», а просто так; у него это общение и беседы получались сами собой. И мне всегда было очень интересно. И, как я понимаю сейчас, ему это тоже было всегда интересно.

Как-то, когда я был в первом классе, кажется, он начертил мне на листке три пары треугольников и изложил признаки равенства треугольников: по двум сторонам и углу между ними, по двум углам и стороне между ними и по трем сторонам. Он сказал: в любом из этих трех случаев треугольники равны. Я спросил его: «Ну и что? Зачем это?» Он сказал: «Если выучить эти три признака, то потом можно доказывать много важных теорем про треугольники». И я это сразу усвоил, равно как и множество других подоб-

Слева дед Толи Илья Маркович, далее Берта, Клара и Михаил Дашевские. Дети – Лена (дочь Клары) и Толик Пинский

ных знаний, которыми он со мной делился. Мне нравилось у него учиться, он был отличным педагогом — и на работе, и в быту.

На панихиде папы его коллега и друг профессор Василий Григорьевич Разумовский сказал: «Самым большим, самым любимым делом Аркадия Ароновича было *познавать и делиться своими знаниями*. Он был педагогом от природы, это была его страсть, это была его любовь». Это действительно так.

В 1962 г. умерла бабушка. Отец жутко горевал, он ее очень сильно любил, исключительно.

Примерно в этом же году мы переехали в новую квартиру, в центр города на проспект Мира, около гостиницы «Москва» и напротив зоопарка — в дом, который был отдан институту. Там тоже было две смежных комнаты, но они были много больше плюс к тому было центральное отопление. Отец не должен был делать то, чем он занимался всю жизнь, — топить печку. Он был очень рад.

Вообще я всегда помню его в те годы в бодром, живом настроении. В нем вовсе не было того, что можно назвать меланхолией. И, как я понимаю, некоторые люди считали его, в этом плане, несколько наивным, немножко ребенком. Конечно, у него в те годы было всегда немало проблем, горя даже, — одна история с диссертацией чего стоит.

Толя, 60–61 гг.

Толя с отцом на первомайской демонстрации. Начало 60-х

Бывали и проблемы, связанные с какими-то идеологическими мероприятиями по институту; например, он как-то очень наивно и «неправильно» выступил на каком-то межкафедральном философском семинаре по общим проблемам кибернетики, к маме пришли доброхоты и сказали, что у «Аркадия могут быть большие неприятности по партийной части». Но он никогда не давал мне повода даже заметить что-то неладное.

Компартию, надо сказать, он весьма не любил. Равно как и всю «систему». Видимо, XX съезд с разоблачением культа Сталина для него лег в совершенно подготовленную почву. Когда я учился в первом или втором классе — уже тогда — он мне рассказывал, какой «сволочью» был Сталин и сколько людей он замучил. Помню, я как-то прибежал в школу и стал в классе кричать: «Сталин — дурак!». Я полагаю, что учительница меня не совсем внутренне поддержала, но в 63-м году за это детей уже не наказывали. Примерно тогда же я его как-то спросил: «Папа, а почему ты не вступаешь в партию?» Он мне совершенно серьезно ответил: «Понимаешь, если ты не член партии, то жить еще можно. Но если ты стал партийным, а потом оказался вынужден что-то сказать или сделать, за что тебя исключат из партии, то тогда будет совсем плохо». Я это очень хорошо запомнил.

Папа учил меня играть в шахматы. Помню, сначала он все время меня побивал в королевском гамбите. Но довольно быстро, за два—три года, я стал играть лучше его, потом пошел в шахматную секцию и немного преуспел на поприще юношеских шахмат.

То же самое — преферанс. Отец научил меня играть лет в 10. Мать сердилась: «Зачем мальчику карты?» Отец отвечал: «Все равно будет играть в карты. Лучше тогда я его научу, чем кто-то еще». Я освоил преферанс тоже довольно быстро и тоже через пару лет уже стал обыгрывать папу в игре «с болваном», т.е. вдвоем.

Мы часто ходили с ним в кино. И в Калининграде, и особенно в летние каникулы, когда были на выезде. Он любил обсуждать со мной фильмы, всегда объяснял мне то, что я не понял. Точно так же он любил обсуждать со мной прочитанные мною книги. Он записал меня в институтскую большую библиотеку, я читал книги штабелями — весь Жюль Верн, Джек Лондон, Майн Рид. Лет в семь я прочел роман Джованьоли «Спартак»; я все спрашивал: «Папа, а почему Мирца, хотя и любила Арторикса, но не хотела выйти за него замуж?» Он мне отвечал, секунду подумав: «Ну, Толик… Ты лучше про сражения читай».

Он любил петь. Помню, еще в детсадовском возрасте или в первых классах школы мы идем вдвоем домой или гуляем, и когда исчерпываются «содержательные темы» бесед (будь то про физику, Сталина или про войну), он начинает петь. Я так запомнил много песен — военных, отрывков из оперетт, песен Утесова, Шульженко, Изабеллы Юрьевой, Лещенко

и т.д. Пел он хорошо, как все Пинские и Белкины. Бабушка тоже любила петь и пела тоже очень хорошо. А вот у моей мамы совсем не было слуха. Вероятно, по этой «генной» причине я так и не научился петь столь же чисто, как папа.

Когда я все это вспоминаю и размышляю над этим, то очень хорошо осознаю: на 90% все, что я знаю, умею и вообще внутренне имею, — это от него. И знания, и пение, и шахматы, и политические ценности, и вообще мышление — все.

Но было несколько вещей, касательно которых я уже тогда понял, что с ним говорить не надо. От некоторых тем он как бы внутренне уклонялся. Одна из них была связана со смертью. Года в четыре я вдруг понял, что все люди умирают и что я тоже когда-то умру. Я никак не мог справиться с этим открытием, я пытался мыслительно охватить саму суть и идею смерти, и у меня ничего не получалось. Как-то вечером, засыпая в одной комнате с бабушкой, я устроил почти истерику. Я просил, чтобы бабушка мне что-то здесь объяснила. Она меня стала утешать, я помню ее аргументацию до сих пор и почти дословно. Она говорила: «Но это произойдет, Толик, еще очень нескоро. Ты еще будешь долго учиться в школе, потом станешь студентом, потом будешь работать, и у тебя будет своя семья…» Все это, однако, меня никак не успокаивало, но с отцом я почему-то так и не заговорил об этой проблеме.

Потом мне сквозь сон несколько раз виделась одна и та же картина: словно из черно-синей тьмы выплывает какая-то крупная желтая фигура, серебристая или желтоватая, с живыми большими глазами, пристально на меня смотрящими. Я не мог понять и даже не мог назвать этот образ, и лишь через несколько лет, начав читать разные книги по истории, я понял, что это была фигура сфинкса. Но об этом я тоже с папой не говорил, не знаю почему.

Другая тема, которую он, как я чувствовал, старается обходить, — это еврейство. Иногда они с моей мамой и с бабушкой пробрасывали в беседе какие-то странные слова — «дер клейнер», «эриф», «мишугинер» — то был, конечно, идиш, но меня, так сказать, к этому дискурсу не подключали. Ребята у нас, еще в детском саду, кричали: «Жид-жид, по веревочке бежит, а веревка лопнула и жида прихлопнула!» Я спрашивал папу, что это такое, но он отвечал всегда как-то общо и абстрактно, уклончиво — ну, скажем, «не слушай дураков» или «они просто болтают» и т.п. Я чувствовал, что здесь есть какой-то секрет, причем непосредственно связанный со мной, но не мог его понять и даже толком поставить вопрос.

Скажем, когда я учился классе в первом или втором, отец как-то обмолвился в том смысле, что Эйнштейн был евреем. Помню, у меня на языке вертелся вопрос: «А мы тоже евреи?» — но я так и не спросил. А потом я случайно увидел в классном журнале, на последних его страницах, где

вписывались данные о школьниках и их семьях, против своей фамилии в графе «национальность» было написано «еврей». И, я заметил, то же самое слово было написано против фамилии Бори Гомельского. И я понял — «Ага, так оно и есть! Но папа мне об этом почему-то не говорит».

Замечу, что эта тема подступала ко мне и в совершенно явном виде, с другой стороны, от дедушки по маме. Мой дед, Илья Маркович, проживавший в подмосковном Головине (и я там, конечно же, очень часто бывал, порой подолгу), был верующим евреем. Он ежедневно молился, надевая тфиллин, филактерии, что-то читая на непонятном мне языке по совсем старым книгам, желтым и пожухлым. По субботам он куда-то собирался, говорил мне: «Я иду в синагогу». Я заглядывал в его книги и видел там совсем странные буквы. Я спрашивал отца: «Что делает деда?» Отец отвечал: «Ну, старый человек, он молится. Все старики молятся». В смысле — ничего особенного.

5

В четвертом классе я как-то заболел на несколько недель. Отец купил мне учебники пятого класса, и я их все прочитал, от начала до конца — русский язык, математику, историю и ботанику. Английским я уже занимался с одной его знакомой, Эльзой Михайловной, она была преподавателем в его институте. И вот отец меня поспрашивал по разным учебникам и сказал матери: «Толик освоил всю программу 5-го класса. Если в следующем году он пойдет в 5-й класс, то ему там нечего будет делать, он будет бездельничать». И он пошел в РОНО, договорился, чтобы у меня приняли экзамены за курс 5-го класса. Я их успешно сдал, и меня перевели из 4-го класса сразу в 6-й.

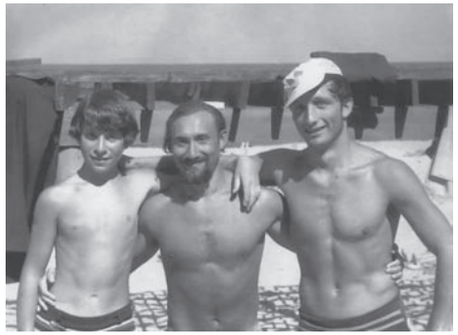
Лет в одиннадцать, как раз зимой 6-го класса, я попал — пока что единственный раз в своей жизни — в больницу с пневмонией. Отец мне принес учебники, сказал, что надо учить. Но потом, когда он через пару недель принес мне из школы задание по новой теме из математики — пропорциональная зависимость, — то я обнаружил, что не могу справиться с задачами. Он мне все быстро разъяснил, и я все понял. Эта ситуация повторялась много раз: и когда я готовился, например, к выпускным экзаменам в школе, и к вступительным в вузе, и когда я сдавал экзамены на разных курсах института. Нередко я по полгода лоботрясничал, особенно в студенческие годы, и мы садились за подготовку за 2–3 дня до экзамена. И отец мне четко «раскладывал» и разъяснял годичный курс — будь то любой раздел физики, матанализ, аналитическая геометрия, астрономия, электротехника и т.д., — и я все уверенно сдавал.

Потом, в середине 60-х годов, он познакомился с московским профессором Борисом Михайловичем Яворским. Они задумали написать солид-

ный учебник «Основы физики» (см. ниже). Отец с большим увлечением и очень много работал над этой книгой. Яворский часто с семьей стал приезжать на летний отпуск в Калининград, на курорт Светлогорск. Мы там вместе отдыхали.

Отец очень любил Светлогорск, называл его «райский уголок». Я тоже очень полюбил это прекрасное местечко и стал говорить, что «нам не нужны никакие Сочи или Крым». Летние месяцы в Светлогорске вместе с папой для меня до сих пор остаются поистине райским воспоминанием. И мне было очень радостно, что мои дети и жена успели в начале—середине 90-х годов несколько раз побывать вместе с ним летом в Светлогорске и что им тоже там понравилось.

Он хорошо плавал, очень любил море. Порой мы с ним гуляли по пляжу очень далеко, иногда ездили в отдаленные, уже совсем не курортные участки побережья, разводили костер из сухого плавника. Ездили на Куршскую косу, в Ниду. Один раз мы нашли на побережье какую-то полуразрушенную боевую башню метров 15–20 высотой, сумели подняться на самый верх по сохранившейся лестнице, там была площадка с окном-амбразурой для пулемета. Папа мне объяснил смысл системы подобных береговых башен. Мы временами гуляли по старым кенигсбергским фортам, паркам. Может, покажется странным, но я очень любил есть с ним в разных столовых, кафе. Вообще, все мои воспоминания того периода — примерно от 59-го



Светлогорск. Слева – Толя. Рядом с ним Фима Кукуев, 70–71 гг.

Там же. Слева – жена Яворского Ада Рафаиловна. Справа – Роза Савельевна Клевцова. Рядом с ней – дочь Яворского Люся и дочь Розы Савельевны – Лена. Внизу – Толик с боксером Бэком, 60-е гг.

года до начала 70-х — это воспоминания, все время сопряженные с ним, с его образом и его присутствием. Словно меня все время окружала его «аура», и это нечто, окружающее меня, было наполнено радостью, смыслом, мышлением, любовью, интересом, светом. Главное, наверное, — это его любовь ко мне, я был все время словно внутри некоего «тела любви». И это не исчезло, не ушло и не растворилось и по сию пору.

6

Примерно в это время[3] у папы разыгрался жуткий радикулит. Он ходил буквально согнутый, с палочкой, не мог спать на кровати, спал на полу на специальной доске. Иногда у него бывали совсем жуткие боли. Врачи сказали, что это так называемый дискоз. Они не были уверены, что в таком состоянии можно, например, ездить в поезде.

Однако как раз в этот период, с другой стороны, сложились довольно благоприятные обстоятельства по вопросу места работы в Москве. Конечно, это было непростой вещью, но именно тогда московские друзья папы — на-

Светлогорск

Там же. Толя с Нелей и Фимой Кукуевыми, 70–71 гг.

[3] Толя говорит о лете 1971 г.

сколько я понимаю, в первую очередь Яворский и Шахмаев — приложили некоторые усилия и потом сообщили: «Приезжай, место есть».

И мы поехали. Это был сентябрь 1971 г. Я помню, что отцу было жутко трудно с его радикулитом. Временами боли были прямо взрывные, его всего перекашивало. Но он справился.

Мы поселились у дяди Миши в двухкомнатной хрущевке. Отец по-прежнему спал на полу. Он начал работать в НИИ СиМО Академии педнаук (Институт содержания и методов обучения), как раз там, где он раньше был аспирантом и писал свою диссертацию. Мы жили втроем в одной комнатке, метров на 15. В другой комнате — дядя Миша. Но благодаря деньгам, скопленным в Калининграде и вырученным за гонорары к папиным книгам, мы смогли встать на очередь в кооператив у метро «Юго-Западная», самый конец проспекта Вернадского.

Я поступил в школу, в выпускной 11-й класс. Потом наступил 72-й год, надо было поступать в институт. Тут надо вспомнить одну небольшую историю. Надо сказать, уже с подросткового возраста я все время внутренне сопротивлялся тому, чтобы делать карьеру по его направлению (физика). Был один разговор, который со мной провели папа и профессор Яворский, когда мне было лет 13, это было в Светлогорске. Они мне сказали, в какой институт я должен буду поступать, как я потом должен идти в аспирантуру (все — по физике), кто у меня будет научный руководитель, какие я должен буду освоить учебные курсы (Фейнман и т.п.) и даже какие прорешать задачники и т.д. Я был шокирован, я думал: «Почему вы уже так предопределили всю мою жизнь?!» Мне было мало дела до того, что папа это делает из лучших побуждений.

Так вот, зимой 71-го отец мне сказал: «Ты еврей, мехмат или физтех тебе не светит. Надо идти на физфак в Ленинский пединститут. Там работают Малов, Яворский, Каменецкий. В случае чего они помогут, да и какая-то линия может возникнуть». Самуил Ефимович Каменецкий был деканом, он, замечу, был в середине 50-х вместе с папой аспирантом и как раз познакомил отца с моей будущей мамой, которая была институтской подругой его жены Муси. Про Яворского я уже упоминал. Николай Николаевич Малов был профессором кафедры общей физики, удивительным человеком, отец его называл «истинный русский интеллигент», да так оно и было.

Он был еще известен как довольно авторитетный пушкинист; его жена Татьяна Федоровна была из княжеского рода Головиных, которые восходили, как я потом выяснил, аж к роду византийских императоров Комнинов, т.е. фактически была «потомицей» цезарей. Малов выступал для папы в качестве некоего живого образчика ученого и интеллигента, отец очень любил бывать у него в гостях, на улице Остужева. Я тоже успел познакомиться с этим чудесным человеком, за что могу лишь благодарить судьбу.

Итак, было лето 72-го, жуткая жара, под Москвой горел торф, и всюду стлалась дымка, я готовился к вступительным экзаменам и потом без проблем поступил на физфак МГПИ.

7

Я не могу не рассказать об одной довольно непростой линии наших взаимоотношений в тот период, в мои институтские и послеинститутские годы. Я поступил в институт, как уже говорил, в 72-м году. Учился я внешне успешно, хотя не прикладывал таких уж значительных усилий. И, конечно, не без греха — то лекции прогуливал, то осваивал джентльменский набор «вино–карты–девушки». Но все же все больше и больше, хотя и очень медленно, во мне зрело, что «это — не мое».

Примерно в 18–19 лет у меня был один очень долгий разговор с одним студентом (очень способный парень; потом он стал православным священником, продвинулся в Отделе внешних сношений патриархии, был чуть ли не референтом патриарха). Он мне долго рассказывал о теме смерти у Достоевского. Передо мной раскрылся целый новый мир, сейчас я бы сказал — мир *гуманитарного знания*. Я пришел домой и что-то стал торопливо пересказывать отцу; но у него это не вызвало интереса, я не почувствовал никакого резонанса.

Я стал много читать русскую классическую литературу. Потом начал читать по психоанализу, йоге, философии. Он ко всему относился добро-

Толины родители и семья Маловых. Жена профессора Малова держит тойтерьера Дэзи. Москва, начало 70-х

Незадолго до переезда в Москву. Слева от Толи — Роза Клевцова, справа — мама, 1971 г.

желательно, но я явно видел, что он считает все это несерьезным. Скажем, Достоевского он не любил (как писателя, а не из-за антисемитизма Федора Михайловича); религиозные произведения Леонида Андреева просто не воспринимал. Я постепенно все дальше духовно отдалялся от него. Мы временами спорили о религии; но он держал себя как абсолютный атеист.

Учился я неровно. Три—четыре месяца ничего не делаю, потом мы с ним садимся заниматься перед экзаменом, он мне все объясняет за 2–3 дня, и я получаю хорошую оценку. То есть он мне вполне весомо в этом отношении помогал.

По окончании института (1977) я работал два года учителем физики, потом у меня нашли в горле доброкачественную опухоль и запретили работать учителем. Встал вопрос о работе. Мне предложили поступить в аспирантуру, в тот НИИ, где работал папа. Я не очень этого хотел, но делать было нечего. Я выбрал тему диссертации с философским акцентом «Изучение границ применимости физических теорий» (это было даже чуть-чуть вызывающе). Моим руководителем стал Евгений Дмитриевич Щукин, хороший знакомый отца, зав. кафедрой коллоидной химии МГУ и член-корр. Академии педагогических наук.

Начались частые и энергичные обсуждения и споры по вопросам, связанным с темой моей диссертации. Для папы всегда речь шла о том, как одна физическая теория ограничивается и уточняется другой, более совершенной; меня же все время тянуло к вопросу об ограниченности физического знания в целом. Для него же «за» физикой ничего не было (если говорить точно по Аристотелю — «метафизика», «то, что за физикой», — то ничего такого для него не существовало).

Кончилась аспирантура в 82-м, я успешно защитился в начале 83-го. Конечно, для отца это была очень большая радость (теперь-то я это понимаю, сравнить хотя бы всю изложенную выше историю про его кандидатскую диссертацию).

Однако меня не оставили на работе в этом же институте — то ли «семейственность», то ли что-то еще, не знаю. А я был уже женат на Марине, с 80-го. В 82-м году родилась наша первая дочь, Аня. Для родителей неопределенность с моей работой была очень печальной. Но я даже радовался; я думал: «И что, мне до седых волос ездить с ним вместе на работу?!» Меня устроили работать в какой-то другой институт, тоже в Академии образования, работа была бессодержательной, я этим очень тяготился, но у меня было много свободного времени. Я много читал по религии, философии, истории. В 84-м году родилась вторая дочь, Зоя. Но какой-то ясности с моей работой и дальнейшим путем все не было. Отец видел, что я недоволен имеющимся местом работы, но ничего не мог предложить; более того, он, наверное, чувствовал, что какой-либо из вариантов, возможных с его стороны, меня вряд ли увлечет.

В середине 80-х годов я сблизился с очень значительным человеком, Георгием Петровичем Щедровицким (1929–1995); он был известный философ, создал свою философскую школу, Московский методологический кружок. Он имел тогда очень большой научно-философский авторитет, неформальный, ибо официальная наука все время его тормозила. Отец с уважением относился к тому, что я фактически стал учеником такого человека, хотя это мало что могло дать для быстрой карьеры. Кроме того, он — в концептуальном плане — продолжал скептически относиться к философии и ко всему, что не связано с позитивной физикой.

Наши споры становились порой все жарче и, к сожалению, порой все резче. Мне казалось, что мировоззренчески мы все дальше расходимся. Конечно, за всеми этими дискуссиями он все лучше чувствовал, что я не буду всецело заниматься физикой, и это его печалило. А чем будет тогда заниматься сын? Ответа не было.

Лет через пять после защиты диссертации, года через три после начала учения у Щедровицкого, примерно в 88-м году, я покинул его методологический кружок. У нас вышел весьма резкий конфликт, причины которого здесь нет нужды описывать. Но к тому времени кое-что стало меняться.

Во-первых, через последователей Щедровицкого и сочленов его кружка я вышел на те группы, которые по сути начали серьезную образовательную реформу конца 80-х (Эдуард Дмитриевич Днепров и его ВНИК).

Во-вторых, я познакомился с антропософией Штейнера, с вальдорфской педагогикой. Сначала я был ею полностью очарован. Много читал самого Штейнера, Гете, Андрея Белого. Мне показалось, что здесь лежит возможность некоей новой науки и новой педагогики. Зарубежные руководители вальдорфского движения (в первую очередь, немцы) меня приняли очень хорошо. Возникла возможность и чего-то практического — в смысле дела и карьеры, что ли. Равно как и в «днепровских» кругах.

И опять же все это было не очень близко папе. И тут произошло некое важное для меня и, наверное, для него событие.

8

В 1987 г. я с женой и детьми отдыхал летом в Пярну (Эстония). Папа в это же время отдыхал в Светлогорске. Я договорился с Мариной, что оставлю свое семейство и подъеду его навестить. Это было через 16 лет после нашего отъезда из Калининграда. Я бродил по городу в каком-то чудесном, удивительном полусне. Увидел все места своего детства, детский сад, школу, все новые детали из детства оживали внутри меня, без всяких усилий с моей стороны. Я увидел дикий виноград ровно на той стене на проспекте Мира, мимо которой я ходил в детский сад, только стена вдруг оказалась очень маленькой. Я нашел свой детский сад. По-

том посетил здание 10-й начальной школы, где я учился с 1-го по 4-й класс, потом зашел в 47-ю среднюю школу, где учился до 10-го. И вот, когда я пришел к дому нашей первой калининградской квартиры — улица Вали Котика, тогда она звалась Пушечная, — увидел все ее окружение (старый тополь у помойки, вишню на нашей «делянке» под окном, у которой мы сажали с папой лук, узкий коридор, ведущий с парадного хода подъезда в черный ход, где хранился наш уголь для печки, саму штукатурку подъездной стены), то в меня вдруг ударила невероятно сильная волна. Она затопила всю мою душу, словно живая субстанция моего детства ворвалась в душу; в меня вошли все реалии тех дней, но не как воспоминания, а как бы сами по себе, натурально. Воздух был очень теплым и неподвижным, он совсем застыл и пронизался светом. Вставали в сознании люди, обстоятельства, предметы, кусты, например вид брусчатой дороги, по которой я ходил за хлебом с бабушкой. Я не мог это вынести, расплакался, мне казалось: еще чуть-чуть и я умру или растаю в этом потоке детства и любви. В глазах все закружилось и потемнело, меня, вероятно, прошиб очень сильный пот и возникла какая-то судорога в ноге. Я отходил от этого долго, может быть, минут 20 или час, не помню.

И почему-то это было очень сильно и однозначно связано с образом папы.

Я вернулся потом к нему в Светлогорск, мы жили в пансионате, что около кафе «Березка» (теперь там бар «Казанова»). Дни, что мы провели тогда вместе, были каким-то реальным, вещественным раем. Мы жили в одном номере, вместе кушали — помню, нам как-то дали в «Березке» котлеты с рисом, и это была, вероятно, самая лучшая еда, что я когда-либо ел, — ходили на море, загорали, купались, разговаривали, ездили из Светлогорска в Калининград.

Между нами вдруг возник абсолютный контакт, абсолютная гармония, не было никакого диссонанса. Пять, шесть, восемь дней — и не было ни одной отрицательной эмоции, никакого беспокойства, напряжения, никакой щербинки в атмосфере. Мы поднимались с пляжа по дороге около кафе «Ветерок», и он мне тогда сказал: «В Калининграде прошли мои очень хорошие, самые творческие годы». Посетили могилу его мамы на старом калининградском кладбище; он обронил, словно между прочим и никак не акцентируя: «А вот здесь как раз есть место и для меня».

Вскоре после этого, в Москве, я был у него дома. Было еще тепло, солнечно, кажется, был сентябрь. И он мне стал вдруг рассказывать, как жили его родственники в начале века и после революции, рассказывал про своего отца и его братьев, про дядю Зусю. Я вышел от него, пошел к автобусу. Вдруг со мной произошло примерно то же, что и тогда в Калининграде. Словно какой-то сильнейший приступ. Я встал под сосной, что растет около проспекта Вернадского, у меня начались рыдания, прорвало, я не

мог успокоиться. И вдруг я вижу: вокруг меня встали эти души — дедушка Арон, дядя Зуся, дядя Хаим, и они говорили мне: «Толик, где ты? Кто ты?» Так я и стоял под этой сосной, долго, и никак не мог с этим совладать.

И еще раз, третий, со мной было нечто подобное. Наверное, через год. Это когда я, будучи один в квартире папы, как-то достал его альбомы со старыми фотографиями. Я видел много раз эти фотографии, с детства. Но сейчас вдруг как бы впервые увидел лица этих людей. Не знаю, могу ли я уверенно сказать, что ощутил их присутствие. Кажется, да. Все повторилось. Я не знаю, как это выразить и описать. После этих трех случаев я стал иначе на него смотреть, его воспринимать. Все шло обычно, в течение всех дальнейших лет мы обычным образом общались, дискутировали, порой встречались чуть ли не ежедневно (он очень любил заходить к внучкам), порой подолгу не виделись, но я теперь уже всегда ощущал: есть еще какая-то иная основа, *это* живет в тебе, папа, или в нас, или это всегда существует между нами. Что-то такое, откуда мы пришли, что нас окружает и куда мы вернемся, вернемся вместе с ним. И что, безусловно, все мои теории, философии, размышлизмы и т.п. гроша ломаного не стоят перед этим, ибо просто суть фикции. Я никогда ему не рассказывал об этом. Да и что рассказывать? И как?

Толя с отцом – Калининград, 1987 г.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА: 1976—1986

Послеинститутские годы
•
Го
•
Методология
•
Г.П. Щедровицкий

Комментарии к этому этапу —
О. Ковалевой и Н. Тепцова, Е. Кнорре,
С. Казачкова и П. Мейксона, А. Каспржака,
С. Межова, Е. Штейнера, С. Поливановой,
М. Хромченко, А. Юркевича

А. Пинский «Третья декада»

— Толя, скажите, что самое главное в жизни?
— Ну, много разных вещей важны, Георгий Петрович.
Что-то одно трудно назвать.
— Да ладно вам, это очень просто.
Самое главное — это попасть в хорошую компанию.

Из частной беседы

В 1977/78 учебном году я работал в 179-й школе, около Театра оперетты. У меня обнаружилась, уже за несколько лет до того, фиброма правой голосовой связки. Имела место некоторая неопределенность, особенно тяжелая для моей мамы: оперировать опухоль или нет? Она меня таскала по самым лучшим врачам-отоларингологам, в том числе и к гомеопату. Одни говорили, что это совсем пустяковая операция. Помню, мать привела меня к знаменитому профессору Волкову. Он чуть ли не правительство лечил по этой части. Он однозначно сказал: «Надо оперировать, я готов сделать операцию». Вроде большая удача, сам Волков оперирует. Но мать колебалась. «Скажите, — спросила она, — а можно что-то сделать кроме операции?» Он ответил: «Можно свечку Николе-угоднику поставить. А больше ничего». Мать, однако, согласия прямого не дала. Дело в том, что какие-то врачи ее предостерегали: «Так она сидит на связке и сидит, а тронешь ее ножом… Вдруг жить захочет и начнет расти?» В начале 1978 г. врачи сказали, что дальше с голосовой нагрузкой, т.е. в школе, мне работать нельзя. Впрочем, по поводу необходимости расстаться со школой я не расстраивался. Мне все смутно казалось, что в жизни должно быть что-то иное.

Я сейчас вспоминаю те годы, и в сознании в первую очередь оживают разные компании, группы, в которых я принимал участие, в которых проходила моя тогдашняя жизнь.

Сретенка (1977–1978)

В 1976 г. я в первый раз женился, на Галине Юрьевне Матвеевой, и тогда сложились некоторые контакты с кругом знакомых моей жены. Это были в основном женщины нашего возраста — Наталья Каган, Галя Штылякова, Алла Шестакова; они были подружки еще со школы, появлялись и другие дамочки. Были и мужчины, например Кирилл Некрасов, сын знаменитой поэтессы Ксении Некрасовой, которая задолго до того по-

кончила с собой. Также был Саша Каган, брат Натальи, очень особенный, чудесный человек (он был архитектор, работал по реставрации, потом сильно углубился в православие; в конце 80-х годов уехал в какой-то приход в Калининской области, жил там в деревенских условиях, реставрировал иконы; он покончил с собой около 1993 г.). Летом 1977 г. я развелся, однако мое общение с кругом этих людей только усилилось. Возможно, здесь реальную роль играли мотивы, так сказать, личного земного характера, все же мне был двадцать один год, и я стал холостяком. Впрочем, это сейчас не требуется детализировать. Алла Шестакова жила открытым домом в центре, на Сретенке, она отдалилась тогда от мужа (надо сказать, очень хороший человек; они потом вновь сошлись), была очень компанейским человеком, личностью весьма яркой. Жизнь была насыщенной, но, как я понимаю сейчас, мне там не хватало какого-то идеального — философского, скажем, или духовного — содержания. Краем уха я слышал, что какие-то знакомые Саши Кагана увлекаются Гурджиевым, сам я тогда пережил «период православия» (ходил в церковь, постился, но еще не был крещен; это во многом пришло от Александра Кожи — он учился в институте с Кириллом Некрасовым в одной группе, на курс старше меня; а в те годы он как раз поступил учиться в Загорскую лавру; мы с Некрасовым тогда, помню, зачитывались Флоренским). Но все же чего-то не хватало: я думаю, не хватало какой-то более или менее устойчивой компании с духовно-философскими интересами.

Толя в квартире Аллы Шестаковой.
Вторая половина 1970-х гг.

Толя в середине 1970-х гг.

Психолого-методологическое сообщество (1978–1980)

Я поступил в аспирантуру в ноябре 1978 г. Тему для диссертации я выбирал себе во многом сам; мой научный руководитель Евгений Дмитриевич Щукин в этом отношении был несколько либерален. Я выбрал тему с большим философским аспектом, связанную с проблемой границ применимости физических теорий. Мне хотелось чего-то такого... по большому счету... Я стал много читать по методологии науки. Конечно, мой отец мне мог бы легко задать все рамки и содержательные линии диссертации, но я тогда уже внутренне пытался противостоять его научным взглядам — они казались мне плоско-материалистическими, слишком физикалистскими; я чувствовал: ему все ясно; нет — что-то сопротивлялось во мне — это не то...

В этой ситуации я начал сближаться с Сергеем Казачковым и Пашей Мейксоном. Я учился с ними на одном курсе, но до этого времени наши контакты не были активны — просто мы были в добрых отношениях, не более. А теперь, в конце 1977—начале 1978 г., я ясно почувствовал тягу к полю их идей; мне виделось, что они несут в себе какую-то новую для меня культуру, новое мышление, интересные слова и понятия. Это стало простраивать для меня и некую линию диссертации; я буквально черпал у них аргументы для постоянных научных споров с отцом, подчас довольно жарких. Я приобрел некоторое отношение к классической философии, читал Гегеля, Аристотеля, Платона. Прочел книги по модной тогда нетрадиционной методологии науки: Томас Кун, потом немного Поппер и т.п.

Я вошел в компанию этих людей. Там были многие интересные персонажи. Паша жил тогда с Аллой Крупник, у нее были подруги с психоло-

Там же

гического факультета: Лена Михна, Марина Гиверц (она потом стала моей женой) и другие. Паша вечно дискутировал с дамами о психологии. Я нахватался слов «Выготский», «психоанализ», «Юнг», «психодрама» и т.п. В компании также был Леша Карташев, он меня научил, позже, играть в го. Мне было весьма приятно, что столь развитые и культурные люди меня так приветливо принимают.

Откуда задавалась мыслительная позиция ребят этого круга? Я узнал, что, так сказать, властителем их дум был Георгий Петрович Щедровицкий. Имеется в виду фактический властитель, на словах они могли его порой критиковать и не признавать, вечно с ним (про себя и между собой) полемизировать, даже на духовно-нравственном уровне, но это не меняет дела. Я его увидел первый раз задолго до того — меня привел на его открытый семинар Виталик Вартаньян году в 73–74-м; это было в большой аудитории Института педагогической психологии; я почти ничего не помню, только помню, как какой-то полный молодой человек произносил нечто очень быстро, причем каждое третье слово было «рефлексия».

Тогда, в конце 1978—начале 1979 г., у меня дома возникло нечто вроде еженедельного семинара, относительно регулярного. Участниками были: Паша Мейксон, Сергей Казачков, Виталик Вартаньян, Таня Стрижак, Марина и Алла Крупник, Лена Михна, Ира Рудакова, Леша Карташев, Леня Басс и я. Мы философировали, варили глинтвейн, пели под гитару. Дамы считали, что мы, а в особенности Паша, чрезмерно «методологизированы»; меня иногда шутливо ставили в пример как человека «более близкого к жизни». Я с удовольствием принимал эту роль; даже устроил праздник Сожжения рефлексии и сочинил песню под окуджавскую мелодию:

«Тихо, и грустно, и веет родным,// тени ложатся косые...// Над Юго-Западом стелется дым,// это сожгли рефлексию.// Над мимолетностью майи скорбя,// встав над витальной привычкой,// Деятельность оглянулась в себя// и потянулась за спичкой...»

Еще помню куплет про Сережу Казачкова: он звонил в колокольчик, немного как председатель, когда мы слишком заспоривались, и придерживался диеты Шелтона, при этом очень много потребляя хлеба с маслом; любил петь песню про Дуню и блины (важный человек в моей жизни; помимо всего прочего, познакомил меня с антропософами, позже): «Звук колокольца, и масло на хлеб,// И сухофруктов отрада.// Горгий, Критон, Протагор и Филеб// Просят, стеная, пощады.// Шелтон, мышленье, борение сект,// Кант, Парменид, аллилуйя,// Сыр как предмет, как объект, как субъект,// Дуня, блины, поцелуи».

Летом 1979 г. мы поехали с Пашей, Аллой и ее дочкой Аней в Прибалтику. Жили на чудесных озерах Литвы, в палатке. За время той летней поездки мы много с Пашей общались на философско-методологические и психологические темы. Потом мы совершили вояж в Ригу. Там я познакомился с Илоной, она пыталась покончить с собой, но через неделю пребывания в реанимации вернулась к жизни. Мы сидели у нее на квартире неделю, непрерывно пили да каждые три—четыре часа звонили в больницу: еще жива или уже нет? У Илоны была жилица, пожилая женщина без паспорта; говорили, что у нее есть какие-то ясновидческие способности. Когда сидение подходило к некоторой неприличной фазе, она заботливо брала меня за руку, провожала в отдельную комнату, показывала на книжный шкаф и говорила: «А ты, Толя, сиди здесь, читай свою книжку». Вообще-то Илона общалась с рижской богемой, там был какой-то инфернальный эстетический субъект по имени Эжен и еще один молодой человек, Джонни, который через пару лет покончил с собой. Но я был нечувствителен к такому мистико-гнусноватому декадансу. Илона хорошо знала Карташева, это оказалось потом косвенным фактором моего сближения с ним.

1980 год. В Великий пост 1980 г. я крестился в Успенской церкви Новодевичьего монастыря. Надо сказать, что Марина и Лена Михна были известны тем, что ездили летними месяцами в геологические экспедиции. Я тоже решил поехать; может быть, чтобы что-то кому-то доказать. Два летних месяца 1980 г. я провел рабочим в геологической партии на Колыме. Очень хорошие воспоминания! Первого ноября 1980 г. мы с Мариной поженились.

Толя Пинский
и Марина Гиверц.
Свадьба. 1 ноября 1980 г.

Го (1980–1982)

В ноябре 1980 г. я начал активно играть в го. Меня научил Леша Карташев, он же привел меня в тогдашнюю московскую секцию го. Там одним из руководителей оказался Сергей Межов; мы с ним были знакомы уже давно, поскольку вместе играли в институтской шахматной команде. В мае 1981 г. я получил первоначальный разряд в го, так называемый 12-й кю. У Карташева был то ли второй, то ли третий кю, для меня он был большим учителем. Притом что он был очень умен — аспирант самого Юрия Манина, да и, к примеру, он латышский язык в Риге смог выучить за пару недель, — мне казалось, что его вершин в го мне вовек не достичь. Однако я рос в го довольно быстро. Уже к весне 1982 г. я претендовал на высокие кю, около третьего—четвертого. В августе 1982 г. у меня родилась первая дочка, Аня. Кстати, это событие я обмывал на квартире у Карташевых, у него уже была жена Лена.

В сентябре 1982 г. случилось важное событие. Приехала большая японская группа, и была организована встреча во Дворце тяжелой атлетики ЦСКА. Там я сыграл в сеансе с профессионалом шестого дана Иноуэ Шусаку, на форе, и выиграл у него. Он присвоил мне первый любительский дан — у такого профессионала было на это право. И очень важно, что на той встрече я впервые увидел Александра Михайловича Юркевича и был ему представлен Межовым. Юркевич тогда заинтересовался го — как я позже узнал, его отчасти на это склонил Николай Цзен, — и он немало помогал тогда «гошникам», пользуясь своим, весьма высоким в спорте, служебным положением.

Свадьба. Слева направо: Гриша Злотник, Витя Величкин, Наташа Захарова, Марина, Толя, Боря Коцак, Таня Стрижак, Сережа Казачков

Здесь я позволю себе небольшое отвлечение. Человек идет по жизни, все время вступая в контакт с разными людьми. Мне представляется, что в ситуациях этих з н а к о м с т в важную роль играет обстоятельство — кто тебя представил человеку, который потом оказался для твоей жизни чем-то значителен. Так вот, Юркевичу меня представил Межов. А почему у меня был контакт с Межовым? Ведь он довольно ревниво держался за эту связь с ЦСКА, особенно учитывая непростую «внутриполитическую» ситуацию в московской секции го. Дело в том, что я с Межовым, как уже говорил, находился в хороших отношениях со времен нашей институтсткой шахматной команды. Я был в юности перспективным шахматистом, стал кандидатом в мастера в 15 лет, меня приглашали после школы в Институт физкультуры на шахматное отделение; но я отказался от этой линии, возможно, потому, что для моих родителей жизненная линия, построенная на шахматах, казалась несолидной. Итак, я фактически оставил шахматы, но потом, как можно увидеть, эта линия в косвенном виде сработала в случае с Межовым и, получается, затем с Юркевичем. А Юркевич меня потом вывел на Щедровицкого.

ЦСКА (1982–1983)

С осени 1982 г. у меня стало развиваться общение с Юркевичем. Он меня ввел в свой кружок, или в кружок ЦСКА. Юркевич стал со мной обсуждать философские аспекты го; я чувствовал, что в его вопросах и интерпретациях сидит какой-то контекст, который мне не был сразу понятен. Иногда это непонимание даже чуть раздражало; но в целом это было весьма и весьма интересно и стимулировало к каким-то дальнейшим философизмам.

На турнире по го, 1983 г.

Помню, я много времени провел за изучением проблемы право- и левополушарного мышления. Я пытался истолковать го как деятельность, в которой главным является не дискурсивное, не понятийное, но образно-визуальное мышление. О позиции надо не столько думать, в плане расчета, сколько суметь ее увидеть исходя из чувства формы (японское «ката»), из гармонии позиции. Отсюда актуализировались тема «Восток — Запад» и тому подобные, вещи в том числе, касающиеся и методики обучения го. Юркевич мне как-то намекнул, что это может вылиться и в какую-то постоянную работу, а я ведь был весьма неудовлетворен своей работой в Академии педнаук. (Я защитил диссертацию в самом начале 1983 г., но от этого было мало радости.) Впрочем, дальше эта тема трудоустройства особо не продвинулась.

В начале 1983 г. я много углублялся в философию. Тогда я посещал блестящие лекции Мамардашвили о Декарте и Канте; они читались в той же Большой аудитории Института педагогической психологии, где проходили заседания «четверговой комиссии» Щедровицкого. Помню, начал читать и Гуссерля в старом сборнике «Логос». Меня все больше интересовала тема феноменологии. Получалось, что я входил в кружок ЦСКА как философ; Юркевич меня представлял полушутливо «профессором» (например, когда мы ходили с ним в сауну с его знакомыми спортсменами). Точности ради надо отметить, что тогда я больше общался персонально с ним, а не с кружком как таковым. Хотя отношения с сочленами кружка, конечно, возникали. Я должен сказать очень кратко о характере этих отношений. С Юркевичем они были довольно близкими и быстро углубляющимися. С Калиной Марковичем — тоже очень хорошие, однако углублялись они довольно медленно. С Пахомовым и Докучаевым — вполне положительные и

Толя с Сережей Казачковым. Начало 80-х гг.

несколько поверхностные. С Цзеном — практически никаких; может быть, у меня к нему (или взаимно) была какая-то легкая подспудная антипатия. Кстати, я поистине ничего, ровно ничего плохого не хочу мыслить о нем; просто идут годы, и я иногда предполагаю, что эта антипатия была не из разряда эмоциональных, а просто некое «средство судьбы».

В мае 1983 г. произошло событие гибели Цзена. Об этом уже рассказал Юркевич[1].

ЦСКА. Щедровицкий (1983–1985)

Осенью и зимой 1983/84 г. продолжались встречи в ЦСКА. Общая примерная тема была «Игра». В январе я по-доброму познакомился с Игорем Серафимовичем Алексеевым. В феврале был доклад Вадима Розина. Я в это время активно прорабатывал ряд основополагающих статей Московского методологического кружка (например, статью Г.П. и Никиты Алексеева «Мышление как деятельность»). Также где-то в феврале был мой доклад про игру, на который пришел Георгий Петрович вместе с Сазоновым и Светой Поливановой[2].

Доклад был объемен, упомяну его некоторые положения. Игра, с одной стороны, характеризовалась как всеобщая универсалия культуры; с другой стороны, было отмечено, что какой-либо общей теории игры не имеется. Единственно возможная исходная точка для построения соответствующего предмета философского исследования полагалась мною как некая *обыденная интуиция игры* (что такое игра? — ответить сложно, существующие частные варианты ответов неполны или неудовлетворительны, но тем не менее людям понятно, о чем идет речь). Потом проводилась редукция, в духе гуссерлевской феноменологии, этой обыденной интуиции игры, после чего был выдвинут центральный тезис: что игра не необходима по отношению к любому виду или системе деятельности. Попросту: *игра — это не деятельность;* хотя при этом игра принадлежит жизни человека. Далее игра характеризовалась как некая сущность, принадлежащая универсальности человека, как нечто более глубокое и всеобщее, чем любая деятельность, и что в ментальном плане она соотносится не с теми или иными знаниями, но уже с мудростью. Потом возникло обращение к фигуре Сократа, который одним из первых в европейской культуре заявил реалии игры и иронии, и было предположено, что в рамках любой *теории* сущность игры не схватываема — для этого нужна уже *мифологема*. Корень игры еще как-то увязывался с морально-нравственным началом человека и мира, эпиграф

[1] Рассказ об этом событии см. в книге А. Пинского «Пайдейя» (М., 1997).

[2] См. текст доклада в Приложении.

же доклада был цитатой из платоновского «Пира»: «Суть же беседы состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию, и трагедию и что искусный трагический поэт является и поэтом комическим. Оба собеседника по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну».

Я вспоминаю, что, во-первых, Юркевич был очень рад докладу и присутствию на нем Георгия Петровича (Юркевич временами прямо-таки радостно потирал руки); во-вторых, с моей стороны, в докладе было что-то от косвенного вызова системно-деятельностной онтологии Щедровицкого, эдакий метафизический задор и готовность «нарваться».

Однако Щедровицкий откомментировал все очень тепло и приветливо. Света мне потом поведала. Впрочем, Щедровицкий тоже как-то упоминал, что она ему сказала: «Вот человек идет каким-то своим путем. Не надо *его* поглощать методологией, включать в методологический кружок». Впрочем, когда это Георгий Петрович слушался женщин? (Да и вообще кого бы то ни было.) Помню, я где-то в конце дискуссии сказал: «Вот у нас пару лет был домашний семинар на такую-то тему, и ничего особенного не получилось». Он заметил: «Пару лет... Вы поработайте пять раз по паре лет, потом еще пять раз пару лет и еще раз. Тогда, может быть, найдете трех человек, с кем можно действительно работать».

Я тогда почти ежедневно в библиотеке занимался с Декартом. Третьего марта была моя первая личная, довольно продолжительная встреча с Георгием Петровичем. Мы погуляли в лесочке около наших домов, в районе Ленинского проспекта и улицы Обручева, а потом дошли до ВЦП (Всесоюзный центр переводов). Кое-что из той беседы я помню.

Толя и Марина с дочкой Аней, начало 1983 г.

Зашла речь о философии: «Толя, я всю жизнь думаю: почему именно в Германии, в стране самой сильной философской традиции, столь развился фашизм?» О Мамардашвили: «Я уже давно сказал: Мераб идет вперед спиной, т.е. глядя назад, в прошлое». Я спросил еще о некоторых других, знакомых мне и ему, известных наших философах. В ответ: «Толя, они все очень развитые люди. Только ответьте мне всего на один вопрос — почему они все так много пьют?» Еще он рассказывал немного о своих родителях, о родственниках. Какой-то его дальний дядя был революционером в экстремистском крыле эсеров; и у него была потрясающая любовь с одной женщиной, тоже из тех же кругов, редчайшая любовь; потом выяснилось, что женщина — предательница, внутренний партийный суд приговорил ее к казни, и расстрелять ее должен был именно этот человек, что он и сделал. Рассказал о своих контактах с Кашиным, это был директор в институте моего отца, а я там же учился в аспирантуре; знал он и моего теперешнего директора Атутова. Меня удивила полярность его оценок этих людей. С одной стороны, были очень резкие слова (я их не привожу, люди либо их родственники еще живы). С другой: «И вот, это люди, которые не сидят в экологической щели, как философствующие интеллигенты, а несут ответственность как организаторы жизни». При этом же о политической ситуации: «Ничего, Толя, я на них напустил уже Игру (имеются в виду так называемые “оргдеятельностные игры”), они у меня теперь все поиграют; посмотрим, что через три года будет!» Поговорил обо мне: «Толя, в вас есть некая талмудистская самостность. У вас есть три пути: либо в философию, либо в педагогику (имеется в виду что-то реальное, типа социальной педагогики Наторпа), либо к нам в методологию. Хотя о последнем — я вас не тяну» (как раз тут и напомнил мне о словах Светы Поливановой).

С дочкой Анечкой, 1983 г.

В апреле — мае я занимался семиотической литературой, читал Ролана Барта, Бенвениста, Ельмслева и методологические работы по смыслу и значению. Осенью стал посещать семинар Щедровицкого. На семинаре тогда обсуждались по сути только игры. То анализировалась прошедшая игра, то готовилась предстоящая. Я походил, походил, а потом говорю Георгию Петровичу: «Вы знаете, я вам чрезвычайно благодарен за доверие, но, наверное, я приостановлю свое участие. Понимаете, я чувствую себя как наблюдатель ООН, попавший в штаб палестинских террористов». «Да ладно, не торопитесь, — ответил он. — Посидите еще, потом какой-нибудь доклад про игру сделаете; и нам, и вам это может быть интересно».

15 ноября 1984 г. состоялось своего рода «новооснование» кружка Юркевича. Он это официально продвинул как Психолого-педагогический семинар спорта высших достижений. На открытии он торжественно заявил, что все это делается согласно указаниям Главпура Советской армии (действительно, он подписал где-то такой приказ, который, кстати, пока никто не отменил). Юркевич также заявил, что ЦСКА располагает «огромными возможностями, вплоть до публикации материалов семинара в виде монографий». Там были Никита Глебович Алексеев, Юра Громыко, Калина Маркович и еще какие-то люди. Например, я помню одного офицера из Военно-политической академии, который, как только началась наша обычная «дискуссия», совершенно свято перестал понимать, куда он попал. Я в это время начал продумывать тему обыденности, а также естественного языка (см. кое-что об этом в материалах Юркевича о Биографии). Это у меня шло в связи с некоторыми социологическими штудиями. Я много читал Зиммеля, Маннгейма, Вебера, Шелера, английских феноменологических социологов. В конце 1984 — начале 1985-го г. Ю. Громыко был призван в армию. Юркевич устроил его служить в ЦСКА, где Юра сразу активно включился в работу кружка.

В декабре, 21-го числа, родилась моя вторая дочка, Зоя.

1985 г. Работа кружка продолжалась. Например, 7 и 14 февраля там состоялись два разговора со знаменитым Сергеем Беловым, баскетболистом номер один. Были доклады и встречи с Аросьевым, Бояршиновым, Штайнингером. При этом я продолжал играть в го, дошел до 3-го любительского дана.

В марте был мой доклад про обыденность. Я много готовился. Юркевича эта тема очень интересовала. На докладе были Щедровицкий и Никита Алексеев. Дело вышло жарким. Я знал, что понятия «обыватель», «просто человек», «просто жизнь», «вообще интеллигент» и т.п. для Щедровицкого нетерпимы. Так и случилось, он начал бушевать. Я процитировал, помню, платоновского «Сократа», что-то насчет «просто человека и мудрости». Назревал взрыв, и он произошел на примиряющей попытке Алексеева, когда тот начал всех, и в первую очередь Щедровицкого, успокаивать: «Ну ладно, Георгий, люди в жизни идут разными синкретическими путями...» «Да нет же, Кит (т.е. Никита)! — буквально прокричал Щедровицкий. — Где эти мудрецы, где они?! Ты их видел?! Это же все вранье! Или от нас требуется сейчас Анатолия Аркадьевича признать мудрецом?!» И так далее. Учитель умел срывать доклады, этого не отнимешь. Я «отходил» денек, а потом ему позвонил и сказал: «Георгий Петрович, прошу меня извинить, я в дискуссии употреблял не вполне корректные выражения». «Да ладно, Толя, — ответил он. — Об этом вообще не говорят. Приезжайте ко мне, погуляем». Я приехал. В квартире висела интересная картина, немного в духе экспрессионизма: изображены обнаженные мужчина и женщина, по композиции как Адам и Ева в раю, и мужчина этот, очень мускулистый, держит в напряженной правой руке большой гаечный ключ.

«Подождите, — сказал Георгий Петрович, — я сейчас оденусь». Он снимает домашние брюки, остается в кальсонах и затем надевает другие брюки. Тут вошла его жена, Галина Алексеевна, и сказала: «Ну да, гениям все можно...»

Мы пошли гулять. Вот темы беседы:

— «Приходите, Толя, к нам в кружок. При этом вполне необходимо, чтобы вы сохраняли свою самобытность».

— «Надо читать “Немецкую идеологию” Маркса и “Кто такие друзья народа...” Ленина, а также Макиавелли».

— «Мы, методологи, предвосхитили Лакатоса и Куна».

— «Есть разница между культуртрегером и культурмахером. Генисаретский — культурмахер, он творит культуру из ничего».

Толя и Марина с дочкой Зоей, 1985 г.

Рассказал историю про Грушина и Кагановича.

— «В жизни и системах деятельности есть очень важная функция — умный еврей при губернаторе».

— «Вступать ли в партию?» (*мой вопрос ему*) «Понимаете, Толя, это у каждого по-разному. Генисаретский мне до сих пор простить не может, что я его как бы склонил. А вот Сазонов и до сих пор не хочет и вполне хорошо живет. В общем, предложат — идите».

29 марта в ЦСКА был доклад Калины Марковича. Жаль, не помню содержания, сохранилось ощущение чего-то значительного. В это же время я очень увлекся историей Жанны д'Арк. Читал про нее все, что мог найти. Это продолжилось до лета включительно, я даже чуть какую-то повесть не написал о ней. Наверное, это у меня как-то связывалось все с тем спором: Жанна мне увиделась как кристальный пример Просто Человека.

Соматическая интермедия

В начале 1985 г. я несколько увлекся различными восточными направлениями, в том числе связанными с акупунктурой, меридианами тела и т.п. Ранней весной с этим совпало возобновление некоторых контактов с Александром Кожой, он уже стал православным священником, но по-прежнему продвигался в своих восточных интересах, причем у него это вышло на занятия восточными боевыми искусствами. В начале апреля мы вместе сходили в ЦСКА, где Юркевич устроил просмотр китайского фильма о кунг-фу. Я очень вдохновился. Меня вдруг заела тема тела, охватила идея, что мы живем в каком-то очень стерильном и абстрактном плане идей. Эту мысль очень подхватывал Кожа, он произносил не очень много слов, но я их воспринимал как весьма значительные. В середине апреля я поголодал и через голодание бросил курить, что было большим и непростым достижением.

Конец весны и все лето я разминался, один и с Кожой, осваивал систему «до-ин», элементы кунг-фу, читал Конфуция и даосов. Вот дневниковая запись от 21 апреля: «Прошла великолепная неделя! Учиться и совершенствоваться в искусстве — это ль не радость!» (последнее предложение — цитата из Конфуция). Тогда же углубился в Кастанеду.

Произошло одно интересное событие. Я пошел на регулярный онкологический осмотр в связи с фибромой в нашу районную поликлинику. Врач меня посмотрела и говорит: «Ну вот, прооперировались, и все в порядке. Я же вам давно предлагала операцию». Я удивленно отвечаю: «Что вы, я не делал операции». «Ну ладно, ладно, такие же вещи сами не рассасываются, я уже двадцать пять лет этим занимаюсь». — «Да я клянусь вам, что не оперировался! Почему вы так решили?» — «Да потому что фибромы нет, — заявляет она. — Даже следа не осталось. Вас прекрасно

прооперировали. А сказок мне не рассказывайте, само это не проходит». В общем, мы разошлись при своих мнениях, она на меня чуток обиделась, но с онкоучета сняла.

В теоретическом плане оседлал идею Селье о стрессе и неспецифических воздействиях. В плане работы возник вариант, весьма зыбкий, про переход в систему го на тренерскую должность. 24 июля умер наш председатель секции го Алексей Борисович Бабицкий; его жена бросила нам на похоронах, в слезах: «Это ваше го его убило!» Наступило некое охлаждение к го; в очередном турнире проиграл подряд четыре партии. Меня посетила мысль: «Го может убивать людей».

Методология (1985–1986)

Это и было время начала довольно активного общения с Юрой Громыко. Летом я тщательно прорабатывал Коллингвуда, «Идею истории». По-новому пытался понимать теорию деятельности и методологию. Последнюю — как форму осмысления всякого опыта. Писал в дневнике нечто вроде следующего: «Методология — мышление, ставшее деятельностью. Точнее, она задает такую возможность, когда мышление здесь и сейчас может осуществиться как реальность и деятельность. Полнота и духовность мышления обретаются им ныне не в сферах науки или философии, но в методологии».

В первой же половине августа я посетил, вместе с Щедровицким, три доклада Буркина про принцип непараллелизма формы и содержания. Буркин тогда развивал идеи, во многом собственные, о зонировании и трассировании в мыследеятельности. (Надо отметить, что Юрий Владимирович Буркин, ему тогда было лет около пятидесяти, в некотором роде значимое лицо. Дело в том, что к методологии я пришел первоначально через Пашу Мейксона, тот — через Сергея Казачкова, а последний, в свою очередь, через Буркина. К сожалению, Буркин через несколько лет скончался.) Участие в данных докладах было неким следующим шагом моего сближения с Щедровицким.

19 августа я посетил его для подробного разговора на даче в Болшеве. Основная тема разговора состояла в его предложении ко мне принять участие в сравнительно долгосрочном семинаре, важном для него. Предполагаемый круг тем: смысл и значение; логика и онтология; «Аналитики» и «Топика» Аристотеля; Платон; Витгенштейн и английская аналитическая философия как философия языка. Также он говорил о смысле и жизненных целях методологии, о методологии и России, о служении Кнехта («Рыцарь игры» у Гессе). В заключение дал мне книгу Дегутиса об английской аналитической философии языка для входа в библиографию и определения собственных тематизмов. Срок выполнения задания — неделя.

Этот семинар начался осенью на квартире у Светы Поливановой. Семинар был заявлен как внутренний (Борис Юдин мне потом сказал: «Ага, святая святых»). Было впечатление, что Георгий Петрович решительно намерен внести философскую и общекультурную линию в сообщество игротехников — сравнительно молодых по возрасту, но уже заматерелых в играх.

У нас сформировался, помимо основного семинара, небольшой кружок — Буркин, Громыко и я, иногда там появлялся Володя Головняк. Мы провели несколько раундов дома у Буркина, каждый по 10–12 часов интенсивнейшей словесно-мыслительной работы. Они пытались меня методологически «пробить», если не сказать «сломать». Я держался как мог; вроде продержался. Про какой-то такой день в дневнике записано: «Прорезь мозга. Зашевелились мысли». Громыко зафиксировал, что мы с Буркиным — антиподы. Это, разумеется, не мешало нашим вполне дружественным отношениям. Помню несколько высказываний Буркина: «Понимаете, Г.П. — мастер. Но кто он? Он работает с людьми по методу Гурджиева: раз обласкает, потом раз врежет, и это работает. Я, наверное, скоро умру. А к вам, Анатолий Аркадьевич, может быть, когда-то придет мастерство». Я ему говорю: «О чем вы, Юрий Владимирович? Почему “умру”? И что за мастерство?» Вообще-то у меня то и дело возникало чувство, что эти люди очень великодушны; что я им? что я могу? ведь я нигде не специалист, а они меня так хорошо и почему-то серьезно принимают. И к этому добавлялось другое чувство: что эти люди чем-то серьезно ущербны, но, конечно, не по отношению ко мне, а по отношению к чему-то другому. Ну и что? Это совершенно не проясняло мой первый вопрос: «Почему они меня при себе держат?»

Всю осень я старательно изучал «Топику» Аристотеля, аналитическую философию (сделал о ней доклад), Ницше и Шопенгауэра; порой возникал иронический аккомпанемент Учителя «насчет философии жизни». Не любил он этого... В декабре я принял участие в оргдеятельностной игре в Губкинском институте; мы там образовали группу с Леной Моховой (очень хорошенькая женщина). Георгий Петрович пару раз потом на семинаре увязал «философию жизни» и «жизнедеятельностный подход» с подобными штучками. Разумеется, с теплым юмором старого повесы.

Тридцатого декабря мы с Юркевичем и Генисаретским посетили Кожу. Генисаретский сказал несколько интересных вещей (хотя по большей части дремал). Например: «Все люди, двигающиеся в методологии, ломаются на одном — когда начинают выходить на проблематику ценностей».

В январе–феврале я сделал два доклада об аналитической философии и Людвиге Витгенштейне под названием «Может ли и должна ли аналитическая философия быть философией?» Не все получилось очень здорово, но мне удалось с интересом, по крайней мере для себя, рассказать биографию Витгенштейна. Здесь, на обсуждении, возник любопытный момент.

Георгий Петрович предъявил мне принципиальный вопрос, почему это я не задаю, с одной стороны, ситуацию Витгенштейна, а с другой — свою, т.е. почему я как будто отождествляюсь с ситуацией Витгенштейна. Мне же это казалось самоочевидным для вживания в биографию обсуждаемого лица. Мы походили вокруг да около, после чего Щедровицкий заявил: «И почему это вы, Толя, вместо того чтобы заявить: вот Витгенштейн, у него своя ситуация, такая-то, а у меня своя, причем совершенно иная, почему вместо выполнения этого очевиднейшего логического требования вы вдруг отождествили себя с Людвигом Витгенштейном?!» Я ему говорю: «Понимаете, если я так резко это разведу (у него своя ситуация, а у меня своя, и они совершенно различны), то мне с ним будет нечего делить». На что Учитель твердо заметил: «Но обратите внимание, Людвиг Витгенштейн давно умер, и если вы попытаетесь с ним что-нибудь делить, то у вас ровно ничего не получится». М-да, скажу я сейчас, проблемы биографической работы...

В начале 1986 г. мы образовали маленький философский семинар с Ниной Громыко, Юрой и Сашей Смирновыми, Сережей Голенко и Ирой Ремизовой. Нина специализировалась на Фихте, Саша — на Гегеле, а Сережа — на Канте. Хорошие люди! С самого начала года я увлекся темами оргуправленческой деятельности, а также Алексисом Токвилем. Я до сих пор его очень высоко ценю. Сделал доклад «Гуссерль и Токвиль».

Помню, в марте на семинаре у Щедровицкого он сказал, кажется, Сереже Наумову: «Методолог есть вольный флибустьер. Свободный кот!» Я тогда пару раз посетил МГУ, лекции Доброхотова, что-то о Декарте и Хайдеггере. Потом ехали с Щедровицким в автобусе, я ему говорю: «Вот, был на лекциях Доброхотова о Хайдеггере. Много интересных людей, большинство — молодые девушки. Слушают очень внимательно». Он помолчал. Тут я несколько резко спросил: «Георгий Петрович, ну скажите, есть в этом все же какой-то смысл или нет?» Он вскинулся: «Есть, Толя, есть! Вот девки послушают про Хайдеггера, а потом трахаться лучше будут. Видите, как раз и ваша философия жизни работает».

Двенадцатого апреля у меня была с ним встреча. Он заявил: «Вы должны, Толя, принять ученичество сроком на шесть лет. Задача — историко-критическая работа в философии. Основные темы — Людвиг Витгенштйн-2 (т.е. позднего периода) и Гуссерль. Перспектива — две книги».

Примерно в это же время был случай, он на меня произвел впечатление. Дело было на открытом семинаре в Губкинском институте. Георгий Петрович делал доклад, а потом, во время дискуссии, один молодой человек стал с ним о чем-то спорить, прямо бодаться. Например, он попытался поймать Георгия Петровича якобы дилемме «основного вопроса философии». «Позвольте! — восклицал он. — Тогда ответьте, что для вас первично?» Щедровицкий устало на него посмотрел: «Вас интересует, когда я родился? Я могу назвать место и приблизительное время». И тому подобное. После

доклада мы вместе выходили из аудитории. Я начал какой-то вопрос: «Георгий Петрович, а вот...» Он меня прервал словами: «Толя, пойдемте сходим в туалет». Ну, разумеется, пошли. Вид у него был малость замученный. Я ему сказал: «Георгий Петрович, чего вы так реагировали, ну какой-то там юноша, ну пошумел». А мы стоим у соответствующих снарядов, и тут он отвлекся от естественного процесса, повернулся ко мне и очень выразительно произнес: «Понимаете, Толя, надо же все время держать марку!»

Пятнадцатого апреля мы гуляли с Юркевичем около кинотеатра «Россия». Он тогда сурово голодал. Я его между прочим что-то спросил о картах, о преферансе. Он вдруг произнес нечто в высшей степени значительное — про происхождение карт три тысячи лет назад, из мистерий погибающего Древнего Египта, и про арканы Таро. Он даже пробовал нарисовать схему о связи минорных и мажорных арканов и о сефиротической системе. На рассудочном плане я мало что понял, но это произвело впечатление, я полагаю, действенное.

В мае я вышел на линию с биографией Николая Ефремовича Скворцова. Это началось со ссылки из словарной статьи Владимира Соловьева о Платоне в Брокгаузе–Ефроне. Я тогда работал над вниканием в смысл одного абзаца из «Менона», читал все варианты переводов и даже написал небольшой материал, посвященный поиску подспудного смысла на пересечении и сравнении разных переводов. Мне здесь пригодилось самое первоначальное знание древнегреческого (я несколько месяцев брал частные уроки у Нади Каврус). Там у Платона шла важная мысль о различении истинных мнений и знаний, причем один из старых комментаторов писал ни много ни мало, что «в этом кратком отрывке заключена вся сущность философии Платона».

Я обнаружил, что Скворцов, который был во второй половине XIX в. значительным педагогом и философом, оказался совершенно забыт, что его имени нет ни в каких педагогических словарях и учебниках последних десятилетий, т.е. деятель культуры эмпирически исчез из культуры. Весь май и июнь я раскапывал материалы о нем и написал статью в Педагогическую энциклопедию и в журнал «Советская педагогика». Историки педагогики, например старик Равкин, признали это своего рода интересной находкой, я получил хорошие рецензии. Опишу кратко беседу с Равкиным. «А ведь я вспомнил, что был такой педагог; но вы правы, уже давно совершенно забыт. Это хорошо, что вы его раскопали. Я прочитал вашу работу и готов дать вам самые положительные рецензии. Но вы нигде не определили его классовую принадлежность». Я ему: «Захар Ильич, понимаете, Скворцов по своим взглядам, как бы сказать, не принадлежал к пролетарско-революционным направлениям». Равкин: «А ведь я это понял! Но вы напишите: “либерально-буржуазный”. Это можно. Конечно, “либерально-демократический” — лучше. “Революционно-демократический” — много

лучше! Но “либерально-буржуазный” — это тоже допустимо, молодой человек. Допустимо! Поверьте мне, у меня большой опыт. Я владею методом. А работа прекрасная, я вам подпишу». Ну да ладно.

Говорил на эту тему с Аверинцевым, получил краткую сердечную открытку от Тахо-Годи. Но они тоже ничего не знали на предмет Скворцова. Интересно, что один человек, прочитавший потом мои разыскания о Скворцове, предложил мне вступить в общество «Память».

У Скворцова я прочел мысль, ставшую для меня совершенно принципиальной, в чем-то поворотной, а именно, что начала древнегреческой философии и философского мышления лежат, может быть, в древних мистериях Египта. Внутри меня что-то воскликнуло: «Ну вот! Значит, мышление не есть нечто первичное и окончательное. Что-то было перед ним и что-то сокрыто за ним». Мне показалось, что я нашел связь между ощущаемым мною эзотеризмом Юркевича и вообще эзотеризмом, с одной стороны, и всем мыслительным планом, который есть в философии и методологии, с другой стороны.

25 июня состоялась первая встреча с Калиной Марковичем, где были Юркевич и Генисаретский. Калина Маркович рассказывал о своем духовном Событии. 6 июля была вторая встреча с ним, где он рассказал свою биографию.

В июле я начал в огромных количествах читать оккультно-эзотерическую литературу в Ленинской библиотеке. Это длилось много месяцев. Курамшин, Шюре, Шмаков, Гом, Папюс, Безант, Тухолка, Брандлер-Прахт, журнал «Изида», Сен-Мартен, Элифас Леви, «Свет Египта», астрология Запрягаева и т.д. В те дни я как-то мылся в ванне, и вдруг меня пронзила непо-

С Бертой Ильиничной.
Середина – конец 80-х гг.

нятно откуда взявшаяся мысль: «Надо ждать встречи с франкмасонами. К этой встрече надо готовиться. Все остальное — бессмысленно». Странно… Вообще это были какие-то очень тяжелые дни, невероятно тяжелые.

13 июля Юркевич уехал на Мадагаскар.

16 июля виделся с Калиной Марковичем. Он подарил мне книжку Гома в форме фотографий, но очень четких. Я в то лето несколько раз с ним виделся. Зайдешь к нему в фотолабораторию, а он сидит с линзой на глазу, склонившись над какой-то фотопленкой. Говорит: «Ледбиттера читаю. Про астральный план».

Примерно так прошли лето и осень. Я посещал семинар Щедровицкого. Но нарастало расхождение. 18 ноября я должен был делать доклад по теме «Интерпретация». Я попытался построить доклад на базе одного античного мифа, даже цветные иллюстрации одного художника-возрожденца принес. Я так готовил этот доклад, что внутренне был готов к разрыву, понимал, что этот стиль может оказаться непроходным. Так и получилось. Георгий Петрович совершил «демарш», поплясал на моих костях, прервал доклад, я пошел на кухню пить чай. Они в комнате продолжали о чем-то толковать между собой. Потом пришла Света Поливанова и попыталась как-то меня утешить. Но мне было все ясно. Я пришел домой и записал: «Я (кажется) вышел из этих игр, слава Богу, Г.П. повел себя как та «сила, которая стремится ко злу, но обречена творить добро». На следующее заседание семинара я не пришел.

Попытка резюме

(посвящается А. М. Юркевичу)

Я написал все это, несколько раз прочел, и во мне появился вопрос: «А можешь ли ты как-то это резюмировать?». Что ж, попытаюсь.

Наверное, главное, что родилось во мне как попытка ответа на данный вопрос, — это чувство, что жизнь по отношению ко мне была очень щедра и великодушна. Здесь уместна аналогия с тяжелым турпоходом: человеку тяжело под рюкзаком, он может стереть ногу, сбиться с маршрута и даже впасть в легкую панику, потерявшись в лесу, он может вымокнуть под дождем и не иметь возможности просушиться, но через краткое время он вспоминает поход и ощущает, что все эти сложности были несущественны, что они просто забываются, а в душе сохраняются прекрасные картины природы, образ и тепло дружелюбного костерка да находка какого-нибудь редкостного гриба-боровика.

С точки зрения работы, службы это были не лучшие годы: я не имел большого интереса к аспирантуре и собственной диссертации, потом чуть ли

не через день меня глодала депрессия на предмет службы в Академии педнаук и т.п. Были и ссоры с родителями, то и дело проявлялось напряжение в отношениях с отцом; я переживал, порой очень остро, конфликты с женой. Вся «методологическая эпопея» тоже давалась нелегко. Однако проходило несколько дней или несколько лет, и все подобные штуки неуклонно гармонизировались. Как я чувствую сейчас, все эти проблемы — ерунда.

Жизнь дарила мне (это высокопарно, но буквально точно по смыслу) контакты с замечательными людьми, возможности приобщаться к чему-то в высокой культуре; у меня было немало свободного времени, я всегда был сыт, одет-обут, имел карманные деньги, никогда тяжело не болел. У меня появились две дочери. Я то и дело обнаруживал, что меня уважали некоторые довольно достойные люди.

У меня было много неудовлетворенности жизнью. Я очень цепко внутренне фиксировал недостатки тех людей и реалий, с которыми жизнь ставила меня в контакт; «не то», «не мое», «он же как раз самого важного не понимает», «это бессмыслица», «глупое задание», «муторное собрание» — подобные оценки в изобилии рождались в моем рассудке. Но жизнь все прощала, просто не обращала внимания на весь подобный мусор моего менталитета.

Иногда возникали опасные ситуации. Например, один раз на Буянде, приток Колымы, я чуть было не поплыл на резиновой лодке навстречу вероятной гибели. (На том листе карты, что у меня был, река была совершенно ровной, но я не знал, что далее, фактически за обрезом листа карты, она разветвлялась на сотни проток, превращаясь в болотистую губку на несколько сот квадратных километров; потом вертолетчики мне сказали, что я бы оттуда не выплыл и вполне мог бы пропасть — скорее всего, я бы заблудился в лабиринте проток, мне пришлось бы бросить лодку и искать путь в болоте, но куда?) Однако в самый последний момент дела так сложились, что мне плыть категорически запретили, хотя до этого уже все было договорено и согласовано[3]. Были и другие подобные случаи.

Я вспоминаю фразу Витгенштейна. Когда его однажды спросили, что ему кажется самым интересным и важным, он ответил: «Какое-то чувство абсолютной собственной безопасности в мире».

Меня никто особенно не обижал. Я никогда не ощущал — о чем немало говорили мои родственники — такой вещи, как антисемитизм. Когда я поступил в аспирантуру, на меня написали анонимку; начальство ее

[3] Толя рассказывал об этой истории более подробно. Летом 1980 г. он поехал в экспедицию и работал в геологическом отряде. Их повариха, уже немолодая женщина, как-то тяжело заболела, положение было угрожающим, связи не было, и Толя решил отправиться за помощью на лодке. И когда совсем собрался уплывать и вошел за паспортом в палатку, где женщина лежала в бреду, она пришла в себя, просила его остаться и сказала, что если он поплывет, то она уйдет в тайгу. И он остался.

рассмотрело, малость потрепались нервы, но это опять же пустое. После аспирантуры меня не взял на работу Давыдов; ну и что? Хвала судьбе, во мне не была особо сильна установка «больше взять от жизни».

Конечно, у меня были закидоны; наверное, многие из них продолжаются и сейчас. Но это опять же несущественно. Серьезно относиться к ним — опять же, думаю, восходит к той же дурацкой установке: например, побольше успеть и достичь в плане самосовершенствования. Я же все лучше вижу, что жизнь сама дает нам очень много, просто так. Я бы рискнул сказать: намного больше, чем нужно (сказать «больше, чем заслужили» просто язык не поворачивается). И ей не жалко. Надо или придется ли за это платить? Честное слово, я не знаю. По идее, да. Но много ли стоят такие «по идее»? Жизнь щедра и великодушна, она все время дарит и прощает, как отец или мать. Можем ли мы расплатиться со своими родителями? Вряд ли: как бы человек ни пыжился, все, что бы он ни сделал, никогда и близко не станет соразмерным тому, что он получил от любящих родителей. Разве что он может подарить им внуков, и тогда старики действительно как бы заново рождаются. Но опять же велика ли заслуга родить ребенка?

Может быть, положению человека в мире присуща радикальная асимметрия: человек получает и дает, однако жизнь ему дает неизмеримо, миллионнократно больше, чем он может вернуть. Сказано: «Вы куплены, и вы куплены дорогой ценой». Почему за нас столько уплачено? Я пока что не понимаю. Но очень похоже, что так оно и есть.

А. Пинский Фрагменты из статьи «Воспоминания о Г.П. Щедровицком»[4]

В качестве заключения

Целью этих воспоминаний о Щедровицком было дать какой-то небольшой материал о нем как о человеке. Сейчас я вижу, насколько мало она достигнута. Но, входя время от времени в пространство этих воспоминаний, начинаешь извлекать некоторые предельно важные уроки.

Сегодня мне представляются не столь важными идеи и тексты Г.П. К примеру, я засел за отдельные статьи из толстого тома избранных трудов, вспомнил, с каким углублением я вчитывался 15 лет назад в каждую

[4] Статья опубликована в книге А. Пинского «Пайдейя» (М.,1997).

фразу этих статей в библиотеке... И что сегодня? Почти ничего. Будут ли люди вчитываться в эти тексты, вымывать из них скрытые крупицы глубоких смыслов? Сомнительно. Учитель рисовал на доске большой прямоугольник, потом чертил в нем пару человечков и проводил пару стрелок; сейчас эти схемы опубликованы типографским способом. С соответствующими теоретическими контекстами и параграфами. Сможет ли кто-то воссоздать хоть тысячную часть того Смысла, который возникал в комнате, когда *рисовалась схема?* Ну конечно же нет. Итак, остается ли человек (не его мысли, скажем, а сам человек) в своих делах, в пресловутых продуктах и результатах своей деятельности? Урок Щедровицкого с очевидностью показывает, что нет, не остается.

Иногда он горячо пытался своими теориями и словами доказать противоположное. Но он *сам* — не тем, повторяю, что он делал и говорил, но тем, чем он *был* (или *есть*?), убедительно мне показал обратное. Я вспоминаю его похороны в Донском монастыре. Разные уважаемые люди говорили разные слова. Сказал ли кто-то хоть нечто настоящее о нем, хоть отчасти отвечающее реальной ситуации, которая вдруг необратимо возникла после его ухода? Нет. Но я видел, как плакал Генисаретский. Я тогда почувствовал, что либо мы еще не умеем говорить нужные слова, либо это вообще не дано человеку.

Послушайте, много ли мы можем сказать о нем? Да, судьба дала нам возможность общаться с ним, учиться у него, спорить с ним и даже бодаться. Тот, кто общался с ним, имеет правомерную роскошь сказать: да, теперь я несколько понимаю, что имеют в виду, когда говорят — вот такой-то человек составил эпоху. Это правильно, но опять же недостаточно.

Можно ли его назвать технократом? Конечно! Я помню, с каким пафосом он рассказывал мне о своей старой, 60-х годов, известинской статье с программным (и чудовищным) названием «Технология мышления». Мы помним его «мегамашины мыследеятельности» и т.п. Можно ли его считать предельным антропоцентристом? Безусловно, да. Как-то он мне говорит: «Толя, чего вы все пытаетесь найти какой-то псевдообъективный смысл в этой аналитической философии? Все пытаетесь объективировать ее какое-то культурное содержание и значение — как там, мол, было по существу. Я вам скажу: ничего там не было особенного, как, впрочем, и везде. Было скучно. И со всеми вашими сферами точно так же, скучно там, и все. А вот появился Витгенштейн, и стало не так скучно. А потом снова будет скучно. И иначе не бывает». Другой пример — я его спрашиваю: «Георгий Петрович, вы монист или плюралист?» Он отвечает: «Мне иногда задают этот вопрос. Я на него отвечаю по-разному в разных ситуациях. Так что решайте теперь сами».

Как-то мне приснился сон. Пришли мы с Г.П. глубокой ночью в какую-то гостиницу, очень усталые; надо ложиться спать. И тут я ему безо

всякого повода говорю: «Георгий Петрович, вы меня ради Бога простите, но я осмелюсь задать вам один вопрос. Вы мне как отец родной, но скажите — почему вы так строите отношения с женщинами?» Он говорит: «Толя, сколько сейчас времени?» Ну, я смотрю на часы и говорю: «Очень поздно, час ночи». — «А когда завтра вставать?» — «Георгий Петрович, завтра рано, дела, примерно в полседьмого». «Ну вот, Толя, видите, как жизнь устроена — до часу ночи работаешь, в шесть утра снова начинаешь... Так, послушайте, велика ли разница, где человек переночует?»

Вскоре после этого сна мы ехали с ним и с Матвеем Соломоновичем Хромченко в такси. И я рассказал ему этот сон. Он на меня посмотрел несколько строго и говорит: «Толя, я вам отвечу по этому поводу, как Блок, а именно: в жизни всяко бывает, но люблю я только свою жену». Мне стало чуть неловко, я говорю: «Ну, конечно, Георгий Петрович, конечно же». Он помолчал, а потом добавил: «Но сон хорош. Вы его запомните». Я запомнил.

Postscriptum

Они любили друг друга так долго и нежно,
с тоской глубокой и страстью безумно-мятежной.
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
и были пусты и кратки их хладные речи.
Они расстались в глубоком и скорбном молчаньи,
и милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла, наступило за гробом свиданье.
Но в мире новом друг друга они не узнали.

М.Ю. Лермонтов

Перед тем как вознамериться отдать эти воспоминания к опубликованию, я попросил их прочесть нескольких уважаемых мною людей (одновременно близких к методологии и герою воспоминаний). И вот один человек сделал замечание, к которому я счел необходимым отнестись. А именно: *в тексте несколько раз употребляется слово «учитель»; в каком смысле понимается это лично автором?*

Вопрос одновременно очень простой, на который можно дать простой же ответ, и очень нетривиальный, ведущий нас все глубже во все духовные, личностные и жизненные контексты, очерченные выше. Автор этих строк может сказать коротко: «Я считаю Г.П. своим учителем» (или «хотел бы считать...», или «внутренне надеюсь, что мог бы считать себя его учеником...» и т.п. — с разным градусом политеса). И это правда. Но не вся правда. У меня в сердце даже возникла фраза, навеянная стилистикой Цветаевой: «Щедровицкий — это наше все». И это тоже правда, но тоже не вся. Есть и нечто другое, эту правду дополняющее, а иногда вроде бы ей и противоречащее. Что? Вот это уже не просто. Попробую кое-что вспомнить и выразить.

Как-то раз я должен был делать доклад на «внутреннем семинаре». За пару дней до того мне позвонил Щедровицкий и сказал: «Толя, я должен срочно отъехать, так что меня на семинаре не будет. Заседание проведет либо Петр, либо Громыко. Я, разумеется, потом буду внимательно слушать пленку». Ну, насчет прослушивания пленки я не строил иллюзий, но доклад, конечно, сделал. Однако, признаюсь прямо, и сама атмосфера доклада, и его обсуждение мне были как-то не особо интересны. Потом меня Г.П. спрашивает: «Ну, как прошло ваше сообщение?» Я отвечаю: «Да, признаться, никак. Я чувствовал, что никак не могу уловить смысл — а зачем все это?» Учитель говорит: «Хм... Такое ваше настроение было прямо связано с моим отсутствием?» — «Конечно». — «А вы попробуйте это объективировать в мыследеятельностном плане. Чего вам по сути недоставало?» — «Понимаете, — отвечаю я ему, — в комнате не было никакой внутренней оргструктуры, а также никакой смысловой структуры. Примерно так. Не знаю, правда, насколько вас устраивает такая объективация». — «Вполне устраивает. Я делаю вывод, что вы, как докладчик, не смогли произвести тематический смысл, а Петр, как ведущий, не смог ситуацию организовать». Я в ответ: «Георгий Петрович, я несколько не о том. Во-первых, тематические смыслы я могу успешно производить у себя дома или в Библиотеке им. Ленина. Во-вторых, Петр тут тоже ни при чем; он все хорошо вел, задавал содержательные вопросы и так далее». — «Послушайте, а чего вам тогда надо? Вы порождаете смыслы, Петр организовывает коммуникацию. Чего вам надо? Только, пожалуйста, не говорите, что вы домогаетесь моей любви».

(***A propos.*** Все это было примерно в пору моих докладов о Витгенштейне. На одном из них Георгий Петрович произнес запомнившуюся мне фразу: «Толя, а ведь я вас последовательно ненавижу. И поэтому буду последовательно уничтожать. Но вы не смущайтесь, я ведь могу любить только тех, кого ненавижу». Я ему говорю: «Ну конечно, я все это прекрасно знаю».)

Но вернусь к разговору. Я отвечаю: «Георгий Петрович, как писала Ахмадулина, ***ни слова о любви!*** Давайте останемся в плоскости смыслов и значений». — «Вот-вот, давайте останемся». — «Понимаете, Георгий Петрович, мне надо, по складу натуры вероятно, чтобы расхристанная коммуникация, в которой все находится в движении, поиске и дискуссии, в которой все смыслы и значения на ходу строятся, размываются, плывут, чтобы такая коммуникация все же имела некую инстанцию, могущую эти смыслы порой кристаллизовать, отфиксировать. И то, что я только вас лично вижу в качестве такой инстанции, это совершенно не повод критиковать Петра как ведущего». Он говорит: «Чего-чего? Это что, из области “на чем сердце успокоится”?» — «Ну да, конечно. Но ведь так люди живут. А, кроме того, мы же *ваши* ученики». Тут глаза его засверкали: «Послушайте, Толя, я примерно знаю, как люди живут, но, обратите внимание, меня это мало интересует. Это вас интересует, с вашим жизнедеятельностным подходом.

Может быть, еще кого-то, ну, например...» Я его перебил: «Ну, давайте без имен, Георгий Петрович». — «Вот-вот! Сейчас вы мне начнете говорить какую-то интеллигентскую ахинею вроде того, что здесь затрагивается честь женщины или что-то в любом случае в этом же духе. (*Я подумал: «Вот, наверное, что имел в виду Гете, когда писал строку “Лишь в седле я хоть чего-то стою”».*) Но меня, Толя, все это мало интересует! А вы вот лучше ответьте на вопрос: а для меня, для Г.П., кто выступает в роли этой вашей “смыслокристаллизующей инстанции”? Кто?» — «Ну, понятно, — говорю я. — Никто. Вы сами». — «Ага, кое-что поняли? И в этой связи задумайтесь, что это тогда означает — быть моим учеником?»

Я думаю, он сам все сказал. И если еще немного додумать саму суть того импульса, который он нес (не «букву учения», не форму исторической традиции, в которую этот импульс облекался), то можно ощутить, с какой логической и экзистенциальной неизбежностью все снова и снова в его судьбе возникал элемент поистине высокого трагизма. В том числе, а может быть, и в первую очередь по поводу его учеников. Своим человеческим началом он надеялся, и с полным правом, на их преданность и вечную приверженность — по крайней мере, тому делу, с которым он идентифицировался. Но содержанием своего духовного импульса он вел людей к индивидуальной свободе, в том числе выводя (охотно верю, что зачастую сам того не желая) и за все партийные и орденские рамки «дела».

Процесс индивидуации, сказал бы Юнг, начинается в коллективе, но потом наступает пора, когда он может продолжаться только при условии выхода из коллектива. Логический этот парадокс зачастую дает о себе знать в жизненно тяжелых формах. Причем с обеих сторон. Иногда это принимало даже формы фарса. Например, я знал одного методолога, который, уйдя от Г.П., стал заявлять, что в Г.П. есть Teufel Weib («частица черта» — прямо по оперетте «Сильва»; может быть, и даже скорее всего так оно и есть — ибо, как сказано, кто без этой Weib, тот может бросить камень); однако молодой человек к этому замыслил акцию обливания Г.П. водой, освященной в РПЦ. Однако шутки в сторону. Парадокс — логический, духовный, смысловой, человеческий — существовал и существует. Но — и это, может быть, самое важное, что я хотел бы сказать по всей теме, — «логос», «смысл», «дух», «человек» суть слова *мужского* рода. И в их пространстве нечего ловить. Там этот тяжелейший парадокс не может найти никакого разрешения. Там остаются свободные человеки, и эта свобода оказывается всегда высокой и иногда жестокой. Например. Среди главных правил средневековых розенкрейцеров было два следующих: во-первых, розенкрейцер носит одежду того города, в котором живет; во-вторых, он должен хранить тайну сто лет. Возникает серьезный вопрос — а как они могли тогда *узнавать* друг друга? Один сведущий человек в ответ на этот вопрос сказал: «Только по взгляду. Например, едет князь-розенкрейцер верхом по площади и замечает в толпе: вон, у того торговца особый взгляд. И все. Едет дальше».

Кажется, что это — предел. Я уверен, что Щедровицкий все это ведал очень хорошо. На своем наиболее выраженном духовном пласте, наиболее близком к восприятию другими и к саморефлексии, он был в высшей степени мужчиной — титаном, патриархом, вождем и т.п. Один раз он мне сказал: «Все эти гении науки классического типа — что Гуссерль, что Грушин — они все одиночки. Для меня же принципиальным является вопрос коллективной мыследеятельности и коммуникации. И я во многом это реализовал. Я спокоен. Я знаю — есть Генисаретский, есть Лефевр, есть Розин, Сазонов и Тюков — и я, повторяю, спокоен». Я его спрашиваю на подобающем сленге: «И это ваша предельная рамка?» Он хитро улыбнулся и забурчал: «Предельная... предельная... Для меня, Толя, нет ничего предельней личной свободы».

Вроде можно ставить точку. И тогда это был бы конец, чем-то похожий на тупик. Мне, однако, видится еще одна перспектива. Эту дополнительную надежду и перспективу дать могут только слова и реалии *женского* рода — «жизнь», «мудрость», «любовь». И это начало тоже было в Щедровицком, бесспорно. Тот же Юнг, подводя итог своей жизни, написал: «Мне кажется, что conditionalis (сослагательное наклонение) Павла “если бы не было Любви” содержит все познание... “Любовь не иссякнет никогда”, даже если человек “глаголет языком ангелов” или с научной тщательностью прослеживает до самого последнего уровня жизнь клетки. Он может наделить любовь всеми именами, какие только имеются в его распоряжении, но в результате все равно должен будет смириться лишь с бесконечным самообманом».

Так что мне не удалось выдержать императив Ахмадулиной, и пока что я больше ничего не могу ответить на вопрос, правомерно поставленный выше[5].

[5] Вопрос — «Был ли Щедровицкий методологом?» Статья написана на основании одноименного доклада, опубликованного в книге А. Пинского «Образование свободы и несвобода образования» (М., 2001). Толя дает к нему следующий комментарий: «Доклад на Чтениях памяти Г.П. Щедровицкого 23 февраля 1997 г. Те чтения проводил Анатолий Тюков, и им был учрежден приз за первое место — 1000 у.е. После завершения всех докладов перед голосованием… в оргкомитете возникло сложное настроение — по реакции зала было видно, что данный доклад может выиграть приз, а это могло бы создать довольно двусмысленную ситуацию. Еще бы, первое место за «антиметодологическим» докладом… В конце концов все уладилось — голоса сосчитали, этот доклад занял второе место, а с преимуществом в пару голосов первое место занял Олег Генисаретский. И слава Богу».

ЧЕТВЕРТАЯ ДЕКАДА: 1986—1996

Антропософия
•
Вальдорфская педагогика
•
Московская школа

Комментарии к этому периоду в воспоминаниях М. Горге, А. Соловейчика, М. Шаскольской, В. Рокитянского, а также С. Поливановой, С. Казачкова и П. Мейксона, О. Ковалевой и Н. Тепцова, А. Каспржака.

То, что я искал в методологии, я нашел у вальдорфцев

Интервью А. Пинского
журналу «Кентавр»[1]

12 февраля 1991 г. с А. Пинским беседовала С. Поливанова

Сегодня мы представляем читателям Анатолия Аркадьевича Пинского, участника методологического семинара и организационно-деятельностных игр середины 80-х годов.

А. Пинскому 35 лет, он окончил физический факультет пединститута, преподавал физику в школе. Потом в течение 8 лет работал в системе АПН СССР. Кандидат педагогических наук. Занимался историко-педагогическими исследованиями, в частности Новиковым, Скворцовым. Интересовался также хоббитами, расшифровывал эльфийские руны. И вдруг...

В настоящее время А. Пинский возглавляет Центр вальдорфской педагогики, и именно это стало предметом нашего интереса, тем более что Анатолий Аркадьевич ничтоже сумняшеся заявляет: «То, что я искал в методологии, я нашел у вальдорфцев».

Корр.: Когда и как произошла ваша встреча с методологией?

А.П.: По-моему, в 1978 г. Хотя услышал о Г.П. Щедровицком гораздо раньше. Примерно году в 73–74-м один студент, с которым я учился, сообщил мне, что он познакомился с выдающимся или гениальным философом, который развивает идеи Маркса, но совершенно по-новому. Я тогда читал Шпенглера «Закат Европы» и уверенно заявил, что всерьез можно относиться к тем философам, которые продолжают традицию Платона, или Спинозы, или хотя бы Ницше, но не Маркса. Через несколько лет другой мой приятель привел меня на семинар в НИИ ОПП, где было много народа, все говорили, как мне показалось, на повышенных тонах, а на трибуне стоял толстый молодой человек и говорил что-то непонятное, но часто употреблял слово «рефлексия». Это было году в 77-м. Потом делал доклад Щедровицкий. Когда он закончил, то обратился к аудитории с предложением высказаться. Я спросил приятеля, могу ли я сказать, что в докладе

[1] Кентавр. 1991. № 2.

не соблюдался принцип «самотождественности субъекта». Но он сказал, чтобы я сначала освоил терминологию, которая здесь принята, а уж потом высказывался. После этого я стал время от времени посещать семинар.

Корр.: Вас это заинтересовало?

А.П.: Я бы сказал, что в том кругу, в котором я вращался, это было интеллектуальной модой. К этому кругу, как правило, принадлежали прежде всего физики и психологи. Они и поставляли рекрутов для методологии. Получить право сделать доклад на этом семинаре считалось очень большой честью. Но меня это в то же время и заинтересовало. Я начал читать методологические тексты.

Корр.: И тем не менее постоянным участником семинара вы стали значительно позже. Почему?

А.П.: На это трудно ответить. В семинаре господствовал специфический тип мышления, опережающий время. Это чувствовалось и в текстах, и в докладах даже тех, кто не был непосредственным участником методологического кружка. И я понимал, что для участия в кружке необходимо иметь широкую и глубокую философскую эрудицию, которой мне не хватало. Я стал самостоятельно прорабатывать античную философию, Канта и Декарта, особенно после лекций Мамардашвили. Кроме того, я изучал работы Флоренского, Соловьева. Можно сказать, что я восполнял пробелы своего образования.

Корр.: Когда же вы стали участником семинара?

А.П.: Кажется, в 1984 г. Георгий Петрович пришел по приглашению А.М. Юркевича, который тогда руководил клубом по игре в го при ЦСКА, на мой доклад. Доклад был посвящен анализу игры. Доклад ему, кажется, понравился. Он высказал ряд интересных замечаний. Но в целом отнесся ко мне благожелательно. Через некоторое время он пришел еще на один мой доклад. И там между нами произошла стычка. Он даже кричал на меня. Я упорно отстаивал свою точку зрения. В общем, ситуация была тяжелая. На следующий день я позвонил ему, чтобы извиниться за, возможно, допущенные мною в пылу полемики не очень корректные высказывания. Но он вовсе не был обижен и тут же предложил мне прийти на домашний семинар. Я пришел, и с тех пор начал ходить постоянно, каждую неделю. Но чем дольше я ходил, тем больше недоумевал. Я попал в период, когда на семинаре обсуждались одни только игры. То только что прошедшие, то предстоящие. Я совершенно не понимал, какова может быть моя роль в этих

обсуждениях, так как в играх я тогда не участвовал. Я как-то пожаловался Георгию Петровичу, что чувствую себя на семинарах как наблюдатель ООН на заседаниях террористической группы. Тогда он сообщил мне, что со следующего года собирается разделить игротехнический и методологический семинары. И действительно, в начале следующего, кажется, 1985 г. была объявлена программа, в которой предполагался историко-философский анализ текстов. Начался год с обсуждения «Топики» Аристотеля. Я взял на себя тему анализа английской аналитической философии, Витгенштейна, а где-то через полгода перешел на феноменологию.

Корр.: Да, действительно, впервые на моей памяти, а я участвую в семинарах с осени 1977 г., Георгий Петрович предложил анализировать классические философские тексты. И как долго это продолжалось?

А.П.: Около года. Постепенно семинар сильно трансформировался. Кроме того, я понял, что моя манера размышлять не устраивает методологов. Кончилось это примерно так, как и началось. Мне предложили сделать доклад. Темой его была интерпретация. Я хотел сделать доклад в том ключе, который заведомо не понравился бы Георгию Петровичу. Он это почувствовал. Поэтому он очень быстро меня прервал и стал в течение получаса доказывать мою несостоятельность. На этом все и кончилось. Я думаю, что его реакция была не спонтанной. Он, вероятно, почувствовал существенное расхождение в наших ориентациях. В результате, продержавшись в семинаре около двух лет, я ушел.

Корр.: В чем же состояли ваши расхождения?

А.П.: У меня нет полного ответа, поскольку для этого надо было бы ответить, в чем суть методологического движения. На это я не готов. Но я могу выделить некоторые характеристики, которые меня не устраивали. Во-первых, я стал чувствовать, что в дискуссии предметного характера у методологов преобладают не идейные, не содержательные соображения, а идеологические установки. Я имею в виду методологическую идеологию. При этом идеология была часто связана прежде всего с риторическими формами. Я научился даже проводить эксперименты. Я мог высказать одну и ту же мысль, используя разные словесные формы, и знал, когда она будет принята, а когда — нет. И это не было связано с изменением ситуации.

Есть еще одно очень важное обстоятельство. Мне кажется, что у всякой мысли можно выделить качество зрелости. Я пришел к выводу, что

для методологов требование зрелости мысли, ее продуманности, прожитости является несущественным. И, наоборот, для них ценной считается патологическая, на мой взгляд, спонтанность мысли, готовность защищать мысль, пришедшую секунду назад. Но ведь из собственного житейского опыта каждый из нас знает, что мысль, которая казалась нам чрезвычайно актуальной в момент возникновения, через месяц может потерять какое бы то ни было значение...

Здесь мы подошли к еще одной существенной, а может быть, и кардинальной особенности методологической работы, связанной с проблематизацией и конструированием нового содержания. Типичная для методологов ситуация возникновения мысли такая: в результате проблематизации человек попадает в (или у него образуется) пустое пространство; но к нему (к пространству) предъявляются жесткие требования, т.е. оно как бы программно сориентировано. В этой ситуации человеку может прийти в голову какая-то мысль, и если это происходит, методологи относятся к этому с одобрением. Но мне эта ситуация кажется глубоко нездоровой как в психологическом, так и в духовном отношении. Причем эта ситуация повторяется и на играх, и в семинарах, и даже в индивидуальной работе. Ей недостает некоторого качества духовной свободы.

И наконец, мне до сих пор кажется, что одной из самых сильных сторон методологического движения является глобальная установка на сочетание мысли и действия. С моей теперешней точки зрения, это отвечает двум из трех основных душевных сил человека: способности мыслить и действовать.

Третья — это способность чувствовать. Я думаю, что свою установку методологи онтологизировали в схеме мыследеятельности. По крайней мере, то, что в ней присутствует, легко узнаваемо в реальном поведении методологов. Но обратите внимание, что средним звеном, связующим мышление и действие в этой схеме, является не чувство и даже не слово, не речь, а коммуникация. Это слово из лексикона телефонных сетей, и, на мой взгляд, оно точно соответствует их реальности. Так вот, в среде методологов, безусловно, присутствует интеллектуальный элемент и элемент воли, а третий элемент, обеспечивающий гармонию двух других, т.е. чувство, заменен говорением.

Корр.: Но, несмотря на ваши разногласия с методологами, уйдя из семинара, вы начали участвовать в играх. Вас заинтересовали игры?

А.П.: Я бы сказал, что так сложились обстоятельства. Я перешел на работу в лабораторию А.И. Прохорова, где собралась команда, проводящая игры. И я действительно участвовал в играх Ю.В. Громыко и Л.М. Карнозовой. Я принял участие примерно в 10 играх по теме «Образование». Еще я как-то был на игре Г.П. Щедровицкого по автоматизации. Но я никогда не считал это своим делом, я был довольно дистанцирован от игротехников и скорее наблюдал за самим собой как участником игры.

Корр.: Что подтолкнуло вас к вальдорфской педагогике?

А.П.: Примерно с конца 1986 г., т.е. когда я ушел из методологического семинара, я начал изучать труды Рудольфа Штейнера: его философию и гносеологию, работы, посвященные эволюции и его взглядам на человека, короче говоря, все то, что часто называют эзотерическими работами. А поскольку Штейнер фактически разворачивал парадигму познания, которую начал создавать Гете, то я начал изучать и труды Гете. Через пару лет я познакомился с московскими и зарубежными антропософами, и в том числе с вальдорфскими педагогами.

Кстати, когда я только собирался прийти на методологический семинар, у меня состоялся разговор с Георгием Петровичем, где он сказал мне: «Толя, у вас есть только три пути — стать философом, педагогом или методологом». Я тогда ответил, что уж кем я точно не стану, так это педагогом, поскольку это самое плоское, мертвое и бессмысленное дело. Для меня тогда это было хуже, чем служба в ОБХСС. Но когда я встретился с вальдорфскими педагогами, это была как бы встреча с чудом. И не просто потому, что у них есть очень интересная философия детства и чрезвычайно любопытная гносеология, а потому, что я столкнулся с очень живой и серьезной практической педагогикой. Я как бы натолкнулся на живое зернышко в самом, казалось бы, мертвом месте. Я увидел людей с очень своеобразным, сильным и живым способом мышления. Можно сказать, что то, что я искал в методологии, — самобытное, новое и цельное, универсальное мышление — я нашел у вальдорфцев, но на (во многом) отличающихся основаниях. Это мышление не понятийное, а феноменологическое и образное. Это мышление немногословное, хотя и с богатой речью. А сходство в том, что в обоих случаях мы видим попытку (а в случае с вальдорфцами уже во многом реализованную) органически связать мышление и познание с практическим действием.

Корр.: Как случилось, что вы всерьез занялись вальдорфской педагогикой?

А.П.: А это опять во многом благодаря обстоятельствам. Сначала образовалась группа людей, которые захотели познакомиться с теоретическими основами вальдорфской педагогики. Потом неожиданно нам предложили помещение клуба для организации детского сада, и нашлась женщина,

которая стала вести детские группы. В этом же помещении оказались комнаты для организации кружков вальдорфского типа. Каждый взялся за то, что мог: кто кукол делать, кто рождественские спектакли ставить. Потом к нам начали приезжать из ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии лекторы-вальдорфцы и образовался еженедельный лекторий, который посещали студенты, учителя, родители. Но надо понимать, что начальный этап работы строился на основе благотворительности как со стороны приезжавших лекторов, так и с нашей стороны. За последние два года все сильно изменилось. Сейчас вальдорфская педагогика стала конъюнктурой. В Европе это не так. Там вальдорфские педагоги работают раза в полтора больше, чем обычные, а получают меньше.

Итак, через полгода с начала нашей работы мы поняли, что знания общих духовных и философских основ и энтузиазма недостаточно и что нужна более обстоятельная — и теоретическая, и практическая — подготовка для тех, кто хочет заниматься вальдорфской педагогикой. Нужно получить специальное образование вальдорфского учителя. В конце 1989 г. я съездил в Финляндию, посетил вальдорфские школы и детские сады, причем реальность превзошла мои ожидания. Весной 1990 г. мы окончательно решили создать постоянный учебный семинар. И главное, что уже были реальные 5–10 человек, которые хотели получить квалификацию вальдорфского учителя. Летом этот семинар был зарегистрирован, а в октябре начал работу. С января этого года в силу естественного расширения его задач он был перерегистрирован как Центр вальдорфской педагогики при Российском свободном университете. Сейчас на дневном отделении учится 18 человек, на вечернем отделении — 25. Курс рассчитан на два года. Кроме того, примерно раз в месяц у нас проходят интенсивные ознакомительные курсы по школьной педагогике и по детскому саду. В них принимают участие около 100 человек, приезжающих из разных городов страны. Центр начал заниматься и культуртрегерской работой. К нам приезжают выдающиеся специалисты по антропософии, по музыке или по живописи в вальдорфской школе. И мы стараемся устроить для них публичные лекции, например, в Институте психологии. Нам бы хотелось обеспечить возможность проникновения антропософской культуры в нашу культурную жизнь. Мы также начали переводить и издавать антропософские работы разных специалистов.

Корр.: Говоря об антропософской культуре, вы имеете в виду особенную, специфическую ветвь культуры, которая не является общепринятой и распространенной не только в нашей стране, но и в Европе?

А.П.: Это серьезный и неоднозначный вопрос. Дело в том, что антропософия по сути своей не является доктриной или концепцией. Более того,

для доктринерского сознания она вообще неуловима. В качестве иллюстрации я могу, например, сослаться на то, что среди 350 томов Р. Штейнера, включающих около 7000 лекций и докладов, посвященных антропософии, нет ни одного доклада на тему «Что такое антропософия?» Очень может быть, что антропософский духовный импульс реализуется в Европе или у нас совсем не адептами антропософии и осознается в других терминах. Классический пример гетеанизма — растение, которое никогда не существует как таковое, но постоянно существует в конкретных и разных его проявлениях: семечко, побег, лист, цветок, плод.

Корр.: Скажите, чем вальдорфские школы отличаются от других?

А.П.: Попробую воспользоваться аналогией. Сейчас все говорят об экологическом кризисе. Это означает, что человечество осознало ценность природы и обратило внимание на то, что ходом цивилизации природа уничтожается. Но есть не менее ценная реальность, которая точно так же разрушается ходом цивилизации. Это реальность детства. И если вы обратите внимание на то, что сегодня программы вуза переместились в старшие классы школы, программы старших классов — в средние, а программы начальных классов проходят уже в детском саду, вы поймете, о чем я говорю. Можно сказать, что каждый час несколько минут детства как бы отрезаются от человеческого существования. А причины этого не в чьей-то злой воле, а в том, что специфические жизненные силы детства скрыты от современного мышления. Так вот, вальдорфская педагогика пытается эти силы познать, пытается их развить, сохранить и обогатить. Вальдорфская педагогика — прежде всего экология детства за счет нового познания жизненных сил детства.

На что же устремлено это познание? Каково оно? Здесь мы подходим к одной из существенных характеристик антропософии и гетеанизма. Представьте себе, что в интерьере вашей комнаты преобладают острые или тупые углы или ваша мебель имеет скругленные очертания. С точки зрения рассудочного сознания это чисто геометрические характеристики. Но ребенок переживает эти формы по-разному, хотя и бессознательно. Вряд ли это можно «доказать», но можно постараться у себя, у взрослого человека, сформировать способность пережить или ощутить эту разницу, и это позволит вам сделать некоторые выводы. Вот такое познание качеств (формы, цвета или музыкального тона) — так называемое кволитативное познание — является одной из ступеней гетеанизма и достигается на уровне «созерцательной способности суждения», которая представляет собой метаморфозу аналитико-синтетической, дискурсивной способности суждения и которая на практике используется вальдорфскими педагогами, например, при оформлении интерьеров школ и особенно детских садов.

Вот другая тема. Вы можете почувствовать, как меняются в ребенке силы сознания на рубеже трехлетнего возраста, когда он начинает гово-

рить «Я». Вы можете почувствовать, как связаны эти силы сознания и двигательные способности. Вальдорфская педагогика исходит из изучения и «научного проживания» множества феноменов такого рода. Например, для вальдорфской педагогики чрезвычайное значение имеет идея метаморфозы части жизненных сил в силы сознания при смене молочных зубов. Ни жизненные силы, ни силы сознания не видны, но, опираясь на определенные феномены, мы можем познавать их как реальные силы детства. И эта реальность связана с душевными переживаниями ребенка. Любой из нас знает, как сильно ребенок в возрасте 7 лет нуждается в жесте заботы и любви. В возрасте достижения половой зрелости, т.е. примерно к 14 годам, когда у ребенка уже сформировалась способность к самостоятельному суждению, эта потребность значительно слабее, но зато очень сильно выражены потребность в познании, стремление к истине.

Фактически мы обсуждаем древнюю триаду. Добро, красота, истина. Ее средний элемент, по представлениям вальдорфских педагогов, наиболее важен в основной школьный период, т.е. с 7 до 14 лет, и в этот период вальдорфская школа отдает приоритет эстетическому началу, образному преподаванию. В этот период ребенок должен пережить, что мир прекрасен. Все это огромные темы, а я вынужден передавать их в двух словах. Но эти темы разработаны, с одной стороны, на очень высоком философском уровне, а с другой стороны, доведены до тысячи методических действий. Но я могу резюмировать, что вальдорфская педагогика — это практика, основанная на расширенном познании детства.

Корр.: В вашем рассказе вполне можно усмотреть наличие определенной концепции или даже схемы детства и предположить, что действия вальдорфских педагогов есть практическая реализация этой схемы. Не входит ли это в противоречие с вашим утверждением, что антропософия принципиально избегает доктринерства?

А.П.: Во-первых, я излагал не схему, а феномены. То, что вы усмотрели за ними схему, это ваша беда. Во-вторых, в вальдорфской педагогике, конечно, не исключена опасность построить технологию действия в соответствии с концепцией. И такие случаи, конечно, бывают. Но основная проблема любого духовного направления, претендующего на практическую значимость, состоит в том, чтобы духовное содержание в человеке могло быть преобразовано в деятельную способность: способность наблюдения, способность прийти к правильному суждению, способность к правильному действию. Но при этом все это не должно быть чисто импульсивным. Человек в любой момент должен быть способен остановиться и отдать себе отчет, в чем предпосылки его действия. Так вот, конечно, не все, но многие вальдорфские педагоги являются обновленными людьми, которые приобрели такие новые способности.

Корр.: Вы знакомы с методологическим подходом к проблемам образования. Вы участвовали в Играх по этой тематике. Можете ли вы сопоставить этот подход, в частности подход Ю. Громыко, с антропософским подходом?

А.П.: Вальдорфская педагогика — это оптимальный вариант педоцентризма, где все построено на познании ребенка. Та концепция, на которой строил свою работу Ю. Громыко, отталкивается от других реалий. Это «объективированные» реалии, как то: знак, процессы мышления, структуры знаний или схема предмета. И от этой высоты пока не удавалось спуститься до ребенка. У меня есть большое подозрение, что тип этих идеальных конструкций позволяет двигаться в них сколь угодно долго и интересно, но выйти из них, «заземлить» их нельзя. Они герметичны.

Вроде бы одна типовая ситуация позволяет это сделать: когда приверженец этой концепции в социальной ситуации занимает управленческую позицию. Но те случаи, которые я наблюдал, вынуждают меня констатировать, что и тут реализации не получается. По крайней мере, я не знаю ни одной школы, которая бы от первого до последнего класса реализовала хотя бы одну из педагогических концепций, которые так бурно обсуждаются в системе АПН, в том числе и методологическую.

Кстати, когда появляется талантливый педагог с хорошей педагогической интуицией, то на локальном уровне реализация происходит. Но здесь не удается выявить идеального содержания. Когда же идеальное содержание проработано, то нет никакой реализации.

Подводя итог, я бы сказал, что главная социально-культурная проблема, исток которой находится на уровне человеческого существа, выглядит следующим образом: для современного человека мышление не переходит в волю. Конструкции мышления живут своей жизнью и не претерпевают такой метаморфозы, которая бы переводила их в правильные действия. Мысль переходит в действие лишь опосредованно, как проект, который потом должен быть программно реализован. Но это не органическая связь мысли и действия. Возвращаясь к вальдорфской педагогике, нужно сказать, что она считает основной своей задачей воспитание практически мыслящего человека с органической связью идеального плана и плана реального действия.

Достигается это за счет развития тела — посредника между головой и конечностями, за счет развития дыхания и кровообращения, если говорить о физической субстанции. Но можно говорить и иначе, т.е. о развитии ритмического начала, повторения, ритуала, который раньше так или иначе присутствовал в семьях, а сейчас почти утерян. Например, когда год за годом по воскресеньям ребенок идет на прогулку вместе с родителями. Или общий семейный обед.

Одной из причин разрыва между мыслью и волей является также преждевременная интеллектуализация мышления. Гетеанизм ставит своей задачей развитие «неинтеллектуального», живого мышления. И я должен повторить, что душевная жизнь — это посредник между мыслью и волей. Чувство, с одной стороны, все-таки осознается, в противоположность неосознаваемому волевому импульсу, а с другой стороны, оно достаточно непосредственно, импульсивно. И без гармонизации чувств невозможно нормальное отношение между мыслью и волей, между сознанием и волей. Прямой переход от мысли к воле ведет к насилию идеи, господству идеи над человеком.

Корр.: Какое место в вальдорфской педагогике и в антропософии занимает религия?

А.П.: Антропософия — не религия, а наука, наука о тех реалиях, к которым раньше человек приходил на пути веры. Путь антропософии — это не путь веры, а путь познания, и в этом смысле он гораздо более долгий, а результат его гораздо скромнее. Но антропософия может приводить к углублению религиозного чувства в человеке. Р.Штейнер сказал: «Антропософия стремится не к тому, чтобы создать новую церковь, а к тому, чтобы социальная и практическая деятельность человека приобрела качества религиозной жизни, чтобы для естествоиспытателя его лаборантский стол превратился в алтарь». И высшим достижением для вальдорфского педагога было бы вести свою работу как служение духу. Я думаю, что в идеале это так и есть; общение педагога с учеником, врача с больным, ученого с природой — это и есть служение духу. Но действовать так очень трудно.

Что касается учеников, то в вальдорфской школе считается важным, чтобы дети получали религиозное воспитание. Вальдорфская школа не конфессиональна, т.е. в ней одни дети могут (по желанию родителей) получать католическое, другие лютеранское, а третьи иудейское воспитание. Для детей, родители которых не принадлежат ни к какой конфессии, вальдорфская школа предлагает так называемое свободное христианское воспитание. Например, даже в рассказах о природе учитель пытается показать проявление высшей жизни, духовности. Но религия не становится содержанием обучения, а религиозное воспитание не приобретает морализаторские формы. Поэтому можно сказать, что вальдорфская школа не религиозная, но, конечно, и не атеистическая, не материалистическая школа.

Корр.: Почему антропософию называют эзотерическим учением?

А.П.: Сегодня очень большое число людей может сослаться на то, что они имеют опыт, выходящий за привычные рамки дневного бодрствующего сознания. Обычно наше сознание заключено в границах, с одной стороны, опыта внешних чувств и, с другой стороны, опыта мысли, воспоминаний. Но все большему числу людей становится доступен некий опыт за этими границами. Самый простой случай — это сновидения. Другой пример сверхчувственного опыта — мышление в том случае, когда мы можем наблюдать наши мысли. Область, заключенную в границах, на которые я указал, можно называть экзотерической, т.е. открытой дневному бодрственному сознанию.

Если мы возьмем жизненные силы растений или астральную жизнь животных, то эти реалии недоступны обычному сознанию. Эти силы можно назвать эзотерической, или скрытой, областью. Внутренняя сущность человека, которая проявляется в его Я-сознании, метаморфоза его сущности, его существование в связи с телом и чувственным восприятием и в отрыве от тела — все это также попадает в область эзотерического.

Антропософия — это путь познания запороговой реальности. Р. Штейнер имел очень большой эзотерический опыт. Он попытался его описать.

Описания затрагивают разные аспекты этого опыта: у него есть чисто философские труды, теософские, педагогические и т.д. Для культуры это создает какую-то особую сингулярную точку, поскольку содержание этого опыта представлено в научной форме: не как религия, не как традиция восточной мудрости, а как научное знание.

Корр.: Вернемся в экзотерическую сферу. Как вы представляете себе свои перспективы, связанные с вальдорфской педагогикой?

А.П.: Сейчас я сам учусь на двухлетних курсах. И любопытно, что чем дольше я этим занимаюсь, тем больше у меня появляется интереса к детям младшего возраста. Если десять лет назад я мог бы преподавать только студентам, пять лет назад мне уже было интересно со старшими школьниками, год назад я уже работал, хотя и не без проблем, с восьмилетними детьми. Если я еще подразовьюсь, я пойду в вальдорфский детский сад. Но это очень трудно.

Это, конечно, шутка. Реально я думаю, что в ближайшее время откроется вальдорфская школа, и я надеюсь, что смогу преподавать в ней в старших классах. Причем я пока смогу преподавать только предметы. Классным учителем я пока не потяну. Но, может быть, когда-нибудь я смогу быть и классным учителем или даже воспитателем детского сада.

А. Пинский К истории Московской свободной вальдорфской школы[2]

Мы занимаемся историей для того, чтобы достичь самосознания.

Дж. Р. Коллингвуд «Идея истории»

1. Предуведомление

Писать историю Московской вальдорфской школы — дело интересное, трудное и рискованное. Ведь история — это не сводка фактов, данных и тому подобной информации. XX век ясно показал иллюзорность методологии исторического позитивизма; история несводима к хронике, она всегда наполнена смыслами, интерпретациями, оценками, и здесь, разумеется, неизбежно возникают проблемы (хотя бы потому, что практически все участники такой «живой истории» актуально живы и здравствуют, каждый из них видел и осмыслял описываемые события со своей позиции и может давать им свои интерпретации и оценки).

Мы привыкли, что исторический подход к тому или иному феномену предполагает значительную дистанцию во времени. Предмету исторического описания надлежит, как правило, мирно покоиться в прошлом, достичь известной полноты и выражения, явить свои последствия и грани. Наша же школа пока явно находится в становлении, у нас, попросту говоря, еще не было первого выпуска.

Но главное не в этом, не в факторах времени и давности. Центральный вопрос правомерности исторического подхода к предмету — это вопрос: а достоин ли вообще данный предмет именоваться историческим? Обладает ли он исторической значимостью? Можно ли говорить об истории нашей школы в том смысле, что древние к истории причисляли «не дела, но деяния»? К сентябрю 1992 г. (время открытия школы) в мире было, скажем, 530 вальдорфских школ. Если бы Московская вальдорфская оказалась просто 531-й, то ясно, что ответ на поставленные вопросы был бы отрицательным. Однако буде я убежден, что эта школа не привнесла ничего нового в культуру, что это просто 531-е воспроизведение традиционной матрицы, то я бы уж точно не писал эти строки.

И еще одно замечание. Реальная история всегда драматична, иногда к кому-то жестока; в ней живут полифония и борьба. Взгляд, еще не возвысившийся до олимпийских высот или до состояния Будды, будет обнаруживать в ней напряжения, порой конфликты, победителей и побежденных. Нелегко вынести за скобки исторической реконструкции этот фактор, «человеческий, слишком человеческий».

Все вышесказанное призывает к некоей авантажности и осторожности одновременно. История Московской вальдорфской школы — история современная и незавершенная. Повторяем, мы попытаемся наметить краткий очерк открытой истории. Впрочем, методологически подобный подход все больше понимается современностью. Карл Ясперс в своей знаменитой книге «Смысл и назначение истории» писал: «История не завершена, она таит в себе бесконечные возможности; любая концепция познанного исторического целого разрушается... То, что прежде порой отпадало как несущественное, обретает вдруг первостепенную значимость. Завершенная история видится нам невозможной, она движется из одной бесконечности в другую».

2. Исторический фон и контекст (конец 1980-х)

Вторая половина 80-х годов — время надежд и перемен в российском образовании. Самые разные силы и факторы сокрушали твердыню «советской единой политехнической школы» с ее Моральным кодексом строителя коммунизма и жестким бюрократическим управлением. Матвеевская «Учительская газета» обличала Академию педнаук («бастион реакции» — по тогдашней терминологии); все более сильно заявляли о себе «учителя-новаторы» и «педагогика сотрудничества»; возникло движение «Эврика» и генерация «авторских школ»; стали проводиться выборы директоров школ, причем порой в форме оргдеятельностных или деловых игр; был создан знаменитый днепровский ВНИК, который разрабатывал новую концепцию средней школы, провел в декабре 1988 г. Всесоюзный съезд учителей; заново редактировалась и переписывалась Педагогическая энциклопедия. И так далее. Может быть, самым важным во всем этом были не столько подобные конкретные дела и мероприятия,

[2] Опубликовано в книге А.А. Пинского «Пайдейя» (М., 1997).

подчас весьма крупные и серьезные, сколько некий ветер свободы, провеявший над тогдашним образовательным пространством («Ты скажешь: запахло озоном, трудящимся дали права...». — Галич). Автор этих строк участвовал, пусть и на скромных ролях, в некоторых из вышеназванных дел и потому берет на себя смелость утверждать, что может, до некоторой степени, изнутри судить о той атмосфере и тех событиях.

То было время борьбы со старым, время создания свободного пространства и — ожидания: что придет на освобождающееся пространство? Каким оно будет, или может быть, или должно быть, это Новое? Постепенно многие начинали ощущать, что конструктивная, позитивная деятельность по выработке, обретению этого Нового много труднее «оппозиционной» критической работы (хотя, разумеется, тогдашняя «оппозиционная» работа была вполне необходима и оправданна и, более того, требовала известного мужества). Что позитивного, в философско-педагогическом и методико-технологическом планах, можно противопоставить традиционным ЗУНам (знаниям–умениям–навыкам)? Какова альтернатива фронтальным и во многом не индивидуальным методам обучения и вообще «бездетной» педагогике пресловутых «основ наук»? Каковы новые содержательные интерпретации познания, природы, общества, истории, альтернативные сциентистским и технократическим? Какое место в образовании могут найти новые научные и философские направления (экология, культурология, герменевтика, социология, психология и т.д.)? Наконец, очень «простые и понятные» вопросы: как достичь того, чтобы дети любили школу? Как преодолеть известную отчужденность школы и родителей? Что такое новый школьный учебник? Что такое гуманистическая педагогика?

Легко ощутить, что подобные вопросы в своей пестроте и при этом в своем, пусть еще не четко очерченном, целом суть качественно иные, чем знаменитый вопрос Шаталова «Как учить без троек?» Действительно, после некоторой — увы, лишь некоторой и далеко не полной — расчистки авгиевых конюшен традиционной советской школы ряду педагогов и психологов становилось все более ясно, что проблема заключается не в изобретении отдельных эффективных методик, лучше срабатывающих в старых рамках, но в необходимости новой архитектуры самих этих базовых рамок образования. То есть в новой философии образования, в новой образовательной парадигме.

3. Антропософская увертюра (вторая половина 1988-го)

На широко раскрывшуюся пашню российской духовной, культурной жизни (и образования, в частности, см. выше), ранее сплошь

забетонированную, стали падать самые разные зерна. Некоторые из них предварительно прорастали, проклевывались в самых разных местах. Обратимся к событиям, предлежащим зарождению нашей инициативы.

В июне 1988 г. в Тбилиси прошел международный фестиваль искусств «Идриарт», среди основателей и постоянных участников которого находился ряд зарубежных антропософов. Это были концерты, эвритмические представления, лекции и групповые семинары по разным областям культуры. Акция проходила на большом подъеме, в изумительной природно-человеческой атмосфере грузинского лета, овеваемая тем же ветром свободы. На встречах и беседах, проходивших во время фестиваля, некоторыми российскими участниками было определено провести в Москве в самом конце сентября трехдневный праздник Архангела Михаила (антропософы во всем мире отмечают его по западноевропейскому календарю).

Так оно и состоялось. В последний день Михайлова праздника прозвучало немало различных пожеланий, намерений и идей насчет будущей работы, в том числе было намечено образовать педагогическую группу. Кроме того, вальдорфский педагог из Швейцарии г-жа Эльсбет Штеклин тогда же заявила, что она готова начать работу с группой тех мам, которые захотят учиться изготовлять вальдорфские игрушки для детей. Обе эти группы, «теоретическая» и «практическая», сначала независимо друг от друга действительно сформировались. «Теоретическая» стала встречаться на квартире Марии Скрябиной, дочери знаменитого русского композитора; началось групповое рассмотрение некоторых педагогических работ Штейнера. «Практическая» группа работала на частной квартире Светланы Усачевой. При этом мамы, участвующие в этой группе, стали водить туда и своих маленьких детей и заниматься с ними с привлечением отдельных элементов дошкольной вальдорфской педагогики. Потом, через пару месяцев, стали учащаться контакты между отдельными участниками этих двух групп, многие из которых были друг с другом знакомы и ранее.

4. «Аристотелевы времена» (1989–1990)

К концу зимы 89-го года в «практической» группе, что работала на квартире Светланы Усачевой в районе Усачевского рынка, сформировалось относительно устойчивое сообщество мам и детей. Квартира становилась маловата для продолжения работы. И тогда Светлана пришла просто так, с улицы, в свой ЖЭК и заявила, что она — многодетная мать, что у нее есть несколько знакомых матерей и молодых педагогов и что они хотят получить помещения и готовы освоить их под педагогическую работу, в том числе с детьми микрорайона. Жизнь, даже в Советской

России, вещь настолько удивительная, что иногда такие, как говорил Гегель, «кавалерийские» действия вдруг увенчиваются успехом. Начальница ЖЭКа привела ее в какие-то довольно прекрасные помещения и сказала в том духе, что «вот, пожалуйста, осваивайте...» Конечно, со всем этим были связаны еще разнообразные детали, о которых сейчас нет нужды рассказывать, но смысл ситуации состоял в том, что ЖЭК имел помещения для детской работы «по месту жительства» и при этом имел проблему заполнить их педагогической работой.

Разумеется, чтобы все это «освоить», нужны были люди и совершенно определенные усилия. Тогда произошло по сути известное соединение «практической» и «теоретической» групп. Был образован общественно-педагогический клуб «Аристотель», в котором возникли: детсадовская группа (мы тогда гордо говорили «первый в России вальдорфский детский сад», где Светлана Усачева стала старшей воспитательницей); кукольный театр (им занялась Алла Рогожина, теперешний директор клуба, при поддержке и большом содействии Феликса Штеклина из Швейцарии); ряд кружков (живописи, лепки, игр и т.п.); субботний лекторий. Очень большую роль в постановке дела в «Аристотеле» сыграл Борис Старостин (его супруга Ольга стала также воспитательницей в детсаду «Аристотеля»). Торжественный въезд детей в «Аристотель» состоялся 13 апреля 1989 г. —

С друзьями-антропософами в Финляндии, 1990 г.

Семинар по вальдорфской педагогике, 89–90 гг.

этот день, в некотором смысле, можно считать «социальным рождением» вальдорфской педагогики в России.

В регистрации и организации работы «Аристотеля» большую помощь оказал известный социальный педагог Юрий Березкин, который являлся тогда директором социально-педагогического комплекса «Лужники», в чьих юридических рамках и был образован «Аристотель». Разумеется, клуб проходил «утверждения и согласования» в разных инстанциях: в РОНО, парткоме ЖЭКа, отделе культуры райисполкома и т.п. Мне тогда приходилось представительствовать по этим вопросам, и я очень хорошо помню, например, собрание в парткоме ЖЭКа, где полтора десятка пенсионеров-партийцев очень серьезно и доброжелательно выслушали доклад о гуманистическом образовании, перестройке школы и роли искусства в новой педагогике и после непродолжительных прений по предложению парторга товарища Боброва единогласно все поддержали и одобрили. Чудесные времена!..

Важным компонентом «Аристотеля» оказался лекторий. Это было место, куда приходили люди и где многие впервые знакомились с вальдорфской педагогикой. Тогда в Москву зачастили самые разные зарубежные вальдорфские учителя. Они в основном и выступали с лекциями. Небольшой зал «Аристотеля» мог вместить до сотни с лишним человек; порой он бывал переполнен. Лекторий работал еженедельно по субботам, иногда устраивались и дополнительные лекции и беседы, рабочие занятия (в том числе по живописи, работе с деревом и т.п.). Вокруг лектория сама собой сформировалась некоторая аудитория; в нем побывало, по моим грубым прикидкам, порядка полутысячи человек. Около сотни закрепилось, они в будущем и составили основу учительского и, далее, детсадовского стационарных образовательных курсов (по прижившейся немецкой терминологии — «семинаров»).

В конце 1989 г. начала прорабатываться идея о работе уже не только в форме разовых лекций с постоянно меняющейся аудиторией, но о некоем более регулярном курсе. Он был подготовлен и проведен (под названием «про-семинар») в основном силами датчан и шведов в марте–мае 1990 г. В регулярной группе про-семинара участвовало около 35 человек, публичные лекции читались в престижном зале Библиотеки иностранной литературы. На про-семинар прибыл с недельным курсом Эрнст-Михаэль Краних из Штутгарта, и тогда же состоялись переговоры с ним и Вальтером Либендорфером из Швеции, после чего было решено открывать в 1990 г. стационарный дневной двухгодичный семинар по подготовке квалифицированных, «сертифицированных» вальдорфских учителей. Время начала семинара, его структура и тому подобные вопросы — все это еще нуждалось в доработках и уточнениях, многое по ходу дела затем менялось, однако принципиальное решение было принято.

5. Первый курс учительского семинара (лето 1990-го — лето 1992 г.)

Московский центр вальдорфской педагогики

Московский вальдорфский учительский семинар был первоначально зарегистрирован в рамках Российского открытого университета. Основатель и ректор университета Борис Михайлович Бим-Бад был активным участником российского образовательного обновления конца 80-х, ныне он академик РАО. Пользуясь случаем, хочу выразить ему здесь большую благодарность за помощь, оказанную им основанию Московского вальдорфского семинара. Во внутреннем смысле семинар был развитием, следующей метаморфозой лектория в «Аристотеле» и вышеупомянутого про-семинара — ядро его студенческого состава пришло именно оттуда; да и все два года семинар работал в «Аристотеле». На этом шаге развития — построение семинара и его работа — к делу очень активно и конструктивно подключился Владимир Загвоздкин.

Открытие семинара состоялось в конце сентября 1990 г. Семинар работал первый год двумя группами — дневной и вечерней (на втором году обучения вечерней группы не осталось, часть ее студентов перешла в дневную). Многие известные зарубежные вальдорфские педагоги приезжали преподавать в семинаре. За границей тогда у всех на устах были Горбачев и перестройка; то было не только время нашей эйфории на предмет вальдорфской педагогики — на другой стороне была еще более сильная эйфория на предмет гласности, России, «третьего пути» и т.п. В декабре 1990 г. я посетил Германию, и пожилые антропософские дамы порой с дрожью в голосе спрашивали

Толя, Марина и Зоя летом в Германии. Начало 1990-х гг.

меня: «А вы действительно из России? А вы видели Горбачева?» По всему зимнему Франкфурту были расклеены плакаты, изображающие худого русского мальчика в ушанке, с надписью: «Это русский мальчик Коля. Чем ты помог Коле?!» Живописная стилистика была столь же пассионарной, как на плакате «Ты записался добровольцем?!»

Семинар с самого начала повел и внешнюю работу. Уже в ноябре 1990 г. мы провели недельный вводный курс, в котором приняло участие много иногородних учителей. В дальнейшем эти курсы стали практически традиционными, из числа их участников многие затем основывали вальдорфские инициативы и, далее, школы в разных городах России. Иногда преподаватели Московского семинара выступали в МГУ и в иных аудиториях. Зимой 1990/91 г. были организованы два больших курса по детсадовской вальдорфской педагогике, на этой основе затем, осенью 91-го года, мы открыли детсадовское отделение.

Вообще говоря, оглядываясь назад, видишь, что в самом начале 90-х годов по России прошла некоторая «вальдорфская волна». Статьи о вальдорфской педагогике заказывались изданиями с тогда еще миллионными тиражами. Центральное телевидение давало не раз объемные передачи, порой даже в «золотое время». Курсы западных педагогов, организуемые безо всякой рекламы, легко собирали большие аудитории. Лекции о вальдорфской педагогике звучали в престижных российских залах: в Библиотеке иностранной литературы в Москве и в Герценовском институте в Петербурге, в институтах Рязани и Тобольска, в Казанском университете и на психологическом факультете МГУ. Забегая вперед, отметим, что осенью 91-го года вальдорфской педагогике был дан прием «по большому счету» в российском Белом доме, а вальдорфский симпозиум осенью 92-го

С Зоей летом в Германии

года собрал 700 человек в роскошных залах бывшей цековской Академии общественных наук.

Вальдорфская педагогика очаровывала многих педагогов, студентов, родителей удивительным сочетанием художественности и педоцентризма, духом свободы и философской глубиной. Она выступала для многих как живой ответ на ряд давно, до нее и без нее, поставленных мучительных педагогических вопросов: как достичь того, чтобы дети любили школу? Как сделать школу родной для родителей? Как учить живо, а не абстрактно математике и грамматике? Как ориентировать преподавание не только и не столько на пресловутую «логику учебного предмета», сколько на ребенка? Как работать в большом классе? Как учить всех детей, а не отобранных по тем или иным селективным критериям? Как достичь свободы педагогического творчества для учителя? Как создать и поддерживать в школе духовно насыщенную, живую атмосферу? Как школа может стать действительно свободной и самоуправляемой? И т.д.

Очевидно, что потенциал, заряд подобных вопросов очень высок. Педагогическая традиция, имевшая свой системный вариант ответа на подобные вопросы в целом, не могла не встретить у многих самый горячий прием.

Надо сказать, что отзывы были разные, восторженные, но и не только. Ряд положений вальдорфской педагогики вызывал также и сомнения у многих педагогов, в том числе и заслуженно авторитетных. Наибольшие сомнения вызывали: известная, порой подчеркнутая позиция на предмет второстепенности «прочных знаний»; прямолинейная трактовка принципа «классного учителя» (8 лет и все предметы); отсутствие реальной альтернативы классно-урочной системе; по-прежнему сильный элемент фронтального обучения в больших классах; слабая проработанность связей вальдорфской педагогики с серьезными философскими, психологическими и педагогическими разработками, проделанными в мировой и российской культуре за последние десятилетия; некоторая «жесткость традиционализма», в чем-то безоговорочного следования наработанным в вальдорфской традиции методикам работы и формам педагогического мышления.

Там же

[…]

В результате, замечу лично от себя, уже в 91–92-м годах после первых попыток осмысления и объективации ситуации я стал ощущать некоторую ее подспудную двойственность. С одной стороны, вальдорфская педагогика довольно уверенно входила в российскую действительность; с другой — она входила с самого начала как-то локально, чуть ли не местечково. Можно было почувствовать назревающую перспективу «изоляционизма», т.е. что вальдорфская педагогика окажется довольно замкнутой в себе областью внутри культурно-педагогического пространства, что коммуникация между нею и «миром» не будет живой, многомерной и открытой. Педагогика, основанная Штейнером в духе общечеловеческого, глобального дела (на Западе некоторые яркие вальдорфские педагоги все более говорят сейчас о важности «глобального сознания»), и провинциализм сознания... Кроме того, уже тогда чувствовалось, что может возникнуть нежелательная тенденция в отношении будущего имиджа вальдорфских школ в России: что

С коллегами в школе.
Начало 1990-х гг.

Толя и Сюзанна Хофинга.
Начало 90-х гг.

они будут восприниматься как школы, где «хорошая атмосфера, но ничему не учат», т.е. как нечто доброе, но не очень серьезное, должным образом не «заземленное». Увы, действительность потом подтвердила эти опасения. Например, в политически авторитетном журнале «Президент» в 1994 г. появилась статья под названием «Свободная школа, где ничему не учат»; в 1995 г. мне пришлось публично реагировать на статью в «Учительской газете» о том, что «вальдорфская школа — вещь чудесная, спору нет, но всякому ясно, что госстандарт образования она не обеспечит». И тому подобное.

Хочу заметить, что подобными мыслями я тогда не раз обменивался с некоторыми ведущими вальдорфскими педагогами Запада, и многие из них все это очень хорошо и сочувственно понимали. Например, один из руководителей немецкого вальдорфского движения сказал мне: «Герр Пинский, если в России у вальдорфской школы сложится имидж “школы искусств для глупых либо больных детей”, то это — могила российского вальдорфского движения». Другая реплика не менее уважаемого немца: «Если после вашей вальдорфской школы дети не будут поступать в университеты немного лучше, чем после массовой общеобразовательной, то у вас плохая вальдорфская школа».

В конце 1991 г. мы вполне по-доброму вышли из Российского открытого университета и основали Московский центр вальдорфской педагогики. Цель — во многом затем реализованная — состояла в том, чтобы создать некий целостный комплекс, включающий в себя два учебных отделения (семинара) и издательство и нацеленный на создание и поддержку будущей вальдорфской школы. Последнее стало главной задачей конца 91-го — начала 92-го года. В июне 92-го года первая когорта наших «семинаристов»

С учителями и школьниками у входа в школу. Начало 90-х гг.

должна была завершить образование; уже с сентября 91-го года ряд из них начал регулярно работать, по субботам, с детьми предшкольного и младшего школьного возраста. Эти дети и составили ядро будущих классов. Вопрос об основании школы вышел на финишную прямую.

6. Подготовка и рождение школы (январь–сентябрь 1992 г.)

К началу 1992 г. у нас была ситуация, которую так кратко охарактеризовал Лев Григорьевич Векслер (замначальника Управления образования Центрального округа Москвы, он очень много помог в работах по школьному зданию, за что я здесь с удовольствием выражаю ему большую благодарность): «Дети есть, учителя есть, родители есть. Учить негде». Решающим стал поиск помещений, здания.

В те месяцы мы очень хорошо поняли, что одних идей и стремлений мало, школе нужен Дом — не только прагматически, но и как символ достаточной связи всей данной инициативы с землей. То были непростые поиски, случались и срывы, даже драматические. Но очень многие люди тогда вдруг стали помогать и участвовать в этой работе. Свою роль сыграл уже упомянутый прием в российском парламенте (Белом доме), который организовал мой бывший коллега по работе в Академии педнаук Владимир Михайлович Кузнецов, в то время он был депутатом Верховного Совета. На этом приеме была Любовь Петровна Кезина, председатель Московского департамента образования, которая заверила в своей поддержке создаваемую вальдорфскую школу и затем полностью выполнила свои обещания. К вопросу активно подключилась ее заместитель Лариса Евгеньевна Курнешова, чье значение для нашей школы далеко выходит за рамки ее большой (может быть, кстати, решающей) помощи в поисках здания. Нам было предложено школьное здание в Стремянном переулке, которое находилось в капитальной реконструкции. Тогда же нам помогла Ольга Николаевна Держицкая, начальник отдела негосударственных школ департамента. Положительное отношение и действенную поддержку оказали нам начальник Управления образования Центрального округа Евгений Александрович Потапов и, как уже было сказано выше, его заместитель Лев Григорьевич Векслер, а также Вера Ивановна Лопатина (в то время она была ответственной за дошкольные учреждения, а сейчас является первым замом начальника Управления).

Мы брали здание в долгосрочную аренду и должны были до конца лета завершить его реконструкцию. Здание в аренду было нам передано постановлением правительства Москвы, само оформление этого постановления потребовало многих месяцев, и в этих трудных проблемах мы также нашли понимание и поддержку в правительстве Москвы (я хотел бы

особо выделить и поблагодарить префекта Центрального округа Александра Ильича Музыкантского и ответственного специалиста аппарата правительства, чудесного человека Надежду Николаевну Брагинскую). Наконец, last but not least, очень много для основания школы сделали уже упомянутый в этой статье руководитель Штутгартского свободного университета вальдорфской педагогики Эрнст-Михаэль Краних и особенно один из административных директоров Союза вальдорфских школ Германии Гюнтер Альтехаге.

Ну вот, получилась некая коллективная здравица... Но мне кажется очень важным назвать имена этих людей, без участия которых школа была бы невозможна. Когда решались все эти вопросы, я переживал, что вокруг школы стала появляться некая добрая и поддерживающая «социальная оболочка», внутри которой школа, собственно, и рождалась и далее становилась на ноги. Я не раз думал об этих людях: почему все они так хорошо отнеслись к нашей инициативе? Ведь я постоянно ощущал с их стороны не только практическую помощь, но и реальный внутренний интерес к самому этому вопросу — основание в Москве вальдорфской школы. Почему? Откуда? Я склоняюсь к той мысли, что время было такое. Как говорили древние греки — kairos, «подходящий особый момент в судьбе». Такие вещи трудно характеризовать, однако я уверен, что важные особен-

С родителями и гостем из Германии. Середина 90-х гг.

ности этого момента связаны с реальностью, отмеченной выше, в главе «Исторический фон и контекст». В образовательной жизни то время действительно было временем обновления, стремлений к новому и поисков нового. И люди, уловившие этот импульс, каждый на своем месте и в своей должности, в принципе позитивно реагировали на него; рискну даже сказать, что этот импульс образовал некое тонкое, неуловимое чувство общности у самых разных людей, знакомых и незнакомых, встречавшихся и расходившихся, но участвовавших в тогдашней большой попытке обновления российской школы. Подчеркну, что тогда, встречаясь и работая с «чиновниками от образования» (это слово не имеет для меня заведомо отрицательной окраски), я то и дело замечал, что на идею вальдорфской школы они реагируют не только и не столько как чиновники, сколько как педагоги, им это было *интересно*. И совсем простая и очевидная мысль: думаю, каждый согласится, что сейчас подобной вещи повторить бы уже не удалось. Время изменилось.

***

Здание находилось в тяжелом состоянии. Это было школьное здание, построенное в 1936 г., в нем учились такие люди, ставшие затем великими, как поэт Андрей Вознесенский, кинорежиссер Андрей Тарковский, священник Александр Мень. Потом в нем была вечерняя школа. С конца 80-х годов здание было законсервировано и по сути постепенно разрушалось. Реконструкция (в том числе надстройка пятого этажа и пристройка спортзала) началась в 90-м году, но, видимо, шла поначалу не очень активно. В принципе она была очень значительной: достаточно сказать, что менялись все перекрытия и подводился второй фундамент. Руководителями реконструкции были Виктор Георгиевич Мисютин (начальник стройтреста «Москворечье») и Александр Леонидович Травкин (главный инженер генподрядной фирмы). Альтехаге пригласил в Москву из Германии пожилого эксперта Хайнца Лохера (еще один замечательный человек, который, среди прочего, организовал «конвой» из 5 огромных грузовиков, доставивших в Москву материал для покраски всего пятиэтажного здания; использованную, но очень хорошую школьную мебель и кучу всего прочего). Лохер много лет работал руководителем бюро по консультированию строительства вальдорфских школ. Он осмотрел здание, задал ряд вопросов строителям, что-то рассчитал в своем блокноте. Потом сказал: «Господа, сейчас март. К 1 сентября даже в Германии, при нашей технике и организации, эту реконструкцию завершить было бы невозможно». Мисютин и Векслер переглянулись, потом отвели меня в сторонку и сказали: «Да не беспокойся, все сделаем. 1 сентября сможешь запускать сюда детей».

Они оказались в конечном итоге правы. Но до этого конечного итога надо было еще дойти. С нашей стороны строительные работы контролировал Володя Карлов — молодой строитель, сумевший сработать чрезвы-

чайно эффективно и четко. Конечно, многое шло «по-русски», на еженедельных планерках все время фиксировались срывы в отдельных работах, в поставках материалов и т.п. К фасадным работам приступили чуть ли не в августе. В коридорах у стен на ночь ставили включенные софиты, ибо штукатурка не успевала высохнуть. Но школа выходила красавицей: сыграла свою роль краска Лохера — в интерьере школы оказалось 120 колеров. Всей художественной стороной раскраски, равно как и настенными картинами в классах, руководил пожилой, но огненно-энергичный немец Готхильф Михаэль Пютц. Будущий наш завуч и учитель Михаил Случ погрузился, в переносном и прямом смысле, по макушку в краску. Красили маляры, красили родители, Случ мешал краску, Пютц метал громы и молнии («Анатолий, ты должен немедленно, с завтрашнего дня уволить всех этих рабочих и позвать новых!»); родители кипятили чай и поили наверху, в актовом зале, рабочих и Пютца, он немного отходил. Уже середина августа: уборка, отмывка, снова уборка, снова отмывка; в школьном дворе — груды строительного мусора, надо уже завозить и собирать мебель, оборудование в столовую. Почему не завезли бетон?! Что с сантехникой?! Через пять дней госкомиссия!! Все сроки вышли!!!

Прошел слух, что через пару дней на стройку приедет Лужков. За эти пару дней... короче говоря, я думаю, что если бы этот слух не прошел, мы бы школу 1 сентября не открыли. Лужков не приехал, но приехал его первый заместитель Виктор Алексеевич Коробченко. Ходит по всей школе, почти целый час, осматривает все классы, все помещения. Ничего не говорит. Мы с Векслером его молча сопровождаем, Карлов и Мисютин держатся чуть поодаль. Выходит из школы и произносит: «Да... В наше темное время — это как свет в окне». (Про «темное время», может быть, многие сейчас уже подзабывают. Однако Коробченко не был неправ. Вспомним: мы взяли здание в конце февраля — начале марта, через полгода после августовского путча, через три месяца после распада Союза и через пару месяцев после гайдаровской либерализации цен; с зимы по лето 92-го года инфляция шла по классической формуле кавалерийской атаки «шаг–рысь–галоп–карьер»; начал возникать пресловутый феномен «неплатежей и разрыва хозяйственных связей». На большой стройке все это можно было прямо прочувствовать. Коробченко, я думаю, чувствовал это еще лучше и предметнее.)

Открытие 1 сентября висит на волоске. Неизвестно, успеем или нет. Приехала Л.П. Кезина. Прошла по всему зданию. «Любовь Петровна, вы приедете к нам на открытие 1 сентября?» — «А вы уверены, что откроетесь 1 сентября?» М-да... я не был уверен. Через два дня «Московский комсомолец» напечатал отчет о заседании Московского правительства, посвященном подготовке к началу нового учебного года. И там корреспондент процитировал из выступления Кезиной: «Вот, вальдорфскую школу открыли — красоты неописуемой школа». Так оно и было.

Кресла в актовом зале собирали до 4-х часов утра в ночь с 31-го на 1-е. Табличку с названием школы у входной двери установили 1 сентября в половине восьмого утра. В начале девятого стали приходить первые дети с родителями. Школьный двор, разумеется, имел все черты послеперестроечного состояния, но широкая дорожка от ворот до школьных дверей была ровной и чистой. Утро выдалось солнечным и свежим. Двор заполнялся детьми, родителями, гостями и цветами. На крыше спортзала гремел духовой оркестр. Пришли многие из тех, кто помогал школе родиться, пришли рабочие, проводившие реконструкцию. В небо взвилась огромная гроздь из ста двадцати цветных воздушных шаров (по числу первых наших детей). Оркестр замолчал. Мы с префектом А.И. Музыкантским двумя ножницами разрезали входную ленточку. Первой в школу вошла Алла Рогожина, неся горящую свечу, зажженную в «Аристотеле», за ней — классный учитель 1-го класса Татьяна Владимировна Осиповская со своими учениками-первачками. И далее — еще три класса со своими классными учителями: 2-й класс — Сергей Александрович Ловягин, 3-й класс — Ольга Юрьевна Ковалева, 4-й класс — Марина Александровна Гиверц.

7. Работа школы (вчера, сегодня, завтра)

Московская вальдорфская школа работает четыре года. Сейчас в школе девять классов, самый старший восьмой (у нас два третьих класса, «А» и «Б», потому что в 1994 г. мы набрали два первых), около 250 детей. В 2000 г. наш старший класс станет одиннадцатым; в первый год нового тысячелетия у нас будет первый выпуск.

Что можно сказать о прошедших годах? Школа состоялась. Мы прошли две государственные аттестации. Было очень много работы, зачастую казалось, что текучка заполоняет все. Было и много праздников, спектаклей, концертов. Мы работали и работаем над учебными планами и программами, обустраиваем понемногу кабинеты, ищем деньги, спорим на педсоветах, ищем учителей. В общем, идет учебно-воспитательный процесс, в чем-то повседневный, в чем-то творческий. Как писал, вспоминая о прошлом, Иосиф Бродский:

«Как ты жил?» — Как буква «г» в «ого».
«Опиши свои чувства» — Смущался дороговизне.

И тому подобное.

Однако возьму на себя смелость настоятельно утверждать, что у всей этой «текучки» был и остается некоторый глубинный смысл и некоторый вектор развития. В 1992 г. мы начинали, в каком-то смысле «все зная». Мы знали, какими должны быть учебный план и расписание, мы знали, какие должны быть классы, как устроен главный урок и конференция педагогов и т. д. Структура была прочерчена четко, казалось, что остается лишь по-

степенно «заполнять пустые клеточки» учебным материалом и опытом. Короче говоря, мы начинали как типичная проектная школа: идеальный проект предзадан, дело состоит в том, чтобы его реализовать. Время, дети и родители, самые разные люди (короче — жизнь) стали постепенно вносить коррективы в эту исходную установку.

Перед нами нарастали, очень конкретно и в самых разных разворотах, те глубокие вопросы, которые я уже отчасти обозначил выше, в пятой главе этой статьи. Жизнь и практика постепенно отрезвляли и «объективировали», по крайней мере, многих. Ряд задач требовал серьезных собственных разработок (русский язык и литература, краеведение, история, но также и математика, и физика, и музыка и т.п.) и более общих размышлений: когда классный учитель может сдавать отдельные эпохи и предметы? Как наблюдать, характеризовать и развивать мышление детей? Что такое уровень обученности? Как поставить разумную дифференциацию обучения? И, наконец, что мы делаем? Импортируем западноевропейскую классическую модель вальдорфской школы? Или же мы ее адаптируем с учетом иных внешних условий? Или же мы сами пытаемся понять и реализовать некоторые основные идеи и принципы вальдорфской педагогики? Но в чем тогда заключаются эти внутренние принципы и какие из них «незыблемы и неотъемлемы (термин С.А. Ловягина) от вывески “вальдорфская школа”»? И полушепотом через три года: «А в вывеске ли дело?» В школу стал входить проблемно-исследовательский компонент; школа, первоначально чисто проектная, стала приобретать качества школы-лаборатории и инновационной школы. Особо хочу отметить, что нам приходилось и приходится самостоятельно продумывать и разрабатывать ряд вещей, нетрадиционных для «канонической» вальдорфской школы: новую модель дифференциации в среднем звене «параллельные эпохи», подходы

В своем кабинете в школе. Середина 90-х гг.

к изучению «двух историй» (всеобщей и российской), новый эпохальный годичный ритм (с резкой минимизацией предметов, которые изучаются только раз в год), новую структуру тренировочных уроков и недельного расписания в целом, музыкальной работы в школе и т.п.

Конечно, появление элемента проблемности — дело обоюдоострое; проблемность будит вопрошающую, самостоятельную мысль, и она же приводит к дискуссиям, спорам, порой к некоторой неуверенности (старые мысли уже поставлены в чем-то под вопрос, новые еще не сформулированы и не испытаны). Эта типичная ситуация развития, особенно и глубоко присущая положению современного человека вообще, всегда драматична, в меньшей степени или в большей. Она подобна, по Штейнеру, «испытанию воздухом». Но слава Богу, что мы, начиная с «всезнания» о вальдорфской школе, через несколько лет смогли хоть чуть-чуть приблизиться к состоянию Сократа, первого европейского исследователя и интеллигента, который сформулировал: я знаю твердо лишь одно — что я ничего не знаю.

Дискуссии эти не могли оставаться только внутренним делом группки учителей. В чем-то они затрагивали родителей, иногда выходили за пределы школы, в том числе и в прессу (см. довольно резкую полемику по вопросу о «неукоснительном исполнении» так называемой истинной учебной программы вальдорфской школы).

Мне представляется, что главным результатом всех этих поисков и дискуссий являлась выработка школой все большего собственного самосознания, все более современного понимания вальдорфской педагогики, ее свободной интерпретации. Как мы можем теперь выразить ее главные, принципиальные черты и возможную перспективу?

1. «Вальдорфская школа — школа для всех»

Это школа для детей самых разных социальных слоев (инженеры, рабочие, журналисты, предприниматели и т.д.; если называть ее школой для среднего класса, то этот класс следует понимать очень широко). Это школа для детей самых разных способностей и ориентаций, для детей из семей самых разных мировоззренческих направлений (православных и атеистических, иудейских и мусульманских) и национальностей; например, в ЮАР вальдорфские школы были первыми, где стали вместе обучаться черные и белые дети.

2. «Наука и искусство едины»

В вальдорфской школе, во-первых, значителен удельный вес предметов эстетического цикла (музыка, живопись, лепка, художественное рукоделие, драматика и т.п.). Во-вторых, и это главное, академические предметы также преподаются на образно-художественной и феноменологической основе.

3. «Образование — это детское индивидуальное творчество»

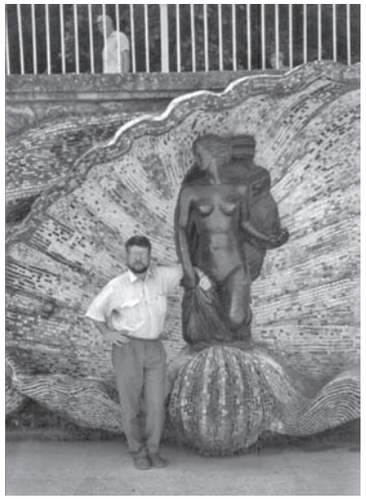
Это творчество отвечает индивидуальности ребенка, его возрастному состоянию и потенциям развития. Роберт Мак-Дермот (президент Калифорнийского института интегрального образования): «Вальдорфская школа заботится о развитии творческих и неповторимых способностей у каждого ребенка и в результате — способностей нашей цивилизации».

4. «Земля и природа — единый живой организм»

В эпоху экологического кризиса нет нужды обосновывать важность этого тезиса. Для школ много важнее найти методические пути приобщения детей, особенно в мегаполисах, к переживанию природы, ее экологической целостности и причастности к ней человека; вальдорфским школам есть здесь что сказать и, конечно, есть еще над чем работать.

5. «Человечество в своем историческом развитии — единый живой организм»

Дети в вальдорфской школе проводятся через основные пласты человеческой истории и культуры, подводятся к переживанию различных типов сознания исторического человека. Это волшебные сказки и античные мифы, ветхо- и новозаветный материал, жизнь Будды и жизнь Магомета, средневековые легенды и Возрождение; они знакомятся и по возможности изнутри прорабатывают существо и стили музыкальной культуры, различных форм литературы, научного, технического и политического сознания, различные типы религиозного сознания (в культурно-исторической, «не-



Летом в Светлогорске,
Середина 90-х гг.

конфессиональной» интерпретации). При всем значении модных в XX в. идей (будь то Шпенглера, Леви-Стросса или Тойнби) о самозамкнутости, автаркии различных целостных форм культур и цивилизации мы все же полагаем, что «наши человеческие перегородки до неба не достают».

Все вышесказанное можно кратко обобщить так: вальдорфская педагогика выражает стремление к образовательной форме общечеловеческого культурного экуменизма, она содержит в себе предпосылки педагогики духовно-культурной реинтеграции будущего. Вальдорфская школа кардинально отличается от технократической школы индустриального общества, в том числе и от обычной нынешней массовой школы, не «главным уроком» и не «преподаванием по эпохам» (конечно, эти технологии отработаны, и нет нужды менять их без особых оснований, внутренних или внешних), но тем, что она несет в себе альтернативную интерпретацию материалистической научной парадигмы, целостное (интегральное, холистическое) отношение к природе, культуре и человеку.

Мы полагаем, что теперь у нас есть основания высказать следующий основной тезис: вальдорфская педагогика в своей свободной и современной форме может стать одним из потоков, питающих будущую новую образовательную парадигму и тем самым вливающихся в нее. Речь идет, с одной стороны, о педагогике, которая уже сегодня твердо стоит на земле и может давать зримые плоды (т.е., да простится это слово, результаты), с другой стороны — о педагогике будущего. И вальдорфская школа живет в напряжении этих двух полярностей, в каждый момент пытаясь их сбалансировать.

С коллегами Ритой Парсадановой
и Машей Варламовой в школе.
Середина 90-х гг.

По определению ясно, что вальдорфская педагогика не сможет вырастить новую образовательную парадигму в одиночестве. Признаки альтернативных интегральных подходов последние два—три десятилетия явно обнаруживаются в физике и психологии, в философии и экономике, в экологии и социологии. Все они противостоят технократизму, тоталитаризму (будь то политическому, мировоззренческому или научному), атомизации природы и общества, все они ищут целостный, холистический метод понимания жизни и участия в ней. Современная мультикультурная ситуация может развиваться только при условии, во-первых, активной внутренней интуиции отдельных ее участников и, во-вторых, множественного диалога между ними, за счет «перекрестного опыления». И вальдорфская педагогика, оставаясь сама собой и развиваясь сама над собой, может вносить свой голос в эту длящуюся ныне Репетицию Оркестра, из которой когда-то прозвучит Мелодия Будущего.

Сколько это потребует времени, понимания и усилий и в конце концов какова здесь будет скромная роль Московской вальдорфской школы, которой, собственно, и посвящена данная статья, — вопросы, разумеется, открытые.

Необходимое послесловие

Эта статья писалась в начале лета 1996 г. В это время уже прорабатывался вопрос в соответствующих инстанциях о государственной перерегистрации школы. Коротко говоря, причина, которая побуждала нас ставить и продвигать этот вопрос, носила экономический характер. К весне 1996 г. стало ясно, что содержать наше большое здание на условиях аренды — при аксиоме сохранения основного контингента наших детей и соответственно родителей — далее невозможно. Вопрос этот продвигался непросто; даже многие, казалось бы, внешние и далекие обстоятельства его решение не облегчали. Достаточно вспомнить, что это была пора двух туров президентских выборов и серьезной реорганизации Московского департамента образования, который как раз тогда преобразовывался в комитет. И все же — опять же при поддержке Московского и Центрального окружного комитетов образования — нам удалось перейти в государственный сектор образования при сохранении основных педагогических принципов школы, т. е. в педагогической преемственности с МСВШ. Я вновь должен был бы здесь сказать много добрых слов о тех людях, что нам помогали при основании школы и которые уже назывались выше. 27 августа был издан соответствующий приказ об открытии на нашей базе средней школы № 1060, 30 августа он был дополнен соответствующим приказом по Центральному округу.

Подобные вещи, конечно, приносят много дополнительной работы (фактически это на 50% основать новую школу, примерно по пословице «один переезд равен половине пожара»), но другого выхода не было, и слава Богу, что получился этот. Итак, школа начала 1 сентября 1996 г. новый учебный год в существенно новых юридических условиях. Оценить такие серьезные структурные перемены можно, разумеется, только по истечении значительного времени. Новая ситуация порождает новые вызовы, создает новые ограничения и дает новые возможности. Однако, как это видится сейчас, возможности эти и вызовы много существеннее и интереснее, чем ограничения. Оправдается ли эта последняя мысль в реальности, во многом зависит от нас, то есть это опять же вопрос открытый. Прошлое (история, которая была здесь кратко описана) завершилось ситуацией очевидно открытой и смотрящей в будущее. Впрочем, с этого я и начинал статью, еще *до* перерегистрации школы, а потому счел вполне правомерным опубликовать ее сейчас.

А. Пинский
Очерк вальдорфского движения в России[3]
(фрагмент)

На сегодня первая бурная «вальдорфская волна» постепенно успокоилась, большого числа новых школьных оснований не предвидится. Вопрос стоит сейчас о стабилизации, развитии и результативности уже существующих школ, в первую очередь в плане разработки содержания образования, методического, кадрового и экономического обеспечения (и самообеспечения) школ. Вероятно, в течение ближайших лет российское вальдорфское движение должно будет преимущественно решать ряд важных внутренних вопросов: построение старших классов, совершенствование учебных программ и учебных планов, устойчивая подготовка классных учителей и учителей-специалистов, после чего оно сможет снова более широко выйти во внешний мир, уже неся внутри себя новое качество и новый опыт.

В этой связи также имеет серьезное значение то, что в 2000 г. в России началась глубокая школьная реформа, ряд направлений которой (разгрузка учебного материала; усиление иностранных языков в школе, начало их изучения с младших классов; дифференциация обучения в старших классах; рост влияния вариативного и личностного подхода в образовании; усиление кооперации школы и родителей) по существу корреспондируют с некоторыми принципиальными позициями гуманистической педагогики в целом и вальдорфской педагогикой, в частности.

* * *

Несмотря на известную «напряженность проблематизации», присутствующую в данном очерке, главным для нас пока остается своего рода позитивный внутренний импульс: вальдорфская школа в России может стать образцом сильной, полноценной школы, которая будет уверенно взаимодействовать с традиционными педагогическими направлениями, признанно обогащая их, а не закрепляя на себе имидж плохо управляемой школы для «больных детей», в которой «хорошая атмосфера, но ничему не учат».

Конечно, речь идет не о само собой разумеющемся. В сложившейся ситуации десятое, двадцатое или сотое вдохновенное изложение общих

[3] Данный фрагмент взят из начального варианта очерка, который опубликован в книге «Вальдорфская педагогика: Антология» под ред. А. Пинского (М., 2003).

идей вальдорфской педагогики, очередная экспликация немецкой или швейцарской вальдорфской модели уже ничего не гарантируют. А потому речь идет не об извне дающейся гарантии, но о собственной возможности. И это тоже вопрос идеи и опыта. Ибо мы уже научились понимать, что свобода — это не осознанная необходимость, а реализованная возможность.

ПЯТАЯ ДЕКАДА: 1996—2006

Образовательная политика
•
Реформа образования
•
«Дона» и музыкальные фестивали
•
Последние встречи

Этот этап прокомментирован в воспоминаниях коллег и единомышленников: А. Каспржака, А. Семенова, В. Болотова, Е. Ленской, Н. Девиса, Е. Рачевского, Е. Бунимовича, И. Фрумина, Е. Чепурных, И. Абанкиной, С. Кравцова, а также друзей-музыкантов: М. Парсадановой, Т. Рокитянской, М. Стародубцева, М. Ковнацкого, Е. Черного и С. Гергус. О последних делах и встречах рассказали А. Купер, М. Дорфман, Л. Зверева, А. Юркевич и Е. Штейнер.

А. Пинский
Быть для министра «Илларионовым»[1]

Текст подготовлен К. Сумнительным и представлен как ответ на вопрос: «Что помогает А. Пинскому так напряженно жить и быть успешным во всем, за что он берется?» Во введении К. Сумнительный перечисляет позиции, которые в тот момент занимал А. Пинский: директор вальдорфской школы, заместитель главного редактора журнала «Вестник образования», руководитель исследовательского центра в Высшей школе экономики, ведущий сайта «Школьная реформа», руководитель федеральных проектов, советник министра образования.

1. Выбегай за флажки

Для моего отца, блистательного педагога, наукой была конечно же физика. В то время ходила известная поговорка: «Курица не птица, Болгария — не заграница». Отец добавлял: «Педагогика — не наука». Я же увлекся психологией, методологией образования и углубился в эту сферу. Гуманитарные знания, несмотря на раннюю защиту диссертации по физике, для меня оказались более интересными и значимыми, чем физика. Более того, иногда извне трудно определить, в чем отправная точка моей разноплановой и пестрой деятельности. А она есть. Это — идея свободы. Для меня неприемлемо насилие, в любой форме.

Насилие ведь царит и в обычной школе. Скажем, одному второкласснику арифметика интересна, а грамматика нет, другому — наоборот. Ставят двойку, родителей вызывают и еще клеймо ставят: «Неуспевающий». Это чудовищно. (В нашей школе, к слову, нет отметок.)

2. Не разменивайся на бессмысленное

Недавно сотрудники одного из департаментов Министерства образования попросили меня согласовать один из подготовленных ими документов. Я прочитал и отказался визировать. Не потому, что документ стилистически неграмотен или вреден, но я не увидел в нем никакого смысла. Порой такая позиция приводит к определенным потерям, в том числе и материальным, но мой принцип — не участвовать в том, что не имеет смысла. По этим же причинам я занимаю сдержанную позицию в отношении стандартов. Я не выступаю в прессе, никого не обличаю, но и не участвую.

---

[1] Полностью статья опубликована в журнале «Лидеры образования» (2003. № 3).

Как директор, стараюсь оградить и своих учителей от бессмысленных вещей. Некоторое время назад ко мне пришли две дамы и объявили, что они проведут срез знаний в нашей школе. Я их спросил, на основании чего они это делают. В законе есть положение об итоговой аттестации. Мы готовы ее пройти, а что такое «срез знаний» и зачем его проводить, я не понимаю, не вижу смысла. На том и расстались.

3. Объясняй

Бывает, что никуда не денешься, и приходится выполнять что-то ненужное, неоправданное. Можно надуть щеки, как начальству, и транслировать это решение и настаивать на его выполнении, а можно поговорить с людьми, если уж бессмыслица неотвратима — поискать вместе с ними возможность выполнить это с минимальными потерями. Люди откликаются и предлагают интересные варианты.

А сколько недоразумений из-за того, что не объяснили или объяснили не так. Я как-то посетил один пикет учителей. Спрашиваю: «Вы здесь зачем?» «Мы за учреждение и против организации», — отвечают мне. Я им говорю: «А вы понимаете, что учреждение — это разновидность организации, так как же можно выступать за болонок, но против собак?» Не слушают, не хотят понимать. Но объяснять все равно нужно.

Мне вообще кажется, что агрессивность появляется от недостатка информации. Мы с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым часто обсуждаем, что реформа в образовании идет так тяжело потому, что у нас не хватает людей, сил, ресурсов на то, чтобы непрерывно и хорошо разъяснять все, что делаем.

4. Свободу не дарят

Свою свободу каждый человек должен добыть сам, ее нельзя подарить. Мы говорим о воспитании у детей в школе гражданской позиции, о чувстве собственного достоинства, о том, что человек должен знать свои права и уметь сам строить свою жизнь и свое благополучие. А потом те же учителя, которые говорили об этом детям, идут к Думе или Дому правительства и просят — так просят милостыню на паперти. Дети чувствуют этот диссонанс, и от этого понижается их бессознательная, но очень реальная оценка школы как института.

Зная, что у меня достаточно широкая внебюджетная деятельность, меня иногда спрашивают: «А как вы собираете деньги?» Но деньги — не грибы, их собирать нельзя, и когда мои учителя выражают недовольство уровнем зарплаты (она невелика, тысяч десять в месяц, но ведь не три), я им объясняю: «Ваша зарплата — это рыночная оценка вашего труда. Большую ее часть вам платят родители детей, которых вы учите. Мы можем увеличить цену наших услуг, но будут ли их покупать? Давайте подумаем, как сделать наши услуги более ценными для покупателя, то есть для детей и их семей».

5. Обостряй

Я был очень бесконфликтным человеком, но у меня был учитель, которого я боготворил. Это Георгий Петрович Щедровицкий. Единственное, что я не мог в нем принять, так это то, что он был очень резким. Со временем я понял, что он в чем-то прав, хотя его несдержанность приносила ему много неприятностей.

Порой мысль вредно маскировать или лакировать. Так вот, в чем я вижу одну из своих задач как советника министра образования? Иногда идет в узком кругу обсуждение какого-то вопроса, и я совершенно сознательно предлагаю крайний подход. Я понимаю, что министр Владимир Михайлович Филиппов этот подход не примет, да и я бы не принял, но это расширяет поле обсуждения, дает возможность объемнее увидеть проблему. Это чуть похоже на Андрея Илларионова — ведь Путин тоже вряд ли принимает решение, просто «подмахнув» позицию Илларионова.

6. Живи тем, что делаешь

Когда мы начинали вальдорфскую школу, на меня обрушилась масса нового и непонятного, приходилось работать по 17–18 часов в сутки. Была мечта отоспаться, но было так интересно, что про все забывал. Сегодня с «модернизацией» так же. Я вижу, что она способна упорядочить те глупости и логические нестыковки, которые накопились в нашем образовании. Исаак Фрумин часто говорит мне: «Толик, 90% своего времени ты тратишь на борьбу с энтропией». Но мне безумно интересно работать. Я вижу, что столь же неравнодушен и Владимир Михайлович Филиппов. И его первый заместитель Виктор Александрович Болотов, без которого эксперимент по введению Единого государственного экзамена был бы немыслим. Но часто, пока идея ходит по коридорам министерства до конкретной бумаги, она теряется, а документ порой становится чуть ли не противоположностью тех замыслов, ради которых он создавался.

Я иногда за что-то внутренне сержусь на каких-то чиновников в министерстве, а потом понимаю, что это бессмысленно. Они ведь занимаются тем, что Маркс назвал отчужденным трудом. То, что они делают, для них только обременительная обязанность. Руководитель не имеет права работать так.

7. Не сдавайся

Иногда бывают достаточно острые ситуации. Помню, в 1998-м мне принесли разработанный тогда проект стандартов для школы. Я был в ужасе, но знакомые, вернувшиеся с расширенного заседания парламентского ко-

митета, обреченно сказали, что «они договорились». Имелось в виду, что Дума, Министерство образования и РАО согласились с проектом. Я поехал к Артему Соловейчику и показал ему стандарт. Он загорелся и предложил напечатать его в «Первом сентября», с критикой. Но я понимал, что только одна его газета переломить ситуацию не сможет. И попросил собрать всех, кого он знает. Всех, кого удастся. Пришло на удивление много журналистов из разных центральных изданий, удалось поднять шум, волна стала нарастать. Потом дело дошло аж до Примакова, и проект не прошел. Всегда может найтись «незапланированный игрок», важно не опускать руки.

А. Пинский
О «Доне» и «Дона-фесте»: краткий очерк[2]

Арум дем файер
мир зинген лидер...[3]

Когда и как возникла «Дона»?

Идея создания ансамбля еврейской песни возникла у меня при довольно случайных, можно сказать, обстоятельствах — во время празднования Хануки в конце 2003 г. в ресторане «Цимес». Мы с Ефимом Рачевским (это директор большой московской школы, человек в российском образовании известный и харизматический) решили отметить Хануку с компанией друзей в этом ресторане — а «Цимес» тогда оказался фактически единственным еврейским рестораном в Москве. «Кармель» на Тверской уже закрылся, «Юзеф» на Павелецкой тоже закрылся, а «Шагал» еще не открылся.

Мне хотелось, чтобы этот небольшой банкет был обязательно с еврейской музыкой. Я специально пришел заранее к менеджеру в ресторан и спросил: «А в какой день ханукальной недели у вас будет музыка?» Мне ответили: «Вот в воскресенье у нас будет очень большая музыкальная программа, аж три коллектива», мы и заказали на воскресенье.

Собралась наша компания, был Алексей Семенов, Исаак Фрумин, Анатолий Каспржак, все с женами, также моя жена и дочки. Мы закусываем, поздравляемся, а на сцене работает камерный струнный ансамбль, играют Вивальди, Моцарта и иную прекрасную классику. Я спрашиваю у ансамблистов: «А еврейское вы играть будете?» Они отвечают: «Это у нас не в репертуаре, мы просто классику всю жизнь играем». Я подхожу к менеджеру, он мне отвечает: «Это всего лишь первая группа, а вот скоро придет вторая группа, у них будет большая еврейская программа». Приходит затем вторая группа, это оказались артисты театра оперетты, они стали делать какое-то шоу, с канканом и песнями Розенбаума–Шуфутинского. Я и к ним подхожу, прошу: «Ребята, спойте что-то еврейское, реальное, мы

[2] Авторский вариант статьи, опубликованной в альманахе «Музыка идишкайта-2006» (М., 2006).

[3] Около огня мы поем песни (идиш).

заплатим, если надо». Мне отвечают: «У нас подготовленная программа, погодите, в конце будет “Тум-балалайка”». Ну, я привял, а менеджер ресторана говорит: «Ничего, потом у нас будет третья группа». Потом оперетта ушла, пауза, приходит третья группа — девица-певица с двумя мужчинами, скрипка и электропианино. Девица начинает петь «Девочкой своею ты меня назови…». И так далее. Я ее прямо умоляю спеть что-то еврейское, а она говорит: «С праздником вас, юноша! И не мешайте работать, плиз». Потом она, правду сказать, тоже спела «Тум-балалайку» и искренне выполнила свой певческий долг перед празднующей еврейской общественностью.

Я совсем огорченно возвращаюсь в компанию за стол, и тут мне на ум приходит некое обобщение ситуации, я говорю ребятам: «Вдумайтесь, в 12-миллионном городе в единственном еврейском ресторане в главный день Хануки — и ни одной еврейской песни, ни одного фрейлехса! Как же так?!» Мне говорят: «Ну, Толик, ну нет — так нет, что ж поделать, не переживай, налей еще». И тут я говорю: «Тогда я сам сделаю еврейскую группу, и на следующую Хануку я вас приглашаю в “Цимес”, и тут будут звучать настоящие еврейские песни». А Ефим Рачевский, как бы просто фантазируя — он тоже крепко закусил к тому моменту — говорит: «Вот у меня отец живет в Молдове, в местечке Сороки, ему уже далеко за 80. Вот бы хорошо сделать еврейский ансамбль, и съездить в Сороки, и спеть папе наши песни». Я отвечаю: «Фима, ровно так и будет, обещаю, мы поедем в Сороки». Фактически этот момент и следует считать моментом рождения идеи того, что потом получило название «Дона».

С Ефимом Рачевским на празднике Хануки в ресторане «Цимес», 2004 г.

Кто и как первым присоединился к этой идее?

Утром на следующий день я проснулся и вспомнил, что, получается, дал слово. Несколько недель я переваривал все это, там и Новый год прошел, и где-то через месяц после новогодних праздников я решил переговорить с Михаилом Стародубцевым и Юлием Юльевичем Алексеевым.

Миша Стародубцев — он у нас в школе учитель музыки, с ним мы лет 7–8 назад ставили с детьми «Скрипача на крыше», большой мюзикл, с живым оркестром и примерно человек на 50 общего состава, я там играл Тевье, и делали еще один мюзикл, «Оливер», я там был Феджином. Мы выезжали с этими мюзиклами в Германию, Голландию, прекрасные были проекты.

А Юлий Юльевич — это отличный скрипач, очень колоритный, выходец из Бакинской филармонии, долго работал в Москве в разных школах, последние много лет работает в школе «Ковчег».

Итак, я с ними встретился, был февраль 2004 г., предложил сделать программу еврейских песен и поехать с ней летом в Молдавию. Юлий Юльевич сказал: «Ах, замысел прекрасный, но это чистая авантюра». Я ему говорю: «Юлий Юльевич, практически все мои удачные проекты, и не только мои, вначале всегда выглядели как авантюра». Они оба охотно согласились начать. Я наметил первые вещи к репертуару, купил «Энсоник» для работы Стародубцева (он должен был начать писать аранжировки), и наше трио начало репетировать. Конечно же первая основа репертуара строилась по дискам сестер Бэрри. Потом я нашел в Интернете записи

Ансамбль «Дона», 2004 г.

Хавы Альберштейн, они нам с Мишей очень понравились. В эти же месяцы, весной, я поехал по своим делам в Лондон, там купил пару дисков Альберштейн, плеер и особенно был покорен двумя песнями — «Фрилинг» и «Кренице», все ходил по Оксфорд-стрит и слушал их без конца. Решил обязательно их включить в репертуар.

Пара общих слов. Я тогда, начав работать над еврейской песней, начав много слушать, петь, вдруг словно нашел решение той задачи, которую решал Марсель Пруст, а именно задачи про *поиск утраченного времени*. Ко мне стали возвращаться совершенно уже забытые мною мелодии, которые напевала мне бабушка, почти в колыбельном возрасте, которые напевал отец, я словно вернулся куда-то к себе, в старый отчий дом, в котором не был с раннего детства. Это поистине волшебное чувство, наверное, оно было главным, что двигало меня в плане «Доны» и всего с этим связанного.

Как расширялось ваше исходное трио?

Юлий Юльевич как-то говорит: «У меня в школе учится один ребенок, его мама много лет занимается еврейской песней. Давайте ее пригласим в группу». Так пришла Женя Славина, со своим замечательным тембром, она сразу у нас прижилась. Женя познакомила нас с Митей Фарбером, он давал нам консультации по идишу. Потом появилась Ольга Городкова, прекрасное классическое сопрано, она нас свела со своим учителем Хольгером Лампсоном, он поистине великий профессор музыки, руководитель частной консерватории в Гамбурге. На репетициях, когда он препарировал ту или иную песню, Юлий Юльевич восторженно закатывал глаза и шептал мне: «Академик! Хирург!»

Еще мы пригласили Костю Медюка, он выпускник нашей школы, стал студентом Гнесинки по кларнету. Потом появился Саша Имаев, студент Ипполитовки (как вторая скрипка и дополнительный вокал). Наш школьный охранник Гена играет на гармошке, так он сосватал нам свою учительницу Ларису Звереву, баянистку. А выпускница нашей школы Полина Серкова предложила нам свои услуги по части контрабаса. Так и сложился первый состав «Доны» — 4 вокалиста, две скрипки, кларнет, баян, контрабас плюс гитара либо ф-но. Кстати, название ансамбля появилось от популярной песни «Дона-дона» — песня очень легка и красива по звучанию, таинственна по своему происхождению и глубока по своему смыслу: телят бедных режут, увы, но кому мила свобода, тот, как ласточка, взлетит.

«Дона» поет «Дону-дону», да и ряд других песен с русским переводом. Это принципиально для вас?

Это принципиально. Иногда мы переводим стихом всю песню (что бывает редко, например, так мы делаем «Фрилинг», но там трактовка песни в целом новая), либо куплет-другой, либо только припев

(так мы поем, скажем, «Кренице», «Зингт ойф идиш», «Нигндл», «Левин», «Аидише мама», «А биселе мазл», «Але бридер», «Дрейделе»). Конечно, многие песни идут без перевода, сплошь на идише. Перевод делается по простой причине — чтобы зритель хотя бы временами понимал, о чем поется. Делать концерт на два с половиной часа, когда зритель тотально не понимает ни одной из поющихся строчек, как-то тяжеловато и не вполне естественно, на мой взгляд. Тогда с самого начала ты обрекаешь зал и самого себя на некий подспудный дискомфорт. А ведь идишская песня — это, вспоминаю Хольгера, в первую очередь «сущность смысловая».

Конечно же, перевод — не наше изобретение. Вдумаемся в один факт. В 30-е годы более половины зрителей еврейских концертов в Америке еще понимали идиш, это были эмигранты первого поколения — тем не менее и сестры Бэрри, и сестры Эндрю, и Генри Берман, и другие певцы вставляли в песни английские куплеты. А сколько человек сегодня в московском зале знают идиш? Если один—два на 300 человек — считайте это крупным везением. Как правило, не знает никто. Более того, а те же солисты «Доны» или других подобных групп — они что, знают идиш? Мне кажется, что главное в идишской песне — это ее дух, а не буква. И чтобы донести дух, порой надо поменять какие-то буквы.

Иногда говорят, что для решения проблемы понимания смысла достаточно перед исполнением каждой песни сказать несколько фраз о ее содержании. Конечно, иногда это вполне нормально, и мы тоже нередко так делаем. Но считать, будто только этим исчерпывается проблема понимания, все же не совсем верно, на мой взгляд. Предварительный пересказ, как и любое средство, применим не всегда. Более того, тут есть своя опасность. Если анекдот нужно рассказывать два раза — рассказывать сам анекдот, а потом (или до того) объяснять его смысл, — тут что-то не то.

Более того, еврейская музыка — она, конечно же, не только для евреев, она для всех людей. И когда еврейская музыка стала широко выходить в мир (в первую очередь я имею в виду США, начиная с первой четверти XX в.), что происходило? Возникла еврейская оперетта (Гольдфаден, Румшинский), потом появилась блестящая плеяда композиторов — Ольшанецкий, Секунда, Эльштейн, родился потрясающий идиш-свинг и еврейская эстрада, на сцену вышли сестры Бэрри. То было время, на мой взгляд, великих еврейских музыкантов и исполнителей, и они делали одно и то же — сохраняли и несли людям *дух* еврейской музыки, все время обновляя его *форму*. В конце концов, мы имеем сегодня великолепный «Клезматикс» — это что, «аутентичное» исполнение в музыкальных рамках штейтла Бобруйской губернии конца XIX в.?

Кстати, «Дону» в последний год стали иногда сравнивать с казанской «Симхой», мне говорили: «У вас порой прорезается та же *эстрадность*, что у “Симхи”». Я такое могу воспринимать только как большой комплимент, «Дона» и далее будет стараться расширять эту эстрадность.

Каким образом возникли первые контакты «Доны» с клезмерским движением?

Здесь для нас первым лицом однозначно оказался Фима Черный. И, конечно же, Сюзанна Александровна Гергус (просто я не могу их разделить — говоря, Фима, сразу подразумеваешь и Сюзанну). С ним нас познакомила Женя Славина, я помог ему организовать небольшой концерт весной 2004 г. в Лингвистической гимназии Саши Бубмана.

Тут я хочу сделать еще одно отступление. А именно: примечательной чертой тех людей, с которыми я встретился, начав это музыкальное еврейское дело, было *великодушие*. Скажем, Митя Фарбер был очень великодушен к нашим первым экзерсисам пения на идише. Точно так же и Фима — я помню, что он пришел с Сюзанной к нам на репетицию, и, вероятно, ему тогда потребовались значительные усилия в мобилизации великодушия. Но он мобилизовался… Правда, один раз ему этих сил уже не хватило — это когда где-то в мае—июне 2004 г. я переслал ему в Кишинев видеозапись нашего первого концерта, мы тогда его назвали «Демо-версия». Тут Фима мне позвонил, начал делать долгие предисловия, но потом все же многое сказал из того, что думал. И я слышу, как рядом у трубки Сюзанна громким шепотом его сдерживает: «Ефим Александрович! Я вас умоляю!..» Но это было нам очень на пользу. Между прочим, если бы сегодня мне кто-то показал запись с подобным концертом, то и у меня ресурсов великодушия могло бы не хватить.

Состоялись ли обещанные гастроли по Молдове?

Конечно. Весной и в июне мы готовили выездную программу. Это была работа во многом под руководством Хольгера Лампсона, он поистине дал «Доне» базовую основу, в том числе и в плане организации и ведения репетиций, подготовки к ним. Например, Хольгер настаивал, чтобы певец, даже если он не знает идиша, все равно безупречно знал текст и понимал каждую строчку. Он говорил: «Вы можете петь на языке, которого не знаете, нет проблем, хоть на итальянском или на японском. Но вы должны четко знать перевод каждого слова, ибо если вы не знаете смысл каждого слова, вы не сможете верно его спеть». Для Хольгера каждая еврейская песня была в первую очередь сущность *смысловая*, все остальное уже было производным. При этом он героически боролся за согласные, за идею развития в каждой песне и, самое важное, за концентрацию на репетициях. Для Хольгера было просто невозможным, если во время, скажем, исполнения песни на репетиции кто-то из инструменталистов начинал что-то говорить другому.

Летом 2004-го мы выехали на гастроли в Молдову, арендовали автобус, выступали в Бельцах, Сороках, Кишиневе и еще дали концерт в Одессе. Это было очень запомнившееся турне. Я никогда не забуду, как

мы пели на первом концерте в Бельцах, как маленькие детки глазели из первого ряда огромными еврейскими глазенками во время «Припечка», а старушки вытирали глаза платочками на песне «Майн штейтеле Бэлц». «Зайт ир а мол гевейн ин Бэлц?»

В Сороках на концерт пришел-таки отец Фимы Рачевского, чудесный человек. Потом, ближе к зиме, мы узнали в Москве, что он скончался, и Юлий Юльевич мне тогда сказал: «Анатолий Аркадьевич, получается, мы все же успели».

В Кишиневе был очень классный концерт. Публика, конечно, была столичная, матерая, в зале сидели Слава Фарбер, Владимир Гойхман и прочие мэтры, было жутковато. Но все прошло славно. Наутро мы с ребятами идем после завтрака из столовой, ко мне подходит один человек и говорит: «Скажите, вы ведь из Москвы?» Я отвечаю: «Да, из Москвы». А он спрашивает: «Скажите, а вы в Москве не знаете Яшу из Израиля?»

В Кишиневе мы познакомились с Александром Даниловым, они с Наташей Негруца, Фимой и Сюзанной устроили нам импровизированный джем-сейшн, было сильное впечатление, особенно от даниловского кларнета.

А в Одессе, как и полагается в этом городе, все перепуталось. Мы давали концерт в большом санатории на Французском бульваре, его организовал отличный врач и ученый профессор Саша Носкин, и на концерт почему-то забыли пригласить еврейскую общину города, но пригласили множество украинских детей и молодежи, отдыхавших по программе «Дети Чернобыля». Я им говорю на конферансе: «А сейчас будет песня про ребе», а они мне из зала: «А шо це такэ ребе?» Потом говорю: «Мы поем на идише». — «А шо це такэ идиш?» Мы с Мишей Стародубцевым решили перед концертом, в ужасе глядя из-за щелки в занавесе на собравшуюся публику, что концерт мы сокращаем и делаем в одно отделение. Но после официального завершения концерта девицы из зала громко затребовали «Ещэ спиваты будете?!» Мы тогда фактически пошли на второе отделение. Я говорю: «А сейчас будет еще песня про немного еврейского счастья, а биселе мазл». А они громко: «Спивайте!» — «А сейчас про Абрашу-марвихера» — «Спивайте!». Редко найдешь такую благодарную публику для еврейских песен, как украинская молодежь.

Что было после этих первых гастролей?

В августе 2004 г. я пригласил Фиму Черного, Сюзанну и Данилова провести с нами небольшой трехдневный семинар. Для наших наставников это было время как раз непосредственно после Киевского клейзфеста. Место для семинара предоставил Фима Рачевский, это в подмосковном Видном, там у его школы есть загородная база. Мы работали над репертуаром, ладами (фрейгиш, как водится, и т.п.), над идишем. Учили песни «Дрейделе», «Финцтер ин гас», «Хамавдил», «Зингт ойф идиш» и другие. На семинар приехали Леша Розов, Аня Смирнитская, Володя За-

славский. Аня как раз тогда организовывала свою группу, которая получила чарующее название «Дер партизанер киш» («Поцелуй партизанки»). Леша Розов произвел на меня значительное впечатление — и как скрипач, и вообще, и я все не мог взять в толк, почему Фима Черный во время самых интересных моментов дискуссий вдруг у него спрашивал: «Леша, а почем сейчас в Москве помидоры?» После семинара мы сделали совместный концерт у меня в школе. То был хороший концерт. Потом, много позже, я понял, почему Фима спрашивал Лешу про помидоры, но было уже поздно, что, впрочем, безусловно к лучшему.

Осенью нас начал приглашать выступать на своих мероприятиях РЕК (Российский еврейский конгресс), потом пригласили разок выступить в театре «Шалом». Я до этого ездил в обе эти организации, давал руководству мини-диски с записями гастрольных концертов. В «Шалом» пришло много публики — неожиданно много и для нас, и для администрации театра, полный аншлаг. После пары довольно удачных концертов (скажу несколько сдержанно — удачных с точки зрения публики) нам предложили войти регулярным ежемесячным концертом в репертуарный план театра.

Но мне казалось, что все время гонять самим одни и те же песни — как-то неправильно. И вот я предложил, чтобы один концерт прошел под названием «"Дона" и друзья», т.е. мы пригласили еще ряд московских еврейско-ориентированных музыкантов. Откликнулись «партизаны», Таня Гутова, конечно, и Леша Розов, группа Маши Райзвассер «Шемеш» (потом Маша некоторое время играла на ф-но в «Доне»). На репетицию пришел и Ваня Жук, однако он, к сожалению, не смог принять участие в концерте. Но он мне запомнился, и я тогда сказал Мише Стародубцеву: «Вот теперь я вижу, кто еще смог бы сыграть старика Тевье».

Тогда Хольгер Лампсон мне сказал: «Я думаю, что "Дона" может стать не обычным ансамблем с фиксированным составом участников, но некоторым более открытым организмом, который взаимодействует с разными музыкантами в зависимости от того или иного проекта, время от времени вбирая в себя новых людей и даже новые коллективы».

В заключение рассказа о 2004 г. считаю своим долгом отметить, что мы выступили, конечно же, на Хануке в «Цимесе», как я и обещал Фиме Рачевскому и всей честной компании. На Хануке 2005 г. тоже выступили и намереваемся продолжать в том же духе и далее.

И тогда зародилась идея «Дона-феста»?

Импульсы к организации феста я ощущал с нескольких сторон. Женя Славина, а потом Фима Черный и другие мне не раз говорили, что есть некое высшее и почти магическое действо под названием «Клейзфест» и что мне с «Доной» в нем обязательно надо как-нибудь поучаствовать. Конечно, при этом я слушал какие-то записи, диски, в частности с Киевского клейзфеста, мне это стало интересно. А Фима Черный мне все

говорил: «Вот, в Киеве есть клейзфест, в Питере есть, а в Москве — никак не получалось. Даже один раз почти договорились с какими-то дамами-менеджерицами, стали программу намечать, но и у них вышел облом».

А в ноябре 2004 г. в Москву приехал Марк Ковнацкий, мы с ним познакомились, он побывал на репетиции «Доны». И вот сидим мы в перерыве, пьем чай, и Марк говорит: «Анатолий, а почему бы в Москве не провести клейзфест? Или лучше не будем называть его клейзфест, а назовем как-то иначе, например "Дона-фест"». Вопрос был поставлен ясно, и я не смог на него найти ясного ответа — а действительно, почему бы и не провести? Я и отвечаю Марку: «Ну, давай проведем».

Итак, дело оставалось за малым: дата, преподаватели, участники, место проживания, место концерта, деньги, автобусы и т.п. Но это уже все, как я понимал, детали. Вопрос для меня был решен в принципе. Тут выяснилось, что в Москве в феврале 2005 г. могут быть Шеперды — Мерлин и Полина. А также и Ковнацкий. Я раньше слушал по Интернету кларнет Мерлина, это было сильное впечатление. Полина взялась помогать по составлению программы, мы с ней вступили в контакт, и поскольку я кое-что по прежней жизни понимал в организационной работе, то почувствовал, что с ней можно делать дело.

Мы с Лешей Розовым и Женей Славиной составили список тех, кого можно было бы пригласить на фест. Судя по их первым созвонкам, люди из разных мест очень заинтересованно восприняли идею феста в Москве.

Про площадку феста я договорился, конечно, с Фимой Рачевским, в Видном. Про концерт договорился в «Шаломе». По деньгам я сосчитал, что это будет по минимуму тысяч на пятнадцать — ну ничего, подумал, вложимся, а там где-нибудь найду, целиком или частично.

Я заявил в «Доне», это было где-то начало декабря, что в феврале 2005 г. мы будем проводить фест человек на 60. Юлий Юльевич, конечно же, сказал: «Анатолий Аркадьевич, вы ведь знаете, как я вас безмерно уважаю. Но я сорок лет в музыке. Осталось два месяца. Это безумие». Я ему что-то ответил столь же уважительное, мы ведь всегда оставались добрыми друзьями.

Были, конечно, сложные проблемы. Например, такая: комнаты в Видном устроены отчасти для двухместного проживания (таких мало), отчасти для 4-местного, отчасти для 15-местного. Эту проблему — кому с кем жить — я бы точно никогда не решил. Но ее мастерски решил Леша Розов.

По текущему менеджменту мне очень много помогли мои дочки, Аня и Зоя, а также бывший одноклассник Ани, выпускник нашей школы Дима Мельчугов.

Деньги? РЕК никаких денег не дал, хотя какие-то многоходовые тягомотные переговоры были. «Джойнт» тоже ничего не дал. Сплошь цорес, казалось бы. Но это и понятно, Моисей давно уже сказал: «Народ жестоковыйный». А вот один мой хороший знакомый, бизнесмен, к которому я приехал почти просто так и начал агитировать за идишкайт и фест, послу-

шал меня, заметил нечто в духе Юлия Юльевича, но потом достал из кармана пачку долларов и сказал: «Тут вроде шесть тысяч с чем-то. Иди, иди, удачи тебе, а у меня больше нет времени». Я верю, у него действительно по жизни порой ни минуты свободной. Нашлись еще сочувствующие люди. По деньгам, получалось, у меня выходил совсем маленький дефицит, для такого дела можно себе и позволить.

В общем, я лишний раз убедился в одной немаловажной для жизни вещи — если ты искренне затеваешь что-то хорошее, то помощь придет. И денежная, и кадровая, и хозяйственная, и какая угодно.

Как для тебя прошел первый «Дона-фест»?

Для меня это было как роскошная сказка в радостном сне, когда соединяются вместе свет, творчество, тепло, масса хороших людей — все лучшее, что бывает в жизни. Тут надо отметить одну деталь, о которой следовало бы сказать в самом начале: дело в том, что у меня нет музыкального образования и я не знаю нот. И для меня все эти люди, приехавшие на «Дона-фест», — и Аркадий Хунович Гендлер, и потрясающая троица харьковчан (Юра Хайнсон, Гена Фомин и Женя Лопатник), и Ирочка Сигал, и Яна Овруцкая, и Тимур Фишель, и Алина Ивах, и Аллочка Данциг, и Паша Короленко, и многие другие — все они воспринимались как какие-то волшебники и феи. Боря Яновер, тоже как волшебник, всегда в нужный момент каким-то образом материализовывал «Немировку».

Меня также порадовало, что мы успели издать первый выпуск «Музыки идишкайта». Здесь решающую роль сыграла, конечно, Аня Смирнитская. Только не надо мне говорить, что в той книжке есть немало ошибок — поверьте, я могу их перечислить еще больше. Но если сам фест готовился месяца два с половиной, то на книгу, от нуля до тиража, было отпущено меньше двух. Альтернатива ведь была очень простой, с учетом имеющихся скупых сроков: либо не издавать никак, либо издавать так, как окажется возможным. Мы выбрали второе, и я об этом вовсе не жалею. Какие-то уважаемые люди нас критикнули, и по делу, а какие-то, и тоже весьма уважаемые, отнеслись с интересом и благодарностью (скажем, мне прислал очень лестный отзыв такой знаток, как Марк Коган из самарской «Алии»; Аня говорила о чем-то аналогичном в связи с Асей Вайсман; мне потом сказали много благодарных слов люди из некоторых российских регионов). Важно, что и здесь было положено начало некоторой традиции, сейчас мы будем издавать «Музыку идишкайта» как ежегодный альманах.

Запомнились работа над аранжировками (которую «Дона» тогда, по правде сказать, малость провалила), очень точные мысли Полины Шеперд на вокальном мастер-классе («Ну не надо, чтобы из акапельной четырехголосной аранжировки “Припечка” так резко торчала консерватория»), интереснейшее занятие Гендлера по забытым еврейским песням, лекция Мити Фарбера про ненормативную идишскую лексику. Во время одного из дже-

На фестивальных концертах, 2005 г.

мов я наконец спел-таки с Пашей Короленко мою любимую его «Крошку Хавеле». На гала-концерте все прошло классно — особенно хороша была капелла Мерлина, да и его соло потрясло, запомнились «Кислев» харьковчан, песня про маму, родившую «тройку» и по этому случаю записавшуюся в комсомол (Алина Тимур), цимбалы Жени Лизина, «Бублички» Аллы Данциг. На финальные нигуны мы стояли в хоре рядом с Жуком, он мне говорит: «Давай вот в этом месте глиссандо дадим, чтоб торкнуло». После концерта ко мне подошел Александр Мордухович из РЕКа и сказал: «Все так здорово, но особенно… Ах, эта девка из Самары!». Да, Ира Сигал достойно выдала «Катерину-молодицу». Концерт торкнул, слов нет.

Сказался ли как-то «Дона-фест» на «Доне»?

Это весьма важный вопрос. После феста стало ясно, что нужно по-новому определяться и с характером работы, и с составом ансамбля. Я вынес из феста вывод, что еврейская музыка — вещь серьезная. Заниматься этим как-то между делом — не пойдет. Также легко было увидеть, что кого-то из «донцев» фест пронял, а кого-то – нет. Кроме того, возникали и новые фактические обстоятельства, так, Алина Ивах, в прошлом солистка легендарной «Симхи», переезжала из Казани в Москву, я договорился с ней о ее прописке в «Доне».

В апреле мы провели мини-фест «Еврейская весна», занимались снова в Видном и дали концерты в «Шаломе» и в ДК МЭЛЗ (известный в Москве зал, там начинались первые КВН). В этом мини-фесте приняли участие Фима с Сюзанной и Сашей Даниловым, Паша Короленко, Яна Овруцкая,

Выступление «Доны» в концертном зале «Россия» во время вручения премии «Человек года», 2005 г. Толя в центре

Ира Сигал. Потом в «Доне» было принято решение начать готовиться к записи первого диска.

Между тем в составе ансамбля начались постепенные изменения. Они длились не один месяц, в результате сильно сменился состав, в первую очередь инструменталистов. На кларнете закрепился Миша Бронвейбер (Блинков), на скрипку я пригласил Лешу Розова. В результате всех этих перемен мы расстались с чудесным голосом Ольги Городковой (надо сказать, и посейчас в ансамбле я ощущаю отсутствие высокого сопрано). Забегая вперед, отмечу, что и на контрабас в конце концов мы заполучили спеца, Мишу Альтшуллера. Итак, возник нынешний состав «Доны», заметно более профессиональный.

В июне 2005 г. мы записали диск, он получил название, навеянное песней, впервые услышанной нами на фесте от Гендлера, — «Der ershter vals» («Первый вальс»).

Все это стало давать какие-то плоды. Мы стали получать возможности все большей концертной практики, Григорий Кантор стал нас нередко приглашать на мероприятия МЕОЦа/ФЕОРа (увы, без поющих девочек — tradition…). Я думаю, что своего рода вершиной 2005 г. стало выступление суженно-расширенной «Доны» (т.е. без Алины и Жени, но с приглашенными тромбоном, трубой, барабанчиком, Иваном Жуком и Иваном Лебедевым на ф-но) на ФЕОРовском праздновании Хануки в зале «Россия» 25 декабря. Мы должны были исполнять по запросу организаторов «Москву майскую». Я предложил идишско-русский вариант текста (спасибо Паше Короленко за текст) и концепт раскладки песни по четырем куплетам на четверых аидов: Миша Альтшуллер — еврей академический, типа Кобзона; сам я был евреем в жилетке и с сантиметром; Миша Стародубцев был евреем-офицером, совсем советским, с медной трубой и гвоздикой в петлице; Ваня Жук был евреем-оболтусом, типа шлимазл. Аранжировку сделал Ваня Лебедев (он вообще-то музыковед, пианист, контратенор и барочник). Публике все это дело очень понравилось, а Лев Новоженов, который вел концерт с Хангой, прямо в микрофон на весь зал после нашего номера сказал: «Вот, ребята делают живую музыку. Первая группа, работающая без фанеры». Тут все снова зарукоплескали.

Как замысливался «Дона-фест — 2006»?

Во-первых, безусловным было одно: фесту — быть! Иного не дано. Во-вторых, мы решили с Полиной Шеперд (а она стала очень продуктивным программным директором феста-2006), что надо обновить саму модель феста: делать не столько семинар с заключительным гала, сколько именно фестиваль, но с семинарской частью. Так мы и спланировали — 4 фестивальных концерта (плюс, возможно, пятый — Берлов—Шмерлов в клубе). Кроме того, нам крупно повезло с тем, что на

Ансамбль «Дона», 2005–2006 гг.

фест согласилась приехать Адрианна Купер. Как я уже говорил, мы также обязательно планировали издать второй выпуск альманаха «Музыка идишкайта». Поскольку, среди прочего, удалось договориться для двух больших фестивальных концертов с залом Театра на Таганке, мы надеемся, что «Дона-фест — 2006» станет заметным событием в жизни культурной Москвы. Надеемся, что торкнет.

На сегодня музыкально-еврейская жизнь в Москве расширяется — здесь работают (перечисляю по алфавиту) и «Берл-Шмерл с сыновьями», и «Дона», и «Клейзмастерс», и «Мицва», и «Наеховичи», и «Партизанер киш», и Псой Короленко, и «Фрейлехс». Целая, понимаешь, шнирелепереле. Постепенно расширяется и какое-то взаимодействие между группами. Один аспект этого взаимодействия — выступления смешанными составами или совместными концертами. Другой вот какой — мы с Ваней Жуком («Наеховичи») осенью заложили основу профсоюза еврейских музработников. Ключевой принцип у профсоюза один: не соглашаться выступать своими ансамблями дешевле, чем по 100 у.е. на брата (принцип не абсолютный, порой ситуация может вынудить и отклониться от него, но тогда уж нужно сознавать, что это вынужденное отклонение от принципа). Пользуясь случаем, хочу призвать всех еврейских музработников к вступлению в ряды этого профсоюза; никаких заявлений, членских взносов, санаторных путевок и т.п. не предполагается.

В общем, я думаю, если московский фест сможет выступить легким катализатором этого ренессанса музыки идишкайта, и не только для Москвы, быть может, то оно и хорошо будет. «С'файер ойфн припечек нит фарлошн»[4].

А. Левенбук, П. и М. Шеперд, Толя, 2005 г.

[4] Огонь в припечке не погаснет (идиш).

А. Пинский
Июльские (2004 г.) гастроли «Доны»: краткая информация[5]

Настоящим я даю самую краткую информацию об июльских гастролях «Доны» (концерты состоялись в Бельцах, Сороках, Кишиневе и Одессе, с 14 по 20 июля). Более подробный материал вскоре представит журналистка Надя Муравьева («Независимая газета»), которая сопровождала ансамбль в поездке.

Пойдем в порядке городов. Концерт в Бельцах — фактически премьерный — прошел в городском Доме культуры, его организовывала Неля Гройсман. В основном были евреи бельцской общины, принявшие «Дону» очень тепло. Конечно, многие старушки плакали; конечно, были требования петь на бис; конечно, зал пел вместе с нами «Чирибим-чирибом», «Нигндл» и др.; конечно, зал встал на заключительную песню «Ам Исроэл хай». Излишне добавлять, что то же самое имело место и на других концертах.

Концерт в Сороках прошел в зале швейной фабрики «Дана» (sic). Его организатором — впрочем, не только концерта, но и всей жизни «Доны» в Сороках — был Захар Дороховский, старый друг Фимы Рачевского, личность уникальная и чрезвычайно энергичная (руководитель местного Общества еврейской культуры). Дай Бог ему здоровья и долгих лет! На сорокском концерте евреев было не больше половины, пришли местные молдаване, русские, было немало детей. Родители их все время посылали, по ходу концерта, в близлежащий ларек за цветами. Был и мэр города, г-н Поповский. Он очень тепло отозвался о мероприятии, участникам «Доны» были вручены подарки (книги о Сороках, фотографии, а также по бутылке «Белого аиста»).

В Сороках во время нашей прогулки по городу, когда мы проходили по цыганскому кварталу, к нам вдруг из своего дома-дворца вышел сам цыганский барон всея Молдовы Черарь Артур Мирча-Михайлович. Он попросил, чтобы из дома вынесли вина, стал по очереди наливать по стаканчику всем членам «Доны». Это была большая честь. Автору этих строк он сказал так: «Ты хороший человек, но в жизни всякое бывает. Вот тебе моя визитная карточка, если что — не стесняйся, звони».

В Кишиневе нас встретили Фима Черный и Сюзанна Гергус. Мы много пообщались на профессионально-еврейско-музыкальные темы, очень интенсивно и с толком. Кишиневский концерт прошел в Доме актера, очень интересно. В зале публика была своя, было много настоящих мастеров

[5] Интернет-публикация на сайте «Доны». www.dona-dona.ru

Толя с цыганским бароном. Молдавия, гастроли «Доны» летом 2004 г.

еврейской песни (скрипач Владимир Гойхман, певец Слава Фарбер и другие). Организационные хлопоты по концерту приняла на себя в основном Галина Финкель (кишиневский Общинный центр). Наутро после концерта ко мне на улице подошел пожилой человек, очень лысый и очень милый. Он мне сказал: «Простите, я вчера все хотел спросить, но на концерте не удалось: вы не знаете Яшу из Израиля?». Вечером после концерта Фима, Сюзанна и Галя Финкель повели нас в Общинный центр, там нам показали мастерский клейзмер Фимины музыканты (кларнетист Саша и скрипачка Наташа), это было нечто весьма впечатляющее.

Потом мы поехали в Одессу. В Одессе «Дону» принимал профессор Леонид Носкин, он организовал наш быт, экскурсии и т.п., очень славно. Правда, одесских евреев на концерт не позвали (там вроде были какие-то оргпроблемы), ну да ладно, вышло даже интереснее. Выступали мы в санатории имени Чкалова, на Французском бульваре. В зале было много детей и подростков (в том числе отдыхающих в санатории по программе «Дети Чернобыля»). Когда мы увидели перед выступлением состав зала, то на ходу срочно переделали программу, буквально минуты за три. Во время конферанса мне пришлось рассказывать публике о том, кто такие евреи, а также, кто такой ребе, марвихер и т.п. Особенно запомнилось, когда «на бисах» три гарные украинские дивчины, лет осьмнадцати, с первого ряда мне громко кричали: «Ещэ спиваты будете?» После одесского концерта «Дона» воочию убедилась, что еврейская песня может быть интересна и приятна не только евреям. Так, среди зрителей оказались две дамы из Польши, отдыхающие, так они говорили: «Еще папыросы» (именно через «ы»).

Маша Весманова, несмотря на свой возраст — 4 года, посетила все концерты и к концу нашего совместного бытования даже стала напевать «Чирибим-чирибом» и «Дона-доночка, дона-доночка».

А. Пинский
Нью-йоркские рефлексии, часть 2

По некоторым признакам у меня сложилось впечатление, что я не вполне ясно сумел изложить общественности свои самые первые впечатления от Нью-Йорка, а потому решил написать еще.

Итак, я писал, по первому дню пребывания здесь, что Нью-Йорк более всего из иных городов напомнил мне Хургаду. И это в некоторых отношениях только подкрепилось в следующие дни. Так, я заметил, причем на самых центральных стритах и авеню, что асфальт проезжей части у тротуарного бордюрного камня чуть понижается (что вполне естественно), но как раз в этих местах то и дело имеют место довольно крупные выщербины и даже выбоины, и в них скапливается некая жижа, то желтоватая, то зеленоватая, и она, особенно в силу нынешней жары, к середине дня и под вечер начинает ощутимо смердеть. Кроме того, скажите мне, где еще, кроме Хургады и Москвы, таксисты останавливаются по голосующей руке? В Лондоне, Будапеште и Берлине никогда не остановятся. Как и в Хургаде, здесь нет дорожных знаков, а вот в Москве есть; более того, здесь нет подземных переходов, пешеходы все время переходят авеню и стриты поверху, для этого светофоры очень часто блокируют автодвижение, и если бы здесь мэром был Лужков, то он, конечно, построил бы подземные переходы и всякие развязки и круговые автокольца, но Джулиани, Блумберг и им подобные суть явно не Лужков, а потому подземных переходов местным жителям не светит.

Ну, вот еще факт на тему данного сравнения, по-моему, исчерпывающий. Я потерял здесь флэшку, так что надо было покупать. Я зашел в очень солидный магазин на соседней с Бродвеем авеню. Спрашиваю, есть ли у них флэшки. Мне отвечают: «Конечно, сэр». Я говорю, что мне надо небольшого объема (чтобы не тратиться сильно, понятное дело). «Конечно, сэр, вот вам флэшка, бест продакшн ин Нью-Йорк-сити». Я смотрю на ценник — там написано 139 долларов. Представляете? Я говорю: «Сорри, но эта цена — инкредибл». — «Нет проблем, сэр, мы вам сделаем дискаунт. Будет 69 долларов». Я говорю: «Плиз, сорри, бат ай вил нот пэй сач прайз, зэтс стьюпид». — «ОК, сэр, лэтс спик. Уот из йор прайз?» Я подумал: «25 долларов». Продавец говорит: «Я сейчас позову босса». Приходит босс, интеллигентный мужчина в ярко-синем галстуке. Говорит мне: «Хай, откуда вы, сэр?» — «Из Москвы, Россия». Тут он очень приветливо заулыбался: «Мистер, я видел по телевизору Путина, у него красавец пес, лабрадор, и я готов вам сделать персональную скидку». Я отвечаю: «Сэнкс э лот». Босс: «Я продам вам этот дивайс за 39 долларов». Я взял себя в руки и говорю:

«Ноу! Онли 25». Он развел руками: «Сэр, за 25 я бы не продал такую флэшку даже Путину». Я говорю: «Сорри, бест вишес, хэлс энд хэппинес» — и пошел к выходу. Выхожу, меня догоняет мальчик из магазина: «Сэр, босс вас очень просит вернуться». Я вернулся, говорю: «Что случилось?» И тут босс мне говорит: «ОК, я отдаю вам за 25, передайте от меня привет Путину». Я конечно же пообещал.

Сегодня я был в музее Холокоста. Там есть одна очень интересная секция, в большой зальной нише, она посвящена различным еврейским течениям начала XX в. Там стоят 4 больших телеэкрана, и на каждом из них поочередно показывают тот или иной краткий сюжет. Один экран презентует идеи и персонажей от ортодоксов, другой — социалистов, третий — сионистов, четвертый — либералов. Сначала с одного экрана, например, очень харизматический и умный человек (Хаим Житловский) говорит, что самое главное — это социализм и справедливое общество, потом с другого экрана показывают Жаботинского, который произносит несколько ярких взрывных тезисов про Палестину, и вслед за ним на том же экране дети, причем в огромном количестве, чуть не тысячей, разучивают где-то на лугу сионистские песни, а потом еще с другого экрана мягко и твердо говорит поистине выдающийся ребе про святую Тору, а затем зажигается четвертый экран, и оттуда нам говорят, что для еврея главное — это этика, труд, дети, свобода и Б-г, а место жительства и политика суть проблемы от лукавого. А ты сидишь как бы пятым, и потом остается только перейти в следующий зал, но ситуация запоминается.

Что мне предсказывали друзья и родственники на предмет этого города, то и сбылось. Вчера я зашел перекусить в какое-то совершенно заурядное заведение, попросил блюдо из нарезанного сирлион-стейка с луком. Мне принесли огромное количество еды: одной картошки фри было на три порции московского ресторана, лук был отличным и объемным, мясо — просто изумительное, причем столько гриль-бифа дают разве что в московских «Эль-Гаучо», однако там это дело стоит 25–30 долларов, причем без фри, а здесь — 7. Сегодня днем я был в «Элленс-Дайнер», на пересечении Бродвея и 50-й стрит, тоже очень недорогой ресторанчик, так там все официанты поют под хорошее караоке. Поют очень чисто, с душой и с юмором, без стеба. И поют все. Это впечатляет, это здорово!

Толя в гостях
у Жени Штейнера.
Нью-Йорк, июль 2006 г.

А вчера я был еще на острове, где стоит «Мисс Либерти». Это тоже впечатляет. И это как-то связано с душевным настроем поющих официантов (если понятно, что я имею в виду). Кораблики вместимостью человек 150–200 от Манхэттенского оконечного мыса, называется Парк Батареи, отходят каждые 20 минут к островку, где стоит статуя Свободы, люди там гуляют, смотрят на Свободу, а потом приходят на пристань островка, и их забирает очередной кораблик. Чтобы уплыть обратно в Нью-Йорк, надо отстоять очередь, я встал, кораблик пришвартовался, оттуда сошла публика, и в их числе была группа солдат американской армии, человек двадцать. Схема высадки-посадки такая, что сначала все приплывшие должны сойти, освободить место на судне, а мы, отплывающие, уже потом должны взойти на него — так вот, приплывшие люди идут мимо нас по пристани по другую сторону разделительных канатов, мимо моей очереди, и среди них несколько отдельной группой идут солдаты, тоже мимо нас, и тут я слышу, что очередь начинает аплодировать, сначала неровно и порознь, но потом по нарастающей и все вместе, крещендо. Солдаты — кто по-доброму ухмыльнулся, кто коротко поклонился, среди них, конечно, не меньше половины афроамериканцев, но на меня это произвело впечатление еще большее, чем поющие официанты. Где вы увидите такое? В Лондоне, Будапеште или Берлине? Или в Москве? Где? Правильно, только в Хургаде. Но там нет комнаты с четырьмя экранами в еврейском музее.

Если историческое возникновение этого города датируется 1624 г. и если здоровье мне позволит, через 18 лет я, конечно же, прилечу сюда на 400-летие, чтобы отдать подобающую честь. Сорок лет до англичан, до середины 1660-х годов, здесь жили и правили голландцы, поселение называлось Новым Амстердамом. Дела здесь шли вроде так себе. В конце августа 1664 г. сюда приплыли четверо английских послов короля Карла Второго, они заявили Стейвесону, тогдашнему генерал-губернатору сетлемента, что их король подарил все эти земли своему брату, герцогу Йоркскому. Англичане сказали, что они ничего не имеют против жителей Нового Амстердама, признают их имущественные права и приветствуют их торговую активность. При этом они, английские послы, имеют полномочия объявить голландцам войну, если те не признают волю Англии. И тогда проявились два обстоятельства.

Во-первых, у голландцев было очевидно мало солдат для удержания колонии.

О'кей, но помимо солдат есть же еще и народ, население. Мингеер Стейвесон заладил было абстрактные переговоры с англичанами, стал поить их местным новоделом, а именно кукурузной водкой, и при этом побыстрому послал своих эмиссаров выяснить мнение народа. Народ, как утверждается историками, сказал эмиссарам, что воевать за матушку Новую Голландию он, народ, не будет, поскольку констатирует следующее:

- плохое правление генерал-губернатора и приближенной к нему верхушки;
- использование местной властью общественных средств в частных целях;
- плохую организацию торгового дела в целом;
- высокие налоги, которые выталкивают честный труд в сферу теневой экономики;
- провоцирование властями постоянных ненужных войн с индейцами;
- а самое главное, что генерал-губернаторы за 40 лет своего правления и со всеми безумными налогами так и не построили хорошей школы для детишек.

И голландская власть в жизни Манхэттена завершилась сама собой. 8 сентября 1664 г. колонел Ричард Николс объявил, что берет эти земли под английскую Корону и под свой менеджмент. Все состоялось совершенно бескровно, ибо «ни один из местных жителей не захотел поднять свой мушкет в защиту сложившегося порядка жизни». Правителям, получается, полезно помнить, что хорошая школьная система — это не роскошь.

8 августа 2006 г.

А. Пинский[6]
Встреча с Клэр Бэрри

Сегодня, 11 августа, я встретился с Клэр Бэрри (одна из «сестер Бэрри»; вторая сестра, Мирна, уже давно покинула этот мир). Встречу с Клэр помогла организовать другая известнейшая американская певица, ее сегодня называют «королевой идишской песни», номинант «Грэмми» Адрианна Купер. Так мы втроем и пообедали в итальянском ресторанчике на Манхэттене, Ист-сайд.

Я подготовил к встрече список вопросов, а также два аудиоустройства — цифровой MP3-плеер и кассетный диктофон, чтобы уж точно не было сбоев. Но вся атмосфера встречи, сразу определившаяся характером речи Клэр и просто самим ее присутствием, сделала для меня явно неуместным, ну невозможным извлечение диктофонов из сумки, щелкание по кнопкам и тому подобное. Так что, увы — или не увы, — но никакого аудиофайла я не записал. Мне подумалось уж потом: «Это словно тебе выпала возможность беседы с Буддой или с Львом Толстым, тут не с руки хвататься за плеер».

Что сказать? Да особенно много и не скажешь. Такое, вероятно, бывает, когда получаешь шанс общения с поистине великим человеком.

Клара, несмотря на свой возраст, человек с очень четким, очень мудрым и очень светлым сознанием. Она говорит простые слова, но каждое из ее слов много весит и совершенно явным образом очень тепло светит.

Сразу бросается в глаза ее удивительно прямая, просто княжеская осанка, сейчас среди двадцатилетних девушек не найдешь и одну на пятьдесят с такой осанкой.

Вот отдельные, совсем фрагментарные зарисовки, по памяти (беседа шла в основном на английском, который то и дело переходил на идиш).

…Они решили поменять свою исходную фамилию Бэгельман (а дедушка сестер по отцовской линии и был бэгельманом, т.е. торговцем хлебом и бубликами, вспомните «Бублички, купите бублички! Койф майне бейгелах!») на американизированную Бэрри после истории с сестрами Эндрю, связанной с хитом «Ба мир бист ду шейн». История такова, что, видимо, и сейчас мне не с руки класть ее на бумагу и распространять в деталях. Но в целом суть следующая. Великий композитор Шалом Секунда написал «Ба мир бист ду шейн» и хотел в принципе ее отдать в исполнение Кларе и Мирне Бэгельман, но вскоре продал авторские права на песню, и всего за 30 долларов. Тогда же в Нью-Йорке работали три еврейские певицы, сестры Эндрю, и они имели очень оборотистого менеджера. И этот менеджер

[6] Опубликовано в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

заполучил права на песню для сестер Эндрю. А Клара с Мирной лишились возможности ее петь. А менеджер сестер Эндрю начал быстро качать большие деньги, ибо песня мгновенно стала хитом всей Америки и всего мира (сравните хотя бы наши варианты: «В кейптаунском порту с пробоиной в борту…», «Барон фон дер Пшик», «Красавица моя», «Старушка не спеша дорогу перешла…» и т.д.).

И кто-то в момент переживаний этих коллизий сказал Кларе и Мирне: да у вас и фамилия не по-американски звучит (типа «вам ничего вообще не светит»). Клара очень всерьез это приняла и предложила Мирне поменять фамилию на «истинно американскую». Они тогда решили именоваться Бэрри (именно так, а не Берри, т.е. Barry, а не Berries, т.е. не «ягодки» в дословном написании); тогда же Клара переписалась в Клэр.

…Клэр из основного меню заказала рыбу. А из закуски, несмотря на обилие «аппетайзов», решилась съесть только пару черных маслин. Она ест немного, но очень аппетитно. Несколько раз она говорила официантам (а их то и дело сгрудится около нашего столика человек то пять, то семь): «Ах, это деликатес! Ах, этот ресторан из азой шейн!»

…Клара с сестрой никогда не получали специального музыкального образования. Однажды Абе Эльштейн, только познакомившись с ними, сказал: «О, идея! Пусть Клэр поет мелодию, у нее голос повыше, а Мирна — гармонию». Получается, так и родилось их двуголосие, их неподражаемая чистейшая терция, «терция сестер».

…Клара не очень много готова рассказывать об Эльштейне, Секунде и других столпах, но об Ольшанецком вспоминает как-то по-особому и ярко: «Словно и сейчас я вижу его лицо перед собой — такое светлое и так близко». Мы с ней спели куплет «Их хоб дих цу фил либ» — поверьте, для меня это была секунда колоссального счастья. Вспомнили его же песню «Майн штейтеле Бэлц»; Клэр оговорилась, что в Бельцах никогда не была, и очень порадовалась, что мы с «Доной» там были.

…Клэр очень охотно и приподнято вспоминает о своем визите в СССР в 60-е, о концерте в Парке Горького. Это все организовал Эд Салливан, знаменитый в те годы на американском радио. «Нам аккомпанировало 45 человек, русские, но дирижер у нас был свой, из Нью-Йорка. Мы много репетировали перед концертом. Эд Салливан нам все время говорил: “Мы должны быть ко всему готовы, это не Америка, это Парк Горького, тут все может быть”. Мы таки оказались с Мирной потрясены, когда вышли на сцену и увидели перед собой 20 000 человек зрителей. Я помню, там в передних рядах сидел раввин, так он все время раскачивался. После того как мы спели «Очи черные», публика вся встала с мест, сделала движение вперед, казалось, сейчас они рванутся на сцену. Только раввин сидел на месте и по-прежнему раскачивался. Мы реально испугались. Эд (Салливан) отодвинул нас к кулисам, занял место между нами и залом, он повел себя как истый секьюрити. После концерта ко мне подошла женщина, в гримерку, я не знаю, как она туда проникла, стала меня обнимать и плакать, я ей дала небольшую нашу пластинку, так она ее засунула под юбку, под нижнее белье, чтобы никто не увидел из Ка-Джи-Би».

…Клэр говорит: «Когда мне было 7 или 8 лет и я назавтра собиралась впервые пойти в школу, отец меня подозвал и сказал очень тихо и серьезно: ”Клара, есть два слова, которые ты должна запомнить на всю жизнь”. Я задумалась — что это за такие слова? Он говорит: “Эти два слова — Respect and Attitude. Ты должна уважать людей и всегда иметь к каждому из них свое отношение”».

…Клэр хорошо относится к молодежи. Однажды ее внучка, будучи уже взрослой девушкой, рассказала ей о рэпе. Клэр за один вечер сочинила рэп-композицию на идише (она нам коротко спела фрагмент) и потом дала в каком-то модном клубе целый концерт в стиле рэп. Успех был оглушительный.

…Клэр не помнит, когда был записан столь любимый «Доной» диск с мировыми шлягерами на идише (где песни «Чай вдвоем», «Лав стори», «Май вэй», «Итс импоссибл» и др.). Но она помнит все слова песен. Она начала напевать из «Майн вег» (на мотив хита Синатры My way): «Алз кинд / хоб их гевист / их миз алэйн / зих алц фарзоргн». Потом сделала совсем крошечную паузу, и я не смог не запеть: «Гештребт / хоб их умзист / майн хингер нойт / гемитц фарборгн», и мы продолжили вместе: «Их хоб гехулемт нехт / ин алц гефот / эс велн зайнт тег». Мне, однако, тут стало неловко, словно я куда-то не по праву вклинился, я замолчал, и она закончила строфу: «Вен их гефинен велн / блумен аф майн вег!» *(…когда все же и на моем пути будут цветы!)*. Тут она повернулась к Адрианне и говорит: «Смотри, гиб а гук, он знает эти слова. Это мне так радостно».

…Клэр считает, что язык идиш будет жить, что постепенно все больше молодежи интересуется этим языком — и это ей тоже очень радостно.

… «Я так благодарю Бога — за все, что он мне дал в жизни. Он давал мне всегда так много. Я не знаю почему. Вот ты, Толя, упомянул Абе Эльштейна — а как ему, скажите на милость, пришла в голову эта идея: что мне надо петь мелодию, а Мирне гармонию? А ведь это оказалось так важно. Мой муж ушел 7 лет назад, но я должна жить, пока живу, верно? Быть может, я напишу книгу, у меня недавно появилась такая идея. Сейчас так много телевидения, столько информации, но некоторые люди хотят по-прежнему читать книги. И даже сегодняшний наш чудесный ланч — это ведь тоже дар, гифт, гешенк. Такие милые люди меня пригласили, мне так интересно с вами, и здесь рыба такой деликатес, и мне так хорошо снова вспомнить, как мы с Мирной пели в Парке Горького в России».

Очерк о встрече с Клэр — один из последних Толиных текстов, он завершает автобиографическую часть книги. Поэтому здесь хотелось бы остановиться и кое-что сказать.

На концерте, который «Дона» посвятила памяти Толи, впервые прозвучала запись песни «Майн вег» в его исполнении. Толя пел ее так хорошо, как никогда раньше, очень мягко, сильно и о себе.

Многое в том, что он рассказал о Клэр, прямо относится к нему самому.

Respect and Attitude. У Толи это получалось, получалось «уважать людей и всегда иметь к каждому из них свое отношение».

В одной работе он ссылается на то, как «явно понял: вот, нет познания и понимания человека, если нет любви к нему». В последнем письме, написанном в больнице накануне операции, он называет имена своих друзей и говорит: «Я люблю этих людей».

«Пайдейю», в которой Толя пишет о тех, с кем его связала судьба, он заканчивает такими словами: «Я глубоко благодарен практически всем людям, упомянутым в этой книге, живым и ушедшим, ибо жизнь немного научила нас любить то, что объединяет».

Толя сумел о важных для себя вещах, об отношении к людям и к жизни сказать открыто, с искренним доверием. Хорошо, что главные, как мне кажется, ключевые слова прозвучали еще раз.

Толя и Клэр Бэрри. Нью-Йорк, июль 2006 г.

Часть **2**

А.Пинский

в рассказах
и воспоминаниях
родных и друзей

50–70-е годы

Впервые мы встретились в совсем несознательном возрасте

(воспоминания Елены Степановой[1])

Впервые мы с Толиком встретились в совсем несознательном возрасте, когда он только родился, а мне исполнилось 9 месяцев. Клара взяла меня в охапку и притащила из Донецка в Головино, где в то время в родительском доме жила со своей семьей Берта. Идея поездки была простой и понятной: хлопот с новорожденным — полон рот, малыш — первенец, а значит — материнской сноровки у Берты никакой, бабушка Злата Моисеевна умерла незадолго до радостного события в феврале 56-го, Клара — старшая сестра, ей сам бог велел помочь младшей. В то время мы с Толиком не особенно ладили или, скорее, это я имела к нему претензии. Как вспоминала моя мама, если я плакала, Толику на это было абсолютно наплевать, он спокойно продолжал спать, он же своим плачем меня будил, и тогда уж мы принимались вопить дуэтом. Короче, идиллией первые дни, проведенные нами вместе, назвать никак нельзя.

Как-то я спросила Толика, помнит ли он свои первые несколько лет в Головине. Скорее, нет. У меня же в памяти сохранился бревенчатый дом — типичная русская изба — с просторной передней и чередой небольших смежных комнат. Один сюжет отчетливо врезался в память, наверное, из-за того, что поразил мое детское воображение: дедушка в какой-то полосатой хламиде, накинутой на голову, монотонно бубнит что-то непонятное и ритмично покачивается, будто кланяется. Много позже до меня дошло, что он молился. Знаю, что он был истинно религиозным человеком, чья религиозность не зависела от внешних сугубо атеистических условий жизни. Это его качество как-то привлекло к нему уважительное внимание зав. отделением калининградской больницы, где ему довелось лежать в конце 60-х. Доктор сказал Берте: «Я восхищаюсь вашим отцом, он с таким достоинством молится, читает религиозные книги; все это так необычно в наше время». Илья Маркович умер в Калининграде, где жил последние годы в семье Берты. Его привезли в Москву, чтобы похоронить вместе с бабушкой, которую он пережил на десять лет. По словам Берты,

[1] Елена Александровна Степанова, двоюродная сестра Толи, дочь Клары Дашевской, старшей сестры Берты Ильиничны.

она положила в гроб несколько его религиозных книг. Ничего не знаю о судьбе тех, что остались. Думаю, общение с дедушкой не могло не повлиять на характер и мировосприятие Толика.

Возможно, я ошибаюсь в датах, но помнится, Берта говорила, что в Калининград она приехала с Толиком, когда ему исполнилось три. Для Аркадия Ароновича переезд в Калининград стал шансом получить работу, на которую в Москве ему, тогдашнему молодому кандидату наук, без связей, в чужом городе, рассчитывать не приходилось. Он получил предложение возглавить кафедру физики в недавно созданном Калининградском институте рыбной промышленности, сразу же принял это предложение, так как хорошо понимал, что в московском вузе до подобной должности ему пришлось бы карабкаться по карьерной лестнице лет эдак 20.

В отличие от Аркадия Ароновича, для Берты переезд в Калининград означал потерю работы, расставание с друзьями, утрату многочисленных связей, с одной стороны, а с другой — необходимость начинать с нуля в городе с непонятным статусом: вроде уже наш, не немецкий, но надолго ли? Поэтому с переездом к мужу она не спешила и поехала только тогда, когда тянуть дальше стало невозможно. Кстати, предметом особой гордости Берты было то, что она умудрилась, живя в Калининграде, сохранять московскую прописку в течение более десяти лет. Этот незаурядный, учитывая советские реалии, факт позволил им вернуться в Москву. Отъезд из Калининграда Берта приурочила к совершеннолетию Толика: он должен был получить паспорт с московской пропиской, окончить московскую школу, поступить в московский вуз.

В детские годы мы с Толиком время от времени встречались, как правило, во время летних каникул. Несколько раз мы с мамой были в Калининграде, жили на даче в Светлогорске, как-то Толик приезжал к нам в Донецк. Сохранились крымские фотографии, сделанные на пляже в Кастрополе примерно в 67-м. Тогда совпало место и время нашего летнего отдыха: я оказалась со своими родителями в кастропольском пансионате, а Толик с Аркадием Ароновичем — неподалеку, в Ялте[2].

В моих воспоминаниях Толик-мальчишка — шустрый, любознательный эмпирик и одновременно умница-очкарик, книжный червь. Из-за своей страсти к познанию он чуть жизни не лишился. Это всем известная история о том, как трехлетний Толик, исследуя лабораторию физики в институте своего отца, засунул палец в какое-то хитрое устройство и оказался под высоким напряжением. В результате он на всю жизнь остался с искалеченным пальцем. Этот палец Берта так никогда и не простила Аркадию Ароновичу, считая его главным виновником происшествия. «Ребенок… один в лаборатории электричества…» — и много лет спустя Берта чеканила эту фразу, будто читала приговор к пожизненному заключению.

[2] Толю повезли на Черное море по рекомендации врачей, но ему там не нравилось, и он с радостью вернулся в Светлогорск, на Балтику.

Толик перешел через класс, кажется, из третьего в пятый, из-за чего в моих глазах представал эдаким Героем Ученья. Быть отличником — не фокус, я сама с первого по десятый — отличница. Но скачок через класс тогда казался мне чем-то особенным, а человек, способный на такое, виделся в ореоле исключительности. Думаю, если бы мне, школьнице, надо было одним словом определить Толика, я бы сказала «умный». Свидетельством ума были и его успехи в шахматах. Играл он азартно, вскоре после того, как научился, стал обыгрывать взрослых. Не помню, какой разряд у него был, но какой-то был точно. Наверное, шахматы — в основе последующего увлечения Толика игрой в го.

Он, бесспорно, был умным мальчишкой, но никак не «заучкой», зацикленным на учебе. Второе слово, которое его характеризует, — «разносторонний». Ему нравилось возиться с животными. Не изучать или анализировать поведение, а именно возиться, заботиться, ухаживать. Если перейти дорогу, прямо напротив их дома — зоопарк, знаменитый Кенигсбергский, и сегодня продолжающий оставаться одним из известных и крупнейших в Европе. Толик часто пропадал там, был членом кружка юных натуралистов. Помню свою детскую зависть: он, а не я держал на руках и кормил из бутылочки маленького тигренка. Конечно, к подобному действу не допускались обычные посетители, но юные натуралисты — совсем другое дело.

Ему всегда хотелось иметь собаку. Этому желанию противилась Берта. Она разрывалась между двух огней: какая-либо живность в доме представлялась ей категорически неприемлемой, но Толик с самого своего рождения и навсегда был главным смыслом ее жизни, а много ли найдется людей, которые способны отказать в просьбе тому, кто для них все? Берта к числу подобных стоиков не принадлежала и потому сопротивлялась недолго. Правда, сдавала позиции постепенно, поначалу было достигнуто соглашение: вместо собаки покупают попугая. Берта «нежно» называла его «кабысдох», произнося оба слова слитно, на одном дыхании и очень эмоционально. Не знаю, или попугай оказался слишком впечатлительным, или Берта обладала даром внушения, но попугай действительно вскоре после его покупки скончался.

Толика отправили горевать в Светлогорск к старой приятельнице семьи Розе Савельевне. Там у него появился друг — хозяйский боксер. У меня нет ни одного фото Толика тех лет с кем-то из ребят-приятелей, зато есть одно, сделанное в профессиональной фото-мастерской: на стуле очень прямо сидит серьезный, интеллигентный мальчик в круглых очках, на голове — тюбетейка, по случаю лета — рубашка с короткими рукавами и шорты, возле голой коленки устроился такой же серьезный, как мальчик, бульдог. Толик любил рассказывать историю этого бульдога. Он стал

знаменитостью после того, как снялся в фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». В том сюжете, где Шурик вдавливает в кружки колбасы таблетки снотворного, чтобы отвлечь не в меру активного пса, а тот аккуратно выедает колбасу, оставляя таблетки на асфальте.

Видно, все-таки Толику удалось побороть Бертино сопротивление, и у него появилась собака. Конечно, представить в своем доме бульдога, даже при всей своей всепоглощающей любви к сыну, Берта не могла ни при каких обстоятельствах, самое большее, на что она могла согласиться, — это тойтерьер. Не думаю, что тойтерьеру Дези удалось стать воплощенным желанием обеих сторон. Как любой компромисс, она в равной мере не соответствовала ожиданиям ни Толика, ни Берты: это был минимум потребного для него и максимум возможного для нее. Дальнейшая история Дези загадочна и печальна одновременно. Она пропала, причем не сбежала во время прогулки, в чем не было бы ничего необычного, а исчезла из дома. Окончательная версия событий, как ее излагала Берта, такая: во время вечеринки, пока гости шумели в столовой, в квартиру проник вор и украл Дези. Кроме нее он прихватил еще пару зонтиков из прихожей. Похоже, ничего более ценного не нашел.

Воспоминания — странная материя. Особенно детские. Жаль, что мы так мало делились ими. К примеру, наш совместный поход на Останкинскую телебашню совсем стерся у меня из памяти, а Толик запомнил его очень живо, ярко. В один из моих последних визитов в Москву мы с ним проезжали мимо «Газпрома», и он спросил, помню ли я, как мой папа, который ассоциировался у него с этой фирмой, водил нас — детей обедать в ресторан на башне, как было здорово: ужасно высоко, весело и вкусно.

Каждый раз он удивлял меня чем-то новым

(воспоминания Семена Белкина[3])

Я познакомился со своим племянником Анатолием Пинским в самом нежном возрасте, когда я навестил в Москве своего кузена Аркадия Ароновича. К тому времени Аркадию было уже около 35 лет.

[3] Семен Абрамович Белкин, сын дяди Аркадия Ароновича по материнской линии.

Практически полжизни уже было за плечами. Полунищее детство в белорусской глуши, голодная студенческая юность в Ленинграде, война. Из-за сильной близорукости на фронт его не брали, зато добровольцем пошел его 18-летний брат, талантливый поэт Додик Пинский, и первой военной осенью он был убит на передовой. Аркадия же взяли на фронт только через два года, но долго воевать ему не довелось — пуля прошла через руку, пробила зубы и вышла через верхнюю челюсть. В таком обезображенном виде он долго валялся по госпиталям, потом долго мыкался со своей мамой по чужим квартирам, доучивался в педагогическом институте, работал школьным учителем и, наконец, поступил в Москве в аспирантуру. Там он встретил свою будущую жену, и там, в примитивном подмосковном дачном домике, они начали свою семейную жизнь. Там и появился их Толик, и там этого грудного малыша я и встретил в первый раз.

После аспирантуры Аркадию Ароновичу нужно было устраиваться на работу. Но так, чтобы получить какое-нибудь жилье. В те годы это было очень непросто, но тут, может быть, впервые в жизни ему по-настоящему повезло: был тогда в Москве рыбный институт, который именно когда мой кузен оканчивал аспирантуру, решили перевести поближе к морю, в город Калининград. Разумеется, многие преподаватели этого института отказались перебираться из столицы в провинцию, и поэтому ряд квартир, зарезервированных для преподавателей Калининградского рыбного втуза, как он тогда назывался, оставались свободными. Так Аркадий Аронович стал преподавателем этого института и обладателем первой в своей жизни отдельной квартиры.

Прошли годы. Аркадий Аронович успешно продвигался по преподавательской и научной стезе, стал доцентом, а затем и заведующим кафедрой физики. Вот тогда-то состоялась моя вторая встреча с Толиком. Я оканчивал Ленинградский кораблестроительный институт и для сбора материалов по дипломному проекту был командирован в Калининград — и, естественно, поселился в гостеприимном доме своего брата, который помимо прочих своих достоинств обладал удивительным чувством любви к своим близким и дальним родственникам (и это чувство он в полной мере передал своему сыну). У него в калининградской квартире образовался своеобразный Байконур, откуда он выводил на орбиту своих племянников и других родственников разной степени близости. Я имею в виду, что он готовил своих подопечных к вступительным экзаменам (а репетитор он был классный), а его жена кормила и поила этих родственников, а мама Аркадия Ароновича, будучи прекрасной портнихой, шила для новоявленных абитуриентов костюмы, чтобы не стыдно было предстать перед экзаменационной комиссией.

Меня, конечно, встретили с удивительным радушием, и, пожалуй, больше всех неподдельную радость по поводу моего появления проявил

Толик — круглолицый, розовощекий, довольно упитанный бутуз в очках, с необыкновенно доброжелательной улыбкой. Он тут же вызвался провести меня по зоопарку, который всегда был гордостью и немецкого Кенигсберга, и советского Калининграда и который находился как раз напротив преподавательского дома, где жили Пинские.

Надо сказать, что этот восьмилетний мальчик потряс меня своей эрудицией. По каждому животному, которое обитало в зоопарке, он знал решительно все, он мог бы успешно выступать в роли экскурсовода, тем более что он, рассказывая о населении зоопарка, не отрабатывал свое выступление, а вкладывал в свой рассказ всю душу, детскую непосредственность и эмоциональность.

Потом он повел меня на кафедру к папе и тоже очень долго рассказывал о приборах, которые там стояли, для чего они нужны и как ими пользоваться. И тут же похвастался своим изуродованным пальцем, который он искалечил в пятилетнем возрасте, когда засунул в электрическую розетку в этом же физическом кабинете[4].

Дома он сразу усадил меня за шахматы. Я сел играть с ним снисходительно, чтобы позабавить ребенка, поскольку сам играл весьма прилично. Но когда я понял, что он играет на уровне хорошего второго разряда, я засуетился и с трудом сделал ничью.

Мы расстались добрыми друзьями, и это чувство искренней симпатии к Толику я пронес через всю свою жизнь. После этого я очень часто приезжал в Калининград, и каждый раз Толик удивлял меня чем-то новым: то необыкновенными познаниями из истории Древней Греции и Рима, то совершенно взрослыми высказываниями и суждениями о жизни. Впервые Толик появился в нашем доме в Ленинграде в возрасте примерно 14 лет[5] — поругался с мамой, которая его очень нежно любила, сел на поезд и уехал, не сказав маме ни слова. У нас он еще очень долго кипел и возмущался. Мы его как могли успокаивали и с трудом убедили, что как бы он ни сердился на маму, ей надо позвонить, поскольку она там в Москве сходит с ума.

Убедили. Он позвонил, по телефону произошло примирение, и Толик успокоился. Поскольку никаких особых дел у него не было, он занялся изучением нашего города, причем, как и во всем другом, он проявил системный подход и обследовал Ленинград очень методично и последовательно. Очень скоро он заявил нам, что это самый прекрасный город, что каждая улица и каждый дом говорит здесь на своем языке.

[4] Точно этот эпизод описан и датирован в книге А. Пинского «Воспоминания об отце».

[5] По-видимому, все-таки чуть позже, так как переезд в Москву состоялся, когда Толе было 15 лет.

Вечерами, когда мы собирались после работы, а мои дочки после школы, он устраивал нам колоссальные концерты, поскольку уже тогда очень прилично играл на гитаре и знал огромное количество песен, которые тогда у нас не очень поощрялись для исполнения, — Окуджавы, Галича, Высоцкого, русский дореволюционный и нэпмановский шансон. Своим немного хрипловатым голосом он обаял нас всех, и мы без конца просили: «Еще, еще», забывая, что он еще маленький и ему надо спать, что моим дочкам тоже завтра в школу. Этот 16-летний школьник был совершенно неотразимым исполнителем, очаровавшим нас всех.

После этой поездки он стал периодически заезжать к нам, и каждый раз поражал чем-то новым: то вдруг сообщил нам, что увлекся йогой, и часами рассказывал нам о том, что это такое, особо подчеркивая, что йога — это не набор физических упражнений, а прежде всего образ жизни и образ мышления. В шахматы я уже с ним не играл — за эти годы он настолько повысил свой класс, что сражаться со мной Толику уже было неинтересно, он увлеченно обучал нас игре в преферанс, где так же, как и в любых своих увлечениях, достиг весьма высокого уровня.

Каждый его приезд в Ленинград был для нас светлым праздником, приобщением к какому-то удивительному миру, наполненному внутренней энергетикой, интереснейшей информацией, а главное — радушием и обаянием, которые излучал этот необыкновенный юноша, Толик Пинский.

Потом, когда Пинские переехали в Москву, я тоже часто навещал их в московской квартире, и всегда Толик чем-то меня поражал. Вдруг он заявил, что увлекся игрой го — японскими шашками, о которой в нашей стране знали единицы. Я про себя поулыбался по поводу этого экзотического увлечения и был буквально потрясен, когда через некоторое время узнал, что Толик принял участие в первенстве страны по го и занял там призовое место. Вот таким он был всегда — искал и находил такие области знаний, интересов, увлечений, какими, кроме него, мало кто занимался. И я не удивился, когда узнал, что уже взрослый Толик стал первооткрывателем для России вальдорфской педагогики. Он проникся этой идеей, видимо, только потому, что этим до него никто не интересовался.

И я не удивился, когда последние годы своей короткой жизни он организовал удивительный музыкальный ансамбль еврейского фольклора и стал в нем, как это теперь называется, лидером.

После того как он ушел из жизни, я обратился в Интернет и нашел там сотни материалов, в которых упоминается имя Анатолия Пинского в самых различных областях. И это неудивительно: за свою короткую жизнь он глубоко интересовался столь многочисленными проблемами и в стольких сферах оставил о себе память, что его имя будет вновь и вновь появляться и в книгах, и по телевидению, и в выступлениях специалистов самых разных профессий.

О Толике Пинском

(рассказывают Александр Клевцов и Ефим Кукуев[6])

Саша: В 66-м году Толе было 9–10 лет. Он был, конечно, парнишка необычный, потому что иначе мы никогда бы не заметили парня его возраста, не обратили бы на него внимания. Но когда Толя появился в Светлогорске на ул. Ленина, 1, где мы жили[7], он сразу обратил на себя внимание. Я в 66-м году ходил заниматься к Аркадию Ароновичу в санаторий, он меня натаскивал по физике. Он жил в санатории, а Толик у нас. И здесь же жили в тот момент Яворские. Толю и оставили одного потому, что за ним присматривали Яворские.

Когда Толик появился, он сразу обратил на себя внимание: вроде бы обыкновенный мальчик, но слишком развитый для своего возраста. Жизнерадостный, все время задает вопросы — и тут же высказывает свое мнение, и с таким взрослым апломбом. Я помню, Аркадий Аронович его все время одергивал: «Ну, ты не зарывайся». Отношения у них были дружеские. Они подкалывали друг друга… Аркадий Аронович подкалывал Толика, когда тот со своим юношеским максимализмом начинал зарываться, а Толик, сколько мог, пытался огрызаться.

Первое время — вроде парень и парень. У меня тогда были свои дела, я был молодой, мне было 17 лет, я школу заканчивал, готовился поступать. Понимаете, 7 лет разницы — это много. 10 лет и 17 — для парней это возраст, конечно, абсолютно разный, это пропасть. Но когда я стал поближе его узнавать, я увидел, что это очень развитой парень.

Он прекрасно плавал — был фанат воды, плавал, как рыба и получал истинное удовольствие от плавания. У него были ласты, маску он не брал, потому что всегда был в очках. Он плавал до гусиной кожи, и, надо сказать, хорошо плавал — в Калининграде он ходил в бассейн и занимался. Аркадий Аронович его все время подкалывал: «Ну разве можно доводить себя до синевы? Ты даже карты не можешь сдать».

А Толик играл в карты. В 10 лет играл в преферанс, как это ни странно. Они все время играли с А.А. в «гусара»: третьего игрока не было. И я стал у них третьим партнером. Я раньше видел со стороны, как играют в эту игру, а здесь сел поближе. «Садись, — говорят, — поиграем». Втянули

[6] Александр Иванович Клевцов и Ефим Израилевич Кукуев — старшие друзья Толи по Светлогорску.

[7] Речь идет о семье Розы Савельевны Клевцовой, близкой подруги Берты Ильиничны, жившей в Светлогорске.

меня в эту игру, все тонкости мне объяснили, и с тех пор я тоже стал ярым преферансистом — с подачи мужчин Пинских.

Еще были шахматы. Он здорово играл в шахматы. Они играли с Аркадием Ароновичем все время. В то время Толик у А.А. не выигрывал или по крайней мере они были на равных. А.А. ему все время говорил: «Не спеши, тут вот такие ходы надо сделать». Теорию ему давал, поправлял: такие были профессиональные шахматные разговоры. Толик в этом возрасте ходил заниматься шахматами капитально. Я с ним сыграл в шахматы — мне неинтересно стало. Ну что меня все время обдирают, мне неинтересно! В шахматы я с ним больше не играл, но он мне в том же году подарил книжку «Шахматы за 59–60-й год, избранные партии». Я начал эту книжку изучать, и потом у меня стало неплохо получаться — когда я уже в институте учился. Все с подачи Толика.

Ну, конечно, он проявлял детский максимализм. Никогда не ел курицу и всегда это подчеркивал. Если курица была на обед, он заявлял: «Я курицу не ем, на нее даже смотреть не могу». И ему что-то отдельно готовили. «И еще одну вещь я ненавижу, — говорил он тогда, в десятилетнем возрасте, — я никогда не женюсь на женщине-парикмахерше». Он заявлял с мальчишеским апломбом: «Я не представляю, как можно возиться с чужими волосами».

Таким мне запомнился 66-й год. Потом 70-й помнится очень хорошо. Вот он уже повзрослевший — 13–14-летний. Он уже в нашей компании. А мы все ярые картежники. Мало того, мы уже все пьющие. Толик повзрослел, у него появилась какая-то жизненная практика. Он стал играть в шахматы еще лучше, про карты я вообще молчу.

С чего начинаются его юношеские приколы в нашей компании? Ну, друзья были старшие, не секрет, что стаканчик вина мог с нами выпить. А у нас на пляже вето было на спиртное. Мы знали, с чем это связано. Это вода, это море, волны. И мы никогда этим не баловались. А если и выпивали на пляже, то в воду не лезли. И как-то был один такой момент, где-то мы раздобыли бутылку-другую «Анапы». Толик сидел и за компанию пару стаканчиков опрокинул. Потом жара все-таки, 20–25 градусов. Мы все постарше, посильней немножко. Его разморило. «Что ж, не переживай, пойди поспи немножко в тенек». Там тент у нас был, положили его, он так лежит спокойненько на песочке. Только струйка песчаная, когда дышит. Все нормально, человек отдыхает. И тут Толик поднимается, лицо немного помято, песок налип, и говорит: «Мужики, а как вы думаете, если я вот сейчас прямо женюсь, меня будут мои родители содержать, как вы думаете?» Мы там упали все. Человек проснулся и задает первый вопрос — такой!

Потом мы, честно говоря, пользуясь его хорошей игрой в шахматы, его подталкивали на не совсем благовидные дела. У нас в центре Светлогорска военный санаторий, там был клуб, открытая веранда, стояли бильярдные столы, частенько вояки отдыхали. В общем-то чины не маленькие. Не

меньше подполковника, остальные все выше. Они по вечерам здесь же играли в шахматы. Мы знали, что офицеры, которые здесь отдыхают, играли в шахматы на деньги. И вот, когда нам хотелось выпить по стаканчику вина, мы брались за Толика: «Толик, давай, надери этих полковников, покажи класс!» Толик сопротивлялся сначала. Да, говорит, чего там, несолидно. Но поддавался уговорам.

Мы в предвкушении. Мы знаем, чем закончится эта игра. Полковника какого-то взяли, посадили его. Полковник думает: «А, мальчишка сидит какой-то! Быстро его обыграю и хорош». Игра начинается. 4–5 ходов. Полковник уже сидит какой-то напряженный. Еще пара—тройка ходов. Мы слышим, Толик уже кричит: «Носилки!» А там, на доске, матовое положение. Два раза мы Толика подбивали на такие вещи. Но не больше, потому что он сопротивлялся: «Неудобно. Заведомо они играют слабее». Но мы всегда мотивировали это тем, что надо, Толик, в такое уж мы тяжелое положение попали. Это 70-й год. Когда ему 13–14 лет. Потом в 71-м году я выпускался, у меня был последний звонок в институте, преддипломная практика, я уехал на стажировку. Фима был с ним.

Фима: Я был с ним все лето. Его привел на пляж Саша. Перед нами, аборигенами Светлогорска, завсегдатаями пляжа, молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет, студентами и уже работающими, в общем, достаточно взрослыми людьми, предстал забавный мальчик лет 14–15, с длинными вьющимися волосами, подстриженными под горшок, и веснушками. Мальчика Саша представил как Толика, сына Аркадия Ароновича Пинского. Я и другие присутствующие в нашей компании студенты КТИ хорошо знали Аркадия Ароновича, поскольку слушали его лекции и сдавали ему экзамены, и поэтому Толика восприняли с интересом.

В Светлогорске, на пляже. 1970–1971 г.

Я хочу рассказать в двух словах о нашем обычном пляжном времяпрепровождении тех лет до знакомства с Толиком. Это прежде всего игра в преферанс — в своей компании и с отдыхающими (конечно, на деньги), дальние километровые заплывы в любую погоду, загар до черноты, а в вечернее время был позволителен в умеренных дозах алкоголь. На девочек времени не хватало, хотя из поля зрения они не выходили никогда, т.е. был естественный для нашего возраста элемент озабоченности. И в эту компанию попал Толик! В момент нашего знакомства мы заканчивали очередную пулю (партия в преферанс). Толик, понаблюдав за игрой, попросил разрешения поучаствовать в следующей партии. Это было принято нами с некоторой долей скептицизма. Но Саша Клевцов, загадочно улыбаясь, нам сказал: «Пусть поиграет».

Но каково было наше удивление, когда этот мальчик с веснушками показал нам, зубрам пляжного преферанса, высочайший, неведомый нам ранее уровень игры, сопровождая ее различными поговорками. Некоторые из них до сих пор остались у меня в памяти. Например, «есть крем-брюле и носить батистовые портянки». С этого момента Толик в нашей компании стал своим человеком.

Саша Клевцов в июне 1971 г. уехал в Ленинград на преддипломную практику, и ответственность за пляжное времяпрепровождение несовершеннолетнего Толика была передана мне, как самому старшему по возрасту в пляжной компании. Мне тогда было 24 года, и я уже работал в музее АтлантНИРО. Все лето 1971 г. Толик провел в нашей компании на равных. Мы играли в преферанс, устраивали дальние заплывы (надо сказать, что Толик был отличным пловцом, не уступавшим нам, выросшим на балтийском побережье).

Для Толика того периода был характерен не по возрасту искрометный юмор. В его глазах постоянно присутствовали озорные искорки. Моя сестра Неля, которой в то время был 21 год, называла его «вождем краснокожих». О том замечательном лете 1971 г. остались фотографии[8].

[8] Неля Израилевна Кукуева (по мужу Качанская) эмигрировала из России и сейчас живет в Израиле. Вспоминая лето 71-го года, она так описывает Толю: «Мы, друзья детства, уже студенты, любили проводить время на светлогорском пляже. Тут и произошло наше знакомство с этим мальчиком-подростком. Он был веселым, смешливым, с умными еврейскими глазками-бесенятами. Его косматая голова вертелась во все стороны. Его сразу полюбили все. Он хотел быть не по возрасту взрослым, таким, как были мы, двадцатилетние студенты. Он принимал участие во всех наших веселушках, карточных играх, даже пиво попивал с ребятами и был галантным ухажером. Мы посмеивались над ним, а он говорил: “Вот увидите, я еще все успею и женюсь раньше вас”. И в этом был прав. Мы увлекались популярными в то время журналами “Наука и жизнь”, “Вокруг света”, “Курьер ЮНЕСКО”. Многие статьи бурно обсуждались. Ему было все интересно, он все выяснял, спорил. Он

Особое уважение в наших глазах Толик заслужил очень высоким уровнем игры в шахматы. Но еще раньше случился один эпизод. Мне его рассказал Гена Зверев, сосед Пинских по Калининграду. Он, тогда первокурсник, пришел к Аркадию Ароновичу заниматься физикой. И сын А.А., маленький рыжий мальчик лет 7–8, сел с ним играть в шахматы. И обыграл. Это был маленький эпизод, который Гену Зверева потряс до глубины души. (Гена — преферансист. Мы с ним долгие годы играли в преферанс. Гена совершенно не любит проигрывать.) Его обыграл мальчик! Маленький рыженький мальчик. То есть Толик в 7 лет легко обыграл перворазрядника. Толя свой шахматный багаж приобрел в школе.

Саша: Но основная заслуга тут была, несомненно, А.А. Отца, конечно. Потому что в 10 лет он хотел подражать отцу. Он хотел быть похожим на отца, стопроцентно. Это бросалось в глаза. Например, когда они сидели, по-дружески пикировались за карточным столом.

И вот вторая половина 60-х годов, он отдыхал у нас в Светлогорске. Родители с ним не отдыхали. Берта Ильинична вообще была наездами. Вихрь, огонь. Залетает. Быстро накроет стол. Всегда у нее заразительный хохот. А поскольку за этот стол собирались Пинские и Яворские, Толик был всегда среди взрослых. Я не помню, чтобы он был с кем-то из своих ровесников, он был с нами практически все время.

И вот 70-й год. Он уже один ходил играть в преферанс. Играл на деньги, я даже не знаю с кем. И всегда приходил довольный: традиционно выигрывал. У него, у парнишки еще, всегда были карманные деньги. Однажды он говорит: «Что-то я стал проигрывать. Я подозреваю, что-то не то. Так просто не бывает». Потом проходит, может быть, неделя. Он является такой довольный-довольный. «Ну, — говорит, — Саня, я этого гада шулера вычислил. Я его вычислил!» Кто там у них был и в какой компании он играл, я, честно говоря, не знаю. Я его спрашивал, с кем он играет. «А, — говорит, — я так, с отдыхающими». Тут это было принято, мы тоже всегда так играли, между собой неинтересно играть. Сядем вдвоем, идет полковник, сядет с нами. Ну а что мы тогда были? Студенты. Вдвоем играть легче.

А Толик тогда сначала переживал: «Я стал проигрывать и не понимаю почему. Есть у меня одна мысль…» А потом пришел такой довольный. «Я этого гада вычислил! Это шулер, у него были крапленые карты». Вот, в 14 лет! Сам играл в карты. Честно говоря, это не было тайной ни для кого. Его родители знали, что он в преферанс играет, Берта, конечно, знала.

Фима: Толя в преферанс играл еще в студенчестве, до какого-то случая или случаев. А потом завязал и больше не играл вообще. Позже, когда он

был везде. И вообще он был очень интересный мальчик, теплый, добрый и очень дружественный».

уже приезжал со своей семьей, на пляже его спрашивали — он не играл вообще. Преферанс — это был какой-то этап юношеского самоутверждения.

В этом ребенке, в тельце мальчика находилась достаточно зрелая душа. И было некое противоречие между тем, что он ребенок, но на самом деле человек уже зрелый. И поэтому его тянуло к взрослым.

Саша: Да, причем взрослые его принимали как равного. Без всяких проблем.

Фима: Мы у этого четырнадцатилетнего мальчика многое перенимали. Я, помню, часто употреблял одно выражение, а потом через несколько лет вспомнил, что это ведь Толик так говорил. И позже, общаясь с разными людьми, я заметил, что они тоже начали говорить его языком. Как-то он на нас оказывал влияние.

Саша: В этом чувствуется Аркадий Аронович. Это тоже был человек большого юмора, такого хорошего, здорового юмора. Я с А.А. много лет общался. В те годы, когда я учился, он был зав.кафедрой и читал нам лекции полтора года.

Фима: В 71-м году я пришел к Толику попрощаться. Вся семья собиралась в Москву. Я зашел в квартиру — квартира была пустая. Толик сказал: «Мы уезжаем», — и подарил мне вот этот микроскоп. Эти микроскопы цейсовского производства и выпуска годов 20–30-х были на вооружении у биологов. Сначала в Госрыбвтузе[9], а потом в КТИ. Маленькому Толику, конечно, подарил его А.А.

Саша: Он же с Толиком тусовался постоянно.

Фима: Это был элемент его развития. Наверняка он смотрел в этот микроскоп, там можно было увидеть клетки, микроорганизмы, возможно, это было тогда его увлечение[10].

Толя, конечно, был вундеркиндом. Он был совершенно уникальным мальчиком. Почему мы, взрослые, молодые мужики прикипели к нему? Мы такого явления не видели.

Саша: Я таких мальчиков и потом не встречал. Или встречал, но они были какие-то правильные — что-то в этом было противное. Толик-то сохранил все свои детские черты, вот что было характерно!

Фима: И у него был какой-то протест, потому что он к этому возрасту уже многого достиг: и уровень преферанса, и шахматный уровень, и вообще он в эти годы был уже очень образованным человеком. И в то же время он хотел оставаться просто человеком. Может быть, поэтому возникали эксцессы с алкоголем. Думаю, они связаны именно с этим.

[9] Институт рыбной промышленности, затем переименованный в Калининградский технологический институт (КТИ), в котором работал Аркадий Аронович.

[10] Дочкам Толя тоже подарил микроскоп в очень раннем возрасте.

Саша: Он же какой-то класс пропустил: из 4-го перешел в 6-й. Когда я его спросил, он отвечал без всякого зазнайства: «А что, отец сказал, ты будешь время зря терять, сидеть год лишний, учить предметы, которые ты знаешь». Он это сказал без всякого апломба, мимоходом.

Фима: Тем не менее бремя вундеркинда его угнетало. Он мне уже потом об этом говорил. Когда мы с ним встретились году в 89-м, он говорил о том, как тяжело быть вундеркиндом. И может быть, поэтому он стал заниматься вальдорфской педагогикой, где все направлено на то, чтобы сохранить ребенку его детскую основу. Не дергать маленькую девочку или мальчика, натаскивая на математику, которая вовсе не свойственна для детского организма. Все должно быть с удовольствием, все построено на играх. И я подумал: может быть, бремя вундеркинда его на это мобилизовало.

Саша: А может, поэтому он и в Светлогорске так время проводил. Потому что в Калининграде он, наверное, жил посолиднее. А тут в самом деле была возможность немного расслабиться.

Фима: И что поразительно. Люди в общем-то меняются. Становятся стабильными. Карьера влияет, обязанности. Когда я увидел Толика в 89-м году, это был уже взрослый человек. Кандидат наук, педагог, незаурядный педагог. Отец семейства. Состоявшийся, многого добившийся и активно работающий человек

Но я увидел вдруг того же Толика. Я не знаю, какой он был на работе. Какой он был в своем кабинете директора школы. Я не знаю, какой он был на посту советника министра образования. Но когда я его встречал здесь летом, это был Толик. И хотя с того далекого 1971 г. прошло более 30 лет, озорной блеск в его глазах сохранился, сохранились и чуство искрометного юмора и неистребимая детскость. Тот же юмор и… элемент детскости. Он сохранил детскость. А что такое детскость? Это в первую очередь тяга к знаниям, жажда чего-то нового, тяга к открытиям. Он это сохранил. Озорство или азарт, такой невзрослый, присутствовали всегда.

В Светлогорске 1989 г.
С дочкой Зоей и Машей Аккерман

И в его случае формирование человека шло закономерно. Он уже лет в 15 был личность. Возьми любого мальчишку в 15 лет. Это настолько сырой материал! Скорее всего обычный мальчик лет в 15 очень грубый, очень агрессивный, он

вполне может подраться. И это есть настоящая суть 15-летнего обычного мальчика. А здесь это была личность. Ведь я уже работал в АтлантНИРО, уже писал статьи, занимался научными исследованиями. Обратил бы я внимание на 15-летнего мальчика? Но я же обратил на него внимание. И я же провел с ним лето. И мне было интересно. А мне было 24 года. Я уже был знаком с кандидатами наук, с докторами наук, я уже вращался в научных коллективах. Тем не менее я все лето провел с этим мальчиком. И он настолько мне запал в душу!

Следующая совершенно случайная встреча с Толиком произошла летом 1975 г. В Светлогорске на улице Карла Маркса меня остановил молодой человек плотного телосложения с бакенбардами. В нем я не без труда узнал Толика Пинского. Толик был в компании друзей и очень спешил. В нескольких словах он рассказал мне, что является студентом Московского педагогического института, и мы с ним попрощались… лет на 15.

Потом я о Толике узнавал у А.А., который практически каждое лето отдыхал в Светлогорске. Он рассказывал, что у Толи появились дети. А потом мы общались уже на другом уровне, когда снова встретились в Светлогорске после почти 15-летнего перерыва: опять же летом я встретил Толика, но уже вместе с его женой Мариной и двумя очаровательными дочками, старшей Анечкой — ровесницей моей дочери Сонечки и младшей Зоечкой. И мы встречались до 2004 г.

Толя и Фима в Светлогорске, 1971 г.

Там же. 1996 г.

70–80-е годы

Относиться к игре как к жизни

(рассказывает Евгений Кнорре[11])

Толин отец был педагогом-методистом. Он работал в институте НИИСиМО, там у него была лаборатория. А Толя учился в пединституте на физфаке, где я с ним познакомился в 72-м. Сначала шапочно: помню, такой небольшого роста парнишка. Не помню, борода тогда была у него или нет, потом уже она у него появилась. Облик у него не менялся с тех пор. Он учился хорошо и был очень увлекающимся.

Чтобы почувствовать, какая атмосфера была у нас на факультете, на нашем курсе, важно сказать вот что. У нас выпускалась газета «Физик» — факультет физики, это понятно. А одно время, когда там учились и были в силе Пинский, Злотник[12] и все остальные, выходила газета «Лирик». И в ней были всякие стихи, рецензии: рецензия на фильм «Ирония судьбы», который, кстати, снимался в доме, где жил Толя, на Юго-Западе.

Толя увлекался стихами и сам стихи писал, написал несколько рассказов. Один рассказ «Мнемозина». Помню начало: «Странная штука память. Начинаешь вспоминать одно — вспоминается другое». И вообще он ушел в поэзию и первые годы серьезно ею увлекался. Толик всегда владел пером: когда я написал первую серьезную статью для сборника философии, он мне ее помогал редактировать.

И одновременно были его песни. Его увлечение музыкой не сейчас возникло — он в студенческие годы с первого курса пел под гитару. И даже обижался, что его все время звали в компанию, потому что придет Пинский и споет под гитару. Например, пел «Конфетки-бараночки». Сколько я потом слышал разных исполнителей, никогда не встречал никого, кто бы спел лучше Толи. Он в последнее время стал петь правильно, занимался голосом. Но когда он пел в студенческое время по-своему, это было совершенно замечательно, неповторимо.

Следующим этапом в этом художественно-литературном движении было то, что Толя решил на старших курсах поставить ни больше ни мень-

---

[11] Евгений Борисович Кнорре — член Международной академии информатизации.

[12] Евгений Злотник — сокурсник Толи, сотрудничал с ним в сфере образования, позднее эмигрировал.

ше как «Идиота». И он сам написал сценарий, вообще весьма приличный. И мы стали собираться. Он распределил роли: Злотника он сделал Идиотом, себя — Тоцким, Адамского[13] — Рогожиным. Мне он почему-то дал роль генерала (я даже обиделся). Мы несколько раз собирались, но это не имело продолжения, потому что декан факультета Мансуров был недоволен, что на факультет приходят люди, которые его окончили и уже не имеют к нему отношения. И он разогнал все это дело.

У Толи была идея: есть часть романа и сценария, связанная с любовью, и он считал, что можно ставить «Идиота» как пьесы Островского. Я с этим не согласен, но знаменитый «Идиот» Бортко так и поставлен. Так что все-таки воплотили идею Пинского.

Потом, кроме собственно физики, которой мы все вперемежку со стихами увлекались, Толя увлекся методологией — теорией деятельности Щедровицкого. Он погрузился в нее на полном серьезе. Это продолжалось до 87–88-го. В 1987 г. я с ним пересекся на игре по образованию в Эстонии. Там были Рокитянский, Злотник и Толик.

И еще важный момент в его увлечениях, сменах, переменах — это то, что он всегда увлекался различными играми. Когда я с ним познакомился, он в 16 лет уже был кандидатом в мастера по шахматам. Потом мы как-то отдыхали в доме отдыха, году в 75–76-м, там он играл в преферанс, и я узнал, что он входит в десятку первых игроков Москвы. Затем наступило время го. У Толи было серьезное продвижение. Я не разбираюсь в этих поясах, черных и коричневых, которых он достиг, но он достиг успехов.

Что касается антропософии и вальдорфской педагогики, то я об этом услышал на пограничье, когда закончилось его серьезное увлечение методологией. В студенчестве он к Гете относился иронично. А в это время, году в 89-м, мы встретились, и он сказал: «Я узнал человека, который знает истину». Имелся в виду Р. Штейнер. В последние, 2000-е годы мы встречались три раза. Я спешил на домашний семинар Библера, а он на какое-то важное совещание, потом на 10-летии смерти Щедровицкого и на юбилее, когда Толе исполнилось 50 лет.

Он был человек жизни в полном смысле слова, во всех ее противоречиях и сумятицах. В последние годы я мало с ним встречался, видел его по телевизору, слышал по радио. Он был для меня референтом в каких-то вопросах, в которых, как я знал, он продвигается и что-то делает. И я ощущал некоторую пустоту на том месте, где был он, общение с ним. Я чувствовал потерю уже при его жизни — то, что мы с ним не общаемся. Я надеялся, что все переменится.

Хочу закончить выводом, который я для себя сделал. Из всех людей, которых я знал, из всех мужчин, Толя был самым обаятельным человеком.

[13] Александр Изотович Адамский — соученик Толи по пединституту.

Было нечто такое притягательное, была такая аура, какая-то пленительность в общении с ним, которой я больше ни у кого не помню.

* * *

В 77–79-м году у Толи был домашний семинар по проблеме игры. Игра с большой буквы, феномен игры как смысл, понятие. Одновременно он и Павлик Казачков ходили на семинар Щедровицкого. Но он чувствовал там какую-то недостаточность. (В воспоминаниях о Щедровицком он сам все хорошо описал.) Часть человека оказывалась выброшенной за методологический дискурс, а он тяготел к дискурсу всеобъемлющему. Поэтому он и говорил — «просто жизнь». Его обаяние — в философском плане это желание охватить жизнь в целостности, не идти путем специализации как физик или методолог. Р. Штейнер его увлек, захватил целостностью своего подхода, принятием человека во всем многообразии, а не в какой-то части, как это было в методологии.

Целостность. Вот игра — увлечение всей его жизни. Когда я себя с ним сравниваю, понимаю: я относился к жизни как к игре, а Толя к игре относился как к жизни, со всей серьезностью. Поэтому он и достигал своих успехов во всех областях, куда ни обращался.

Толя во всем почти был первым. Один из первых по возрасту он стал православным христианином. На II курсе или раньше[14]. И тоже глубоко и всесторонне: читал книжки, у него был «Вестник РЦПХ» — это достаточно редко для 70-х годов.

И был такой забавный случай. Он соблюдал пост. Гриша Злотник его спросил, когда они шли по базару и Толя приценивался к капусте: «Ну вот, ты соблюдаешь пост. Наносишь себе урон, отказываешься от мяса. А ты уверен, что за этим стоит что-то правильное?» На что Толя ответил: «Нет, конечно, нет. Не полностью уверен».

Позже произошло разочарование и переход на антропософские рельсы, а потом был иудаизм, еврейский центр. Толя, когда в те годы говорил о роли Р. Штейнера в истории, очень сожалел, что на русский язык не перевели его культурно-историографические работы. Публика знакома в основном с мистическими, а Штейнер еще интересный культуролог.

Что касается либерально-экономической сферы, Толя говорил, что написал культурологическо-экономическую статью в журнал. Лет 10 назад был журнал, который выпускал Гриша Коковкин, журнал либеральной направленности[15]. В этой статье была идея о том, что раньше метод Декарта воспринимался так, что есть субъективное Я, активно творящее все, а

[14] Крещение произошло в 1980 г.

[15] «Открытая политика».

остальное — просто субстанция, материал для деятельности. А в XX в. и раньше в философии такой ход уже не годится. Уже появляется диалогичность, и нельзя все окружающее воспринимать как материал для деятельности. Может быть, и в экономике следует учитывать, что проблемы каких-то старушек — это не просто один из параметров, который входит в нашу экономическую ситуацию, а что-то большее, значимое. И этот пассаж редактор вычеркнул, не принял такой переход от Декарта к экономическому мышлению.

Наши пути идут все равно в чем-то близко

(рассказывают Ольга Ковалева и Николай Типцов[16])

Оля: Ты спрашиваешь о первой женитьбе? Началось это все с картошки, после первого курса. На картошке Толя очень увлекся Галей. Толя потом рассказывал, что его поразило, как она разговаривает сладко о конфетах. Это его как-то сильно тронуло. У нее был очень нежный облик: блондинка с большими-большими голубыми глазами, очень женственная. И он начал бурно ухаживать. Они приехали с картошки, и все поговаривали, что там роман. Он увлекся, Галка позволяла оказывать себе знаки внимания, он так импозантно ухаживал. А потом на пятом курсе вдруг на Новый год (1977 год наступал) Коля решил подарить мне елку, пошел в лес, срубил, пришел ко мне домой, мы эту елку собирались ставить, и вдруг звонок в дверь, вваливаются Толя и Вовка Гольдман. Толя увидел Колю, удивился — никто не знал, что у нас с Колей бурный роман. «Все, женюсь, женюсь, приглашаю на свадьбу!» Стал примерять кольцо, футляр от кольца забросил за диван, уехал с кольцом. Уже на свадьбу мы отвозили ему этот футляр. В гостинице «Дружба» была грандиознейшая свадьба человек на 125. Что-то просто немыслимое, бурное. Потом им сразу сняли однокомнатную квартиру, они уехали. Делала все Берта. И это все продержалось ровно месяц. Они разошлись. Лучше всех эту ситуацию понимала Берта Ильинична.

[16] Ольга Юрьевна Ковалева и Николай Владимирович Типцов в 70-х годах учились с Толей в пединституте, в 90-х годах работали в Московской вальдорфской школе.

Коля: Толя очень увлекающийся. Остались яркие воспоминания нашего веселья, когда мы собирались и ему очень хотелось на улицу, с гитарой. И до сих пор я помню, как он здесь ходил у нас по двору и пел: «Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь…»

Оля: Еще один яркий эпизод. После зачета по электродинамике. Толя мне на четвертом курсе помог сделать курсовую, я ее сдала, ребята все сдали зачет по электродинамике и собрались у меня. Так весело было — пили пиво, потом пришла моя мама. Толя говорит: «Пошли ко мне». Пошли к нему, какое-то время побыли, потом у него тоже пришли Аркадий Аронович и Берта Ильинична, и наше веселье стало неуместным. Я говорю: «Ребята, поедем ко мне на дачу». А это в Теплом Стане никакая не дача, а маленький садовый домик моей бабушки. И вот уже стемнело, мы взяли гитару, взяли какой-то зеленый тархунный ликер, сели в автобус. Народу немного, и Толя на весь автобус поет: «Бирюзовые златы-златы колечики, эх! Покатились па-а лужку!» И такое ощущение — цыганская тройка! Такой полет был, веселье такое разухабистое! Автобус едет, потом водитель говорит: «Прекратите, невозможно вести!» А мы: «А что?!» И опять эта песня — «Ты ушла, а твои плечики скрылися в ночную мглу»… Приехали туда, пришли в этот садовый домик, и оказалось, что там нигде не остановишься, лежат какие-то поливные шланги… На дачу приехали! Уже как-то мы ночь провели, утром встали и поехали в зоопарк. И там встретили Женю Кнорре, который был совершенно потрясен нашим видом — он просто гулял по зоопарку. А Берта Ильинична звонила моей маме, устроила ей разгон. Мама, конечно, меня искала. Я уже из зоопарка позвонила — я жива, не переживай… 1976 год.

Коля: Это были детские игры и ничего больше. Веселые, беззаботные. Никакого разврата, ничего подобного. Неприятие обыденщины.

Толя на картошке после 1 курса пединститута. Слева от него Виталик Вартанян, 1973 г.

Оля: От Толи шла такая волна — «Ух!»

Коля: И еще эпизод — свадьба, на которую нас через Сашу Кожу пригласил один мальчик, его друг из физтеха. До этого накануне двух ребят забрали в вытрезвитель, отбили почки, ужасная была ситуация, и Берта Ильинична нас в два часа ночи встречала.

А Саша Кожа тогда резко изменил образ жизни. После института он кончил семинарию, стал священником. Саша – удивительный, очень сильный человек. Для него движение, целеустремленность – это все. Он как Ахиллес: тот воин, и он тоже своеобразный воин.

Когда Толя хотел освятить школу, он обратился к Саше. Тот приехал, они поговорили, но освящение не состоялось. Риск. Зачем священнику так рисковать.

Почему Толя хотел освятить школу? Потому что искал пути ее адаптации. Шел 95-й год — и как звучало тогда «вальдорфская школа»? Это что, «люфтваффе» какое-то?

Оля: Тогда наши руководители как раз начали стоять на службах со свечками.

Коля: Толя стремился показать, что школа — это не секта, не что-то чужеродное в центре Москвы, он искал все возможные способы, чтобы ее адаптировать. Он же понимал, что для окружения это нечто инородное. Вот забор заканчивается, и там уже совершенно другой мир. Как он отнесется к школе?

Оля: И Толя пытался другим путем это все-таки сделать, даже когда ему отказали, сказав: была бы замоскворецкая школа, тогда пожалуйста, а раз свободная вальдорфская — невозможно. Он договорился, и в школу стал приходить отец Артемий Владимиров, очень известный священник, который от патриархии занимался вопросами воспитания молодежи. Вел беседы с детьми, с учителями, с родителями. Было чувство, что он посмотрел, что здесь происходит, и успокоился, что это не сектантство, что ничего детям не «впаривают». Но не освятил — он же не имеет права от себя. А в это время уже были неприятности с церковью у вальдорфской школы в Рязани, в Зеленограде. Уже с Андреем Кураевым начиналась дискуссия[17].

Вот я смотрю, получилось так удивительно: вместе кутили, потом методологией увлеклись, потом вышли из института, и получилось, что так или иначе каждый своим путем пришел к христианству, а потом к антропософии. Наши пути идут все равно в чем-то близко.

[17] Толя вел публичную дискуссию с диаконом Андреем Кураевым в защиту вальдорфской педагогики. Желая донести до него свою точку зрения, в какой-то момент даже вступил с Кураевым в личную переписку. Но взаимопонимание не было достигнуто. В отличие от еще одного случая, когда Толя (уже во времена Интернета) вступил в письменное общение с человеком, сделавшим какое-то антиеврейское заявление, и был очень доволен состоявшимся диалогом.

А Толя, когда крестился, очень долго держал пост. Пост строгий — 40 дней чуть ли не на хлебе и воде. Он приходил в магазин «Минеральные воды» на Тверской, продавщица сочувственно так на него смотрела и предлагала: «Давайте я вам налью минералочки, просто так, бесплатно». И бросал пить он тоже со всей страстностью — завязал и все! На четвертом курсе перешел на чай. У метро «Парк культуры» была чайная в подвальчике, и он там тогда по 11, по 13 стаканов чая за раз выпивал. Уж пить так пить, чай так чай!

Я помню, что его крещение было как будто вдруг, и за этим стояло какое-то внутреннее переживание — сильное, личное. Он тогда говорил: «Это же удивительно! Вот Иисус — такое имя, как у нас Вася. Богочеловек — и Вася! Такое обычное имя — и Он здесь, сейчас, среди нас». Это было сильное переживание Божьего присутствия, существования, и очень простого существования.

Коля: У Толи был дар серьезные вещи конкретно и просто объяснять. И смысл не терялся при этом, а наоборот, высвечивался. Это особый дар. И мы любили общаться с ним именно потому, что в общении можно было очень быстро понять довольно сложные вещи.

Мы все вместе образуем группу душ

(рассказывают Сергей Казачков и Павел Мейксон[18])

Сергей: Марина, вспоминая по твоей просьбе даты и обстоятельства, в которых Толик стал антропософом, я увидел биографию Толи на том фоне, на котором многие люди образуют некую группу душ, созвездие душ, родившихся в данных условиях, с какой-то общей задачей. Эта задача распределена на нескольких людей, на несколько частных задач, и без этой мысли развитие отдельного человека непонятно… И есть опорные души, которые несут весь этот поток. (…) Я думаю, что если бы Толика не было в общем течении московской жизни, то в России бы просто

[18] Сергей Викторович Казачков и Павел Григорьевич Мейксон – одноклассники, позднее они учились с Толей в пединституте. В 90-х годах Павел (специалист по компьютерам) работал в Московской вальдорфской школе. Сережа (редактор научной и художественной литературы) женат на Тане Стрижак, с которой мы вместе учились на факультете психологии МГУ.

не существовало ни вальдорфских школ, ни штейнеровской педагогики. Я убежден, что такого движения вообще бы не было. А если так, ему выпала некая историческая роль. Понятно, что он это сделал не один. Никто не способен совершать такие вещи в одиночку. И если не исключать правдоподобия той мысли, с которой я начал, то возникает вопрос: что это за душа? И как она со всеми другими связана? (…)

О том времени, когда начались наши отношения, Толик кратко пишет в своей книге об отце, а его воспоминания о Георгии Петровиче начинаются с того, что в начале 70-х годов он учился вместе с Павликом и со мной. Как я его встретил, я прекрасно помню. Как сегодня. В пединститут я поступил в 1973 г., на год позже Павлика, поэтому тамошнюю студенческую среду осваивал по его стопам и с оглядкой на то мироощущение, которое мы вынесли из нашей с ним школы. Едва ли не в первые дни учебы, рассказывая о компаниях физфака, Павлик сказал: «У меня есть разные друзья, и среди них одна очень симпатичная личность — Коля Типцов». Коля и мне весьма понравился, я начал с ним общаться, мы сразу подружились. На переменах мы всегда курили. Звонок — сразу сбегаются все. Висят такие забавные лозунги, как «Привет участникам броуновского движения!» и всякое в этом роде. Жизнь была довольно беззаботной, но в этой вольной атмосфере мы подчас обсуждали и вещи важные…

Однажды стоим мы на перемене в вестибюле, курим. Типцов в своей необычной тужурке — кожаной, черной — такой вальяжный, никуда не торопится. Я смотрю на него. И у меня ощущение — ну да, это наш мир. Есть другая институтская среда — довольно чуждая, но эти люди (как раз пришел с лекции Павлик) — здесь родство душ. Тут кто-то подходит, и Коля говорит: «Вот смотри, это Толя Пинский. Интересный парень. Сын, ты ведь, наверное, знаешь, сын автора хорошего учебника». И я перевожу взгляд. А смотреть пришлось против окна: залитое светом пространство, и в него входит кто-то на фоне этого солнца. Так первое восприятие Толи было у меня исключительно мажорным: какая-то очень светлая личность. Он сует мне свою руку с этим необычным пальцем… То первое впечатление так и живет во мне до сего дня. Но общаться мы стали не сразу. Все шло как-то постепенно. Однако первое ощущение было довольно сильным. И для меня оно потом подтвердилось. Такое видение его лица.

Это была осень 73-го года. Никакой внешней реакции на эту встречу у меня не было, а внутренний отклик был. Я отнесся тогда к этому так: да, так и должно быть в жизни — сын Пинского. В школе мы, конечно, знали «Основы физики» Яворского и Пинского. Книга была великолепная, она появилась именно в тот год, когда мы поступили во Вторую школу[19] (в нее

[19] Средняя математическая школа № 2 г. Москвы.

принимали в восьмой класс), — этот учебник для спецшкол был вспышкой вольной и ясной мысли. Но в нашей школе все принимали жизнь с таким романтическим благородством и наивностью (почему — это отдельная история), относились к жизни, например, так, что только такие книжки и должны быть — это же естественно! Все другое просто временное недоразумение, хотя этого другого и бесконечно много. И в общем-то, как я думаю, жизнь показала, что это было правильно. Какие-то редкие и очень хорошие вещи нам представлялись единственно возможными, а они были — исключительными. Да и саму Вторую школу мы понимали просто как норму: такой нормальная школа и должна быть. А это было нечто невозможное, это был «прокол в системе». (Позднее школу «обезглавили» за диссидентский дух.) Говорю об этом потому, что точно так же я отнесся и к встрече с Толиком — это была просто очевидность: вот один из нормальных людей.

Сначала я общался с Толей «на расстоянии». Доверие между нами возникло сразу — он располагал к себе: так сказать, как открытая личность. Но желания сблизиться и проводить время вместе не было, собственно говоря, мне было пока не до того. А вот Толик с Колей — да. Они вместе баловались вином, вели богемный образ жизни. Однажды Типцов привез его домой на машине, так Берта потом говорила, что по гроб жизни этого не забудет: дело в том, что в аналогичной ситуации ребята из этой институтской компании попали в милицию. В какой-то мере Коля Типцов входил в эту компанию. В ней сразу заметную роль стал играть Саша Кожа. Он пришел из Физтеха. Проучился там года три, потом что-то случилось, и он перешел к нам, но на курс постарше. То есть он был взрослее нас. От него Коля как-то получил несколько книг Ницше. Для той эпохи они были чем-то запредельным (за них даже арестовывали). То есть Кожа был весьма своеобразным человеком. Тогда он еще никак не был связан с религией. Курс он кончил раньше нас и стал учиться в загорской лавре. Это было, когда Толя уже закончил пединститут.

А тогда Кожа участвовал в этих юношеских гулянках. На таком психологическом фоне я тогда видел Толика. Сама эта компания была мне совершенно чужда, и наше первое знакомство с ним стоит особняком от всего этого. Стоит отметить, что интеллектуальный и моральный климат на факультете был очень достойным и благоприятным, его создавали и поддерживали очень многие прекрасные люди (от профессоров до библиотекарш). (…)

Теперь о методологии Г.П. В 72-м году я попал на вечерний курс лекций «Введение категории “система”» некого Щедровицкого в одном академическом институте. Пойти на него меня убедил Юрий Владимирович Буркин — человек, которому за это мы с Павликом и, по-моему, Толик очень многим обязаны. Ученик Ю.А. Гастева, а потом Щедровицкого, Буркин преподавал основы методологии Г.П. (строение «атрибутивного знания») в

рамках курса матлогики на факультете прикладной математики (Института нефти и газа), где я учился до прихода в пединститут. Рассказывая Павлику об атрибутивном знании, я восхищался: «Можешь ли ты себе представить, что на формальном языке излагаются как современные и правильные представления Канта о “вещи в себе”?» А после лекции Г.П. я пришел к Павлику и сказал: «Это, несомненно, лучшее, что существует сегодня. Это новый Гегель!» Павлик, конечно, не поверил: «Гегели больше не рождаются». Но на лекцию решил сходить. И мы оба — я сразу, а Павлик чуть позже — вошли в закрытый семинар, проходивший у Г.П. на квартире.

И вот на семинаре я вижу этих замечательных людей. Один из первых докладов там сделал молодой еще Олег Генисаретский — о Лейбнице. И я понимаю, что это настоящий университет. Как средневековая Сорбонна. И эти люди — это совершенно не советские люди. Они не из этого времени. Дальше я стал исправно ходить в этот оазис схоластики.

И все это потом подействовало на Толика. Он в нас это видел. Он увидел эту большую ауру вокруг нас. А потом сам с этим столкнулся. И по-своему в этом утонул. И ему надо было по-своему из всего этого вынырнуть. Магнетизм этих обстоятельств и людей был очень и очень силен. Я думаю, что Г.П. — это мало разгаданная личность и что его воздействие будет уходить в будущее.

Павел: Я помню, в то время мы часто гуляли втроем в лесу на Юго-Западе и говорили на философские темы с Толиком. Мы сначала много говорили о Платоне и Канте. Поскольку Толик еще не был посвящен в методологию, это было общей темой.

И все время добавляли свою методологическую позицию. А Толик с ней не соглашался и отстаивал чисто философскую. Я хорошо помню, как мы идем втроем около леса на Юго-Западе и спорим. Мы с Сережей отстаиваем великую значимость методологии, а Толик говорит, что рядом с Гегелем это детский сад. Так мы ходили и спорили часами. И задумывали устроить что-то вроде семинара. Это где-то до 76-го года. Но постепенно он все больше заинтересовывался методологической составляющей. И в какой-то момент мы сказали: «А ты приходи на четверговый семинар[20]». Это была весна 78-го года.

Сергей: А параллельно существовал его образ жизни с компаниями и молодецкими гулянками. Был еще КСП, которым он активно занимался. «Но — парус!.. Порвали парус…» — ночью на улице и т.п.

Павел: С момента включения Толика в методологическое общение он стал значительно меньше времени проводить в прежней компании. Так что

[20] Открытый семинар, проходивший по четвергам в Институте педагогической психологии, на который также приходил народ с факультета психологии МГУ, находившегося в соседнем дворе.

Берта благодарила меня за то, что я познакомил Толика с методологией и он стал вести другой образ жизни.

Сергей: В своих воспоминаниях о Г.П. Толя пишет, что сблизился с нами на рубеже 1977–1978 гг. и тогда попал на лекции Щедровицкого. Он говорит, что увидел Г.П. лет за пять до этого, значит, где-то в 73–74-м году. Как я помню, это шло волнами. Весной 74-го он об этом узнал. Но не стал заниматься методологией. Примерно тогда был период влияния на него Саши Кожи, который позднее стал православным священником. Постепенно Толик стал покупать много соответствующих — дореволюционных — книг. Набирал подшивки «Вестника Европы». Потом крестился. Он больше и больше интересовался этими вещами и делал все последовательно и решительно. Стал носить галифе, сапоги. Такое нарочитое опрощение. Тут же Высоцкий и всякие простонародные вещи. Но за этим стояло что-то в духе прежних славянофилов или толстовцев. Внешне это выглядело сермяжно, а на деле было возвышенно. Он доводил это до каких-то очень определенных внутренних решений, а внешне — до утрированной формы, до эпатажа. Он пишет в воспоминаниях[21], что у него были периоды, когда он отвергал что-то одно, потом другое. Вот эта его манера — маятник — была средством докопаться до каких-то более глубоких вещей, уже не внешних. И соприкоснувшись в этот период со сферой Щедровицкого, он не стал в нее входить, отошел.

Сам я на домашние и публичные семинары Щедровицкого ходил как на работу: с 1972 по 1976 г., безумно интенсивно, с полной отдачей. Потом наступил кризис. От кружка Щедровицкого я отошел. Кризис был глубоким и трудным. Ничего лучше этого я тогда не видел, но и здесь для меня был тупик. Так что я не мог найти выхода. Собственно, это было трагедией, и я даже заболел. А у Павлика, наоборот, тогда начался очень активный методологический период. Щедровицкий предложил руководить написанием его дипломной работы. У Павлика здесь был подъем.

Бывают странные сближения событий, показывающие внутренний параллелизм не связанных внешне вещей. В это время, в 1976 г., Павлик познакомился с Ниной Беленькой. И Толик тогда же с ней познакомился. Они познакомились с ней независимо друг от друга. И Толик примерно в это время стал проявлять некоторый интерес к методологии. Он связывает это со своей диссертацией: пишет, что начал решать вопросы гносеологии на почве физики. И другой среды, кроме методологической, для решения подобных проблем не было. А Н. Беленькая, кстати, была щедровитянка.

[21] Сережа имеет в виду книгу «Воспоминания об отце». О существовании текста «Третья декада» никто из нас в момент, когда делалась запись этой беседы, еще не знал. Не имели о нем представления и все остальные авторы воспоминаний.

Павел: Это таинственная история. Мы в ней до конца так и не разобрались. Я познакомился с Ниной на лекции Щедровицкого. Ко мне обратились несколько человек и среди них она — пожаловались, что ничего не понимают. Я ответил: «Приходите ко мне домой, я все объясню». Приготовился, нарисовал схему, жду, когда все придут, — через два часа явилась одна Нина Беленькая. У нас возник кратковременный роман. Она жила у сына известного Сосинского[22] в доме на Ленинском, в котором потом жил Толя[23]. Несколько раз я ее туда провожал. И когда позднее мы с Толей случайно об этом заговорили, оказалось, что он познакомился с Ниной в то же самое время, в метро, когда, подъезжая к Юго-Западной, сидел и читал «Мастера и Маргариту». У них тоже были какие-то отношения, и он приходил к ней домой[24].

В 77-м году Толик предложил поехать вместе в Прибалтику. И мы вместе с Аллой Крупник и ее дочкой Аней поехали в Прибалтику почти на месяц. Там мы спорили о методологии, философии и психологии. Тут Толик меня всегда поддерживал: как методолога против психолога[25]. Мы обсуждали Канта, Гегеля, у нас был философский период. Мы замечательно путешествовали по Прибалтике. Поехали в Зарасай, Шауляй, Вильнюс. Везде передвигались пешими переходами, один раз только проехали на автобусе. Жили в палатке. Потом мы отправились в Латвию, по Латвии много ходили. У нас была стоянка возле Белого озера. Оно очень большое, почти не видно противоположного берега. Мы там простояли два или три дня. Комаров уносило, все время дул ветер. И все время было ощущение, как будто эфирное тело сдувает. В последний день что-то вдруг изменилось. Мы не могли понять что. Это затих ветер. Контраст был просто изумительный. А мы с Толиком простудились. Мы купили по пачке сульфадиметаксина, съели его и соревновались, бегали наперегонки с рюкзаками. А рюкзак у меня был такой, что я его сам надеть не мог, в рюкзаке помимо всех вещей лежали еще четыре тома Канта. Его на меня надевали вдвоем. Такое возможно было, потому что нам было по 22 года. Сульфадиметоксин ведь сильно действует на сердце, но в том возрасте сердце не давало о себе знать. На следующий день мы выздоровели.

[22] Популярный рассказчик, близко знавший литературную эмиграцию 20–30-х годов, а также выдающихся политических деятелей, вернувшийся в Советский Союз.

[23] Ленинский пр-т, д. 144, кв. 4, где Толя жил с семьей в 1986–1999 гг.

[24] Толя рассказывал эту историю о Нине Беленькой, о том, как он приходил к ней домой, и Сосинский его привечал, и как уже позже они совершенно случайно в разговоре с Пашей выяснили эти обстоятельства.

[25] См. текст А. Пинского «Третья декада».

В Риге случилась драматическая история с Илоной[26], которая пыталась покончить с собой из-за того, что Толик ее отверг. И подруга Илоны, чтобы за нее отомстить, устроила Толе психологическое испытание и чуть не утопила его в море.

А еще через год Толик предложил нам с Аллой и ее подругой поехать в Калининград. Мы там жили в общежитии, о чем Толик заранее договорился. Там была смешная ситуация, когда Аллина подруга сказала: «Паша с Аллой будут в одной комнате, а мы с Толиком в другой». И Толик сказал: «Нет! Нет!» Он очень испугался, и в результате мы с ним жили в одной комнате, а Алла с подругой в другой. Мы ездили к морю, видели старинные дачи в том месте, где Толик прежде жил[27]. В Калининграде все было серо, пустынно, а эти старые немецкие дачи производили замечательное впечатление. Мы пробыли в Калининграде недели 2—3. Ходили на могилу Канта. Толик нам все время что-то показывал и рассказывал в Калининграде.

А потом я помню, что зазвал Толика на семинар Щедровицкого в Давыдовский институт. И в какой-то момент Толик совсем стал методологом. Он участвовал в организационных играх и был в курсе всего, что происходило. (…)

Сергей: Первую книжку Штейнера я прочел в 1973 г. и сначала не захотел углубляться в эти идеи, хотя в методологический период я из рассуждений Платона и Гегеля сам вывел и изложил Павлику, что в теории должна существовать реинкарнация разума. В 1978 г. я уже был в антропософии. Не знаю, говорил ли я об этом Толе. Собственно, я бы сказал, но, кажется, он не спрашивал. В 1977–1978 гг. мы стали разговаривать на философские темы. И семинар, о котором он пишет, начался в 78-м осенью и завершился весной либо осенью 79-го, когда и сожгли рефлексию. Он написал замечательный романс (на мелодию окуджавской «Песни о Новогодней елке»), часть его приведена в книге об отце (с одной неточностью: вместо «и потянулась за спичкой» Толик пел «и поднесла к себе спичку». То был образ рефлексии как возврата разума к самому себе).

Об идеях Платона мы говорили подробно и много разбирали их вместе с ним и Павликом. И еще мы обсуждали с Толей славянофилов и идеи Владимира Соловьева. Обменивались книгами. Потому что тогда в связи с антропософией меня очень интересовал Соловьев. И его он интересовал, но в связи с Достоевским, Лесковым, культом старой России. И одновременно Платон. Тогда-то он и взялся устраивать у себя дома семинар.

Павел: Мы с Толиком вместе обсуждали эту идею. Семинар по образцу дискуссий у Щедровицкого, но с другой целью. Мы пытались найти общее содержание — философское, метафизическое. Толик говорил, гля-

[26] См. текст А. Пинского «Третья декада».

[27] Речь идет о г. Светлогорске.

дя на Щедровицкого, что важно построить коммуникацию. Если мы будем обмениваться разными точками зрения, исходя из разных позиций, то получится что-то интересное. Но к Щедровицкому он тогда относился с иронией. Он не собирался его копировать, а хотел сделать что-то по смыслу и жанру другое. На одном из заседаний семинара мы просто слушали Баха, «Страсти по Матфею». Была такая попытка: вместе слушать. Кто-то не мог и уходил, говорил, что устал, неинтересно, потом возвращался. Толик тогда один дослушал эту вещь до конца.

На семинаре была создана очень доверительная атмосфера. В каком-то смысле происходило развитие в личностной сфере. Поводом было какое-либо философское обсуждение, а в реальности все происходило на другом уровне, на душевном. И это было содержательно: есть интеллектуальное основание, но происходит что-то личностное. Были доклады. И Толик докладывал — про то, что главное можно понять, только читая святых отцов и писания Церкви. Он выступал с православной позиции. Сугубо православной.

Сергей: Это ему было зачем-то очень нужно. Этот доклад говорил о том, что он дошел до какой-то точки. В нем он заострял все это до крайности. Как я помню, одновременно с этим у Толика стал обнаруживаться интерес к эзотерике. В «Пайдейе» Толик датирует этот интерес своим участием в семинаре Юркевича, но он ошибся — семинар в ЦСКА был на несколько лет позже.

Здесь образы моей памяти двоятся, потому что, как я уже сказал, развитие Толика шло волнами — и воспоминание об одной волне может сложиться с памятью о другой, о наших беседах 1982 или 1983 г. Тут важным рубежом была одна старая книжка, которую я ему дал: перевод Н.А. Любимова «Рассуждения о методе» с нтеллектуальной биографией Декарта. Эта работа и вообще хороша, но кроме прочего он описывает в ней эзотерические интересы Декарта, в ней есть кое-что о розенкрейцерстве. Толик тогда буквально влюбился в эту книжку, она его глубоко затронула. Он тогда специально достал книгу, интересную для меня (Платона), чтобы обменять ее на Декарта. После погружения в декартовский сюжет он углубился в сходные темы.

Мы начали их осторожно обсуждать. Я не скрывал, что научился относиться к истинной эзотерике всерьез. Он меня спрашивал: «Ну, хорошо. А ты во что веришь?» И на мои слова действительно глубокомысленно возражал, как всегде с юмором. Впрочем, бывало и соглашался. Все это происходило у него на кухне, после семинаров. Он тогда, например, спрашивал: «Для тебя-то что убедительно?» Я говорил: «Например, Блаватская, Безант, но ни в коем случае не Папюс и ГОМ[28]». Он: «Ну хорошо, а почему?» — «Безант и Блаватская могут ошибаться, но в отличие от многих других “мистиков” они не обманывают своего читателя…» Так мы разговаривали, пожалуй, в духе сносного сократического диалога. Всерьез, а не ради словесной баталии. Рассуждали о чем-то, что было важно, и мы должны были решить: что думает об этом он, что думаю об этом я.

[28] Жаргонное название книги «Курс энциклопедии оккультизма, читанный Г.О.М…» (СПб., 1912). Г.О.М. — инициалы Г.О. Мёбеса. — Примеч. авт.

Толик на следующий день спешил в Ленинку, добывал Блаватскую, лез в спецхран, находил все что можно о сподвижниках Блаватской. Делал ксерокопии — и для меня тоже (хотя я не просил), и все это штудировал. В какой-то момент (году в 1980-м) речь зашла о Штейнере. Все это он довольно широко осваивал. Это шло довольно медленно, постепенно.

Дальше завершился семинар. Они сожгли рефлексию. Толик надул шарик, повесил его на люстру. (Если не ошибаюсь, они с Леной выдумали ритуал.) Толик спел песню. Лена Михна поднесла спичку. Шарик лопнул. Все съели торт, отпраздновали завершение рабочего года и пошли гулять. Рефлексия — вещь неправильная и нездоровая, а нужна жизнь, живая жизнь. Такой был у Толика посыл. Это осень 1979 года.

И потом Толя занялся го, играми, возник семинар в ЦСКА, где было го, таро и многое другое. Толя занялся этим очень интенсивно и оттуда ушел в магнитное поле методологии. (…)

В 1984 г. он увлекся Н. Скворцовым и Н. Новиковым. И в связи с этим масонством. К масонству он отнесся совершенно серьезно. Очень прочувствовал платонизм Скворцова. Тогда же он занялся Квирином Кульманом и Якобом Бёме. И уже параллельно начал интересоваться Штейнером. Он стал заниматься этими вопросами всерьез и относил их к себе очень прямо. В это время он постепенно отходил от Щедровицкого.

Все ведь жили тогда, словно под землей, и даже могучий технократический идеализм Г.П. существовал, будто в просторных катакомбах. Сегодня уже невозможно представить и невозможно передать, скольких сил стоило тогда пробивать тот незримый гранит, что висел у нас над головами.

О чем мы говорили с Толей? Круг тем был довольно широк: от медитативных упражнений разума и гетеанства до роли античных мистерий и современных тайных обществ в истории. Так, ему понравилось одно мое рассуждение, в котором я рассказал, как понимаю, что такое оккультизм. Что он бывает разный, и когда, например, неокрепший детский ум заставляют регулярно, по школьному расписанию, концентрироваться на моделях атомизма и, собственно говоря, медитировать над этими образами (причем атом остается оккультно-скрытым), это тоже оккультизм, только чисто материалистический. Да еще с кнутом и пряником в виде оценок... Для Толиных интересов того времени показателен и другой сюжет. Нас занимала проверка одной моей гипотезы, которую он тоже разделял: летом 1985 г. я понял, что М. Горбачев будет воплощать в жизнь солженицынское «Письмо к вождям Советского Союза». Интересно, что ровно через год после своего отречения в телевизионной беседе с редактором «Континента»

Вл. Максимовым Горбачев так и сказал: «Ну я же реализовал его (Солженицына. — С.К.) “Письмо к вождям”!» (…)

Мне совсем не нравилось, что сведения об антропософии Толик получал в основном от меня, и чтобы познакомить его с новыми людьми, мы с Таней пригласили его на международный антропософский фестиваль искусств «Идриарт», в 1988 г. проходивший в Грузии. Он поехал, познакомился с антропософской средой, в том числе с антропософами из-за рубежа, и дальше уже общался с этими людьми сам. Жаль, что он практически не знал старшего поколения — преемников русских первоантропософов. Правда, он встречал очень значительную и бесстрашную личность — Марию Александровну Скрябину (дочь композитора). После фестиваля у меня дома сложился кружок, в котором несколько человек, в том числе Толик, анализировали штейнеровскую «Философию свободы». В него, например, входила Зинаида Марковна Левина, которую Толик вдохновил на поездку в Англию — учиться лечебной педагогике Штейнера. Она поехала и впоследствии вместе со своим мужем (Р. ван дер Плаат) заложила основы этой дисциплины в России. Толя принял антропософию очень искренне и глубоко и, как мне кажется, хорошо ее понимал. В этом наметилось определенное изменение, когда по каким-то причинам он стал искать, как сформулировать свое отношение к развитию антропософии на современном этапе.

Павел: Я помню, как по пути из «Аристотеля» мы с Толиком обсуждали теоретико-познавательные вопросы или оптику Гете. Или полтора часа говорили про это по телефону, а третьим участником разговора каким-то образом был Виталик[29].

Сергей: Новый этап его личного развития датируется тем годом, когда Толик стал оформлять идеологию вальдорфского движения. Он рассуждал о платониках и аристотеликах, писал о «нью-эйдж». Мне кажется, что с этого момента он постепенно изменил свое понимание того, что есть антропософское содержание как таковое. Он стал видеть другой аспект вещей, и это видение вылилось в «Мейнстриме»[30]. Это уже 2000 г. На этом этапе направленность его идей в каком-то смысле развернулась, если и не на 180, то на 90 градусов. Но это уже разговор на другую тему.

Павел: Как ни странно, в последние несколько лет подход Толика к антропософским темам в вопросах теоретико-познавательных был ближе к Гадамер[31].

---

[29] В. Вартанян — соученик по физическому факультету и друг Толи, Сережи и Паши, затем работал в школе № 1060.

[30] «Мейнстрим» — раздел в книге-диалоге А. Пинского и В. Рокитянского «Традиция и мейнстрим» (М., 2000).

[31] Известно, что Толя писал Гадамеру письмо примерно в 2000 г. Об этом рассказала наша подруга и коллега по школе Ута Коноваленко, к которой он обращался с просьбой о переводе. Но письмо не было найдено.

Он праздновал каждое мгновение своего бытия

(воспоминания Александра Кожи[32])

…Лет десять назад у меня возникла проблема с позвоночником. Мало-помалу я не мог уже долго находиться на ногах и вынужден был время от времени присесть на что-нибудь, чтобы перевести дух, причем даже во время богослужений, которые у нас в Православии бывают иногда довольно продолжительными. У меня оформлялась длительная загранкомандировка, и вскоре предстояло уехать — а как там сложится?.. Я всерьез задумался.

Никогда не беспокою Бога по пустякам, но тут, видимо, пришло время помолиться и о самом себе. Выбрал время, когда дома никого не было, за окном сумерки и относительно тихо, положил перед собой икону святого великомученика и целителя Пантелеимона, сосредоточился и прочитал молитву.

Потом еще безмолвно помолился, постоял немного, присел и думаю: «Если бы болезнь была духовного или душевного характера, ее можно было бы исцелить с помощью благодати Божией. А как здесь может помочь святой Пантелеимон, когда недуг носит ярко выраженный телесный характер? Здесь ведь надо кости править».

Только я так подумал, как через несколько мгновений зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос Анатолия Пинского: «Саша…» Хотя меня давно уже все называли «отец Александр», он имел право так обращаться ко мне, так как мы были дружны еще в студенческие годы, когда вместе учились на физическом факультете МГПИ им. Ленина, который расположен прямо возле Новодевичьего монастыря. Учились мы хорошо, времени свободного было много, наши интересы были очень разносторонними и довольно часто пересекались. Я много раз бывал у него дома, был знаком с его родителями, а потом и с его прекрасной женой Мариной. Дети у нас родились примерно в одно время, и мы часто обсуждали вопросы их закаливания, воспитания, образования и т. д.

«Саша, — говорит Анатолий, — ты как-то упоминал, что у тебя проблема с позвоночником. А у меня в школе иногда по вечерам арендует класс одна женщина-костоправ, говорят, очень искусная. Я сейчас как раз поднимаюсь к ней по лестнице и вдруг вспомнил про тебя. Если хочешь, я тебя с ней соединю».

---

[32] Александр Иванович Кожа – сейчас о.Александр, православный священник.

Действительно, около полугода тому назад Анатолий посещал меня в Отделе внешних церковных сношений Московского патриархата, где я тогда трудился, чтобы посоветоваться на тему, не противоречат ли принципы вальдорфской педагогики, которой он тогда занимался, исконным российским традициям, не может ли каким-то образом когда-либо на этой почве возникнуть недоразумение или конфликт. Видимо, тогда он и заметил мою проблему. Я об этом совершенно забыл, а он вспомнил — и в какой момент!

Так он познакомил меня с Любовью Михайловной Громницкой, костоправом из Ярославля. Она сказала, что на сегодня прием уже закончила, вечером у нее поезд, а перед этим она хотела бы побывать на всенощной. На что я ответил: «Если не будет священников, то не будет и всенощных, поэтому давайте встретимся немедленно». Дело в том, что следующий ее приезд в Москву намечался где-то через месяц-полтора, а я так долго ждать уже не мог.

И уже через два сеанса Любовь Михайловна, закончив, немного отошла, осмотрела меня со стороны и задумчиво сказала: «Ну вот, отец Александр, я думаю, что именно таким вы и вышли из утробы матери».

Проблема была закрыта, и я, таким образом, еще и получил ответ на свой вопрос: как Бог лечит телесные недуги. Можно с полным основанием сказать, что Анатолий, говоря церковным языком, послужил здесь орудием промысла Божия, о чем может только мечтать каждый верующий человек. Ведь не впервые он поднимался к ней по лестнице, но никогда раньше не вспоминал про мой недуг. А мысль эта пришла ему именно во время молитвы о помощи Божией. Да и костоправов на тот момент много было в Москве, но святой целитель Пантелеимон выбрал того, кто оказался рядом с Анатолием.

Так ли это на самом деле или это только поразительное совпадение, доподлинно нам в этом состоянии ума знать не дано. Как говорит одно древнее санскритское изречение, боги не любят явное, боги любят как бы неявное…

…Когда еще в студенческие годы мы, очень далекие в то время и от религии, и от церкви, бывало, подходили к его дому на юго-западе столицы, он почему-то всегда показывал мне на один из подъездов и со значением говорил, что здесь живет один из самых знаменитых и уважаемых священнослужителей Русской православной церкви. Я не особо обращал на это внимание, так как не мог тогда даже предположить, что через несколько лет закончу духовную семинарию, затем академию, а потом и аспирантуру и проработаю вместе с этим знаменитым священнослужителем в Отделе внешних церковных сношений целых 18 лет. А Анатолий, видимо, чувствовал, что не бывать мне физиком…

Я спросил его, как часто сам он пользуется услугами Любови Михайловны, имея в виду, как ему повезло, что она принимает в его школе. Он

ответил, что ни разу не пользовался, а в ответ на мое удивление сказал: «А меня ничего не беспокоит». Я подумал, что беспокоит не беспокоит, а никто бы не устоял перед такой возможностью. Но именно вот этот реалистичный, взвешенный, сдержанный подход к любой жизненной ситуации и был одной из самых, на мой взгляд, отличительных черт его характера.

Когда он появлялся в студенческом общежитии, это не могло пройти незамеченным — по всем этажам разносилась его любимая «Москва златоглавая» в прекрасном, к тому же, исполнении. Это сразу задавало особое настроение перед встречей с ним: кто бы чем ни был занят, на всех лицах расцветали улыбки. Я не помню, чтобы он когда-либо говорил о своих проблемах, был на кого-то обижен или пребывал в мрачном состоянии духа. Он как бы праздновал каждое мгновение своего бытия, а это становится возможным, я думаю, только если свою земную жизнь человек воспринимает как часть чего-то неизмеримо более великого и таинственного. Откуда он пришел и куда рано или поздно уйдет…

Он не мог не чувствовать, что с этой игрой все непросто

(рассказывает Сергей Межов[33])

В начале 80-х, чтобы решить вопрос легитимизации го, я пришел к А.М. Юркевичу, который был тогда заместителем начальника ЦСКА. Юркевич — борец. А в борьбе тоже вдруг происходит нечто непредсказуемое: ты только что был снизу, и вот ты сверху. И Юркевич тоже искал, что за этим спрятано, поэтому он заинтересовался восточными видами борьбы.

Когда я к нему пришел без всякой надежды на успех и с предложением, не попробовать ли го, он спросил, что это и откуда. Я сказал, что это Китай, Япония, Корея — тот регион. Сказал, что есть некоторые авторы, которые говорят о пересечении игры го с боевыми искусствами Востока. Он, как только это услышал, говорит — давай эту игру сюда. Пересекается с боевыми искусствами Востока, и она происходит на столе? Давай ее сюда. Потом я познакомил Юркевича с Толей и с Бабицким. Вскоре я заболел, отошел от всех дел, и они продвигали го уже без меня.

[33] Сергей Александрович Межов — первый председатель Московской секции го.

Я сначала А.М. Юркевича не знал, но искал пути, как продвинуть го, и хотел попробовать закрепиться с го в ЦСКА. Я шел и заранее приготовил выступление, подготовил книги, где было написано, что еще до начала войны американская разведка использовала го для тестирования японских военачальников. Я много чего подготовил, чтобы его заинтересовать. Оказалось, что этого ничего не надо. Я сказал два слова про восточные единоборства, и он решил — давай сюда! Юркевич предоставил место для знаменитого турнира Москва — Токио на ста досках в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Это произошло где-то в начале 80-х. Но первый человек в педагогическом институте начал говорить о го в 60-е. Потом он ушел, но на математическом факультете МГПИ в го играли уже давно. И то, что кто-то из ребят, игравших в шахматы и одновременно в го, принес эту информацию Толе, совершенно естественно. Это был Алеша Карташев, парень еще моложе Толи. Он учился в МГУ, а матфак МГУ и педагогического во многом пересекаются, там читают одни преподаватели. И когда Толя пришел играть в го и увидел меня, он удивился: «Сергей! А ты играешь?» Я говорю: «Играю, и давно».

Дело происходило в подвале на Красносельской. Это был подвальчик шахматного клуба, меня туда позвали вести секцию го, и через некоторое время подвальчик стал «гошным». Толю туда привел Карташев, мы там встретились, и все были удивлены. Карташев был удивлен тем, что я знал Толю задолго до того, как он сам с ним познакомился. Толя был удивлен, что я там возглавляю секцию. Я был удивлен, что пришел Толя. А дальше я там читал лекции для новичков. Толя не пропустил ни одной. Все слушал, ничему не верил, все принимал по-своему. И правильно делал. Что я знал в те времена, что понимал? Надо было все проверять. В 1982–1984 гг. он уже сам преподавал го в клубе офицеров ЦСКА. Он разработал курс и в течение года его вел.

Когда мы познакомились? Мы оба были студенты МГПИ, оба играли в шахматы за команду института и оба были кандидатами в мастера. Вот тогда мы и познакомились. Это начало 70-х. В 76-м я узнал про го. Игра мне очень понравилась, и я стал рассказывать про нее всем знакомым. Из всей шахматной команды пединститута Толя заинтересовался больше всех. Тогда, в 76-м, была создана московская секция. Толя не с самого начала в нее пришел. Он пришел году в 80-м. Он и сам много играл и не пропускал ни одного занятия, которые вели более опытные игроки, поэтому прогресс был таким: за год, может быть, за два он прошел путь от новичка до 3-го дана. Это невероятно быстро! То есть он вошел в число лучших игроков Москвы к 1982 г. В 84-м он играл по-настоящему сильно. В 85-м году умер А.Б. Бабицкий — председатель секции, который сменил на этом посту меня, когда я заболел в 82-м. Алексей Борисович был человек уникальный во многих отношениях. Как собственно все, кто пришел тогда в го. Это был набор совершенно уникальных людей, и Толя — в этой же когорте.

Потом Толю отвлекли от го несколько моментов. Личные дела, служебные, увлечение еврейскими песнями — все это его отвлекло. А с го происходило в те годы то же, что со всей страной. Страна разваливалась, и так же разваливалось го. Собственно поэтому Толя и перестал общаться с секцией — все переругались в правлении секции по непонятным причинам: делить-то было нечего. И поэтому Толя отошел. Потом несколько раз и я, и другие люди пытались его снова вовлечь. В Толиной школе Российская федерация го проводила турниры. Но Толя уже ни в какую не хотел входить ни в одну организацию. При этом он оставался в го: надо играть — школу предоставим. Когда к нему обратились люди, которые преподают го в детском доме творчества, но не имеют педагогического образования и потому у них возникают проблемы с зарплатой, Толя посодействовал, чтобы им дали педагогическую категорию. Он реально помогал всегда. Никогда никому не отказывал. В турнирах он обычно не участвовал, просто был наблюдателем. Однажды сыграл шуточную партию, сел за доску и сыграл, кажется, с Гоменюком. Андрей Гоменюк — тоже мой ученик, начинал в то же время, что и Толя. А играл Толя в Интернете, на корейском сервере[34].

Почему он так быстро продвинулся в го? Но он ведь и в шахматах быстро продвинулся. Толя ведь специального музыкального образования не имел, а как он умел петь! Мы с ним пели еще в пединституте. Петь он умел уже тогда. У нас на матфаке была замечательная самодеятельность. Был капустник изумительный, на этот капустник ходили со всех факультетов. У нас был хор и был вокал, приглашали даже преподавателей из консерватории. И вот для капустника в какой-то момент понадобилось спеть «Хава-Нагила». И мы с Толей спели. Я ведь тоже еврей. С этого началось.

Это произошло так. Искали, кто сможет спеть. Девушка села за фортепьяно, наигрывала, и всех просили — ну, кто-нибудь, запойте. А я просто в этот момент входил в зал, услышал, что играют, и говорю: «О!»

— Что, можешь спеть?

— Какие проблемы?

— Иди сюда, встань возле фоно — пой!

Я запел, вдруг подходит парень, так спокойно обнимает меня — он чуть ниже меня ростом — и мы поем вместе. А у нас в некоторых местах получалось в терцию — народ просто был в экстазе. И потом все услышали почему-то правильный акцент, что поют не русскую песню, а еврейскую. Это все поняли, все услышали. Все, вот дуэт и никаких разговоров! Он говорит:

[34] В Интернете в режиме реального времени Толя играл практически каждый день. Иногда по нескольку партий. Так или иначе, в го он играл на протяжении всей жизни, до самой болезни.

— А я вообще не на матфаке.

— Никого не колышет — все. Это ваш дуэт, и вы будете петь.

Мы много чего пели: и русские песни, и еврейские, и патриотические, когда требовалось. Пели на студенческих капустниках. Когда приезжало начальство и надо было, чтобы все было идеологически выдержано, мы пели «Сердце, молчи в темной ночи. В поиск опасный уходит разведка». И тоже в терцию. Эту песню пели а капелла.

Я знаю, что он организовал ансамбль еврейской песни. Он мне говорил. Мы же общались в Интернете, и он говорил.

Я занимаюсь го несколько иначе, чем все остальные. Меня давно это все интересует не как игра. У меня математическое образование. Я несколько раз был чемпионом Москвы по го, мои ученики — чемпионы Европы. Но у меня много лет была постоянная неудовлетворенность — я совершенно не понимаю игру. Не понимаю, что на доске происходит. Вроде я играю, но у меня ощущение, что все происходит непредсказуемо, помимо моей воли. Доска живет своей жизнью. Много книг перечитал — ничего не нашел. Выучил японский, выучил китайский, чтобы читать в оригинале авторов, — ничего не помогает. Как будто заговор молчания. Пишут так, как будто пишут не об этой игре. О шахматах так можно писать. А про го — бессмысленно. Однажды ко мне зашел поиграть китаец — у меня дом открыт для любого любителя го — и приносит книжку мне в подарок. И говорит — я сам ее не читал, не знаю, ее купили специально в подарок в магазине старой книги в Шанхае. Я открываю эту книгу, читаю. У меня глаза расширяются: я никогда этого не знал и об этом не догадывался. В предисловии написано, что это древнейший учебник игры, он датирован шестым тысячелетием до нашей эры и оставлен теми, кто принес игру на территорию нынешнего Китая. Книга рассчитана на изучение в течение нескольких столетий. Но люди не живут несколько столетий! Для кого написано — непонятно. Дальше я начинаю смотреть диаграммы партий, и на меня нисходит прозрение: я вдруг понял, что эта доска и эта игра — вообще не игра. Это инструмент для передачи знаний в чистом виде. Причем очень серьезных знаний.

Я у академика И. Арнольда занимался вопросами типологии дискретных пространств и никогда не забывал о теоремах и проблемах, которые десятилетиями не были решены, — с 70-х годов. А решение — вот оно, на доске нарисовано. Прямо я читаю с доски и проблему, и доказательство теоремы — все читается с доски. Только надо уметь читать. Я совершенно от этого обалдел. У меня были ученики с разными специальностями, молодые ребята — и химики, и минералоги, и физики. Я даю им задание по изучению этой игры, вдруг ко мне приходит один из них, тот, кто занимался органической химией, и говорит: «Сергей Александрович, проблему, которую вы мне дали, я решил, но я просто вынужден был составить для органики таблицу, аналогичную менделеевской — какие органические соединения в принципе возможны, какие нет». То есть он решал проблему, которую я поставил, одну из проблем в игре, а пришел к созданию таблицы. Прямо с доски считывал. Он после этого серьезно задумался о жизни, обо всем на свете. Многое переосознал. И это происходило постоянно.

Я с Толей об этом не говорил. Я к этому пришел уже после того, как он ушел из сообщества. Это изыскания последних 10 лет. А в Интернете мы общались кратко:

«Привет — привет». Он играет партию. Я играю партию. «О, посмотри, какую операцию я провел!»

Я один раз пытался затеять с Толей разговор на эту тему. Мы пересеклись на Кубке посла, на турнире в его школе. Это было года два назад. Мы начали разговор, его отвлек телефонный звонок, какие-то, видимо, были серьезные проблемы. Его надолго отвлекли. А дальше я уже играл следующую партию. Больше мы не вернулись к этой теме.

Толя не мог не чувствовать, что с этой игрой все непросто. Что это совсем не шахматы. В шахматы же он не играл всю жизнь. И я не играл — я бросил шахматы, когда познакомился с го. А с людьми го, с сообществом го он уже общаться не хотел.

Музыка и го связаны. Так же, как математика и музыка. Го и музыка связаны таким же образом — через гармонию. Го открыло мне возможность познания гармонии. Я занимался историей и знал, как строилось обучение в Аахене при Карле Великом. Где на первой ступени в университете были математика и музыка, а на второй, на базе этих дисциплин, гармония — как наука. А потом она исчезла и нигде не преподавалась. В общем, всерьез никто про гармонию ничего не знает. Когда-то знали. С тех пор, после Аахена, гармония как наука была забыта. В Древней Греции и в Египте гармония была наукой. В Средневековье она была забыта. Кстати, и го было забыто. Еще до Рождества Христова в го играло все Средиземноморье, за несколько тысячелетий шумеры играли, скифы играли. Играл весь Древний мир. И на греческой фреске, посвященной Троянской войне, играют в го. Там доска го, а не шахматная.

И Толя это прекрасно чувствовал. Я немного Толю знал со студенческих времен. Он не все высказывал, что он чувствовал. Далеко не все. Но очень многое он чувствовал, безусловно. Он, может быть, не находил объяснения, но глубину этой игры он чувствовал. Его результаты на некоторых турнирах, я помню, были совершенно неожиданны для всех. Вдруг человек играет в третьей лиге в первом составе, выходит во вторую, выходит в первую, выходит в высшую и уже играет в высшей лиге партию и побеждает лидеров! Он чемпионом никогда не был, но лидеров побеждал. Он был грозой лидеров. Это правда. Это по результатам турниров можно увидеть. Он нередко обыгрывал лидеров турнира, тех, кто занимал верхние места. Хотя победителем турнира не становился.

Почему? Чтобы всерьез познать эту игру, нужны долгие годы. А он в то время играл еще очень недолго. Я сейчас только начал нащупывать путь, который дает возможность понимания хода развития игры. Того, что происходит на доске. Когда я пришел к пониманию того, что надо рассматривать не видимую оболочку игры, а то, что за ней спрятано, и немножко научился видеть то, что спрятано, тогда мне приоткрылось видение партий самых знаменитых игроков. Тогда я начал их понимать. А до этого это была тайна за семью печатями — и не подступишься. А Толя никогда не ходил по общей дороге. Он всегда шел своей. Он тоже искал. Что он нашел, я не знаю, он не делился со мной. Но то, что искал, — это очевидно. И когда он на что-то набредал, получалось, что он лидеров обыгрывал. Но когда ты идешь все время по неизвестному пути, то получается, что ты чаще спотыкаешься.

И вошел Толя… Человек, который за свои пятьдесят так и не успел повзрослеть

(воспоминания Анатолия Каспржака[35])

Первая половина 90-х. Сижу в своем директорском кабинете. Входит секретарь. «К Вам кто-то пришел». — «Кто?» — «Какой-то Пинский»…. И вошел Толя. Оказывается, он занял то ли второе, то ли третье место в конкурсе инновационных школ, организованном Фондом «Культурная инициатива» (в простонародье – Фондом Сороса). Этим конкурсом я волею судеб руководил. Мы крепко пожали друг другу руки. Так началось мое второе знакомство с этим удивительным, очень нестандартным, по-детски открытым человеком.

Наше первое знакомство состоялось лет за двадцать до этого. Точнее – в 1972 г. Мы – однокашники, оба учились на физическом факультете Московского государственного педагогического, или, как его называли, «ленинского педа». В далеком 72-м я, студент-второкурсник, занялся студенческим капустником, который заменил нам только-только разогнанный КВН, что приблизило мою жизнь к сцене.

[35] Анатолий Георгиевич Каспржак — с 1986 по 2001 г. директор Московской городской педагогической гимназии. С 2001 г. — один из создателей и руководитель Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социально-экономических наук. С сентября 2007 г. — ректор МВШСЭН.

Как сейчас помню – сижу как-то вечером в зале. На сцене – первокурсник (Пинский, как потом выяснилось) упражняется в игре на гитаре. Поразило то упорство и увлеченность, с которой он это делал. Через 15 минут мы были знакомы. Это произошло совсем просто, мы были очень молоды.

Не могу сказать, что мы были друзьями, но принадлежали к одной компании, уж больно близки были наши интересы. Театр, концерты «Машины времени», которая была не столь знаменита, как сейчас, и потому играла у нас на факультете на танцах, туристические слеты и т.д. Именно на туристическом слете мы первый раз поговорили с Толей «о серьезном». Об этой встрече, позже, мы много раз вспоминали.

На факультете существовала традиция туристических слетов. Слеты для студентов выполняли роль «кухонь» квартир советской интеллигенции. Посвящение в туристы первокурсников, как следствие, приравнивалось к причислению к определенной касте – «тусовке», если говорить современным сленгом. Его, Толин, первый турслет, проходил в ту самую осень. Конец октября — начало ноября, холодно. Так случилось, что наши палатки стояли недалеко друг от друга. Хорошо помню, как я, «опытный студент», подсел к четырем первокурсникам, которые расположились вокруг костра и о чем-то философствовали. Обсуждались самые актуальные темы: от девушек до философии. Помню и главный вопрос той дискуссии, он касался правил приготовления сосисок на костре. К рассвету (все началось часов в 11 вечера) мы перешли, наконец, к экспериментированию. Но сосиски, по понятным причинам, начали падать в костер, и… мы вновь перешли к обсуждению вечных вопросов.

Минули студенческие годы. Пути наши разошлись. Я пошел работать в школу, Толя – «в науку[36]», которую я, как «пролетарий педагогического труда», конечно же презирал. Впрочем, понятно, что это была, во многом, бравада, и мы встречались на интеллектуальных сборищах, которых в то время было не так много. Систематический же контакт, вылившийся в совместную работу по разработке целого ряда несостоявшихся образовательных реформ, был восстановлен позже, когда в мой кабинет вошел Толя…

Какой же он был, взрослый Толя Пинский, Анатолий Аркадьевич – учитель и директор, политик и реформатор, коллега, собеседник? Говорить об этом складно – трудно, лучше дам несколько зарисовок.

О том месте, в котором Пинский-учитель был сильнее Пинского-политика.

Я очень любил наблюдать за Толей в школе. Обычно в черном, чуть помятом костюме он стремительно влетал в школу и начинал со всеми здороваться. Причем обязательно за руку. Первым всегда был сторож. Потом

[36] Толя работал в так называемом «ТОПОРе» — НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации РАО.

– кто встретится. Пролетая мимо стайки детей, он обязательно о чем-то их спрашивал. Не поучая, для учителя это особое искусство, вступал в дискуссию. Потом подходил к какому-нибудь стенду и… начинал «вычитывать» текст – это уже учительское в чистом виде.

Как-то попался под «его проверку» и я. Шла подготовка очередной реформы, кажется. Толя был занят. Я сел во дворе его школы и, дабы не терять времени, писал текст. Когда он освободился, вошел в кабинет и подал свои соображения, как говорится, в письменном виде. Он взял бумагу, закурил сигарету, задумался и… начал расставлять запятые. Я покорно сидел, наблюдая. Прошло минут пять. Он, видимо, выставил в уме оценку и только после этого начал содержательную беседу. Анатолий Аркадьевич – Учитель победил в нем в этот момент Пинского-реформатора, исследователя. Почему он так сделал, не раз думал я. Может быть, потому, что встреча та состоялась в его директорском кабинете?

О Толе-коллеге, который жарил шашлык.

Лето 1995-го. Только что отгремели выпускные вечера. Берег Москвы-реки. Толя во фраке стоит у мангала и жарит шашлыки…. Мангал и конечно же фрак куплены специально для этой встречи. Рядом, тоже во фраках, Семенов[37] и Рачевский. Чуть поодаль – Богуславский, Бубман, Караковский, Комлева, Мильграм, Тубельский, Ямбург[38], еще кто-то. Рядом Менделевич, верхом на лошади, между прочим. Возглавляет почтенное собрание Любовь Петровна Кезина[39]. Это Клуб московских директоров собрался на последнюю перед каникулами встречу. Возникновению клуба мы обязаны тем процессам, которые начались в середине 90-х. «Крепкие хозяйственники», окончившие высшие партийные и комсомольские школы и, как следствие, не сильно обремененные образованием, пришли на смену интеллектуалам-шестидесятникам, делавшим перестройку. Тогда, в 95-м, мы почувствовали, что золотой век московского образования заканчивается и, дабы защитить наработанное, нам просто необходимо быть вместе. Именно Толя был мотором этой компании. Именно он жарил шашлык…

[37] Алексей Львович Семенов — ректор Московского института повышения квалификации работников образования — МИПКРО (сейчас МИОО — Московский институт открытого образования). — *Примеч. авт.*

[38] Семен Рувимович Богуславский, Александр Семенович Бубман, Владимир Абрамович Караковский, Мария Андреевна Комлева, Сергей Львович Менделевич, Леонид Исидорович Мильграм, Ефим Лазаревич Рачевский, Александр Наумович Тубельский – члены Клуба (неформального объединения) московских директоров. — *Примеч. авт.*

[39] Кезина Любовь Петровна — с 1986 по 2007 г. — в том или ином качестве возглавляет московское образование. — *Примеч. авт.*

О Толе-политике и его вере в светлое будущее российской школы.

Самое начало XXI в. министром образования назначен Владимир Михайлович Филиппов[40]. Толя – его советник. Зимний вечер, темно «в коридорах власти». Нервно затягиваясь сигаретой, навстречу мне идет Толя. «Толя, Толя!» – кричу ему я. Он реагирует, улыбается. Несколько дежурных вопросов интеллигентного человека. Понимаю – он погружен в какую-то проблему, причем так глубоко, что никто и ничто вокруг его «вернуть к жизни» не могут. Это еще одно Толино свойство. То, что он делал в этот момент, и являлось содержанием всей его жизни. Он был уверен, что если что-то из того, что задумано, не случится, мир просто перестанет существовать. Так было тогда, на Люсиновской, так было в 97-м, когда мы за несколько месяцев совершили невозможное и выпустили коллективную монографию «Инновационное движение в современной российской школе»[41], и в 2002-м, когда мы начинали проект «Старшая профильная школа». Уверен, в каждый из этих моментов он верил, что нашел «точку опоры», которая перевернет российскую школу. И потому работал, работал, работал, не видя никого и ничего вокруг…

О Толе-эрудите. Человеке, у которого были хорошие учителя.

Год 1997-й. Стало ясно, что провалилась очередная реформа. Настроение – никакое, хоть вешайся. Полез в Интернет, открываю письмо. Названия нет. Читаю:

Пока на Школу не назначена цена,
Просить у Власти хлеб она должна.
Наверно, Школа плохо власть учила,
Раз милостыней жить обречена.

Омар Хайам

Тогда стало совсем невесело. По адресу идентифицирую – Толя. Понимаю – у него были хорошие учителя.

О Толе-певце и большом ребенке.

Несколько лет назад мы большой компанией были на концерте хора Турецкого. Отличные голоса, разнообразный репертуар. Сольные номера

[40] Филиппов Владимир Михайлович — с мая 2000 по март 2004 г. — министр образования Российской Федерации.

[41] Инновационное движение в российском школьном образовании // под ред. Э. Днепрова, А. Каспржака, Ан. Пинского. Российская академия образования, Ассоциация инновационных школ и центров. М.: Парисфаль, 1997.

– блеск, но вместе с попдивами… Толе, как и многим из нас, именно это не понравилось. Прошли пара дней. Получаю увесистый файл, состоящий из партитур еврейских песен, которые должны составить репертуар создаваемого им вокально-инструментального ансамбля «Дона». Заодно – приглашение участвовать в этом мероприятии, которое, честно говоря, я серьезно не воспринял. Потом это все начинает воплощаться в реальность. Приглашения, афиши, концерты, аплодисменты, цветы, диски… Чуть седеющий директор школы в жилетке и шляпе поет в московской школе еврейские песни. Слушаю, относясь к этому как к самодеятельности, т.е. – снисходительно.

А потом был семинар директоров еврейских школ из стран СНГ. Я на него был приглашен как лектор, Толя – с ансамблем. Прошли занятия, ужин, начался концерт. Одна песня, вторая. Толя запел песню «А идише мама», и директора заплакали. Заплакали так, как плачут дети, взрослые, которым ребенок говорит правду, которую им удобно было на время забыть. Тут я понял, что ошибался. Со сцены пел человек, который за свои пятьдесят так и не успел повзрослеть.

Мы учились вместе

(рассказывает А. Адамский[42])

Мы познакомились в 77-м году. Я пришел из армии и поступил на первый курс пединститута, а Толя уже учился на четвертом. Образовалась такая компания, связующим звеном которой был Гриша Злотник: он уже учился с Толей раньше, но пропускал курсы и к моменту моего прихода был на первом. Мы с ним жили в одной комнате в общежитии, и через него я познакомился с Толей по нескольким направлениям: мы вместе играли в преферанс, увлекались андерграундным искусством, и вообще — происходило вхождение в московскую жизнь.

В институте было еще много ребят, которые составляли довольно тесный круг. Это была такая мощная команда, которая потом стала командой педагогической. Но тогда никто не мог предположить, что кого-то заинтересует педагогика. Тогда в пединституте учились Лариса Курнешова, Толя Каспржак, Толя Пинский, но педагогика была не в почете. Хотя культурологические, философские проблемы всех очень занимали, были интересные разговоры, беседы.

Толя часто приходил в общежитие, потом вся наша компания подрядилась работать у Толиной мамы, которая была заместителем главного

[42] Александр Изотович Адамский — член Общественной палаты, ректор Института образовательной политики «Эврика».

врача стоматологической поликлиники и всех нас взяла сторожами. Мы проводили там время за игрой, за разговорами, за песнями — Толя тогда увлекался игрой на гитаре. Был еще настольный теннис, в который он тоже играл. Так это было тогда: тесно, весело, дружно.

Много всего было, но никакой педагогики как предмета тесного общения быть не могло. Хотя когда появилось увлечение методологией, уже ближе к началу 80-х, что-то такое начало обсуждаться в ближайшем кругу, но еще очень смутно.

Почему мы все оказались у Толиной мамы? У меня есть версия, что мама хотела максимально видеть, что происходит с ее сыном. Кто с ним общается, про что общается. Думаю, что просто она хотела, чтобы это было под присмотром. Это мотив.

В общем, как любая мама, еврейская мама, «аидеше мама» — а Берта Ильинична, конечно, была типичная «аидеше мама», — она правильно поступила.

И когда у нас появилась такая идея и мы через Толю попросили, она согласилась. У нас появилось место, где встречаться, потому что в общежитии было не очень комфортно, там был режим, а тут вроде бы и при деле, и нормально устроен. Существовал график. Нас было четверо: Гриша Злотник, Кирилл Некрасов, я и Женя Кнорре. Практически каждый день кто-то дежурил. Мы там встречались, проводили время, пели. Тогда существовал очень интересный Клуб самодеятельной песни. Мы выезжали два раза в год в лес, на поляну — на слет КСП. Это было очень интересное времяпрепровождение — бардовская песня, всякие беседы по этому поводу. Но все равно дело заканчивалось каким-либо глубокомысленным разговором на серьезную тему. Было ли это после песен или после игры, но в любом случае заканчивалось острым и глубоким спором. Кирилл увлекался буддийской философией, у Толи на тот период было, я бы сказал, острое картезианство, я был ближе к материалистическому, даже марксистскому взгляду на вещи, поэтому споры были очень серьезные, эмоциональные, яростные даже. Все ведь были сильные натуры. Кроме того, всякие культурологические, философские события, которые возникали в Москве, становились либо предметом посещения, либо по крайней мере обсуждения. Это касалось и бардов, и философов типа Зиновьева или Батищева, конечно, Щедровицкого.

Такое странное, почти нереальное пересечение ужасной жизни в ее материальных проявлениях — общежитие, работа сторожами и т.д. — и привлекательный, манящий мир идей, это было очень сильное напряжение несовпадений. И у Толи была совершенно естественная способность привносить из одного мира в другой — то есть в жизни придерживаться чего-то идеального и в идеальном видеть очень жизненное. Это, конечно, было и тогда.

И потом, он был физиком. И по наследству, и вообще он был лучшим. У нас было два лидера: один такой Натан Кариори — звезда и Толя, который в этом смысле числился по разряду если не гениев, то звезд первой величины. Для него физика была естественной средой обитания. И это было поразительно. Я-то попал на физфак случайно. Мне родители не разрешили идти на филфак, поэтому я пришел туда. И для меня это было неестественно, я с трудом мирился с этим. Хотя эстетически доставляло удовольствие — красота теорий, уравнения. Но это не стало моей естественной средой. А для Толи это была естественная среда, его мировосприятие. Он был изнутри физики, и по учебе тоже. Для него учеба на физфаке не была трудом: человек идет и идет, естественно преодолевает силу притяжения и трение — вот так естественно Толя учился. И помогал всегда другим, и объяснял, но это было всегда так естественно, что не вызывало даже чувства неловкости или неудобства что-то у него спросить или попросить помочь.

Он был, конечно, лидер в физике. Просто никто тогда не воспринимал учебу на факультете как то, чему надо посвящать жизнь и отдаваться целиком. Этого не было в отношении к педагогике и уж точно этого не было по поводу физики, особенно у евреев. Все понимали, что никому ничего не дадут сделать. Поэтому это так не ценилось. Может быть, если бы это было в другое время, его успехи в физике поставили бы его сразу на очень высокую ступень внутри нашего сообщества. А в то время это воспринималось как-то так: «Да, здорово! Молодец…»

Было много мальчиков, которые были очень талантливы, но окружающие не видели в них будущих звезд физики, потому что понимали, что им никто не даст ничего сделать. Стать комсомольскими вожаками-лидерами — дадут. А в физике — нет.

Он, конечно, был очень яркой величиной в смысле освоения физических наук. И потом, все же учились по учебникам его папы — положение обязывает!

И что интересно, та ниша, которая была у нас, оберегала нас от включения в официально-общественную жизнь. На факультете она била ключом: агитбригады, КВН, какие-то форпосты педагогические. Но наша ниша нас оберегала. Меня куда-то заносило время от времени: я был комиссаром, был в оперотряде, потом студенческие строительные отряды, но это просто деньги надо было зарабатывать, а вот такая официальная жизнь нас обходила. Потому что существовала очень глубокая ниша, требующая, я бы сказал, даже напряжения — споры у нас были очень сильные.

Круги, которые тогда формировались, должны были распасться на две части. Одна часть людей, успешно социально реализовавшихся, — Толя, например. А другая часть — оставшихся в маргинальном состоянии, хотя люди сами себя, возможно, чувствуют реализованными. Это должно было

произойти, потому что время было такое глухое: либо ты сам находишь какую-то внутреннюю свою струну, свой мир, который развиваешь, развиваешь, а когда обстоятельства позволяют, он становится обращенным к людям. Либо ты его не находишь, а просто страдаешь от того, как все вокруг ужасно, зыбко, болотисто и т.д. Тогда это уже чувствовалось. Сейчас это стало видно, но тогда уже чувствовалось. У Толи внутренний стержень был очень сильным.

Потом была пауза в наших отношениях, и все возобновилось в середине 80-х, когда я уже начал работать в «Учительской газете». Уже стали говорить о разных вещах, связанных с инновационной деятельностью, общественной деятельностью, проникновением в Россию западных тенденций. В конце 80-х вовсю обсуждалось инновационное движение: как российское, например, развивающее обучение, так и западное, и в том числе вальдорфская школа, которой Толя очень увлекся. Где-то с 86-го года Толя стал заметной фигурой в формировании ключевых направлений образования.

Я выделил бы такие этапы: конец 70-х — конец 90-х, конец 90-х — нынешнее время. Потому что с конца 90-х начались процессы, которые могли помочь всем нам, Толе в том числе, свой внутренний потенциал предъявить вовне. У меня это началось с «Учительской газеты», потом появился клуб «Эврика», потом Союз учителей, у Толи — увлечение вальдорфской педагогикой и ВНИК «Школа» (днепровская кампания). Это возникло еще до того, как Толя стал директором школы, и стало значительным этапом, когда он начал превращаться в общественную величину. При этом удивительно, как он мог хорошо проявляться и двигаться совершенно в разных пространствах: в пространстве вальдорфской философии, в пространстве жесткого методологического проектирования в духе Щедровицкого и Громыко и в пространстве уже почти официального политического действия в днепровской кампании во ВНИК «Школа».

Это 86–91-й год. Шла подготовка докладов: в 88-м году я, например, уже участвовал в подготовке доклада на февральский пленум ЦК КПСС. И все, кто был вокруг Днепрова, рядом с Днепровым, были в это вовлечены. «Я иду сейчас к Яковлеву или еду к Лигачеву», — говорил обычно Днепров. Первое выступление Днепрова (я как сейчас помню) в ЦДЛ в апреле 87-го года и потом появление ВНИК, скандалы с академией, потом знаменитый съезд, где концепция развития образования и реформы была представлена, и так до того, как Днепров стал министром образования в 91-м году.

Уже в 91-м году стало понятно, что сражаться вместе с Днепровым можно, а победить нельзя. У Толи к тому времени появилась идея школы, своей школы, он уже начал ходатайствовать, в этом направлении двигаться, эта идея им завладела: с 89-го года он проводил семинары, и это стало системой. Я считаю, что это время — золотой век российского образова-

ния. И наша деятельность, и деятельность всех тех, кто пытался раздвинуть эти стены, продвинуть горизонты, — это расцвет. 87–91-е годы, но особенно 89–91-й. И наши семинары, и наши сборы, и создание разного рода групп, которые вдруг почувствовали себя не андерграундом, а реальными действующими лицами. И те ребята, которые потом пришли в школу, и те, кто потом пришел в министерство. Это золотой век. Конференции, сборы, семинары, группы — мы тогда не понимали, что все это надо более сильно формализовать, чтобы сделать процесс необратимым. Мы этого не понимали, никто нам не подсказал, в результате пришли мародеры и на расчищенной площадке построили себе хижины и дворцы. Но это все было уже после 92-го года.

А тогда, в начале 90-х, Толя, мне кажется, ушел весь в свою школу. Он ее построил, он ее сделал: и по людям, и по содержанию, и по атмосфере, ну и формально — здание в шикарном месте, не детский сад, а здание. Чего это ему стоило — отдельная песня, но это показало его очень высокий уровень социальной ответственности. Вот ради этого он, наверное, какие-то вещи в себе ломал, преодолевал, может быть, шел на какие-то компромиссы. Но он это сделал. Он сделал школу, которая, начавшись единственно из глубоких теоретических оснований, приобрела абсолютно материальный вид и, я думаю, стала практически единственным целостным проектом 90-х. Единственным. Потому что школа Саши Тубельского — очень интересная, важная (Тубельский — великий педагог) — это его авторская школа. Толя же создал школу, которая строится на очень серьезных культурных сваях и является следующим шагом в развитии этой культурной традиции. Больше такого нет. Школа развивающего обучения Давыдова—Эльконина не стала школой в том смысле, в каком стала Толина. Поэтому это фактически единственная школа, которая стала такого рода проектом.

Эта его активная деятельность продолжалась где-то до 96–97-го года. Внутренне. Потом снова горн пропел, и когда возникла идея новой реформы, новой модернизации — с Кузьминовым и Филипповым, — Толя снова был призван. Потому что он уже был действующим директором, с ним можно было разговаривать как с человеком из окопов, и в то же время он был очень серьезным, даже блестящим теоретиком. (Я помню соревнование на лучший методологический доклад, когда Олег Генисаретский был признан первым, но мне казалось, что Толин доклад глубже.) Он был сформированный теоретик и практик. Его призвали, во второй раз практически. И когда Филиппов стал министром, Толя стал основным источником — энергетическим и теоретическим — того, что происходило. И тут в его исполнении началась линия общественного управления, профильной школы, новой системы оплаты труда, школы, самостоятельно зарабатывающей, — очень важного для него направления. Это фактически длилось до 2003–2004 г. и

реализовалось в очень серьезных подвижках в образовании. Мы вместе с ним были на поле общественного управления. Он очень активно продвигал фактически созданную им концепцию и систему профильного обучения, которая уже действует. Фактически он построил эту линию и проект, и она работает, она признана. Хотя, конечно, я считаю, что то, что произошло в последние годы с разработкой профильного обучения, это в какой-то мере застойное явление.

Но Толе не дали это доделать до конца. Невероятно, как могли это у него забрать и кому-то отдать, до сих пор не понимаю, почему и зачем это произошло, но факт остается фактом. Без него эта линия продолжает работать. Это уже не сдвинешь с места. Впрочем, почему не сдвинешь — погубить все можно.

Линия системы оплаты труда — мы ее потом уже начали продвигать вместе, борьба с ЕТС, которую сейчас уже можно считать законченной.

И все пришло к логическому оформлению в комплексном проекте модернизации. Мы здесь снова оказались с Толей очень тесно вместе. Он дожил до того, как эта идея практически реализовалась, но в декабре его не стало. Вот такая история.

Ты просишь рассказать про Московский Римский клуб? Да, был клуб. Было очень тяжелое время. Такая безысходность во всем. Денег не было ни у кого. Власть вела себя как-то необъяснимо тупо. В образовании доминировали абсурдные вещи: мы понимали, что сон разума рождает чудовищ, но не до такой же степени.

И мы себя почувствовали снова, как в 70-е годы, когда нужно было собираться узким кругом и обсуждать: а что, собственно, происходит? Ну а в сравнении со стоматологической клиникой мы решили поднять уровень обсуждения.

Нас как-то прибило друг к другу, почти случайно. Нас все время судьба то разводила, то вдруг по непонятным причинам возникало обоюдное стремление сойтись. Это был телефонный проект, он родился по телефону, и я прекрасно помню, как тогда денег не было вообще, ну совсем. И мы решили: раз их нет, то все остатки надо потратить на что-то такое. И мы сделали шикарные заседания. Во-первых, замечательное место. Мы решили, что это будет просто роскошно — с шампанским, бутербродами, кулинарными изделиями. И в каком-то смысле это были пиры во время чумы. Грязь была во всем, неразбериха, беспросветность. Но мы собирали умных людей, обдумывали серьезные вопросы, и это было такое осмысленное дело. Теперь я понимаю, что причиной было то, что у нас не было возможности масштабной деятельности.

Это было интересно. Несколько заседаний мы провели, люди приходили очень разные, и нельзя сказать, что это был маргинальный слой. Приходили очень серьезные ученые, крупные чиновники. Мы даже что-то публи-

ковали по результатам[43]. И мне кажется, что тот Римский клуб, который мы тогда делали, не остался незаметным. Многие люди его помнят.

Надо, наверное, особо отметить роль Толи как советника министра Филиппова. Сейчас это выглядит естественным. Но тогда, я представляю себе, как сложно было Филиппову принять такое решение и официально представлять Толю Пинского как советника. И надо учитывать, что это пришлось на очень непростые годы, годы отсутствия финансирования, тем не менее, это была пора, когда закладывались механизмы реформы, когда, несмотря на совершенно бедственное положение образования, организация шла вперед. И профильное обучение, и общественное управление, и система оплаты труда продвигались при непосредственном Толином участии. Можно по-разному оценивать филипповский этап в образовании, но для Толи это была уникальная возможность, которую он использовал на 100%, продвинуть все эти идеи, проекты и механизмы через ведомственные каналы. Я думаю, что в следующие годы он бы сделал еще больше.

Там были еще сопутствующие образовательные проекты: Образовательный форум мы пытались возродить как общественную организацию, Клуб московских директоров Толя очень активно развивал. В конечном итоге сформировался Российский общественный совет развития образования — РОСРО, но я бы сказал, что эти проекты были менее успешны, чем собственно те образовательные модернизационные проекты, которые Толя продвигал через Министерство образования.

Толя, каким его помню и вижу

(воспоминания Евгения Штейнера[44])

Восемнадцатого декабря, позвонив из Манчестера по своему домашнему номеру в Нью-Йорке, чтобы снять сообщения, услышал посреди всякой американской фигни голос Марины. Она звонила из

[43] Обзор первого сезона работы Московского Римского клуба был опубликован в пилотном номере журнала «Лицейское и гимназическое образование», 1997. Он составлен по выступлениям профессора О.И. Генисаретского, одного из сооснователей клуба, профессора В.В. Малявина, известного китаиста, филолога-античника, профессора Ю.А. Шичалина, доктора наук и поэта К.А. Кедрова, президента Независимой психиатрической ассоциации Ю.С. Савенко.

[44] Евгений Семенович Штейнер — искусствовед, эмигрировал в конце 1980-х годов, преподавал в ряде зарубежных университетов, сейчас живет и работает преимущественно в Великобритании.

Берлина сказать, что умер Толя. Она едет с ним в Москву, похороны в четверг, если доберется. Сообщение закончилось; я тупо посмотрел перед собой и увидел, что механически записывал на листке «Марина: у нас Толя умер. В Берлине. В Москву…» Рука поставила вопросительный знак в поллиста и сломала карандаш на точке. Прослушал месседж еще три раза и вскочил и снова сел и застыл, не зная, что с этим делать. Через какое-то время взгляд сфокусировался на газетной странице, лежавшей сбоку на журнальном столике. Привез ее, вырвав из The Moscow Times, когда проглядывал газету в аэропорту, улетая из Москвы в середине ноября. Хотел показать Патриции. Dying young in Russia — было написано над огромной, в разворот, статьей аршинными буквами. Приводилась жуткая статистика, но статистика статистикой, а тут Толя! Dying young… but why???

Через час позвонила из Парижа Патриция. «Помнишь моего друга, приходил к нам в последний вечер в Нью-Йорке 15 августа? Ты еще не хотела идти в ресторан, потому что улетала на утро в Чикаго?» — «Конечно, у него еще такое хорошее рукопожатие, и про сестру Бэрри так интересно рассказывал…» — «Он умер», — сказал я и неожиданно для себя прервал связь, чтобы она не услышала, что мой голос вдруг перестал мне повиноваться.

Сказав по-английски my friend, я потом задумался. Американское friend употребляется у них всуе и довольно приблизительно соответствует русскому «друг». А могу ли я называть Толю своим другом? Считал ли он меня таковым? Мы с ним были знакомы более четверти века и, бывало, общались всерьез и наедине; он всегда был для меня Толиком, но особо близкими отношения, пожалуй, не были. Иногда между периодами общения или спорадическими контактами вырастало зияние в долгие годы, но вспоминал я его по тем или иным поводам нередко и всегда знал, что вот приеду в Москву, позвоню и скажу: «Привет, Толик. Я тут, давай пообщаемся». Иногда я почему-то этого не делал, думая, как водится: ничего, в следующий раз… И так грустно сейчас, когда то зияние оказалось не зиянием, а так, паузами — пусть даже в годы, а вот это обернулось уже настоящим зиянием — в вечность. Впрочем, в вечность я не верю, вспоминаю Толю и даже веду с ним внутренние разговоры, пожалуй, чаще, чем до, но как все-таки неправильно, что он уже за чертой… Наверно, я все же могу позволить себе назваться его другом — пусть не ближайшим (коих бывает в жизни один-два или три, если повезет), а другом — человеком, с которым интересно, чьей компании ищешь, а мнением дорожишь, за ум и дела уважаешь, разговариваешь откровенно, тепло симпатизируешь не за что-то, а просто так и хочешь, чтобы он отвечал тебе тем же. Таких друзей иль добрых приятелей у меня было несколько, но вот сейчас, вспоминая, я понимаю, что Толик был особенным. Не лучше и не хуже, а просто на каком-то особом месте. Пожалуй, я никем так подолгу не восхищался —

при этом далеко не всегда с ним соглашаясь или даже порой недовольно брюзжа. У Толи было редкое качество: заражать собеседника или окружающих своими эмоциями и энергией. Когда он смеялся — хотелось смеяться тоже; когда пел — тянуло подпевать; когда говорил о чем-нибудь серьезно — хотелось включиться, обсуждать, присоединиться, с жаром спорить и категорически не соглашаться. А потом вспоминать разговор и думать: какой все-таки Толик молодец! Давненько я в иной компании не испытывал такого хорошего послечувствия…

Начало

Мое общение с Толей проходило пунктиром через годы, состояния и расстояния с самого начала 80-х.

Когда я оказался в первый раз в одной с ним компании, я заметил его не сразу. Дело было весной 1980-го, в Центральном московском ломбарде, что на Пушкинской улице, которую тогда мы норовили назвать Большой Дмитровкой, а сейчас почему-то тянет обратно к Пушкинской… В силу извивов биографии я служил там ночным сторожем, ночуя через две ночи на третью на диване в директорском кабинете и покрываясь переходящим красным знаменем — переходило оно от меня к двум сменщикам. Один, Сережа Розеноер, переводчик и диссидент, вскоре уехал и исчез, а другой отрекомендовался Пашей Мейксоном, философом-методологом. А я тогда писал диплом про японскую живопись тушью и переводил пропитания и любопытства ради книжку схиархимандрита Софрония «Об основах православного подвижничества». За потерей собственной печатной машинки печатал я тот перевод на ломбардской и иногда приходил для этой цели еще и в Павликову смену. В одну из таких ночей в ломбарде оказалась немаленькая веселая компания его друзей. Я для порядку подичившись и поотнекивавшись срочной самиздатской работой, преохотно примкнул. Выпивали мало, но много шутили и от души смеялись. Помню, играли в какую-то игру, когда две команды садились друг напротив друга за длинным столом, клали на него руки ладонями вниз и в какой-то момент, следуя напрочь из меня сейчас вылетевшим правилам, шлепали своих визави по руке, которые, ясное дело, руку норовили отдернуть, одновременно стараясь шлепнуть тебя другой. Было много визга и смеха, пустых деревянных ударов и мягких приятных шлепков. Девочки, как я узнал, были преимущественно только что закончившие курс психологини, а мальчики — физики и прочие серьезные люди. Временами замечалось, что кто-то из мальчиков задерживал после шлепка руку, что вызывало приступ смешков и шуток. Несколько сбоку через стол от меня сидела редкостной красоты девочка — с роскошной черной гривой (как у леди Годивы — впрочем, у той была рыжая), с бледным узким лицом и огромными спокойными глазищами. Засмотревшись

на нее, я пропустил несколько ударов от своего противника (или противницы?), невпопад хлопнулся сам об стол, исторг сноп смеха и проиграл вчистую. Мое ротозейство было исправно замечено. Сидевшая рядом и вызвавшаяся опекать приблудного искусствоведа приятельница Паши тихонько сообщила, что девочку зовут Марина и что через месяц она выходит замуж за Толика Пинского — вон того, в очках. Так, из десятка лиц я сфокусировал внимание на Толике — он сидел в дальнем конце стола и ничем особенным не выделялся. Плотный и улыбчивый, коротко стриженный и одетый без свойственных многим в том возрасте и в ту пору богемных позывов. Наверно, в нем что-то такое есть, если его выбрала такая девушка, подумал я тогда.

Стихи и песни

После той ночи мы стали время от времени встречаться. А через положенное время я, опровергая утверждение, что к фамилии Гиверц невозможно подобрать в русском языке рифму, написал (не без участия той самой приятельницы) стих, в котором последнее слово в каждой строке кончалось на букву «ц». Поэма была посвящена рождению первой у Толика с Мариной дочки и начиналась словами:

У Марины Гиверц
Родился младенец.
Муж ее, умелец, —
Тоже молодец.

Непосредственно про Толю там были, в числе прочих, такие слова: «Хоть и не китаец, даже не японец, а простой евреец молодой отец…» — тогда в нашем кругу было повальное увлечение Японией, которое не миновало и Толю, — он сочинил уморительную песню про сакуру, гейшу и тому подобное, которую любил громко петь под собственный аккомпанемент на гитаре. Каждый куплет в ней кончался словами «Возле храма Киемидзу». Песня была жалостная, Толик тянул последний слог «дзу» так печально и протяжно, что, бывало, в какой-то момент не выдерживал сам и присоединялся к покатывавшейся аудитории. Эту песню я вспомнил неожиданно для себя самого лет пятнадцать спустя, оказавшись на террасе этого самого храма Киемидзу в Киото и вслух засмеявшись — чем вызвал удивленные взгляды японцев, пришедших туда полюбоваться сакурой в цвету. Второй раз эта песня всплыла из подсознания сейчас, когда я пишу про Толю, и я уже не покатываюсь, как тогда, полжизни назад, а просто тихо улыбаюсь — и холод утраты немного согревается этим в сущности незначащим воспоминанием, этим эфемерным, как застрявшие в памяти облетевшие

лепестки, полуприсутствием песни. Студенческая (впрочем, он тогда, кажется, был уже аспирантом) шалость щедрого на затеи человека, которая может и не вспомниться, заслоненная всеми его последующими песнями, статьями, книгами, но как очеловечивают память о большом человеке такие штрихи!

«Японская» песня навела меня на другие песенные воспоминания, а за ними — обобщения. Пописывали и посылали друг другу псевдояпонские стишки тогда у нас многие — благо не столь сложно, — дабы блеснуть куртуазным остроумием или поддеть рискованным намеком. Помнится чтение опусов Алеши Карташева, Аллы, да и аз окаянный, бывало, чего-нибудь этакого двусмысленного подпущу… Но вот сесть и написать целую песню, разучить ее на гитаре и довольно лихо набренчать — на такое хватило только Толю. Кто-нибудь другой, может быть, тоже смог — да так за леностью или недостатком воображения в этой модальности («мог бы») и остался, а Толик подумал — и сделал. Наверно, открылось мне сейчас, так и следует описать его жизнь: подумал и сделал. Я помню, какое впечатление на меня производили в последние годы его рассказы (или рассказы о нем, или прочитанное о нем в Интернете) — подумал о чем-то, взял и сделал. Дух захватывало: мало ли кто о чем думает-мечтает, а Толик умел осуществлять. Впрочем, я постараюсь придерживаться хронологической канвы. Тогда, в середине 80-х, до больших свершений было еще далеко. Но малые — были. И они подталкивали думать, что да, в этом подчас простоватом на вид малом что-то есть — и немало. И изрядной долей этого «что-то» была увлеченность. Да, увлеченность — и способность увлекаться. Вот, кстати, уместно здесь вспомнить и другие песни.

Московский хоббит

В середине 80-х зародилась в Москве мода на Толкиена, сформировавшаяся вскоре в целую достаточно разработанную субкультуру толкиенистов. Но опять же — все читали, кто-то что-то обсуждал, а Толик взял и перевел с дюжину стихов из «Хоббита», учредил самодельное издательство «Московский Хоббит», напечатал (на машинке) тексты, переплел в брошюрку, нарисовал обложку — и один из экземпляров (не знаю, сколько их всего изготовил) подарил мне на день рождения с присовокуплением длинного стихотворного автографа «Евгению в день рождения…»[45]. И была там запомнившаяся мне песня «Дорога вдаль и вдаль идет». Бессмысленно сейчас (да и тогда было) рассуждать — насколько это было серьезно, талантливо или профессионально. Вряд ли это было шибко профессионально со строго формальной стороны; безусловно, это и не было слишком серьезно, но так же безусловно, что Толя это делал не просто от нечего делать или для смеха — как всякие пародисты-юмористы и прочие соцартисты. И на таких «необязательных» текстах и жанрах оттачивался талант его кипучей натуры.

[45] См. в приложениях сборник переводов «Из песен Средиземья».

Гитара и походы

С игрой на гитаре связан еще один характерный (в моем представлении) для Толи момент. В определенном возрасте все мы пробовали немножко бренчать. Кто-то скисал сразу, многие доходили до умения зажать два-три аккорда, но мало кто толком осваивал инструмент. Толик виртуозом, пожалуй, не стал, но мог вполне прилично подыграть песне или исполнить мелодию. При этом, вероятно, ему далось это труднее, чем многим другим, — из-за искривленной и малоподвижной фаланги указательного пальца (поврежденного в детстве в процессе проведения смелого физического опыта с электричеством). Нельзя сказать, что это было исключительное качество характера, присущее ему одному, — добиваться цели, преодолевая личные мешающие моменты, но история с гитарой и пальцем видится мне как один из тех сюжетов, которые показывают отношение к жизни: начинать дистанцию в невыигрышной ситуации и проходить ее успешнее многих, добиваясь результата.

Помню Толика с гитарой у походного костра. Наше поколение (или, если угодно, круг) уже не очень верило в шестидесятническую романтику походов по родному краю, но попеть, попить и посидеть у ночного костра перед палаткой все-таки не гнушалось. В завершение одного из таких выходов на природу приключился незначительный эпизод, который я время от времени с некоторым полустыдливым дискомфортом вспоминаю. Дойдя до станции («усталые, но довольные»), наша группа человек в восемь—десять побросала рюкзаки на платформу и, блаженно развалясь, а также продолжая философические разговоры, стала ожидать поезда на Москву. Я что-то молвил про то, что, мол, надо пойти купить билеты, где тут касса? — и был встречен смешками или искренним недоумением большей части друзей-походников, видевших в поездках зайцами то ли разновидность спорта (что, на мой взгляд, лет в 25–26 было уже несколько запоздало), то ли род диссидентства. Это меня почему-то задело, и я произнес довольно неуместную (но, слава богу, краткую) речь о том, что, мол, негоже нам бедную советскую власть на двадцать копеек обжуливать и вообще лучше не залетать по мелочам, а если делать, то по-большому. Дурацкая, конечно, речь в том конкретном контексте, и хоть я и сейчас считаю, что в общем и целом был прав, все же немедленно устыдился своей неадекватности. И лишь один в компании не поддался безбилетной групповухе — это был Толик. Смущенно

полуулыбнувшись, он порылся в кармане и отправился в кассу. То ли он проникся «правильным» пафосом, то ли решил поддержать мою постыдно-правильную инициативу, чтобы просто поддержать меня, но я это отметил и время от времени вспоминаю с каким-то смешанным чувством смущения и признательности.

Го

Еще одно воспоминание по характеру напоминает сюжет с гитарой, но по материалу имеет отношение к той же Японии. В числе прочих японских экзотических штуковин, которые вызывали интерес в народе в начале—середине 80-х, была игра го. Не помню, то ли я как-то что-то о ней вещал между лафитом и клико, рассказывая, что игра эта, в старых русских переводах именовавшаяся «облавные шашки», составляла одно из Четырех совершенств благородного мужа, или то был Алеша Карташев, который в качестве аспиранта-математика был предрасположен к шахматно-шашечной деятельности и ввел ее в нашу компанию. Впрочем, «ввел» — сильно сказано: мы сыграли с Алешей несколько раз, у меня хитроумная тактика и стратегия как-то не пошли, и я решил, что в Японии есть вещи и поинтересней. Но помню, как однажды около нашей с Карташевым доски остановился Толя и стал смотреть. Потом в памяти наступает провал, и снова я вижу его, может быть, полчаса или час спустя сидящим в уголке над игральной доской и сосредоточенно переставляющим кости. Вокруг изрядно развеселившиеся к тому моменту гуляки горланили песни или решали последние вопросы про методологию и судьбы российской интеллигенции — а Толик, похоже, выпал из ситуации, самозабвенно погрузившись в новое интеллектуальное занятие. Впоследствии я узнал, что он начал играть, и играть всерьез, стал ходить в го-клуб и получил какой-то разряд. Недавно Марина сказала мне, что Толя продолжал играть все последующие двадцать лет, последовательно поднимался по ступеням разрядов, имея уже какой-то высокий дан, и до последних дней играл с международными соперниками. Меня такая стойкость увлеченности и постоянство в совершенствовании изумляют.

Методология

Около того же времени Толя увлекся пресловутой методологией. Мне она тоже была любопытна — я о ней услышал тогда же и из, скорее всего, тех же источников — увлеченных участников семинаров Щедровицкого. Но то, что я услышал на двух—трех семинарах, которые сумел высидеть, в Институте психологии, и то, что прочел в каких-то эзотерических планах, программах и дескрипциях неких невнятных «игр», нимало не соответствовало претензии построить «общую теорию всего» ни в шутку, ни всерьез. Сейчас сделалось более-менее понятным, что Щедровицкий был не столько ученым, сколько харизматическим мастером (а может быть, магистром Игры?), и чтобы вкусить от его учения, необходимо было войти во внутренний круг, в супратекстовое поле коллективного напряжения мысли. Толя вошел. О глубине и интенсивности этого вхождения я узнал много позже, когда году в 2002-м или 2003-м Толя дал мне книжку своих статей, где были напечатаны его воспоминания о Щедровицком. Помню, как читал эту книжку метельными вечерами на озере Онтарио и поражался: вспоминал снежную Москву и наши встречи, на которых он никогда не говорил о своих профессиональных философских штудиях. Не то что я об этом сожалел — у нас хватало тем для разговоров, и отвлеченное погружение или в Гегеля, или Шлегеля, или даже Витгенштейна мне органически чуждо, — но серьезность и несуетную глубину, потребные для занятий этими невесомыми материями, я представить могу, и меня поразило, что Толя удерживался от упоминаний всуе о поглощавшей его годами философской и методологической мыследеятельности — чтении, семинарах, близком общении с легендарным Г.П. Как стало видно из его позднейших текстов, ученического послушания в нем было немного, а критической рефлексии — столь необходимой, но столь редко находимой в экзальтированной секте «приобщенных к гению» — хватало.

Методика преподавания, школа, Штейнер

Не знаю, как была связана с методологией Толина диссертация — о методике преподавания физики в школе, — но мне хочется видеть в этих двух однокоренных словах некое единство подхода к своей деятельности. Вероятно, Толе было важно не просто делать дело, но и осмыслить, как правильно его делать, и разработать метод. Признаться, я, впервые услышав о теме его работы, сильно ею поначалу озадачился. Если он физик, размышлял я, то почему бы ему не взять какую-нибудь физическую проблему и не пойти решать ее на физфак, или в физтех, или в какой-нибудь институт физики твердого (хотя сам бы я предпочел мягкое) тела! Сидел бы там за синхрофазотроном и ловил элементарные частицы. Но методика? Преподавания? В средней школе? На мой образ «физика в школе» наложила неизгладимый отпечаток незабвенная училка Настя (Анастасия Артемовна) с пучочком на макушке, который у нее неизменно сбивался на сторону к концу урока в процессе эмоционального объяснения закона гравитации. «Представьте, что вы едете на лифтЕ, — говорила она, — а лифт подвешен на гвоздЮ». То есть в лучшем случае уроки физики были развлечением низкого пошиба, а в остальных и более частых случаях — скукой, бессмыслицей и тоской от неинтеллигибельности понятия «открытый

колебательный контур». Добровольно войти в этот мир и писать методички для Насти казалось мне отчасти диким, а отчасти неприличным.

Про диссертацию мы с Толей никогда не говорили — меня хоть и занимало, что он там напридумывал, но спрашивать я как-то конфузился. Хотя в памяти остались последствия защиты — а именно банкет. Помню, как Берта Ильинична, мама Толи, обносила всех большим блюдом со всякими мясами и колбасами. Я со второй попытки ухватил один изысканно тонко нарезанный ломтик, но, невесомо поболтавшись на кончике зубчика вилки, он с нее на полдороге слетел. «Ну вот — не зафиксировал как следует», — прокомментировала Берта Ильинична. Потом, лет этак пятнадцать спустя, когда Толя был уже директором основанной им школы, я, узнав об этом, понял, что, вероятно, в построении им школы сыграло роль не только увлечение антропософией и ее педагогикой, но и прежняя работа по разработке методов преподавания. Отвлеченные «методички» приобрели в моих глазах некий смысл. Вероятно, положения диссертации сильно эволюционировали в процессе организации практической работы, но достойно восхищения то, что двигаясь в том же направлении — как учить детей, Толя двигался последовательно, развивая в систему свои наработки (которые в случае с многими диссертантами остаются просто ритуальными текстами для прохождения процедуры и немедленно успешно забываются).

Школа — наверно, самое известное свершение Пинского. Я читал в его книге, каково было ее организовывать в начале 90-х. Вероятно, мало кто смог бы это осилить — без его энергии, харизмы и умения устанавливать контакты с людьми (а также без веры в него и помощи ему его близких). В самом факте создания Толей первой антропософской школы в Москве мне видится яркое выражение его идеалистического практицизма, если так можно выразиться. Заинтересовался идеями Рудольфа Штейнера — и через вальдорфскую педагогику пришел к идее создания новой российской школы. А кто учением Штейнера только ни интересовался тогда, в 70–80-е! Я, привлеченный именем, начал читать (пытаться читать) д-ра Штейнера лет в семнадцать, но быстро забросил. Потом сделал честную попытку вернуться лет через двадцать — и понял, что не мое. Хотя вполне признаю значение вальдорфской педагогики — возможно, вообще наиболее практически разработанную и приложимую к жизни часть штейнеровского наследия. Забавным образом я был в раннем детстве к этому слегка приобщен: в первом классе у нас были уроки ритмики; их вела высокая и старая арбатская дама с нерусским именем, которая учила малышей плавно ходить и кружиться неким особенным смешным образом по системе Далькроза. Поэтому когда во второй половине 80-х я узнал, что Толик усиленно штудирует Штейнера, я отнесся к этому с этаким сановным благодушием — как же, как же, вот, помнится, еще в одна тыща каком-то году занимался я чем-то таким, да и дядюшку Рудольфа почитывал… Но узнать впоследствии, что это увлечение отозвалось созданием целой школы — большой, успешной, признанной не только родителями и учениками, но и властями — было для меня большим изумлением. Не без чуточки зависти, быть может. В последние годы раза два-три я обыгрывал аппроприацию Толиком «моего» имени тем, что звонил ему в школу и говорил с иностранным акцентом секретарю: «Передайте, пожалуйста, Анатолию Аркадьевичу, что его хочет видеть доктор Штейнер». Действовало убойно. Об эффекте, произведенном на его соратников, заподозривших коммуникацию с великой дорнахской тенью, Толик мне потом смеясь рассказывал.

Уже после его ухода я прочел в каком-то некрологе, что за десять лет из своей школы № 1060 он сделал не просто успешно работавшую по вальдорфской системе образовательную единицу, но построил свою Школу Пинского. Не могу об этом судить, но вижу в этом только естественное развитие событий. Толик — мог.

Отцы и дети

Года три—четыре назад я посетовал Толе, что вот, приехал в Москву совсем ненадолго, но приходится незапланированно ходить по всяким дурацким издателям и типографиям, которые давно пообещали сделать работу, деньги взяли, но все никак не делают. Я рассказал, что печатал книгой мемуары отца, которые сам же его подбил писать, дабы папа, оставшись один, немного отвлекся, и теперь очень хотел, чтобы папа, приближавшийся к восьмидесяти и много уже болевший, побыстрее ее получил. Толя сказал, что отлично понимает ситуацию. Его отец незадолго до того времени умер, и Толя написал и издал книгу воспоминаний о его жизни. Меня сильно впечатлил этот факт. Написать целую книгу, пусть и небольшую, памяти отца — непросто. Вернувшись в Нью-Йорк, я читал ее в течение нескольких вечеров и отмечал Толино умение сочетать всякие мелкие эпизоды из детских лет с описанием важных жизненных вех профессора Пинского, в результате чего сложился интересный живой портрет Аркадия Ароновича. Портрет, написанный сыном, который отца понимал и любил и в силу того обходился без особенного бунта против родительского суперэго. Наверно, Толик любил то, что отец делает, потому что любил отца. Это в лаборатории Аркадия Ароновича Толик занимался в детстве физическими «опытами» и пропустил мощный разряд через свой палец. Это в институт отца Толик пошел учиться. Это в конечном итоге не без авторитета отца Толик избрал себе специальностью педагогику. Такому уважению можно по-хорошему позавидовать. И наверно, я не погрешу против истины, заметив, что Толины дочки были ему отличными помощницами, а после его ухода Аня подхватила организацию «Дона-феста» и отлично, как мне передавали, с этим справилась. И вот этому многие отцы точно могут позавидовать.

«Дона», «Дона-дона» и другие еврейские песни

Когда в один из моих недавних приездов в Москву Толя подарил мне диск ансамбля «Дона» — без особенных комментариев о новом своем музыкальном амплуа, а просто: «На, вот, послушай», — я воспринял это как продолжение давней гитарно-застольной традиции самодеятельного пения с поправкой на CD-шную респектабельность. Конечно, на определенном уровне все к тому времени и восходило, но, господи, как далеко выпестовал Толя свою любовь к пению — и как откристаллизовал эту любовь в не просто песне, а песне еврейской!

Голос Толика, исполнявший «Дону-дону», всколыхнул давние напластования голосов, слов на разных языках и любимых лиц, объединенных этой песней. Впервые я услышал ее в середине 70-х на пластинке Джоан Байес, которая с тех пор навсегда в меня впечаталась. Помнится, я даже пытался тогда ее перевести, но что сталось с той попыткой через тридцать лет, и не вспомнить даже. Помню, как в середине 90-х ходил слушать живую Джоан в один темный и вскоре закрытый музыкальный клуб на 4-й Уэст-стрит в Гринич-Вилледж, таращился на настоящую, с тем же молодым голосом, но без распущенных по-хипповому до талии волос, Джоан Байес и все ждал «Доны-доны». Не дождался. Потом, в течение лет я собрал несколько версий ее — по-английски, на иврите и на идише. Помню, про одну — хрипато-картавого, с какими-то немыслимо кабацкими интонациями Вольфа Краковски, во всем противоположного Джоан Байес, но по-своему завораживающего, — я написал Толе по e-mail. Он ответил, что этой «Доны» не слышал, и просил привезти. Через несколько месяцев я приехал в Москву со специально переписанной копией этого диска, и мы встречались, но диск я почему-то ему не отдал. Забыл. И раз, и другой. И уехал, оставив его где-то в Москве — на потом. Вроде бы пустяк, но так остро вдруг подумалось, что подчас это «потом» оборачивается «никогда». Судьба? Или, как говорят, не судьба? Диск этот, кстати, носил название на двух языках: «Гойрл» на идише и перевод на английский — Destiny.

Помню, как голос Толика с несколько педалированными актерскими интонациями (приобретенными, вероятно, игрой в «Скрипаче на крыше») все крутился неотвязно у меня в голове, почти вытеснив оттуда Джоан Байес:

Вот на рынок катит бричка,
Грустный в ней телок лежит.
А в высоком небе птичка —
Вьется ласточка, кружит.

И сидя как-то в каком-то аэропорту, я подумал: «Все замечательно, но бричка — это не совсем то». И его перевод вдруг раззадорил меня. «Катит

на базар тележка…» — стал записывать я на обороте какой-то статьи. И до того, как объявили посадку, с припомненного английского текста так переклалось:

1. Катит на базар тележка,
Грустный в ней бычок лежит,
А над ним, кружась, небрежно,
Вольно ласточка летит.

И смеялся ветер,
Смеялся во всю мочь,
Он смеялся целый день
И почти всю ночь.

Дона-дона-дона-дона…

2. «Эй, теленок, хватит хныкать, —
Говорит ему мужик. —
Иль телячью долю мыкать,
Или ласточкой кружить».

3. И зарезали телятю,
Лишь до бойни довезли.
Но кто сам себе спасатель,
Тот поднимется с земли.

Показать ему этот весьма несовершенный текст и устроить состязание акынов я тоже как-то не собрался. Зато когда в Киото в минувшем октябре мне довелось услышать выступление группы японцев в местечковых картузиках под названием «Орукэсутору Дорэйдэру» («Оркестр Дрейдел»), я так ими очаровался, что немедленно оттуда же, из университетского кампуса, послал Толе их листовку, начинавшуюся словами «Минна-дэ утаимасе!» с переводом: «Lomir zingen tsuzamen!»[46]. А текст «Доны» там был такой:

Нибася-но уэ-ни ва	Двуколки верху на
Коуси га сибарарэтэ	маленький бык лежит, а
Сора такаку цубамэ га	в небе высоко ласточка
Дзию-ни мааттэ иру.	свободно так порхает.

[46] «Давайте петь вместе!» (идиш).

Новая, еврейско-песенная ипостась Толика навела меня на ошеломляющее открытие: он был человек, который ничего не боялся. Не боялся выйти на сцену, не боялся запеть, не боялся переводить стихи и пропагандировать еврейскую песню. Впрочем, не в пропаганде дело: Пинский ее любил и хотел, чтобы ее слышали и другие.

Эта небоязнь делать дело заводила его далеко. Так, он не боялся браться самому за многое такое, что мало кто из нас мог бы себе позволить. О том, как родилась «Дона», Толя писал сам: в еврейском ресторане музыканты не умели играть еврейские песни. И тогда он, чуть не на спор, сказал: «Через год я сам спою и сыграю». Дальнейшее оказалось делом техники. Он нашел людей, убедил, зажег, организовал, пробил. Находил спонсоров, делал паблисити, устраивал площадки — и параллельно с тем пел и плясал. Последний раз я видел его представляющим второй диск «Доны» на сцене клуба «Апшу». То есть можно сказать, что Толик говорил себе: «Надо!» и сам себе отвечал: «Есть!» А при его кипучей увлекающейся натуре такая жизненная установка — «Если не я, то кто?» — оказывалась страшной силой. Как-то минувшим летом Ефим Рачевский, с которым Пинский меня познакомил, упомянул о какой-то интересной, но довольно рискованно-смелой идее. «Звучит очень привлекательно, — отозвался я. – А как к этому отнесся Толик?» — «Я боюсь говорить ему пока что, — сказал Ефим. — А то он сразу начнет осуществлять».

Вот Толя прослышал, что в Нью-Йорке мирно доживает свой век одна из сестер Бэрри, Клэр, и решил, что ее непременно надо повидать. Разузнал координаты, получил американскую визу, сел, поехал — пообщался со старушкой и даже спел с ней куплет, сидя в ресторане. Вечером того же дня (или на следующий — не помню) Толя пришел ко мне в гости. Мы выпили за встречу, посидели немного, но поскольку есть в доме было нечего (я только накануне прилетел из Манчестера), то пошли в небольшой французский ресторанчик по соседству. Зная Толин ненасытный интерес ко всему еврейскому и будучи к тому же местным патриотом, я дорогой рассказывал о нашем районе — о том, что он полвека назад назывался Франкфурт-на-Гудзоне, ибо был населен бежавшими от Гитлера и сумевшими добраться до Америки (что было непросто — Америка их не особенно-то пускала) немецкими евреями; что вот на этой улице прошло детство Киссинджера и Алана Гринспена и не помню кого еще из американских знаменитостей, а вот тут за углом жила до ста с чем-то лет родившаяся в России Рахель Вишницер, редактор первых журналов о еврейском искусстве — «Римон» и «Милгроим»… А на параллельной Беннет-авеню до сих пор живут бройеры — члены ортодоксальной немецкой общины рава Бройера, сохранившие уклад без особенных изменений, хотя сама улица изменилась существенно — на ней кроме ортодоксальных есть теперь и консервативная, и реформистская синагога, и даже одна совсем нью-эйджная, которой заправляет женщина-раввин в кокетливой кипочке и которая снимает помещение по шабатам у лютеранской кирхи, а по воскресеньям после христианской службы из того же здания доносятся боевые крики учеников школы каратэ. Толик жадно слушал — такое многообразие общинно-религиозных форм еврейской жизни на одной отдельно взятой улице ему явно нравилось. Потом, когда мы устроились за столиком, он заговорил о волновавшей его идее автоинтеграции.

Ресторанное отступление и американские впечатления

В ресторане Толя выказывал любопытство и одновременно простоту. Франкофилка Патриция комментировала всякие тонкости в меню, но Толя выбрал добротный увесистый стейк — который всегда хорош, если правильно вырезан и поджарен. За едой и разговорами он чувствовал себя очень естественно и уверенно. В какой-то момент — то ли у нас кончился хлеб, то ли он захотел добавить пива — Толик, нимало не задумавшись, развернулся в сторону маячившего на горизонте официанта и закричал: «Мистер, мистер!» Я слегка напрягся — там используют другую формулу, подзывая официанта, и «мистер», строго говоря, может быть воспринято как нечто не очень вежливое, особенно если обслуга отличается смуглым цветом. К тому же тот оливковый толстяк был довольно далеко — сам-то я всегда предпочитаю подловить работника ресторанпита, когда тот окажется поближе, потому как боюсь, что не услышит и будешь потом сидеть как дурак праздновзывающий. Но Толин «мистер» был немедленно расслышан и понят; официант подошел и исполнил требуемое. Я невольно подумал: вот черт, я тут живу много лет и знаю, как сказать, и говорю практически без акцента — но нередко медлю, задумываясь и выбирая момент. А вот Толя был прост и естествен: чуть ему что понадобилось — кликнул «мистера» и получил искомое. Может быть, у него была какая-то ресторанная (или шире — демократическая) харизма? Вот, помню, лет пять назад в Москве мы — Толя с Мариной и я — ходили в какой-то грузинский поплавок близ Крымского моста[47]. Он был довольно густо усижен публикой. При входе Толик поприветствовал кого-то из местных — то ли это был вышибала, то ли хозяин (я, обычно чувствуя себя в Москве несколько очумело и не владея новым культурным кодом, плохо различаю) — и спросил, есть ли столик. «Для тебя, дорогой, всегда найдется» — был ответ.

Тогда, в ресторане в верхнем Манхэттене, был все же один момент, когда Толя несколько опешил. Патриция спросила, проглядывая меню, лю-

[47] Ресторан «У мамы Зои».

бит ли он escargot. Толя не понял этого французского слова и переспросил (разговор шел по-английски, на коем он говорил вполне уверенно и в общем понятно). «Ну, snails», — пояснила Пэтти. Толик, вероятно, понял, потому что лицо его выразило несколько испуганную озадаченность. Он повернулся ко мне. «Да, улитки такие — жирные, сочные, сваренные в кипящем масле с чесноком и травками. Здесь их очень хорошо готовят, — пояснил я по-русски приветливо. — Необходимо попробовать». Толя неуверенно хихикнул и сказал, что он, пожалуй, не будет. Я сказал, что если он из соображений кашрута не приемлет, то я понимаю и уважаю, а коли просто так — то жалко будет не отведать. Возможно, именно нежелание показаться религиозно ограниченным заставило Толю согласиться. Он все же резонно заметил, что целую улитницу, пахучую и шипящую, для него лучше пока не заказывать, а из моей он попробует штучку. Так и порешили. Принесли два скворчащих чугунных снаряда. Он посмотрел, как мы с Патечкой со смаком (специально для него утрированным) выковыриваем из гнездышек нечто и впрямь с виду не слишком симпатичное, и вежливо принял протянутую ему двузубую вилочку с комочком сваренной живьем вкрутую улитки. Осмотрел, положил в рот и пожевал. «Интересный вкус», — заметил он светски, но от второго экземпляра отказался. И я опять подумал, какой он все-таки молодец: если чего и боится, так это французских улиток, да и то не гнушается попробовать.

Тогда Толя с увлечением рассказывал о своих американских впечатлениях, в чем-то по-туристски наивных и немножко восторженных, но подмеченных острым и свежим взором заинтересованного наблюдателя, — особенно его впечатлила улыбчивость и уличная доброжелательность американцев. Он много говорил, как ему видится еврейская жизнь в Америке. Несколько утрируя, передам, что видел он ее как царство свободы и размышлял о еврейской ситуации вообще. Лет двадцать назад, когда мы общались с ним чаще, эта тема практически никогда не возникала — еврейским вопросом тогда не интересовались ни он, ни я, но, вероятно, у многих вполне нерелигиозных и культурно не затронутых еврейством людей наступает в жизни момент, когда этот вопрос всплывает — из потребности ли в личной самоидентификации или в попытках понять смысл истории и свое в ней место…

«Автоинтеграция»

Было видно, что в Толе вызрела позиция, которой он жаждал поделиться и узнать мое мнение. Вскоре — кажется, через месяц — он закончил статью, которая была напечатана и перепечатана многими еврейскими (а может, и не только) органами, в Сети и на бумаге и которую он мне, в числе прочих друзей и знакомых, прислал сам, дабы мы судили

по авторскому тексту. (Отлично его понимаю — несколько моих текстов гуляют по Интернету в таком прихотливом, десять раз кое-как перепечатанном и сокращенном, а то и «дополненном» виде, что поначалу хотелось разбираться, а потом думаешь: а, ладно…) Тогда же, в ресторане, и потом, в нескольких кратких обменах е-мейлами, я выразил Толе, что я думаю о его идее (и статье «Автоинтеграция»). Вкратце: идее я очень сочувствую и хотел бы, чтобы было так, но вот только на деле сейчас совсем все не так, а дальше будет еще хуже. Но, невзирая на в общем-то принципиальное несогласие с его оценками и прогнозами, я не мог не восхититься Толиковой широтой постановки проблемы еврейства в современной жизни и смелостью предлагаемых путей ее решения вплоть до заявки в заключении программы, которую можно было бы назать Декларацией Пинского. Несмотря на не всегда достаточное для выводов владение новейшей информацией и ряд несколько бегло очерченных основополагающих конепций, статья выразила тот огромный путь, который за сто с четвертью лет попыток самоопределения в современном западном мире проделала еврейская мысль — от сиониста Пинскера до интеграциониста Пинского.

Когда за четыре дня до отъезда из Москвы в Нью-Йорк в середине ноября я пришел на концерт «Доны» в «Апшу», мы немного поговорили об «Автоинтеграции», и Толя просил меня написать мои возражения и аргументы в виде статьи. Я сразу не собрался и сейчас уж точно не стану. Через пару дней он послал мне английский текст «Автоинтеграции» с просьбой при случае показать заинтересованному народу в Америке. «Вдруг ты там Мадлен Олбрайт увидишь», — добавил он шутливо. «Вряд ли, — отвечал я. — А знаешь ли ты, что она скрывала свое еврейство?» — «Ну это, батенька, мне крыть нечем», — отозвался Толя. Кажется, это была наша последняя коммуникация.

О смерти и счастливой жизни

Толя мне видится счастливым человеком. Ему многое было интересно, он за многое не боялся браться, и многое ему удавалось. Если он в чем-то бывал не вполне прав (как, мне кажется, в его последних размышлениях и предложениях о еврействе), то заблуждения проистекали от жизненного оптимизма — если все захотят, все поднатужатся, наверно, думал он, то, глядишь, все и получится. Его позиция была такова, что к ней приходилось невольно проникаться какой-то симпатией, даже исповедуя иные взгляды. Только счастливые люди могут генерировать такую позитивную ауру.

Смерть неожиданно застала его, такого еще молодого, в самом продуктивном и полном свершениями возрасте — в уверенном акмэ. Подумалось: Толя жил столь интенсивно, что в иных случаях перечень сделанного

им мог бы растянуться еще лет на десять, пятнадцать, двадцать. Может, есть все-таки где-нибудь там наверху кто-то, кто соразмеряет наполненность и интенсивность жизни с ее сроками и решает — кому обрубить нить, чтоб не крутилась слишком быстро и не нарушала бы общего дизайна житейского тканья, а кому, скажем, приостановить веретено на время, а потом посучить еще… Вот Лосев: был у него такой баснословный взрыв креативности и продуктивности в конце 20-х, когда самому Алексею Федоровичу даже до сорока далеко еще было. И вмешалось нечто, и случился у Лосева перерыв в работе в тридцать лет. (Но ведь не умер, как столь многие в его положении, а много раз мог бы!) А потом еще лет тридцать он работал с небывалой плотностью, до девяноста пяти — выдавая заложенное. А если бы перерыва ему советская власть не устроила, кто знает: написал бы в два раза больше? Жил бы тогда почти до ста, чтоб все сказать? Кто знает…

Смерть талантливого человека — незаурядное событие, и, свыкаясь с ним, невольно пытаешься найти какое-то обоснование и раннему обрыву, и долгой покойной старости кого-то другого. Но если в сроках смерти и есть какой-то высший смысл, то нам познать его не дано — и слава богу, потому как каким бы этот высший смысл ни был, согласиться с ним невозможно. Надо просто пытаться жить на всю катушку, зная, что коли может оборваться эта нить когда угодно, пусть хоть раскрутится побольше, уведет подальше.

Толя жил на всю катушку — щедро и жадно. И, думается мне, был счастлив.

Об одной песне

(рассказывает Александр Юркевич[48])

О кружке ЦСКА
(сокращенное изложение
по магнитофонной записи от 19 июля 1995 г.)[49]

Можно подумать, что я был организатором этого кружка; однако это не совсем так, я лишь обеспечивал место и время; у нас не было лидера, программы работы, постоянства в участниках, то или иное

[48] Александр Михайлович Юркевич в 80-х годах был заместителем начальника ЦСКА, о его кружке Толя пишет в «Третьей декаде» (см. часть 1).

[49] Печатается с сокращениями. Полностью опубликовано в книге А. Пинского «Пайдейя» (М., 1997).

содержание вносилось в работу стихийно. Г.П. Щедровицкий посещал нас, но не вошел, не смог или не захотел участвовать; были и другие известные люди временами.

Собственно же история примерно такова. Конечно, она в известной мере связана с моей жизнью.

Я по жизни имел неосторожность очень серьезно связываться со спортом, с борьбой: там я достиг довольно больших вершин. В 1969 г. я выиграл чемпионат мира. Потом меня сразу выдвинули в главные тренеры сборной страны — я был для этого по тем меркам очень подходящим человеком: ничем не злоупотреблял, пристойно вел себя за границей, сотрудничал с ЦК комсомола. Но в сборной я попытался все трансформировать, и тогда меня оттуда попросили. Я уехал в Германию примерно на 3 года. Потом вернулся в Москву.

В 1975 г. Дмитрий Аросьев затащил меня на семинар к Георгию Петровичу. У меня тогда эти люди вызвали неприязненное чувство, и я ушел посреди доклада. Георгий Петрович догнал меня на улице, прервав семинар, и вернул. Я тогда продолжил участвовать в семинарах. У меня не было образования, но я очень много читал, особенно Платона. Платона я читал, как любимые романы.

У меня были очень дружеские отношения с Виталием Дубровским. В 1979 г. он уезжал в Америку. На своих проводах он познакомил меня с Николаем Цзеном. Цзен произвел на меня впечатление своей мягкостью. Я тогда был замначальника учебного отдела в ЦСКА. Через неделю после проводов мы связались с Цзеном, и он пришел работать в ЦСКА, психологом в команду пятиборцев. До этого Цзен работал в Клинике неврозов им. Соловьева.

На первых порах мы начали практиковать дзен-буддизм; Цзен учил нас медитации, мы сидели в позе лотоса. Кроме того, все это проходило как бы на фоне книг Кастанеды «Учение Дона Хуана».

[…]

Итак, начало — это практика дзена и теория по книге Кастанеды. К этому присоединялись различные психотехники.

[…]

О методологии и методологическом сообществе: там было очень много хороших людей; а мне захотелось все, что было от моего прошлого, от спорта, от борьбы, трансформировать; мне казалось, что в методологии имеется какой-то следующий, более высокий уровень человека. Однако потом я почувствовал некую опасность всего этого дела, оно показалось чем-то тупиковым.

А о нашем кружке — главным мотивом, главной темой наших занятий была тема реабилитации. Я чувствовал, что должен реабилитироваться после всей той специализации, которую прошел в спорте. Вообще-то сейчас

я убежден, что это чрезвычайно общий и важный вопрос: реабилитация, освобождение, вымывание от прошлого, от искусственных новообразований, приобретенных в социальной деятельности, возврат к общечеловеческому началу.

У меня еще были иллюзии, что эту проблему может решить психотехника. Но потом я понял, что стать психотехником — это все равно что брать взаймы у самого себя. Да, ты можешь каким-либо внутренним искусственным усилием снять ту или иную проблему, но за это где-то в другом месте у тебя нарастает еще большая проблема, в другом месте баланс нарушается.

[…]

Где-то через полгода после прихода Цзена в ЦСКА состоялась большая конференция «Психология спорта высших достижений». Да и вообще на этих занятиях с Цзеном, на семинарах в ЦСКА часто присутствовали тренеры и инструкторы; а кроме этого был и более внутренний круг. Никакого четкого решения, программы у этих занятий не было. Скорее, однако, я просто обращался к Цзену с разными идеями и предложениями, и все в целом складывалось само собой.

Еще мы занимались (в дополнение (и в развитие) к дзену и Кастанеде) арканами Таро, эннеаграммой Гурджиева и построением Платоновых тел. Потом Цзен учил нас играть в го. Он заинтересовался этой игрой, познакомился с Межовым, а там и Пинский появился.

Воспоминания, записанные в марте 2007 г.

Для меня общение с ним было очень интересным, потому что он один из знакомых мне людей чувствовал, что я испытал на личном опыте в своей жизни. Для меня он был единственный человек, который меня понимал. Толя намекает на мой эзотеризм. Но я не эзотерик. Все сложнее.

Мне хотелось бы рассказать о нем как о человеке. Меня интересует его способность понимания — способность миротворческая. Вот интересная история.

Дело было так. Я был в Томске, и у меня был разговор с человеком из сферы образования. Один талантливый профессор разработал обучающий прибор «Символ». К прибору предлагались тетради с заданиями по разным предметам. Предлагалось использовать это в сельских школах: компьютеров там нет, а такие приборы можно купить. А дальше все вроде бы согласны, но самое сложное — эти тетради. Их нужно сделать для каждого ученика. И люди из Томска собрались ехать в Москву в издательство «Дрофа».

Мы приехали из Томска вместе, и они попросили меня им помочь. Я позвонил А.А.: не было случая, чтобы он мне отказал во встрече. При всей занятости он мне всегда говорил — приезжай туда-то, и мы встретимся. И сейчас я ему позвонил, встреча организовалась. Он выслушал меня,

этих людей и говорит — я попытаюсь, но результат не могу предсказать, не знаю. И мы пошли на встречу в «Дрофу». А туда только с пулеметом попасть можно, зато там специалисты. Генеральный директор «Дрофы» пригласил всех своих спецов, А.А. присутствовал на первом разговоре. Он минут 15 посидел, у него возник контакт с гендиректором. Тот говорит: «Ну, Аркадьич, если ты просишь, я сделаю все, что тебе нужно». И Толя уехал. Мы остались с этими специалистами, просидели часа 2–3. Они всячески самым серьезным образом изучили вопрос, и мы расстались. Вечером я ему позвонил снова, он был в школе. Спрашиваю: «Аркадьич, ты сам скажи, какое у тебя мнение».

Он говорит: « Мнение у меня такое. Вы, говорит, хотите повторить одну старую историю. В городе Гомеле живет один портной, он изумительно шьет шляпы. Но для того, чтобы шляпа смотрелась, нужно сшить еще сюртук под эту шляпу. Вот сейчас вы шляпу сшили. А теперь нужно сшить сюртук».

Основные деньги — это издание тетрадей, их нужно изготовить в сумасшедших объемах. Тут не хватит бумаги не то что у «Дрофы», но и у всего Министерства просвещения. Он это, видимо, сразу понял. И с юмором отнесся к этой истории.

Потом мы встретились с ним на Таганке числа 15 октября. Я сел к нему в машину, он говорит: «Я получил диск “Доны”, я там тоже участвую» — и поставил его. И тут меня как будто ударило, состояние было немного шоковое. Я сначала попытался услышать немецкий язык, потом сообразил, что песня еврейская. Прослушали ее до конца[50]. Я говорю: «Слушай, а можно купить диск?» Он отвечает: «Приходи на концерт».

У меня осталось какое-то особенное чувство, меня слеза достала. Это было, я признаюсь. Хотя я не все понимал — видимо, это мелодия, все, вместе взятое, меня проняло. Потом мы сели в кофейню рядом с Таганским театром, немного посидели. Мы там посидели, поговорили, и он мне сказал: «Приходи в “Апшу”[51], там будет концерт».

---

[50] Речь идет о песне «Дона-дона», подробно описанной в воспоминаниях Е. Штейнера и М. Дорфмана.

[51] Концерт состоялся в клубе «Апшу» 8 ноября 2006 г. На следующий день после концерта Толина болезнь проявилась и очень быстро нарастала. За несколько дней до концерта Толя чувствовал себя простуженным и беспокоился о том, как будет петь. Важно сказать, что на концерте было необыкновенно много народу, как никогда не бывало раньше на клубных концертах. И вышло так, что на нем неожиданно оказались вместе многие наши друзья, причем некоторые прежде не пересекались. Кроме нашей семьи присутствовали мои соученики по университету: Ира и Витя Рощины, Люба Троицкая, Наташа Захарова с дочкой; наш старый друг по вальдорфу Володя Загвоздкин; приехавший из США Женя Штейнер с сыном и оказавшийся в Москве А.М.Юркевич.

Песня, которая прозвучала, меня зацепила чем-то. Я что-то начал вспоминать, какое-то связанное с ней неприятное и сильное переживание.

Потом, не помню, сколько прошло времени, он позвонил, и я поехал в «Апшу». А у меня, к несчастью, в этот день объявился муж моей дочери, индус. Что-то от меня хотел, начал мне звонить, когда я подходил к клубу, просил меня приехать.

Когда в клубе начался концерт, прозвучали первые такты мелодии, Толя вышел и начал петь, я сразу вспомнил, что произошло, связанное с этой песней. Он пел в тот раз очень хорошо. А было вот что.

Я приехал к матери в деревню. Она оставалась там, хотя деревню, в которой я родился и вырос, уже сносили. Я взял ружье и пошел походить по лугам, пострелять. Я еще был молодой, лет 20 мне было, наверное. Она меня провожает, ей надо было идти на ферму — она осталась там одна, ее помощница заболела. И когда мы стали проходить мимо фермы, я посмотрел — там очень много телят, маленькие совсем и чуть постарше, повыше, и все на площадке перед фермой, на дворе. Навоз, дождик накрапывает. И вот они увидели мать, как она идет, и бросились все к ограде и мычат во весь голос, только что не воют. Такое что-то резкое у них было, я удивился. Спросил у матери, что происходит, почему их держат под открытым небом. Вот же стоит ферма, а они все на поле! Она говорит — нечем их кормить, завтра придет машина, и их всех увезут на бойню. И начала плакать. А они все бросились к ней. Я пошел, а она стала искать какую-то траву, чем-то их кормить. Вечером я возвращался с лугов этой же дорогой. Телята увидели меня и выбежали все к изгороди. Пытаются голову просунуть кто может, и все мычат так же, как утром, буквально воют. Они узнали меня: коль скоро я был с матерью, а она постоянно с ними возится, значит, я тоже для них какая-то надежда.

Такая была история. Я оттуда на следующее утро уехал, а буквально через несколько месяцев всю эту деревню полностью снесли. Ничего не осталось. Я когда приезжал, даже место найти не мог.

В «Апшу», когда я услышал мелодию, я узнал эту песню, которую слушал первый раз в записи у Толи в машине, и меня даже слеза прошибла. И я эту историю вспомнил. Мне потом сказали, что песня была написана в гетто, ее сочинили люди, которых должны были убить, они шли на смерть.

Теперь концовка. Я сидел в «Апшу», мне было не очень уютно — народу было много. Пели они действительно хорошо. Без всяких. И когда закончилось первое отделение, я думал, что это уже конец, смотрю — он идет, спускается с эстрады. Я говорю: «Аркадьич, ты меня извини, у меня сидит дома этот индус, и мне обязательно надо вернуться». Он посмотрел на меня так — и ничего не сказал в ответ. Посмотрел — и не среагировал. Я, выходя, начал колебаться, думал, может, ну его, индуса, — останусь? Но все-таки ушел. А потом, когда доехал домой, разобрался с этим приятелем, уже вечером поздно позвонил Толе и сказал довольно глуповатую вещь. Я ему сказал: «Аркадьич, твое участие в этом концерте придает трагизм какому-то полузабытому местечку. (Думал комплимент сказать.) Мне очень понравилось, спасибо тебе». Он выслушал и опять ничего не сказал. Так что, мне кажется, он, наверное, уже знал.

Вообще эти еврейские песни ни на что не похожи. Там все время чувствуется тоска и переживание горя. Веселые песни, вроде «Хава–Нагилы», красивая мелодия. Казалось бы, песня веселая — а подтекст остается тот же самый.

Хранитель

(воспоминания Светланы Поливановой[52])

Я познакомилась с Толей Пинским в середине 80-х годов, когда по приглашению Г.П. Щедровицкого он появился у меня дома, чтобы принять участие в методологическом семинаре, проходившем тогда в моей квартире. Он произвел на меня впечатление человека мягкого, интеллигентного и абсолютно академического, с очевидным приоритетом интеллектуальной работы перед любой другой формой активности. Он уже имел за плечами опыт аналитической работы: он тогда занимался исследованием деятельности педагогов-новаторов прошлого и недавно закончил книгу (или статью) о Новикове, фамилию которого произносил с ударением на последнем слоге.

Толя пришел на семинар в не лучшее для новичка время. Это был период, когда методологи были увлечены проведением и рефлексией организационно-деятельностных игр (ОДИ). Тому, кто не участвовал в играх, было практически невозможно понять, что участники семинара с таким увлечением обсуждают и почему так важно, что сказал некто Иван Иванович в тот или иной момент игры. По словам Толи, он чувствовал себя как «наблюдатель ООН на заседании террористической группы». И так продолжалось около года.

А в начале 1985 г. под давлением методологов доигрового поколения Георгий Петрович предложил анализировать на семинаре классические философские тексты. Толя с воодушевлением взял на себя анализ Витгенштейна, а позже перешел на феноменологию. Однако, несмотря на воодушевление, очень скоро стало заметно, что обсуждение докладов Толю не

[52] Светлана Поливанова, по мужу Гивенталь, в 90-х годах эмигрировала и проживает в США.

удовлетворяет. Его явно раздражало, что участники семинара гораздо больше внимания уделяют тому, как и почему он утверждает нечто, чем самому утверждению. Надо заметить, что в этом и состоял пафос методологических семинаров Московского методологического кружка, по крайней мере в тот период (с 1977 г.), когда я начала участвовать в семинарах, а именно: содержание доклада интересно только самому докладчику, и это его и только его цель продвигать это содержание и продвигаться в нем самому. Я думаю, что такое распределение ролей Толю не устраивало. Он так и не принял то безразличие к содержанию, которое демонстрировали участники дискуссии. Для него все-таки «что сказано» было важнее, чем «как и почему».

Еще одной характерной чертой семинара была очень резкая критическая манера обсуждения. Как правило, усердствовали в этом начинающие методологи, т.е. те, кто сам еше не мог свободно разворачивать свое содержание, но научился подражать методологической риторике. Фактически это и был способ освоения методологического подхода для новичков в течение первых двух лет работы в семинаре: освоение формы через подражание. И только пройдя этот путь, некоторые (далеко не все) участники обретали свободу движения, выражения и разворачивания своей мысли.

Как правило, подражание легче удавалось тем, кто до появления на семинаре не имел самостоятельного опыта анализа гуманитарных проблем. Тем, кто был, так сказать, tabula rasa. Толя определенно не был tabula rasa, когда пришел в семинар. У него уже был опыт самостоятельной работы, собственный стиль мышления и речи. И отказываться от него и тем более подражать «бессодержательным» формам он явно был не готов. И его, очевидно, коробили резкие критические замечания со стороны тех, кто сам еще был далек от «методологического мастерства».

Все это создавало для Толи ощущение дискомфорта. Он явно не чувствовал себя «своим» в семинаре и, вероятно, сомневался в том, стоит ли ему продолжать это занятие и надо ли вообще ему становиться методологом.

Я думаю, что Георгий Петрович довольно скоро понял и оценил своеобразие Толиного мышления и пришел к выводу, что Толю не нужно «ломать». Если мне не изменяет память, у меня с Г.П. даже состоялся однажды такой разговор, когда Г.П. сказал, что Толю нужно оставить в покое и дать ему двигаться на семинаре в той манере, которая органична для него. Мне вообще кажется, что между Толей и Г.П. сложились особые отношения. Это не были отношения учителя и ученика, которые в тот период характеризовали отношения Г.П. с остальными участниками семинара. Отношения между Г.П. и Толей были, скорее, отношениями людей, разделяющих интерес к одной и той же области мысли, но движущихся в ней разными путями. Толя, безусловно, относился к Г.П. с большим пиететом, отдавая должное мощи его мышления, но еще больше масштабу его личности. А Г.П., по-моему, понимал, что столкнулся с очень интересным и цельным человеком, находящимся в процессе поиска своего пути.

Мои отношения с участниками семинара мало зависели от «успешности» их продвижения по методологическому пути. Я была старше остальных (не считая Г.П.) в среднем лет на 10, и это, вероятно, позволяло мне более снисходительно относиться к их взлетам и падениям. Мои отношения с каждым из участников зависели от их личных, а не интеллектуальных достоинств. С кем-то возникали близкие, доверительные отношения, с другими я предпочитала сохранять дистанцию.

Между мной и Толей довольно быстро возникли очень теплые отношения. Мне явно импонировала его мягкая, интеллигентная манера разговора, его прекрасное, естественное чувство юмора — не ирония, не сарказм, а именно непосредственная чувствительность к смешному. Я по сей день помню, как смеялась до слез над его анекдотом о трех председателях колхоза, которые отчитывались перед высоким начальством, чем они кормят кур. А заключительная фраза: «Ну вот мы им и выдаем по 25 копеек. А там что хотят, то едят» — вызывает у меня улыбку и сейчас, когда я вспоминаю, как Толя ее произносил. Но больше всего меня привлекал его неподдельный интерес к другому человеку. Мы довольно много разговаривали после семинаров, иногда встречались помимо семинаров, и каждый раз я чувствовала себя с ним очень комфортно.

Но при всем при том мы не были столь близки, чтобы я могла ожидать того, что однажды произошло. Летом 1985 г., только вернувшись из отпуска, я неожиданно попала в инфекционную больницу с рожистым воспалением. Я была уверена, что кроме Гали Харитоновой, с которой мы как раз и проводили отпуск, об этом никто не знает. Каково же было мое удивление, когда на третий день Толя явился в больницу, чтобы меня поддержать и утешить. Я думаю, что этот эпизод лучше всяких слов демонстрирует Толино отношение к людям, с которыми его свела судьба. По крайней мере я этого не забуду никогда.

Возвращаясь к методологическому семинару, Толя активно работал в семинаре около двух лет. Но уже в 1986 г., продолжая участвовать в семинаре, Толя увлекся Толкиеном[53]. Тогда «Властелин колец» на английском языке появился в домах у читающей публики и приобрел большую популярность. Начали один за другим появляться переводы фрагментов книги. Насколько я помню, Толю не удовлетворял ни один перевод. И он как буд-

[53] Толя занимался переводами и вообще изучением разнообразных (не только художественных) произведений Толкиена чрезвычайно увлеченно и серьезно. Он выписывал и получал материалы по почте из Лондонской библиотеки (Интернета еще не было). Можно сказать, что он относился к созданному Толкиеном миру не как к простому вымыслу. В конце концов к Толе обратились с предложением вступить в общество толкиенистов (кажется, международное), но это произошло через несколько лет, когда его уже занимало другое.

то задался целью найти по-настоящему классного переводчика для этой книги. Почему именно Толкиен? Спору нет, книга прекрасная, необычная. Но в то время было огромное количество хорошей западной литературы, которая не была переведена на русский язык. Что было причиной, заставившей Толю выделить именно эту книгу? Я попробую ответить на этот вопрос дальше.

Не знаю, повлияло ли на Толю увлечение Толкиеном, познакомился ли он уже в этот период с антропософами, но в один прекрасный (?) день, после очередного обсуждения его доклада он перестал появляться на семинаре. Да и сам семинар, похоже, изжил себя. Несмотря на попытки возродить теоретико-методологическую работу, методологи по-прежнему проводили много игр. И ни времени, ни концентрации на серьезные теоретические разработки не хватало. В конце 1986 г. Георгий Петрович обьявил этот семинар закрытым.

В течение последующих пяти лет мы с Толей встречались лишь время от времени. Я узнала о его погружении сначала в изучение антропософии, а потом и об увлечении вальдорфской педагогикой. Что касается меня, я продолжала ездить на игры, участвовать в методологических дискуссиях. А в 1990 г. по предложению Сергея Попова мы вместе с Геной Копыловым (я в роли главного редактора, он — в роли заместителя) начали издавать методологический журнал «Кентавр» (этакий симбиоз Методологии с Игрой). И в начале 1991 г. я попросила Толю дать мне интервью для этого журнала.

Меня интересовали две темы: что Толя искал и, по-видимому, не нашел в методологическом сообществе и почему он так заинтересовался вальдорфской педагогикой. Я не буду здесь останавливатьса на содержании этого интервью. Оно опубликовано, его можно прочитать. По-моему, Толя вполне исчерпывающе ответил на оба вопроса.

А в моей жизни это интервью сыграло весьма существенную роль. Дело в том, что в 1991 г. я потеряла работу (я работала старшим научным сотрудником в ВИНИТИ), которая давала мне средства к существованию. Случилось это как раз тогда, когда цены на товары были отпущены. Магазин на Ленинском проспекте, где я обычно покупала продукты, превратился в «Бистро», и почти все из того, что там продавалось, стало мне недоступно.

Толя узнал про мою ситуацию, когда я показывала ему текст отредактированного мной интервью. По-моему, моя редакторская работа ему понравилась, потому что он предложил мне стать редактором литературы по вальдорфской педагогике, изданием которой он тогда активно занимался. Но средств на то, чтобы платить за редактирование, у него тогда не было. Толя в это время «пробивал» разрешение на открытие первой вальдорфской школы и ожидал финансирования, в том числе и на публикацию вальдорфской литературы. А пока единственное, что он мог мне предложить, это почасовую работу, состоявшую в том, чтобы вводить в базу данных

имена и адреса заказчиков на книжки по вальдорфской педагогике. Так я стала машинисткой в Толином «подпольном» издательстве. Подпольном, потому что мы — я и Валентин (фамилию забыла) — выполняли эту работу в маленьком подвальном помещении какого-то здания на Ленинском проспекте недалеко от Академии наук. И так продолжалось примерно до конца 1991 г. Несмотря на очень скромную зарплату, эта работа фактически позволила мне выжить в те смутные времена.

В 1992-м, еще до начала первого учебного года, мы переселились из подвала в здание школы на Серпуховке. Здесь для меня началась реальная издательская работа. Я редактировала переведенные тексты, сдавала и забирала их из издательства, пристраивала их в книжные магазины на продажу, организовывала выставки-продажи вальдорфских книг на педагогических семинарах. Конечно, я делала всю эту работу не одна: Валентин вскоре уехал в Германию, а к редакторской группе присоединился Павел Мейксон с женой. Активно участвовала в распространении книг ближайшая помощница Толи Галя Балыгина.

В этот период я впервые получила возможность наблюдать за Толей в роли директора школы. Толя занимался всем одновременно: руководил ремонтом школы, курировал всю издательскую работу, контролировал учебный процесс, когда начались занятия. Он не просто руководил, он вникал во все детали, будь то работа электриков и сантехников, учителей или процесс подготовки вальдорфских книжек. Насколько я помню, он одновременно встречался с зарубежными вальдорфскими педагогами, организовывал процесс подготовки вальдорфских педагогов по всей России. Трудно перечислить все, чем он руководил в тот период. Не знаю, где он находил время и силы на все на это, но это была воистину подвижническая работа.

В то же время я впервые поняла, что работать с ним мне трудно. Во-первых, оказалось, что Толя перфекционист. Ему было очень трудно угодить: его не устраивало ни качество редактирования, ни бумага, на которой книги были опубликованы, ни даже литеры набора текста. Кроме того, Толя совершенно не мог делить ответственность: он должен был вникать во все детали, контролировать все шаги, принимать все решения. Меня, человека довольно независимого и самостоятельного, начала тяготить такая плотная опека. Я попыталась уйти уже в середине 1992 г., но Толя меня не отпустил. Вероятно, надеялся, что мы как-нибудь притремся друг к другу. А в марте 1993 г., когда я подала заявление об уходе «для выезда на постоянное место жительства в США», Толя, по-моему, вздохнул с облегчением. К этому моменту уже стало очевидно, что мы не сработаемся.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что и то, что меня так восхищало в Толе, и то, что раздражало во время совместной работы, было лишь разными проявлениями одного и того же явления. Я думаю, что мое первое впечатление о Толе, а именно что он был академическим человеком, было совершенно неправильным. В интервью для «Кентавра», отвечая на во-

прос, что он нашел в вальдорфской педагогике, Толя сказал, что он нашел единство мысли, слова, чувства и действия. Вспоминая его деятельность в вальдорфской школе, я понимаю, что он имел в виду. Я думаю, что фактически Толя был миссионером швейцеровского склада. Он искал и нашел свою миссию в распространении вальдорфской педагогики в России. И когда миссия была осуществлена и вальдорфское движение превратилось в конъюнктуру, он покинул школу.

Мне кажется, что теперь я могу ответить на вопрос, почему Толя так увлекся Толкиеном. Маленький хоббит Фродо объединил все народы Средиземья в борьбе со злом. Но это была его и только его миссия — уничтожить Кольцо Всевластия. И эту роль он не мог доверить никому. Мне кажется, что Фродо для Толи был прообразом того, к чему он стремился. Но миссия заключалась не в борьбе со злом, а в том, чтобы принести в мир то, что он считал добром или благом. Теперь я понимаю, почему Толя не задержался надолго в методологическом движении. Если рассматривать движение как миссию, то это была миссия Г.П. Щедровицкого. Все остальные были только соучастниками. Толя не мог быть просто соучастником, попутчиком. Он искал миссию, которую, как Фродо, он должен был выполнить сам.

Совсем недавно, когда Толи уже не стало, я узнала от его жены Марины, что, уйдя из вальдорфской школы, Толя увлекся клейзмерской музыкой. Насколько я поняла, он стал руководителем и участником группы «Дона», исполняющей еврейские песни, и организатором фестиваля «Идиш-фест». Может быть, он нашел для себя новую миссию. Если так, то я не сомневаюсь, что он вложил в эту роль не меньше самоотверженности и любви, чем когда-то в роль распространителя вальдорфской педагогики. Его последняя миссия осталась незавершенной. Я уверена, что все, кто соучаствовал с ним в этой миссии, ощущают его внезапный и преждевременный уход как большую потерю.

В памяти осталась едва ли не каждая из наших встреч

(воспоминания Матвея Хромченко[54])

Мы познакомились более 20 лет назад на семинаре Г.П. Щедровицкого, где Толя (тогда еще не Анатолий Аркадьевич) делал доклад по Витгенштейну, сопоставляя взгляды великих мыслителей XX в.

[54] Матвей Соломонович Хромченко, журналист, составитель сборника «ММК в лицах».

После нескольких продолжений Толя практически перестал участвовать в семинаре (предпочтя антропософию Штейнера и вальдорфскую школу), в связи с чем мы с тех пор встречались крайне редко и, сказал бы я, всякий раз неожиданно. Но в памяти осталась едва ли не каждая из этих встреч, в которых проявлялись его неизменная доброжелательность — без утраты принципиальности — и артистизм.

Не мог не запомниться его яркий доклад на Чтениях памяти Г.П. с провоцирующим названием «А был ли Г.П. методологом?»[55] (если я не ошибаюсь, именно Толя впервые публично задал этот вопрос, который спустя несколько лет стал яростно обсуждаться в методологическом сообществе). В тот раз устроители Чтений решили премировать лучшее выступление, причем на премию претендовали Никита Алексеев, Олег Генисаретский и Толя.

Следующая встреча случилась летом в равно любимом нами (хотя по разным причинам) Светлогорске, где мы в тот год отдыхали семьями; именно там и тогда мы с Толей позволили себе не ограничивать время бесед «за жизнь», более всего обсуждая конечно же именно Г.П. и его, что бы Толя ни говорил, методологию.

Довелось мне лицезреть Анатолия Аркадьевича и на музыкальном спектакле в основанной им школе, где ее основатель и директор выступил как организатор симпатичного театрального коллектива, в котором сам же как артист и соучаствовал.

Последний раз мы встретились на скромном сабантуе по поводу 5-летия (или 10-летия) партии «Яблоко», в которой Толя состоял[56] и от имени которой разработал оригинальную государственную образовательную программу. Я к партии никакого отношения не имел (мне был несимпатичен ни ее лидер, ни его окружение), но меня, тогда сотрудника журнала «Семья и школа», заинтересовали заложенные в программу идеи, и я воспользовался моментом для того, чтобы договориться с Пинским о встрече для интервью, которое мы планировали опубликовать в журнале (к сожалению, беседа не состоялась).

А три года назад я (в тот момент составитель сборника «Московский методологический кружок в лицах») позвонил Анатолию Аркадьевичу с предложением написать текст о его участии в методологическом движении (в отличие от других авторов, Толя написал свой текст, как и обещал, без назойливых напоминаний) и с изумлением услышал, что Толя оставил школу, создав ансамбль еврейской песни на идише! Собирая этот фольклор, он нашел и диск с записями песен в исполнении моего отца, с явным удовольствием дав мне услышать в телефонной трубке одну из них.

[55] См. часть 1.

[56] Эта информация, скорее всего, не точна. Толя, тесно сотрудничая с «Яблоком» в области образования, членом партии не становился.

И еще через несколько месяцев двое симпатичных молодых людей, сотрудников Анатолия Аркадьевича, подготовили для издаваемого им сборника, посвященного все той же теме, теплый очерк о певческом пути моего отца и, в частности, этом диске. Увы, подержать в руках изданный том Толя уже не успел[57]…

Был бы Толя, это было бы по-другому

(рассказывают Светлана Чистякова[58] и Николай Родичев[59])

Познакомилась я с Толей так. Я сижу у себя в кабинете, и тут входит Петр Родионович Атутов[60] — такой солидный, значительный. А за ним стоит невысокого роста мужчина. И вот заходит такой большой Петр Родионович, и за ним выплывает маленький Пинский. Я его, конечно, не знала, хотя знала Аркадия Ароновича Пинского. Встречала его на разных заседаниях, конференциях в академии.

А Петр Родионович говорит: «Это ваш новый сотрудник. Он будет работать в вашей лаборатории». Толя мне кратко рассказал, что он любит и чем занимается. И где-то на уровне интуиции я поняла, что проблема профессиональной ориентации, которой занимаюсь я, связанная с личностью, с самоопределением, должна его заинтересовать. Я стала ему рассказывать, над чем мы работаем, и почувствовала по его взгляду, по движениям, что он не воспринял все то, что я ему рассказала. Меня, конечно, это очень насторожило. Дальше я пошла показывать ему рабочее место. Говорю: «Вот, вы будете здесь работать, у нас такие хорошие традиции…» И вижу, что, как я ни пытаюсь к нему подстроиться, он не реагирует! Ну, я ему сказала — привыкайте, адаптируйтесь, и оставила его в кабинете с сотрудниками.

Прошло небольшое время, как Толя пришел ко мне с идеей, что меня крайне удивило. Он говорит: «А вот давайте все-таки создавать систему

[57] Статья, посвященная Соломону Марковичу Хромченко, опубликована в альманахе «Музыка идишкайта-2007» (М., 2007).

[58] Светлана Николаевна Чистякова — доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО. В 80-х годах заведовала лабораторией в НИИ ТОПО.

[59] Николай Федорович Родичев — кандидат психологических наук, сотрудник лаборатории С.Н. Чистяковой.

[60] П.Р. Атутов — в те годы директор НИИ ТОПО.

профессиональной ориентации». Я поняла, что он уже что-то почитал, чем-то поинтересовался. Для меня — так как я все-таки училка — это было знакомо. И Толя стал одним из первых разработчиков концепции профессиональной ориентации молодежи.

Мы сделали эту концепцию, и она очень долго, трудно проходила через все инстанции. Толя очень заинтересованно создавал модель этой концепции, мы вместе разрабатывали содержание. Мне показалось, что ему это интересно. И если я сейчас, через столько лет задаю себе вопрос: «А почему это было ему интересно?», то отвечаю так: «Ну, прежде всего, потому, что это серьезная проблема, она выходит на личность». Хотя он очень долго не входил в нашу экспериментальную работу.

В конце концов, мы эту концепцию все-таки подтвердили, и ее очень точно поддержал В.В. Давыдов.

Несколько штрихов. Толя страшно любил все изображать. Я случайно добыла для него маленькую доску. И на этой доске он все всегда писал. Только я начинала какую-то проблему раскручивать, он уже сразу ее ловил и всегда поддерживал какие-то полезные начинания. И я тогда поняла — да, это человек творческий, который быстро проникает в любую сферу научной деятельности. И я стала к нему приставать, что надо заниматься наукой и диссертацию писать по этой проблеме. Но он меня не слышал. Говорил: «Да что вы, Светлана Николаевна, это не мое, не моя проблема», что меня тоже крайне удивляло.

Так проработал он два года и вдруг через два года приходит ко мне в кабинет поздно вечером. А дело в том, что вначале у него был всплеск, он погрузился в проблему, но на второй год стало видно, что у него появились какие-то еще интересы. На работе он начал создавать эффект присутствия: утром придет, поставит свой портфель возле письменного стола и до конца дня исчезает — где-то ходит, общается с людьми. Правда, обсуждать с ним его новые интересы я не сочла целесообразным. Ну, выполняет человек план научно-исследовательской работы, все делает вовремя, в срок — что к нему приставать.

И вот входит он ко мне поздно вечером, очень тихо, но видно, что он пришел с каким-то решением. И говорит — я как сейчас помню его слова. Он говорит: «Вы только не обижайтесь, не обижайтесь, не думайте, что мне с вами плохо, но я хочу уйти». А я обычно спрашиваю, выясняю — куда уходишь, может быть, стоит подумать, может, все-таки здесь будет лучше… А тут я даже не спросила ни о чем. Чувствовалось, что он уже принял решение. Наверное, прежде чем прийти ко мне в кабинет, он очень долго размышлял. Я не думаю, что решение уйти он принял скоропалительно. Это было продуманное решение. И он очень не хотел, чтобы я обиделась. «Вы, правда, не обиделись? Я ведь не из-за вас ухожу, просто я нашел другое дело». Это, наверное, был 85-й год.

И еще один факт, который для меня очень важен. У нас проблема профессиональной ориентации, в отличие от того, что с ней происходит за рубежом, никогда нормально не решалась. А для меня она очень много значит, я очень много сил отдала этой проблеме, я всегда старалась сделать так, чтобы профессиональной ориентации нашлось место в школе и в нашей жизни. Потому что практически никакой системы психологического консультирования, помощи детям, их поддержки, никакой настоящей практики профессиональной ориентации нет. И когда я увидела, что профилизация входит в жизнь школы, у меня возникла потребность это обсудить с Толей. Я решила, что должна объяснить ему, что если мы профессиональное самоопределение не будем рассматривать в профильной подготовке как полноценное направление, то успеха не будет. Потому что интересы ребенка надо изучать, надо оказывать ему психолого-педагогическую поддержку, надо сопровождать его в выборе профиля. Опыт показал, что он сам ничего выбирать не может. Надо его учить.

И однажды, когда назначили совещание в ЦАО[61], я была на него приглашена, и мне сказали, что Пинский тоже будет там выступать. И я, конечно, стала готовиться к встрече с ним. У меня было желание позвонить ему, поговорить, обо всем рассказать. Но я сомневалась: как он это воспримет, он занят, он такой великий, в министерстве, советник… И все-таки я решилась. И когда объявили перерыв на обед, я подошла к нему и сказала: «Толя, пойдем с тобой покурим, давай я тебе расскажу то, что у меня болит». Он очень удивился, конечно, поздоровался, был внимателен. «Пойдемте, Светлана Николаевна».

И вот как сейчас помню: мы стоим с ним, и я ему начала рассказывать: «Вот, представляешь, если сейчас эту проблему не застолбить, не обратить на нее внимания, то не получится того эффекта от профильного обучения, который должен был бы быть». Наверное, я ему все это рассказывала минут 20. Он смотрел на часы, он торопился. Ему надо было ехать. Он тогда уже ездил на своей машине: у него была такая большая красивая машина, я думаю, он очень любил свою машину.

Мы тогда с ним договорились. «Я попробую сделать все возможное, Светлана Николаевна, — сказал он — но мне это непросто. Попробую через министерство, чтобы эта проблема зазвучала. Если я вам позвоню, то тогда вы придете и будете участвовать в нашем проекте». Так я вошла в рабочую группу и стала продвигать профессиональную ориентацию, хотя поначалу это не встречало поддержки даже в нашей группе. И я пригласила в качестве помощника Николая Федоровича Родичева, который, кстати, проникся большим уважением к Толе, они очень быстро нашли общий

[61] Центральный административный округ г. Москвы.

язык и хорошо общались, переписывались по электронной почте. Николай Федорович мне каждое утро приносил какие-нибудь новые записи, и мы обсуждали то, что Толя писал и направлял членам рабочей группы. Мы оценивали все его шаги, все его действия. Он все-таки был удивительным человеком, который сумел из ничего в очень сложных условиях вывести эту проблему в практику. Часто на рабочих совещаниях, которые он собирал и на которых я была, я как бы проводила про себя анализ: вот он пришел, мы начали с ним работать — и вот его молниеносный рост как стратега, как политика. Чем бы он ни занимался, он все равно был стратегом и политиком. А уж когда я узнала (Коля мне по секрету сказал), что он еще и поет, что вообще он такой разносторонний — для меня это было открытием и еще одним основанием для такого глубокого-глубокого уважения.

Сегодня нет ни одного человека, я по крайней мере не знаю, кто бы мог так умело простроить дело, начиная с концепции профильного обучения и кончая всеми направлениями, всеми содержательными линиями. Охватить все, а главное, спрогнозировать, что из этого может получиться, что мешает, какие могут встретиться риски.

Все то, что он писал, что говорил на рабочей группе, все это, я считала, он должен зафиксировать в докторской диссертации. Не ради диссертации как таковой. Мне хотелось, чтобы это была не просто докторская, а именно научная работа. А он и был, несомненно, ученым. Хотя работа и строилась в команде, в общих обсуждениях. Мне почему-то очень хотелось, чтобы он об этом громко заявил, потому что он тот единственный человек в сообществе, в нашей команде, который по-настоящему понимает эту проблему.

И сегодня нам его очень не хватает. И я часто думаю: «Был бы Толя, это было бы по-другому, мы нашли бы более эффективный путь к тому, чтобы качество профильного обучения за счет самоопределения повысилось». И я думаю, был бы он здесь, я бы это ему обязательно как-то через Колю или сама донесла, «докапала».

И еще одно меня всегда трогало: иногда мы с ним встречались где-то неожиданно. Открываем дверь министерства и входим вместе. И я очень жалею, что так и не договорила с ним, не выговорила ему все до конца. Меня часто не слышали с профориентацией, а Толя один из первых сказал: «Да, профильная ориентация должна занять свое место». И только благодаря ему это заработало.

И вот, когда мы встречались на рабочей группе, он начинал рассказывать — вот это произошло и вот это — и очень внимательно относился не только ко всем нашим заседаниям, это само собой, но к высказываниям каждого человека: принимал серьезно, пытался вникнуть в него.

А еще он меня всегда поражал тем, что был душой компании, причем не внешне. Я помню наши праздники в лаборатории, как он от души мог сделать что-то такое оригинальное, что всем становилось хорошо. Это всегда меня очень грело.

Что я еще могу сказать? Могу сказать, что грустно очень. Пусть теперь расскажет Николай Федорович.

Я хочу сказать только, что помню его усталым. Помню один эпизод. Это было в Сочи, на конференции по профильному обучению, осенью 2003 г. Мы втроем с Анатолием Аркадьевичем и Машей Гончар[62] шли от жилого корпуса к тому, в котором проходили рабочие встречи. Анатолий Аркадьевич и Маша увлеченно разговаривали, Маша ему что-то с энтузиазмом рассказывала – она ведь всегда была его «фанаткой». А вид у него был очень усталый. Вот, собственно, и все.

Не спугнуть бы
(воспоминания Владимира Рокитянского[63])

По уже неистребимой привычке, приступая к делу, еще и еще раз переспрашиваю себя: зачем? Зачем не просто вспоминать — это-то происходит само собой, не ожидая решения и обоснования, — а писать воспоминания? В чем смысл этого труда собирания в омуте памяти-забвения осколочных и уже не пополняющихся и не сверяемых с источником впечатлений от жизни и облика человека, который, по стершейся от частого (увы!) употребления, но тем не менее абсолютно верной формуле, «покинул этот мир»? В который раз спрашиваю себя о смысле писания воспоминаний и в который раз понимаю, что внятного и убедительного ответа дать не могу…

Есть таинственная литургическая формула: «Вечная память!». Вечная, конечно же, не в смысле «дурной бесконечности» уходящих куда-то в будущее поколений, а в смысле памяти Того, Кто Вечен. И тогда что такое наши воспоминания? Та самая «синергия», соработничество, к которому Он призывает человека, хотя и немыслимо представить себе, чтобы Он в таковом нуждался?

Есть взаимозависимость всех живущих — единовременно и разновременно — на земле. Взаимозависимость и возможность взаимопомощи, взаимообучения в деле проживания здешней жизни. И тогда вспомнить — возможно полнее и точнее — жизнь другого человека, понять по возможности ее уроки… Зря говорят, что на чужом опыте не научишься. Дурак и ленивый не научится — и на своем тоже…

[62] Мария Валерьевна Гончар – сотрудник департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования, Минобрнауки России.

[63] Владимир Ростиславич Рокитянский — философ, автор и редактор ряда произведений, соавтор Толи по книге «Традиция и мейнстрим» (М.: Путь, 2000).

И только («категорический императив») без некрологического глянца!

Я осенью 1987 г. Почему-то издательство «Просвещение», почему-то группа (извините за выражение) «по проблемам школьного учебника». Поиск осмысленности: почему работа «по постановке и решению проблем» кипит, а учебники становятся все хуже? Кажущийся естественным поворот взгляда: в историю, к истокам. Сборник по истории учебника. Кто-то порекомендовал в качестве автора Толю Пинского из одного из институтов Академии. Новонайденный автор тему выбрал не совсем вроде бы про учебники или, скажем так, про не совсем учебники — о книгах издания Николая Новикова. Рецензентка из отдела истории школы НИИСиМО о статье Пинского писала особенно язвительно: какое отношение к теме? А мне понравилось: сухая, но информативная справка о действительно замечательной издательско-просветительской деятельности Н.И. Новикова вполне уместно соседствовала с классической статьей В.С. Семенцова о брахманической традиции учительства, статьями А.И. Кобзева о древнекитайских учебных книгах и Ю.А. Шичалина о традиции античного комментаторства. Сборник показывал учительность, «учебниковость» письменного (а до того и устного) слова вообще, и только в этом контексте можно начинать думать о том, что такое учебник как особый тип книги…

Выбор Новикова, как оказалось, для Толи был не случаен: масонством он тогда был, кажется, очарован. Помню при расставании, на вокзале (кто, куда ехал?) он рассказал мне историю про то, как один из русских масонов при случайной встрече сказал другому, что точно знает состав философского камня, и обещал рассказать при следующей встрече — каковая, за его смертью, не состоялась. В этот романтический, так мне кажется, период своей жизни Толя любил тайну…

(А мне при каждом «уходе», с которым что-то связывало, мерещится, что безвозвратно ушла недорассказанная притча, недоразгаданная загадка…)

Молодые (особенно он), общительные, мы очень быстро сдружились. Первый период интенсивного общения — до начала 1989 г.

У меня был проект свободного (т.е. негосударственного, неведомственного) журнала «Школа», и я безнадежно искал влиятельной поддержки. Толя поддержал безоговорочно (слово «свободный» действовало на него безотказно) и, когда невозможность официального разрешения на издание стала очевидной и был выбран самиздат, стал активным соучастником — давал свои тексты, советы, отзывы, знакомил с самыми разными полезными людьми.

В двух вышедших в свет (тиражом десятка два экземпляров) номерах журнала от него поступили материал о педагоге и философе XIX в. Н. Скворцове (биография и статья Скворцова «Свобода школы») в первом, материалы о вальдорфской школе — во втором. Эти публикации связаны с двумя важными предметами его интереса и нашего общения того времени — общим образованием и вальдорфской педагогикой.

Сначала второе. Я попался на Толином пути, когда он из православия (знаю понаслышке, что был и такой период) мигрировал в антропософию (чтобы не забылось: в «донжуанском списке» его «романов» с идеями и занятиями было еще и увлечение игрой в го). Привел меня куда-то, кажется в Дом учителя, на сходку воскресших из небытия стариков-антропософов с молодой порослью. Гвоздь программы — какая-то старушка, которая, как по анекдоту, «зато… Штейнера видела». Потом какие-то постоянно наезжавшие иностранцы, немцы и скандинавы, с лекциями… Что-то, что хочется назвать «мираклем», в клубе «Аристотель»… Собрание у Толи дома, запомнившееся атмосферой всеобщей взаимной влюблености и опять-таки завороженностью тайной.

(Когда уходили от Толи, я все допрашивал Сережу Казачкова о том, а ошибался ли когда-нибудь Штейнер. А он отвечал в том духе, что антропософия — наука и потому в ней не может быть гарантий безошибочности, но что собрание сочинений Ш. насчитывает сотни томов и пока, мол, ошибок не обнаружено…).

Потом Толя рассказывал мне, что его мучил нравственный вопрос: имеет ли он право влиять на мою волю, вовлекая в антропософию. Так или иначе, не вовлек.

Тогда еще до создания Московской вальдорфской школы было сравнительно далеко, но любопытно сравнить взгляды будущего директора 90-х, гордившегося успешным выживанием в условиях рынка, с антропософом-мечтателем 80-х, убежденного, что в школе все проблемы должны решаться коллегиально, а платить учителям нужно по потребностям, в зависимости от размеров семьи. Не без иронии, конечно, но с сочувствием Толя рассказывал мне анекдот: «В чем польза от антропософа? — А чтобы, встретив его, всякий взглянул и, вздохнув, Бога помянул: “Ох, Господи!”»

Таскал меня по тусовкам реформаторов образования — в «Учительскую газету» к Александру Адамскому, на какие-то съезды (один, помню, на Строительной выставке), где собирался самый экзотический люд — демократы, рериховцы, последователи Порфирия Иванова, который «Деточка», и т.д. и т.п. «Шампанское» было время!

Маленький эпизод: устроенная Пинским моя встреча с Э. Днепровым (потом он короткое время министр образования) у метро «Пушкинская»: лидер реформаторов Днепров инвентаризовал среди возможных инструментов реформы журнал «Школа» и его редактора.

Наконец, третье пространство, куда он меня вводил, методологическое и игровое сообщество «щедровитян». С его легкой руки я оказался на игре Юрия Громыко (тогда они были близкими друзьями, позднее резко разошлись) в Эстонии, в местечке Пылтсамаа, в нескольких километрах от райцентра Йыгева.

Это — самостоятельный сюжет, к счастью, хорошо документированный.

Пинский на игре

Толя образовал на игре группу «Педагогика и демократия». Игротехником к нам назначили покойного Вячеслава Сиротского (разбился на автомобиле лет десять тому назад). До начала игры Толя был недоволен назначением Сиротского (на какой-то из прошлых игр у них не сладилось) и даже просил Юрия Громыко заменить его — безрезультатно.

Вот как Толя формулировал цели группы: исходя из оппозиции «общественное — государственное» прийти к организационным решениям (передача управленческих функций от Минпроса общественным образованиям); решать проблему содержания образования исходя из свободы школы; преодолевать барьер, отделяющий школу от большой культуры.

Все время игры был в состоянии величайшего умственного возбуждения и творческого горения. Говорил мне, что даже почти не спит.

Моя ситуация была совершенно другой. Я приехал на игру, что называется, «дуриком», просто потому что позвали (по рекомендации Пинского). Никаких своих целей у меня не было. Как и многие другие «зрители» (Сиротский про таких, как мы, говорил: «Зрителей нужно травить дустом»), смысла происходящего не понимаю. Об участии в «большой» дискуссии, на «пленумах» не может быть и речи. В группе тоже все «выпали в осадок», и Сиротский работает с одним Толей.

Надеясь позднее все-таки разобраться, я с бешеной скоростью сокращенно записывал происходящее.

За Толей записывать легко, говорит он медленно, с расстановкой.

Из записей:

Все говорят о том, «что сделал Жегалин». Что он такого сделал? Я не понимаю и прошу Т. мне объяснить. Т.: Володя сейчас очень сильно требует построить теорию Жегалина. И рассказал про умение Гете предсказывать погоду. Когда его просили рассказать, как он это делает, Гете отвечал: «Не нужно строить теории, нужно просто смотреть».

Я продолжаю не понимать и настаивать на объяснении. Сиротский: «Вас не пускают в дверь. Остановитесь! Рефлексия требует остановки».

Сиротский пару раз резко высказался по поводу того, что расценил с моей стороны как пустую болтовню. Например, когда я сказал что-то про японский национальный характер: «Вы все время заговариваете о том, что не ухватывается логикой». Я растерянно промолчал, а Толя чуть позже мне в утешение: «Щедровитяне — тигрята».

Впрочем, в другой раз и сам не пощадил моего самолюбия. «Игре не нужны те, у кого нет своего содержания». — «Я, значит, не нужен?» — «Конечно».

Что касается Анатолия Пинского, то он не только нужен игре, но и в самом ее эпицентре. Резкий с другими, не исключая и руководителя игры Громыко, Сиротский на Толю смотрит с откровенным восхищением, робко спрашивает об источниках его необыкновенной эрудиции.

Из записей за Пинским:

В ответ на высказанное утверждение о необходимости «вписывания» образования в существующую субкультуру молодежи:

«Исторический процесс – это полипроцесс. Суперкультурное бармалейство возможно только при возможности ассимиляции мышлением бытия (по Гегелю). Если же этого нет, если остается радикальная неопределенность, то остается и альтернатива этой концепции».

Выступление в группе об общем образовании:

«Представим себе машину, выпускающую вполне образованных детей. Или лучше — американские таблетки, обеспечивающие тот же результат. Образование распадается на три отделения: элементарное — с ним все ясно; профессиональное, имеющее функциональное назначение. Но между ними есть еще общее образование; это — нечто большее, чем элементарное образование, и отличается от профессионального тем, что его нельзя определять внешней функцией. Это важнейший логический запрет!

Если воспользоваться образом “таблетки” то можно сказать, что все функциональное обеспечивается таблетками. Соответственно общее образование — это то, что заменить таблетками нельзя.

Средством чего является общее образование? Функционированию противостоит развитие».

Дальше рисовалась известная схема мыследеятельности, где над верхним слоем, слоем «чистого мышления» в схемах, дорисовывался слой самосознания. Его и должно было развивать общее образование — по Анатолию Пинскому.

«Этот подход, — продолжал он, — кладет в основание свободную волю. Отсюда — выход на идею демократизации образования, насыщения его процессами развития самоопределения и самосознания. Учить быть человеком».

Идея обращения «оргтехнического отношения» (см. схемку).

Пинский рефлектирует в группе свой путь на игре — самоопределение и вхождение в игру. Приехал с мыслью обогатить всех идеями Скворцова; это важно: была внеигровая, своя цель. Столкнулся с тем, что игре это не нужно. Вышел в рефлексию, нашел свои внутриигровые цели и — совершил действие, продвинувшее игру!

Что-то подобное должно произойти с ребенком в учебной ситуации.

В учебную ситуацию ребенок приходит всегда с чем-то прошлым — предметным и внеситуационно-целевым. Задача педагога — дотянуть до минимальной выраженности, связать с учебной ситуацией.

Многое на игре крутилось вокруг идеи «воспитывающего города», «воспитывающей жизни» Евгения Куркина. Дело не в том, что идея оказалась верной (она как раз была во многом разгромлена), но важно, что была идея и что за ней стоял активный, знающий, чего он хочет, человек; было с чем и с кем работать.

Толя был в числе активных критиков Куркина.

«Здесь поразительное логическое непонимание! В ПТУ полно жизни, но никакой педагогической деятельности. В итоге ребенок не готов к жизни, потому что там была жизнь, но не было педагогики. А в английских закрытых колледжах готовили людей, которые распространили европейскую цивилизацию на весь мир.

Что делает Куркин? Пытается подмять школу или расширить школу, охватив ею всю жизнь — вот в чем вопрос!»

В разговоре за обедом Т. назвал теорию «трудового воспитания» Ивана Синицына «скотской».

Куркин поддался-таки критике и признал, что жизнь не воспитывает, а калечит; что воспитывает только педагогика.

По поводу доклада представителей школы «диалога культур» — любимый прием, притча:

«Когда персы входили в Антиохию, актер играл “Персов” Эсхила. Дорога, по которой шли персы, была видна со сцены, но не из зала. И актер, увидев приближающегося врага, закричал: “Персы!” — а зрители ему аплодировали». Ситуация современной культурологии, закончил Т., в чем-то схожа с этой ситуацией.

Азарт! В перерыве Сиротскому: «А Юра все-таки жук! Если бы он дал нам высказать свое определение, мы бы всех задавили!»

На «рефлексии» в Москве:

Ю. Громыко: Так что же происходило в группе? Что сделал Пинский?

В. Сиротский: Он вышел на самоопределение. Он взял свои идеалы и принципы и стал на них работать.

Было еще увлечение Толкиеном, продуктом которого стал сделанный им сборник «Московский хоббит». (Помню, он долго подыскивал название, сначала в числе вариантов было «Гендальф».) В сборнике самому Толе принадлежит перевод стихотворения Толкиена о путниках, уходящих из дома и встречающихся-расстающихся на бог весть куда ведущих дорогах; впервые я его услышал в его исполнении в Эстонии, во время вечерней прогулки. Почему-то с этим чтением (дороги? жизненные пути?) в моей памяти связалось его рассуждение об огромности расстояния в развитии между эстонским хуторянином (они нам попадались на пути) и профессором Яаном Микком (был такой типичный советский профессор «от педагогики» на игре), с одной стороны, и названным профессором и Гете, с другой.

Манера говорить медленно и загадочно, иллюстрируя мысль притчами.

У нас в гостях. Я упомянул текст С. Хоружего о динамике ноогенеза.

Толя: Ну, он все равно хороший человек…

Я: Почему «все равно»? Что значит эта оговорка?

Т.: Но ведь это же попытка создать систему.

Я: А разве это плохо?

Т. (улыбаясь): Ну, моя мама в таких случаях говорила «рыбак рыбака видит издалека».

Позднее он чаще всего прибегал к хасидским притчам о ребе Зусе.

Из телефонного разговора 1988 г. Т. позвонил, вернувшись с очередной игры:

— Мне ясно, к чему должно развиваться человечество.

— Серьезно?

— Да, конечно. К свободе, к возрастанию свободы. Рост личного начала за счет группового, общественного за счет государственного…

В конце 1990 г. я привлек Т. к участию в «антоновском» семинаре. Он присутствовал на нем один раз. Потом говорил мне по телефону о том, что надвигается новое, в отношении которого все наши понятия (церковность, марксизм, антропософия…) не имеют смысла. Рождаются органы понимания этого нового (центры новой духовности) Семинар может стать таким центром.

Узнав о моем знакомстве с Майклом Мерфи, основателем центра «Нью эйдж», Эсаленского института в Калифорнии, Толя просил связать с ним (не помню, почему это не получилось). Для него это означало возможность «подышать духом времени».

Вот эти две темы — индивидуальная свобода и дух времени — были тем содержанием, которое он отстаивал в наших спорах против моего традиционализма и государственничества. Эти споры продолжились и в 90-е годы, а в 2000 г. мы составили из нескольких текстов каждого и переписки по электронной почте книжку «Традиция и мейнстрим».

Впрочем, диспутант он был честный и внимательный, готовый внимать и понимать. Как-то в ответ на мою страстную речь против того, чтобы мириться с происходящим только по той причине, что это — «ход истории», посоветовал: пиши «Критику исторического разума».

Мне кажется, что основное направление его эволюции — от романтизма, идеализма как жизненной установки к прагматизму и здравому смыслу. По жизни это было связано с погруженностью в решение практических задач: Пинский строил (и построил!) работоспособную школу. В теоретическом плане (а вкус к теоретизированию его не оставлял) это проявлялось в утверждении правоты опыта перед умозрением, Аристотеля перед Платоном, американизма перед российской или немецкой мечтательностью…

«Больно мышление, требующее однозначного ответа на вопрос, что было вначале — Слово или Космическое Яйцо», — говорил Толя. «А Евангелие от Иоанна?» — возражал я.

Занятное начинание, которому Толя придумал название «Московский Римский клуб», хоть и морщился от масонских ассоциаций Генисаретский («Ну да ладно, зато есть аллюзия к “Третьему Риму”»), что-то вроде клуба, куда приглашали интересных людей. Отчеты об этих встречах я публиковал в отданной мне на откуп рубрике в либеральной «Открытой политике».

Название рубрике придумали вместе с Пинским и несомненно в его духе («судьбоносное!») — «Педагогическая провинция».

«Круглые столы», проводившиеся под маркой Института «культурного и природного наследия», где я эсэнэсничаю с середины 90-х и доныне, — главное, где территориально? — в чудесной деревянной избе на территории Зачатьевского монастыря на Остожье, откуда тогда еще не выселился институт. В одном из них, посвященном «многообразию традиций и единству общего образования», А.А. Пинский принимал активнейшее участие (запись дискуссии опубликована в «Этнометодологии»). Вот последняя из вошедших в публикацию его реплик:

«Я знаю женщину, которая сделала аборт и потом решила покончить с собой. Ее спрашивают: почему? — “Мне совершенно отчетливо явилась душа этого дитяти и сказала: ты со мной сделала ужасное дело, я должен был родиться, а ты меня убила…” Если у нее было такое переживание, то какая разница, постановит ей одна внешняя традиция сорок дней или другая традиция постановит двадцать один день?»

К этому времени («миллениум») он уже не только директор известной в Москве школы, но и советник министра образования, и автор образовательной программы «Яблока». Человек «статусный» — словечко это он несколько раз повторил, не без удовольствия пересказывая мне телефонный разговор, в котором его приглашали где-то выступить: «Извините за беспокойство. Я ведь понимаю, вы — человек статусный…»

Как-то сказал, что мечтает встретиться-поговорить с тогда еще живым Гадамером. Не успел, насколько я знаю. Зато успел поговорить с дожившей до встречи с ним одной из «сестер Бэрри»… Но это уже больше к последнему Толиному «роману» — с еврейской песней…

Пригласил меня давать уроки в его школе — занять час в неделю, отведенный на культурологию. Первая моя попытка состояла в том, что я рассказывал детям историю мировых религий. Когда я дошел до христианства, уроки приобрели проповедническую окраску. Посетив один такой урок, Толя позвал меня после него к себе в кабинет и мягко втолковывал, что он никак меня не цензурирует, но ведь это светская школа…

Зато потом был второй заход с новым классом, где он принял мое условие, что уроки будут разговорами о чем бог на душу положит, подарив мне незабываемый двухлетний опыт разговоров с детьми, которые и им, и мне доставляли наслаждение. Как-то пришел, послушал и прокомментировал удовлетворенно: «Ну, ты, кажется, раздухарился…»

Мы время от времени перезванивались, переписывались по электронной почте. Общий характер расхождения в позициях («традиция и мейнстрим») оставался без изменения. Чтобы, видимо, меня несколько исцелить от диковатого для него традиционализма, подписал на рассылку «Права человека в образовании». Именно там он затеял свою последнюю публичную кампанию — за исключение из школьной программы «Тараса

Бульбы» как ксенофобского произведения. Поддержки он почти не получил — слишком силен пиетет перед русской классикой даже у тех, кто мог сочувствовать его нравственному негодованию от того, как глазами сичевиков увидены в повести евреи и поляки. Меня он подвигнул перечитать с Таней вслух гениальную повесть. Когда после Щедровицких чтений Толя подвозил меня домой, я безуспешно пытался заставить его признать художественные достоинства «Бульбы». Он слушал меня иронически.

Про то, с каким азартом и душевной отдачей он играл и пел в «Скрипаче на крыше» и «Оливере», кто-нибудь, наверно, расскажет. Сохранились фото и видеозаписи.

Ну и, наконец, «Дона». Я уже комкаю свой рассказ, потому что к этому времени мы уже почти не встречались, не спорили часами по телефону, даже почти не переписывались через Сеть. Я был на первом выступлении «Доны». Был, как и все, тронут. Но на просьбу поделиться впечатлением ответил честно и строго: «Много душевности, но ноль духовности». Толя выслушал со вниманием и не сказал в ответ ничего. Приглашения на последующие концерты я по почте получал, но уже не ходил. Таня бывала на них и рассказывала об успехе и о Толиной увлеченности.

И вот наша последняя содержательная переписка. Помещаю ее, соблюдая верность «категорическому императиву» (см. начало), хотя кончается она разладом.

Рокитянский – Пинскому. Тема: Умопревращения

Дорогой Толя!

Был сегодня повод вспомнить о тебе. Я получил от Л.П. Щедровицкого для редактирования запись семинара 1986 г., где увидел тебя среди участников. И тотчас вспомнил твои суждения последних лет о «методологии» — разительная перемена ума!

А потом стал мысленно сопоставлять твой «ум» того времени (это же как раз время нашего знакомства и, естественно, особого моего интереса к новому человеку) и, сколько могу судить, нынешний — в других отношениях. Опять крутые перемены!

Минимум три направления «метанойи» (я пользуюсь здесь этим словом в буквальном смысле, без прямых религиозных и нравственных коннотаций).

Первое, как я уже сказал, методология. Об этом ты сам вполне отчетливо — в смысле содержания перемены, но не ее оснований — сказал в «Переписке из трех углов».

Второе: отношение к антропософии и, шире, ко всей широкой области оккультного и мистического умозрения. Многое, наверно, можно было бы высмотреть из эволюции руководимой тобой школы, из твоих высказываний в статьях и разговорах. Но мне достаточно вспомнить, с какой убежденностью ты мне тогда объяснял штейнеровскую «трехчленку» и необходимость полного отделения школы от рыночных отношений. Словом, от «идеализма» к «рационализму».

Третье (может быть, и не столь разительное, но для нумерологической полноты): отношение к еврейству. Помню, как ты мне говорил о произошедшем у тебя в юности отторжении от еврейской среды. И теперь — энтузиазм «Доны».

В самом факте изменений в мировоззрении нет ничего противоестественного: живой меняется. Но вот, вспоминаю, Олег некогда изумлялся тому, что наша интеллигенция меняет свои убеждения на противоположные, никак не отмечая этого явным образом (а может, и не вполне осознавая, предположу я). К тебе это, уверен, не относится. Но не хотел ли бы ты специально высказаться об основаниях и обстоятельствах трех вышеназванных аспектов умопревращения? Связаны ли они между собой? С возрастом? С переменами в стране и мире? Да и о том, наконец, верно ли вообще я их увидел?

Если это тебе покажется небезынтересным, можно было бы организовать это в виде интервью, которое ты бы мне дал и которое можно было бы опубликовать, скажем, у Копылова — он был бы, думаю, рад такому материалу.

Твой Володя.

Пинский — Рокитянскому

Дорогой Володя!

Ты, как всегда, ставишь очень интересный вопрос; я просто непосредственно порадовался, прочтя твой текст, с чувством типа: «А ведь еще не гнутся козаки!» (или «Ещэ Польска не сгинела!» и т.п.). Серьезно — молодец! И спасибо.

Теперь пару слов по существу твоих вопросов.

Наверное, я по существу своей натуры во многом «комиссар». В том смысле, что я несколько раз за жизнь чаровался некоей фундаментальной идеей и истово ей отдавался. Мне через пару лет 50, так что не знаю, пройдет ли это «с годами» или уже не пройдет.

Хорошо это или плохо? Не мне оценивать.

Действительно, я ощущал себя комиссаром методологии — сегодня этого нет. Комиссаром антропософии — сейчас тоже этого нет. Комиссаром еврейства (с «Доной») я все же себя сейчас не ощущаю, по крайней мере это комиссарство сильно иное, сильно осторожнее и «взвешеннее».

Я вряд ли вышел, во время всех этих метаморфоз, за рамку оппозиции «традиция и свобода» (или «идея и свобода»). У Штейнера книга «Философия свободы» заканчивается фразой: «Человек должен научиться держать себя на дистанции по отношению к идее. В противном случае он попадет к ней в рабство».

Я тешу себя надеждой, что учился чуть-чуть этому держанию дистанции. Это очень трудно, ибо жизнь в идее несвободна (как любая «комиссарская житуха»), а жизнь без идеи пуста.

Я хотел находить свободу — в методологии, в антропософии, до этого (ты меньше знаешь, ибо я меньше рассказывал) — в физике. Но я всюду находил не свободу, а идею. Сейчас — применительно к школьной реформе и школьной сфере — я думаю, что путь свободы связан с линией рынка. Может быть, этот либерализм тоже потом обнаружит себя не как свобода, а как идея. Но ведь не случайно некоторые люди в старом Минобре называли Пинского «комиссаром реформы».

Один дзенский патриарх на вопрос о природе святости Будды неожиданно резко ответил: «Простор открыт. Ничего святого!»

Я, однако, не патриарх дзена, а потому вынужденно ощущаю себя в некотором тупике относительно твоих трех вопросов. Ну что тут я могу ответить?.. Прижучили...

Отчасти утешаю себя тем, что в методологическом поле я удостоился дружбы и некоторой симпатии Щедровицкого, да и созданные мною вальдорфская школа или «Дона» — тоже, быть может, не самые плохие организованности на этом свете. Не суди строго, друг Володя, — что мне еще сказать?..

Счастливо, при случае с интересом продолжу тему, Толя.

Рокитянский — Пинскому. Тема: Вдогонку

С удовлетворением отмечаю, что ты цитируешь великого Тараса Бульбу. За этим, думаю, глубинное восхищение этим произведением, перевешивающее поверхностно-бретерские наскоки.

Пинский — Рокитянскому

А то!..

Рокитянский — Пинскому

Что-то, дорогой Толя, мне показалось все-таки странным в твоем ответе. Подумав, я понял что. Ты говоришь о своих отношениях с идеями, как Дон Жуан о своих отношениях с женщинами: влюбился — разлюбил — влюбился... Так ли это? Ведь если понимать идею, мировоззрение как результат духовной работы, то его смена в самом деле предполагает метанойю с такой необходимой составляющей, как осознание. И даже покаяние. Скажем: методологом был в силу наличия тогда у меня такого-то порока — ныне изжитого. Или: пренебрегал своим еврейством в силу малодушной вовлеченности в суету гойского мира. Или: антропософствовал в силу детски-незрелого романтизма, непонимания того, чем держится и движется реальный мир.

А?

Пинский — Рокитянскому

Володя, честно говоря, такого нету. Есть ОСОЗНАНИЕ, но все же другого рода. Типа: здесь обогатился тем, там научился этому. Почему-то «сознания, осознавшего свою греховность», особо не замечаю.

Ребенок не мог читать, потом научился. ОН же не должен мыслить: «Вот, не умел такого важного дела в силу такой-то греховности».

Мне кажется, этот момент немаловажен. Толя.

Рокитянский — Пинскому

Ну, ты понял меня слишком прямолинейно. Про изжитые пороки это я уж так, для остроты. Но ведь осознание оснований перемены вроде бы нужная вещь. И оно хорошо конкретностью. Хорошо, возьмем твою аналогию: ребенок научился читать. Что именно нужно было осознать для той или иной умоперемены? И я не понуждаю тебя к признаниям, мне важно, как ты к самой этой задаче — понимать основания своего изменения — относишься.

Вот, к примеру, был батюшка Вячеслав Полосин — стал Али Вячеслав. Поносит христианство за «идолопоклонство». Но ведь естественно ожидать от него желания понять, что за род глупости ли или чего-то еще побуждал его таким «идолопоклонником» (и даже проповедником оного) быть. Разве не так?

Или, если о тебе, чему бы ты мог научиться такому, чтобы, скажем, увидеть нелепость «метода двойного знания» или «лемурической эпохи»? Научи.

Пинский — Рокитянскому

Володя!! Не о том!! Я не говорил, что стал считать «двойное знание», «лемурийскую эпоху» и т.п. НЕЛЕПОСТЯМИ. Если меня жизнь как-то развела с Катей, а еще до того — с Олей, а еще и еще раньше — с Машей, то самое последнее дело говорить и «обосновывать» внутренне это тем, что та или иная женщина — дура или сволочь.

Лет в 18–20 я так, увы, и умонастраивался. Скажем, чувство испарилось, но я почему-то рефлектировал это как обнаружение объективных признаков того, что Miss NN — дура и сволочь. Мол, лишь теперь глаза раскрылись.

Но возводить такой «метод» в принцип метанойи?.. Нет, Володенька, я не говорил о НЕЛЕПОСТИ.

Толик.

Рокитянский — Пинскому

Вот-вот! Ты подтверждаешь, что мировидение есть для тебя «предмет» (в старинно-бытовом смысле) наподобие Кати—Маши, а не то, что обретается в духовной работе поиска истины. С отвергнутыми воззрениями не «жизнь разводит», а труд и поиск.

Даже в сниженной версии такого труда, в научной работе, мы же не говорим, что жизнь развела с одной концепцией и свела с другой.

Катю—Машу из прошлого поносить не след джентльмену, а отвергнутой идее надо, мне кажется, дать оценку. Она, м.б., и не нелепость, но ложна или по меньшей мере недостаточно точна и т.п.

Что-то, Толенька, сомнительна мне твоя алетеология...
С приязнью, не отменяемой разномыслием,
Володя.

Пинский — Рокитянскому
Володя, увы... Разномыслие...
Я полагаю, что все же херня все это — «дать оценку», «недостаточно точна» и проч. Ну не управляется жизнь и судьба человека (и слава богу) такими калькуляциями и оргвыводами. Ну хоть убейся, нет такого!
Счастья тебе, Толя.

Рокитянский — Пинскому
Да ладно, я что? Умопревращайся как хочешь, и да будет все у тебя ОК.

Пинский — Рокитянскому
Вот... Теперь я, выходит, наехал малость. Ну что тут делать? Убей бог, не хотел, Володь!...

Рокитянский — Пинскому. Тема: В заткнутые уши
Толя!
Вопреки тому, что из твоего ответа ясно нежелание продолжать разговор, «забью гвоздь по шляпку» (на гвоздь, понятно, можно и не отвечать).
Прошлое не подлежит простому выбрасыванию на помойку, простому забыванию. Иначе его поедят свиньи. Я тут недавно узнал, что отрезанную крайнюю плоть благочестивые евреи бережно захоранивают — и в этом вижу большую мудрость.
Прошлое должно быть проработано.
В другой почтенной традиции — тибетской — дознано, что в смертный миг человек просматривает всю свою жизнь. Всю! И отвергнутое (не исключая, впрочем, и Кати—Маши) там будет, но желательно в прижизненной осмысленности.
Не слишком раздражайся на мнимо пророческий тон — это стилизация.
Vale.
Володя.

Пинский — Рокитянскому
Володя, осмысление, точнее, ПРОСМОТР (так говорится вроде у тибетцев и им подобных достойных людей) — согласен. Но это не есть оценочная концептуализация, ну правда ведь? (по кр. мере, если уж мы ссылаемся на эти традиции). В этой разнице есть большой смысл. Ты сам написал «просматривает», верно?
Ты не предлагал — с самого начала — нечто РАССКАЗАТЬ или ПРОСМОТРЕТЬ. Ты просил иное, и я ничего не мог ответить кроме отвеченного. Что ж ты сердишься? Я мог бы, к примеру, пояснить, в чем я вижу

огромную разницу между оценкой и просмотром. Но если действительно этот отрезок мог бы иметь интерес.
Ну елы-палы, чем я провинился?!
Толя.

Рокитянский — Пинскому
Толя, дорогой, речь не идет о каких-либо «обвинениях». Меня прости, если дал повод так думать.
Я просто пытаюсь понять, как ты строишь отношения с прошлым, и сопоставить с тем, как мне кажется, осмысленным. Почему-то мне не удалось включить тебя в обсуждение этого важного для меня вопроса — сделать сам вопрос понятным.
Скажи, ты не против, если я нашу переписку пошлю Казачкову — мне хочется на нем проверить, я не внятен или ты непонятлив.
Володя.

Пинский — Рокитянскому
Володя, конечно, ты можешь все переслать Казачкову.
Мне кажется, что корень некоторой коллизии лежит в следующем.
Мне показалось, что ты меня все время направлял в сторону некоторой вещи, которая раньше называлась «проанализировать и дать принципиальную оценку». Но я — искренне! — не хочу двигаться в таком русле. Тем более по отношению к собственной биографии.
Это все проистекло, по-моему, из советски понятного Гегеля — именно все. И марксизм-ленинизм, и Ильенков с Давыдовым (которые были хорошие люди, нет спора). Еще чуть глубже — но в ТОМ ЖЕ направлении — лежит церковное понятие «покаяния», «греха» и т.п.
Гете умел, как известно, удивительно точно предсказывать погоду. Его спрашивали — как же так получается у вас? Он отвечал: ну, я смотрю на небо, внимательно фиксирую про себя текущее состояние погоды, пытаюсь ощутить, как дует ветер, вспоминаю сходные картинки и т.д. — и у меня в душе встает образ того, что будет затем. Его спрашивали — так просто не бывает, что здесь самое трудное? Он отвечал: самое трудное, почти невозможное, — это не выносить оценки, не формировать суждения. Погода сама о себе скажет, если на нее суметь просто смотреть[64].
Это Гете, это не Гегель и не Ильенков. Я уверен, что то же самое, как у него с погодой, имеет место с пониманием и осмыслением собственной жизни. И тут, повторяю, индусы и тибетцы на 100% правы — они же как раз говорили о ПРОСМОТРЕ жизни, но не об ОЦЕНИВАЮЩЕМ АНАЛИЗЕ.
Счастливо, Толик.

---

[64] Обращаю внимание читателя на повторное цитирование Анатолием этой байки про Гёте, первый раз — на Игре в Эстонии. — *Примеч. авт.*

Начало 90-х – начало 2000-х

Игра о вальдорфской школе

(воспоминания Марии Шаскольской[65])

На Пасху 1991 года в «Аристотеле» снова ставили спектакль. Уже можно было сказать «снова»: клуб существовал два года, удивительные спектакли к праздникам стали известными, о них спрашивали заранее, приглашали родных и знакомых, приводили детей вплоть до самого неподходяще-ясельного возраста. Странные взрослые красили ткани, шили костюмы, ладили реквизит и играли старинные действа — и для детей, и для самих себя. Кто-то из начинавших уже отошел в сторону, кто-то приложил руки к другим делам, кто-то уехал за только что открывшуюся границу, и новеньким только рассказывали, как, бывало, три года назад («…и “Аристотеля” еще не было!») игрывали другие.

Позади была уже красивая вереница спектаклей: рождественские, крещенские, пасхальные, героические — ко Дню святого Михаила, а поздней осенью волшебные праздники святого Мартина с фонариками, заимствованные из Европы. Впереди была еще более красивая, на много-много лет, череда праздничных спектаклей во всех вальдорфских школах, появившихся с тех пор, — та же радость предвкушения, шитье костюмов, клейка корон и выковывание мечей, замирающие залы, музыка, волнение рыцарей и прекрасных царевен, мудрость волшебных помощников с длинными бутафорскими бородами. Первые детские разученные роли и «Скрипач на крыше», разлетевшийся по миру. Дивное единство игры для мира и игры для себя — образование в его высшем проявлении.

На этот раз играли уже не пожилые антропософы, проникавшиеся духом указаний Рудольфа Штейнера, и не разношерстная толпа энтузиастов, прибегавшая в клуб после еще не оставленных будничных служб. Жар первичного энтузиазма остывал, принимая четкие формы. Времена, когда все делали всё, когда театральное действо было реальнее реальности, уходили. Шел 1991 год, уже вовсю работал Учительский семинар — официальное отделение официального Российского открытого университета. Хотя он и находился в том же клубе, но у него был статус, у него были самые первоклассные европейские лекторы, у него был директор — Анатолий Аркадьевич Пинский.

---

[65] Мария (Майя) Эммануиловна Шаскольская — переводчик, в начале 90-х активный сотрудник Московского вальдорфского учительского семинара. Сейчас преподаватель РГГУ.

В этом году спектакль замышлялся уже не традиционный, а русско-сказочный «Финист — Ясный Сокол». Писать пьесу на этот раз досталось мне, а играть предстояло «студентам» Учительского семинара. Слово «студент» хочется писать в кавычках: люди все были взрослые, вполне нашедшие себя в социуме, с одним—двумя высшими образованиями за спиной.

Роли распределили. Все, как и положено, точно ложилось на состав дружной труппы. Оставался один вопрос:

— А Толя играть будет?

Однозначного ответа не было. Роль маленькая, но кто знает… Толя, Анатолий Аркадьевич, герр Пинский в своем стремительном строительстве сперва семинара, а теперь будущей школы уходил все выше и глубже в совершенно новые пространства. На репетиции, естественно, отсутствовал.

— Будет, — объявил будущий Финист Сергей Ловягин. — Он сказал: «Я занят, как Борис Николаевич Ельцин. Но если надо сыграть — сыграю».

Время спектакля пришло, занавес открылся, сказочный отец — Александр Цвелик уехал на ярмарку, распрощавшись с тремя дочерьми. Перышка, как и полагалось, не нашел. Тут-то и появился волшебный помощник — старичок.

Толя вышел на сцену почти в облике Тевье-молочника, до которого еще надо было лет десять дожить. Подчеркнуто невзрачный, приметно еврейский мудрец с отнюдь не бутафорской бородой, смеющимися глазами и глубинным пониманием ситуации. Откуда ни возьмись в руках у него появился почти несуществующий предмет — перышко. Он стремительно провел финансовую операцию, сторговавшись с незадачливым купцом, и ушел, улыбаясь в бороду, оставив всех остальных расхлебывать последствия до самого финала.

Команда и друзья клуба «Аристотель», 1990 г.

Мы проработали вместе четыре года — два выпуска Учительского семинара, которым я ведала сперва в непонятной должности куратора, а затем в официальной должности заведующей школьным отделением Московского центра вальдорфской педагогики. Два года до открытия школы, в «Аристотеле», и два года после, уже на Стремянном. Все четыре года я сталкивалась с этой стремительностью проведения нужной операции — иногда восхищаясь, иногда сопротивляясь, иногда злясь, иногда потирая набитую шишку. Зримая материальность воплощения замыслов не оставляла места многому другому. Замысел, насколько я помню, *всегда* находил воплощение.

— Знаешь, Толя, — сказала я как-то в пору очередного мирного сотрудничества после полосы несогласий, — это все потому, что ты — аристотелик, а я — чистый платоник. Ведь говорил же Штейнер, что им, то есть нам, надо будет встретиться и работать вместе…

— Кто платоник?!! — немедленно возмутился Толя, по обыкновению сразу ухватив главную фразу и пропустив мимо ушей все остальное. И видно было: и Аристотеля не отдаст, и Платона тоже. И Канта, которого, по его собственным рассказам, увлеченно читал в возрасте шести лет. И Паскаля, с которым родился в один день, что знал и помнил. И Декарта. И вообще.

Посмеялись и больше к этому разговору не возвращались.

Я пришла в клуб «Аристотель» осенью 1989 года и застала в самом разгаре всю жаркую пору первопроходцев того, что теперь с полным основанием называется вальдорфским движением в России. И было видно, что эта пора творческого хаоса и энтузиазма, многоголосия и единства, пробивающегося начала и полноты бытия, избыточности надежд и вчера еще казавшихся фантастическими возможностей — это своего рода страда. Не успеешь, упустишь — потом не наверстаешь. Это всегда время действий, а не раздумий. Во всем происходившем там было что-то от волевого жеста руки Аристотеля с «Афинской школы» Рафаэля — вперед и в мир.

Имя великого Аристотеля дал клубу Толя Пинский. Клуб «Аристотель» был с секретом: все знали, что он «Аристотель», хотя это нигде снаружи не было написано. В углу на тумбочке стоял хриплый телефон, и звонившие, выудившие номер из газетно-журнальных публикаций, спрашивали, не представляясь: «Здравствуйте, это “Аристотель”?» «Аристотель», — признавался каждый из обитателей. Наверное, дух его, дух великого педагога и мыслителя, там и обитал, когда обычный жэковский клуб соединился с его именем. А где же ему еще было существовать в те радостно-приподнятые времена 1988–1989 годов и дальше — до 1992-го? А как ему там жилось позднее, про то ничего не знаю.

Когда я пришла туда впервые, я поняла, что попала в правильное место. Там жизнь была стремительная. Даже еще быстрее, чем все тогдашнее быстротекущее время. Хотя это не всем было заметно.

— Приходили тут двое, — рассказывал Анатолий. — Говорят: «Да ты что, в таком помещении! Какие дети, какие кружки… Давай на паях кооператив откроем, будем пирожки печь, знаешь, как берут! Деньги будут».

И опять появлялась та же артистическая хитринка — можно было видеть, как деловые люди с сочувствием и превосходством отнеслись к нерасторопному очкарику, вместе с другими такими же занимающемуся странной неприбыльной ерундой в виде детей, кружков и спектаклей.

К концу 1989 г. в «Аристотеле» уже вовсю шли лекции для широкой общественности, и я на долгие годы включилась в них как постоянный их переводчик. Педагоги из разных стран приезжали в Россию. Летели по первому приглашению, а то и без него. Платили свои деньги. Привозили материалы и книги. Да, конечно, они привозили уже наработанный опыт, они представляли значительное и заметное педагогическое направление, им было что рассказать. Но видно было, что и они подзаряжаются от этого мощного встречного движения, от быстрого схватывания, от интеллектуальной атмосферы участников семинаров, и у них загораются глаза от тех вопросов и реплик, что идут из зала, и у них захватывает дух от того, что здесь можно развернуть и построить.

Менее широко, но очень активно шли разговоры об образовании учителей. Чтобы построить школу (или школы) — а для чего же еще мы приходили на эту Кооперативную улицу? — нужны учителя. Свои учителя, а не иностранные лекторы. В европейских учительских образовательных центрах — «семинарах», по традиции, — обучалось немало студентов из менее продвинутых в вальдорфском отношении стран, и опыт у руководителей немецких, шведского, английского семинаров уже был: обратно эти студенты не поедут. Обученный вальдорфский учитель — штучное изделие, их и в Европе не хватает. За время обучения студенты обзаводятся связями и, как правило, остаются. Если кто случайно и вернется, школы в одиночку не построит. Будущих учителей надо учить на месте. Здесь, в России, должен быть учительский семинар — как уже есть в Европе.

Очень много отсеялось, отшелушилось, пока в долгих разговорах, явных и приватных, вычленилась общая цель: силами европейских лекторов, и не каких-то, а самых лучших, будет читаться курс для будущих учителей вальдорфских школ здесь, в Москве. Волшебные знания и финансовые операции стали четко простраиваться. Началась та самая новая эпоха, с которой я повела рассказ.

После серии переводных и авторских статей о вальдорфской педагогике в одном из самых массовых и читаемых журналов того времени «Семья и школа», которым Анатолий придавал большое значение, начался «вальдорфский бум». Мир в тогдашнем СССР — по дороге он успел распасться, но тогда это еще не чувствовалось — повернулся к нам лицом. Руководители органов образования городов и областей приходили, приезжали на семинары, слушали, конспектировали, заслушивались и преисполнялись

решимости перевести все подведомственные им школы на вальдорфские рельсы. И все время звучало: «Да мы же это уже давно знаем! Только немножко по-другому. У нас тоже есть…» Дальше шел обычный для тех лет набор в разных вариациях: Амонашвили, Никитины, учителя-новаторы… Вероятность все перемешать и заболтать в прекрасном порыве была очень высокой. Долго учиться не хотелось. Тогда много что говорилось с пафосом, с клятвами, с энтузиазмом, принимаемым за решимость. И было понятно, что эйфория эта кончится, что это временно — тут и время свободы, и притягательность новизны, и слово красивое иностранное, и история про школу для детей рабочих с табачной фабрики значительная, и педагоги такие внушительные лекции читают… Но это пройдет. А что останется?

Тогда было не видно. Можно было строить планы и/или строить школы. Планы строились легко, а школы — труднее. Это сейчас, когда сложившиеся в те годы вальдорфские школы в Москве, Петербурге, Жуковском, Ярославле, Самаре, Смоленске, Воронеже, Иркутске, Находке и других городах выпустили своих учеников, когда эти ученики, можно смело сказать, нигде не худшие, а лучшие из лучших, — сейчас видно, что получилось из тех усилий. Что-то не выжило. Что-то переродилось. Но выпускники есть, их много, а этого уже не отменишь. Главный замысел был доведен до воплощения.

Непосредственная история открытия в 1992 г. Свободной вальдорфской школы, позднее получившей номер 1060, описана лучше всего самим Анатолием Пинским. Думаю, что Ной, подгоняемый надвигавшимся потопом, не строил свой ковчег в таком темпе, какой царил летом 1992 г. на Стремянном.

Около восьми вечера 31 августа, накануне открытия школы (а она откроется? — все еще был вопрос), бессменные вершители всего огромного процесса, главные взрослые участники и распорядители завтрашней торжественной церемонии Анатолий Пинский и Михаил Случ стремительно исчезли с поля битвы, оставив мне пачку денег и туманный наказ: «Ты разберись, если что…» Если — что? Это вам не перышко. Я постояла, послушала гул и гомон дружной гурьбы народу на всех пяти этажах величественного розоватого здания, машинально пристроила к делу свинчивания стульев каких-то очень кстати появившихся студентов Учительского семинара и пошла вешать очередные занавески. Разбираться ни в чем не пришлось — небесные силы присматривали за работой лучше меня. Часа через полтора директор и завуч появились вновь, столь же стремительно, очень красивые, очень похожие друг на друга одинаково подстриженными головами и бородами. Парикмахеру на ночь глядя явно было не до разнообразия.

Школу торжественно открыли. Через какое-то время открылся второй курс учительского семинара. Для помещения семинара Толя подарил отличную репродукцию «Афинской школы». Дух Платона и Аристотеля вселялся в новые стены. Заработали школы в других городах. Работа вновь началась, и, естественно, вновь начались праздники. А раз праздники —

значит, спектакли. Но теперь размах был другой. Праздник фонариков раньше играли во дворе «Аристотеля» — все ходили дружной вереницей с самодельными фонариками и пели «Горят у ангелов звезды, горит фонарик мой!». А теперь решили, что Мартин должен быть на коне. Ведь он и был на коне — в той европейской легенде о его деяниях. А вместо процессии во дворе мы обойдем здание школы.

Коня достать оказалось проще простого. Внушительный Николай Типцов восседал на арендованном коне в золотом обруче на голове и ярко-красном плаще до пят. И когда прошел праздник во дворе, когда все дети от первого до четвертого класса (старше в тот год не было) зажгли свои самодельные фонарики, то вся школа двинулась большой процессией вслед за великолепным всадником. Впереди всех шел широким шагом директор школы Анатолий Аркадьевич Пинский в длинном пальто и шляпе на голове (ноябрь же месяц!), держа за руки двух первоклассников. Вот только обойти школу на Стремянном нет никакой возможности — ограда примыкает к другим зданиям. Поэтому все двинулись прямо по Стремянному мимо Плехановского института, который еще не был Академией, мимо жилых домов, мимо разных мелких и средних старых и новых контор и магазинов. И серьезные люди высовывали ошарашенные лица из своих магазинов и иномарок и, выворачивая шеи, смотрели на это чудо: по темной осенней неуютно-перестроечной Москве прямо по мостовой ехал сверкающий всадник в красном плаще, а за ним с горящими фонариками в руках шла вся Свободная вальдорфская школа, со всеми родителями, учителями, гостями, секретарями, библиотекарями и с Толей Пинским во главе.

В 2005 г. я была в Швеции на международном симпозиуме сказочников (storytellers). В Йерне, в том же сказочном месте, куда в 1990 году нас пригласили как самую первую группу будущих вальдорфских учителей. Я бывала после этого в Йерне не раз, и каждый раз вспоминала тот давний год — как степенный Вальтер Либендорфер лазил на дерево за вишнями вслед за веселыми русскими, как шведы, замирая, слушали в автобусе пение Романа Дименштейна, а потом, расхрабрившись, запели сами (они просто не знали, что в автобусе можно петь), как, превратившись в детей, мы летали на тарзанке над пропастью в школе Пера Альбума, как учились тому, что потом делали сами.

— Знаешь, — сказала мне на прощание Елена Ястремская, русская женщина из Иркутска, живущая там уже очень давно, — передай, пожалуйста, привет Пинскому.

— Пинскому? Привет? — я как-то растерялась. — Мы теперь редко видимся. Если что надо — ты сама позвони, это просто. Мы же давно не работаем вместе.

Мы и впрямь уже очень редко виделись. Приезжал он в Жуковский, где я работала в школе, где мой класс играл мюзикл. Пригласил меня на премьеру «Скрипача». На концерте «Доны». Все как-то мельком.

— Ну, случайно встретишь — передай, — сказала она.

— Ну, разве что случайно…

Мы встретились случайно около «Смоленской», единственный раз за все годы, как всегда, куда-то спеша, как все москвичи, посреди стремительно строящейся, богатой и светлой Москвы с большими красивыми школами, посреди совершенно другой страны, с другим дыханием, с другим ритмом. Обрадовались, поулыбались. «Ты жива-здорова?» — полу-утвердительно спросил Толя. Поговорили о сегодняшнем. Ни о чем не вспоминали, даже в голову не пришло. Жизнь шла, прибавляя день за днем к сделанному и к возможному. А про привет я только потом вспомнила.

Я это тебе организую

(рассказывает Марианна Горге[66])

Возможно, это была осень 1990 г. Тогда я была проездом в Москве. Хотела посмотреть город, встретиться с друзьями. Несколькими неделями ранее я читала курс по изготовлению кукол на семинаре по лечебной педагогике в Ирландии. Я предложила своим студентам сделать куклы для детей в России. Студенты согласились, и я взяла кукол с собой. Во время моего короткого пребывания в Москве я была на эвритмическом выступлении. Сергей Казачков был там со мной. После выступления он извинился, что не проводит меня до гостиницы, и сказал, что его друзья живут неподалеку от моей гостиницы и смогут это сделать. И он познакомил меня с Мариной и Анатолием Пинскими.

Пока мы тряслись в вагоне метро, я поделилась с ними своими планами пристроить куда-то кукол, которых привезла из Ирландии. Когда мы поднялись по эскалатору, Анатолий Пинский спросил, возможно ли увидеть кукол. Может быть, даже прямо сейчас.

Он со своей женой ждал в холле гостиницы, пока я сходила и принесла большой ящик с куклами. Потом Пинские пригласили меня в гости выпить чаю и пообщаться.

Анатолий Пинский рассказал мне о своей деятельности, связанной с внедрением вальдорфского образования в его стране. Он предложил мне присоединиться к недавно открывшемуся семинару для учителей, которые

[66] Марианна Горге родилась в Австрии, вместе с семьей в конце 30-х годов покинула Европу в преддверии Холокоста. Живет в Великобритании, в кемпхилле (антропософский поселок, в котором ведется лечебно-педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностями), занимается педагогической деятельностью.

впоследствии должны были основать школу и работать в ней, руководствуясь идеями Рудольфа Штейнера о новом искусстве образования.

Смогу ли я преподать курс по рукоделию для разных классов? Смогу ли объяснить студентам, насколько важны в обучении искусство и ремесла? Эти вопросы волновали меня. В конце концов я согласилась взять на себя эту задачу, хотя идея преподавать в России никогда до этого не приходила мне в голову. Некоторые студенты семинара потом стали основателями школы.

С помощью Марины куклы обрели дом в большой больнице для детей, больных лейкемией и другими раковыми заболеваниями[67]. На следующий год Анатолий Пинский снова пригласил меня преподавать на семинаре.

Последние 16 лет я регулярно читала курсы на детсадовском вальдорфском семинаре в Москве и других городах.

Я хочу рассказать еще об одном случае. Марина и Толя были настолько гостеприимны, что позволили мне останавливаться в их квартире, когда я приезжала в Москву. В действительности места у них не было, но они *создавали* это место. Как-то раз я рассказала Толе про статью, которую я прочитала в швейцарской газете «Гетэанум». Там описывалось, как в Иркутске ведется работа с больными детьми. Я поинтересовалась, знает ли он об этом. К моему удивлению, он ответил вопросом на мой вопрос: «А ты хотела бы поехать туда?» Я без промедления ответила: «Да». Это казалось интересной идеей. «Я это тебе организую», — сказал Толя деловым тоном. И он это сделал! В 1991 году я полетела в Иркутск. Я должна была обучать группу женщин, которые работали в разных общеобразовательных школах Сибири с детьми с особыми образовательными потребностями. Я должна была поделиться с ними своим опытом в этой сфере, ежедневно читать лекции и проводить занятия по рукоделию. За этим последовали следующие поездки в Иркутск — встречи с родителями, детьми и учителями, поддержка и советы по обучению и методике преподавания.

Работа в России придала моей жизни новый смысл, открыла новые направления. Этим я обязана Анатолию, его инициативам и творчеству, его предвидению и умению без раздумий браться за дело, иногда рискуя.

Я была очень рада посетить Иркутск, этот красивый город в Сибири, увидеть озеро Байкал и горы.

Я благодарна тебе, Анатолий, за этот богатый опыт. Скорее всего, ты никогда не думал, как много я получила от твоих начинаний и инициатив. Ты открыл мне дверь и дал возможность присоединиться к тем, кто служил импульсу нового образования в России.

[67] Детская республиканская больница № 18 на Юго-Западе, в которой во времена клуба «Аристотель» мы проводили детские праздники, показывали спектакли, в том числе и кукольные.

Встречи с Анатолием Пинским

(воспоминания Олафа Ольтманна[68])

Впервые я встретился с Анатолием Пинским в 1989-м, переломном году для отношений между Востоком и Западом. Владимир Загвоздкин пригласил меня в Москву в качестве представителя немецкого вальдорфского движения. Я должен был прочесть лекции по вопросам теории и практики вальдорфской школы в различных аудиториях — для студентов, ученых и т.д., — а также рассказать в клубе «Аристотель» о ее духовных основаниях. Однажды г-н Загвоздкин привел меня в аудиторию, расположенную в непосредственной близости от здания Московской консерватории. Со стула встал молодой человек и шагнул мне навстречу: в его движениях сквозила энергия сильной личности, чувствительность, душевная подвижность и одновременно способность спокойно взглянуть на собеседника из глубины собственной индивидуальности. Последующая беседа выявила редкое соединение тактичности и скромности с присутствием твердой и ясной собственной позиции.

Приблизительно через два года после этой первой встречи мы пригласили Анатолия Пинского от имени немецкого вальдорфского движения в Германию. Свой первый визит он начал в Киле, в том числе с целью познакомиться с семинаром и со школой, где я в то время работал. Я решил подойти к приему по-светски, поселив г-на Пинского в шикарный отель. На следующий день он, шутя, жаловался: лучше бы переночевать попроще — у вальдорфских родителей или в семинаре. Так он скорее войдет в «вальдорфский круг». Насколько много значил для него этот первый визит в Германию, можно было почувствовать из следующих слов: «Сегодня я впервые вступил на землю, где жил и действовал Рудольф Штейнер».

Моя жена Фиона и я в течение 14 лет проводили курсы по вальдорфской педагогике в Москве; при этом, естественно, каждый год мы встречались с Анатолием Пинским. Мы следили за становлением Московской вальдорфской школы и вальдорфского семинара, за политической деятельностью г-на Пинского, за его врастанием в культурно-образовательное руководство России. В глаза бросались две стороны его активности: с одной стороны, примечательная предметность, конкретность и объективность, точное, но при этом подвижное мышление, глубокая философская образованность и основанная на прочном фундаменте

[68] Олаф Ольтманн – руководитель семинара по подготовке вальдорфских учителей в г. Киле (Германия).

уверенность. С другой стороны, Анатолий был человеком действия, поступка, практиком с огромной заинтересованностью и основательностью. Работая с ним, я сталкивался с живым интересом и величайшей душевной подвижностью. Год за годом мы вели интереснейшие беседы о новейших тенденциях в педагогике, о мировых политических процессах, о развитии его московской школы и о многом другом.

Имея в виду то особенное место, которое занимал Анатолий, неудивительно, что по его поводу было сказано немало критических слов.

Однажды я столкнулся со следующей примечательной характеристикой Анатолия Пинского: два представителя голландского фонда, поддерживающего вальдорфские инициативы за рубежом, находясь проездом в России, оказались в Москве, посетили Анатолия и долго с ним беседовали. Когда я спросил об их впечатлении, они признались в одном характерном обстоятельстве: о Пинском (конечно, в его отсутствие) им говорилось много критического, но Пинский ни разу не сказал ни о ком за глаза плохого слова. Это так: он практиковал особую социальную чистоплотность.

В последние годы каждый наш приезд в Москву не обходился без приглашения на совместный обед в одном из оригинальных столичных ресторанов. В такой обстановке Пинский открывался с новой стороны: душа компании и внимательный хозяин. Каждая из таких встреч была не только приятной, но и всегда интересной, поучительной, богатой новыми идеями и взглядами. При этом мы постепенно знакомились с его женой, а также с обеими дочерьми. Пинский раскрывался перед нами как заботливый, любящий глава семьи, как глубоко преданный супруг.

Последнее немецкое впечатление об Анатолии было связано с приездом в Германию группы учеников и сотрудников школы, организованным Кильским вальдорфским семинаром и вальдорфской школой. Ученики жили в семьях, в результате чего завязались очень милые и трогательные отношения. Москвичи отрепетировали мюзикл «Анатовка» и несколько раз показали его в большом, заполненном до отказа актовом зале школы. Успех был оглушительный, и состоялась настоящая встреча российской и немецкой вальдорфской школы. Этот успех в том числе основывался на том, что Анатолий Пинский очень самобытно и выразительно сыграл главную роль — Тевье. Глубокое внутреннее отношение к материалу пьесы и лиризм исполнения поразили меня. В нем жила глубокая внутренняя симпатия к персонажам спектакля. К сожалению, я не присутствовал ни на одном из концертов созданного им позже ансамбля еврейской клейзмерской песни. Для нас, не имевших возможности в последние годы следить за его развитием, такой поворот был неожиданным. Но так получилось, что в конце жизни он соединился с той полной любви и душевного тепла и света средой, плотью от плоти которой он, в конце концов, был.

Глубокое жизнелюбие, радостное отношение к жизни и вера в нее — вот самое поразительное, что я пережил в последние встречи с Анатолием.

Так школы не живут

(воспоминания Артема Соловейчика[69])

Теперь уже не знаю, сколько лет назад в газете шла статья Анатолия Аркадьевича.

Накануне выхода номера поздно вечером А.А. пришел в редакцию, чтобы снять редакционные вопросы. Возник спор, и в качестве одного из аргументов прозвучало: школы так не живут.

— Как не живут? Живут! — воскликнул А.А. уже не в качестве автора статьи, а в качестве директора своей школы. — Приглашаю.

— Когда?

— Сейчас.

— Но ведь полночь.

— Тем более. Давно ли вы были в школе в полночь?

Сразу вспомнился призрак оперы, обитающий на чердаке театра.

Поехали. Школу открыл, похоже, привыкший ко всему охранник.

Казалось, в шутку А.А. попросил отпереть все до единой двери на всех этажах, чердаках и в подвалах школы.

Охранник, все так же не удивляясь, взял огромную связку ключей и пошел по коридору выполнять поручение.

Это было слишком. Мы запротестовали. Мы уже не раз встречались с желанием директоров школ показать нам 1«А», 1«Б», 1«В» и так далее до 10«Д» класса. Гордость директора за свою школу, за своих учеников и учителей понятна, но гостям всякий раз трудно увидеть в стандартной коробке классной комнаты все те сотни и тысячи мелких событий, которые и делают школу школой.

Но случилось нечто совсем другое.

Теперь уже я, после ухода А.А. из жизни, спрошу вас: «А вы бывали в школе в полночь?»

Если вы директор, то конечно. Если вы учитель, то почти наверняка. Если ученик — вероятно.

Но бывали ли вы в полночь в своей школе так, как это случилось с нами? Так, чтобы в огромном ее пространстве была разлита тишина — лишь несколько голосов — и чтобы из всех дверных проемов лился только что включенный, какой-то чудесный свет полночи?

Так я запомнил. Наверное, коридоры оставались темными, и это как-то по-особенному подчеркивало струящийся из классов свет по обеим

[69] Артем Симонович Соловейчик — глава издательского дома «Первое сентября».

сторонам нашего пути. Был ли это экспромт? Случайность? Неважно. Это было завораживающе.

Мы шли по школе медленно — на шаг, на два позади разговора. В одни классы мы заходили и надолго останавливались, а другие оставались лишь прямоугольником света на полу коридора. Мы говорили, кажется, обо всем, кроме школы. Точнее, слово о школе рождало разговор о жизни.

Какое-то время нам аккомпанировали удаляющиеся шаги охранника, звон ключей, скрип дверей. А потом наступила полная тишина. Только мы и тишина полночной школы.

Помню, именно в этот момент А.А. показался мне неожиданно другим — незнакомым и в то же самое время на кого-то очень похожим.

Позже, стоя в дверях переполненного актового зала школы на премьере мюзикла «Скрипач на крыше», следя из-за спин родителей за игрой главного героя, я понял, что тогда в полночной школе я увидел в А.А. образ Тевье-молочника. Тевье-молочника, умеющего слышать небо…

Память о том нашем приезде в школу обрывается на классной комнате, где все поверхности столов и шкафов были накрыты длинными отрезами холстины. Это было странное зрелище. Словно там, под сенью серой ткани, и скрывалась главная загадка полночной школы.

А.А. улыбнулся и приподнял ткань с одного края.

Нашему взору открылись десятки чудесных детских скрипок. Оказалось, вся школа учится играть на скрипке. Ни для чего. Просто так.

Цвет скрипок, запах канифоли…

Так что живут так школы. Живут.

Такой большой папа

(говорит Аня Сердюк.
18 декабря 2006 г. 21:11:13)[70]

Я познакомилась с ним в 6 лет, когда попала в нашу школу. Такой у нас обычай был — здороваться со всеми учителями за руку. Так вот, при приветствии все дети его дядей Толей называли. И ему было, наверное, приятно, и нам легче запомнить. Сейчас, конечно, по прошествии многих лет, я понимаю, насколько мудрым был этот шаг с его стороны.

Было ощущение, что ему всегда и до всего было дело. По-моему, я была в 5-м или 6-м классе, когда появился у нас школьный театр.

[70] Анна Сердюк закончила школу № 1060 в 2006 г. Ее текст появился в Интернете в ЖЖ.

Там Анатолий Аркадьевич играл роль Тевье в мюзикле «Анатовка». Вместе с другими учителями, с детьми... А в «Оливере» он Феджина играл. Всегда хотелось смеяться, когда он пел и танцевал.

Я в театр позже попала — тогда еще маленькая была, но с ним все равно очень часто пересекалась.

Потом он выступал вместе с «Доной».

Да что, биографию вы и так, пожалуй, знаете.

Для меня он навсегда останется тем Великим Человеком, который дал мне мою школу, который был всегда интересен, любопытен.

Ему всегда было интересно, что и как у меня, у моей сестры-близняшки. Он был для нас таким большим папой, который заботился о нас...

Я помню, когда мне учителя говорили, что отправят к директору (каюсь, было такое), я безумно радовалась возможности пообщаться с дядей Толей, позже — с Анатолием Аркадьевичем...

В нем всегда кипела жизнь. Он вращался вокруг всего, но в то же время все крутилось рядом с ним...

И действительно, человек жив, пока о нем кто-то помнит.

Что ж, значит, он будет жив еще очень долго…

Как хорошо, что мы поиграли!

(рассказывают Татьяна Рокитянская
и Маргарита Парсаданова)[71]

Таня. Идея пригласить Толю в школьный музыкальный театр возникла у меня, когда я наблюдала, как он играл на гитаре и пел. После наших конференций, на рождественском базаре, когда мы отмечали дни рождения и праздники. Он всегда с таким удовольствием брал гитару и долго пел. Я думала: «Надо же, столько сил, эмоций, энергии — и на кухне почти что!» Потом Толя и Наташа Джирогян[72] сделали концерт по «Сильве». Он очень серьезно к этому отнесся, написал афишу и всех приглашал. Был полный зал.

В общем, у нас была идея что-то вместе сделать. У Миши Стародубцева[73] появился клавир «Скрипача». Он его привез из Германии. Спектакль

[71] Татьяна Анатольевна Рокитянская и Маргарита Григорьевна Парсаданова — профессиональные музыканты, преподаватели музыки в школе № 1060.

[72] Н. Джирогян работала в школе учителем музыки в 90-х годах.

[73] Учитель музыки и режиссер школьного музыкального театра, позже участник ансамбля «Дона».

уже существовал, Миша его знал, и, когда мы начали его смотреть, я подумала: хорошая была бы, серьезная, достойная роль для Толи. Это первое. И второе: мы почувствовали, что Толя от нас отдаляется, ему с нами уже неинтересно, его зовут уже другие трубы, и совместная постановка была предложением побыть еще немного с нами.

Но такого эффекта я не ожидала. Я предполагала, что он сделает один спектакль, все будет хорошо — один спектакль наш. Довольно быстро стало очевидным, что это получится. Когда кончилась «Анатовка»[74], мы поняли, что второй такой же спектакль найти будет тяжело. Но у Миши был «Оливер», и Толя согласился на «Оливера», на роль Феджина. И с таким же азартом все сделал. Для меня было удивительно, что он задержался на второй спектакль. Третий спектакль он уже предложил сам. Это был «Властелин колец». Он заказал сценарий, заказал музыку, и казалось, что наконец пришла та вещь, которая будет и от души, и от ума. Но как раз на этой вещи случилось так, что он участвовать не стал. Следующей, уже безнадежной попыткой были «Веселые ребята». И, поскольку Толя не отказался ни разу окончательно, ему предложили главную роль. У меня даже есть фотография, где он с нами поет «Капитана». Он, в общем, пошел на это, он ни разу не сказал: «Я отказываюсь». Но в конце концов мне пришлось позвать другого человека, потому что было понятно, что дело не развивается. А при Толе все, конечно, развивалось каким-то чудодейственным образом — просто воздушными путями. Потому что он придет: «А кто нужен? А что нужно?» — и раз — все появляется по мановению. И дети в театре тоже появляются.

С Наташей Джирогян. «Сильва», 1997 г.

[74] Первый спектакль музыкального театра, поставленный в 1998 году.

На первом показе «Анатовки» было столько помарок, столько фальши, но зал принял постановку исключительно тепло. И это дало нам возможность сделать дальнейшие шаги. Вопрос качества стоял у нас в ходе работы все время. Когда Костя, например, фальшивил на кларнете, Толя говорил: «Что такое, я не могу с ним петь, уберите его, он же фальшиво играет!». При этом, когда мы собирались без Толи, мы говорили: «С Толей невозможно играть, он так фальшиво поет, как под него подделаться?». А уж дирижировать! Ну, возможно одному музыканту подхватить певца, если он доли глотает, но чтобы оркестр это ловил! А мы это делали. Было действительно удивительно: играют же дети, которые тоже считают доли, паузы.

Потом я в первый раз сказала Толе:

— Толя, надо порепетировать с оркестром.

Это была ария богача.

— Зачем?

Я говорю:

— Толя, это нам надо. Дети — им надо пристроиться.

— Но я же репетировал с фортепьяно. Все нормально звучит.

Я говорю:

— Толя, надо же понять друг друга и т.д. и т.п.

Он прилетал на какое-то время, мы уже должны были быть совершенно готовы. И на четко выстроенной репетиции мы все делали.

Хорошо помню, я первая ему сказала:

— Толь, то есть Анатолий Аркадьевич, конечно. Вот здесь можно в конце немного потанцевать.

Сцена из спектакля «Скрипач на крыше». Толя – Тевье-молочник. Слева от него Рита Парсаданова – Голда. Конец 1990-х гг.

— Зачем?

— Ну, Тевье же в спектакле танцует!

В какой-то момент я сама пустилась в пляс. В фильме же, говорю, ты помнишь, так здорово — он идет и танцует. Надо сказать, что фильм был куплен сразу. Толя его смотрел много раз.

Рита. Толя моментально начинает предмет изучать. И этот фильм с Тополем в роли Тевье стал тоже важным моментом работы.

Таня. Все его посмотрели. Приходили всей командой, со всеми детьми к Толе, и все его посмотрели. И Толя в Тевье хорошо вжился, у него очень хорошо получилась роль.

В одном месте Анечка Пинская и Катя Жукова должны были одни играть ноту фа, и Толя на ней должен был петь. А на них напал какой-то ступор: как ни возьмут — все фальшиво. Это было ужасно смешно, потому что тут Толя такое начинал! В общем, все это было весело. Он в это время довольно часто повторял: «Ну, они же профессионалы! Он же профессионал! Но это же непрофессионально!». Для него профессиональное музыкальное исполнение было совершенным эталоном, к которому надо было стремиться. И он занимался в это время вокалом и с Мишей, и еще с кем-то. Но когда он приходил ко мне и к оркестру, я тоже выступала как профессионал. При детях мы, конечно, не могли препираться, но когда мне надо было на чем-то настоять, я, допустим, делала паузу или напряженно на него смотрела. Я просила хоть мизинцем дать знак, когда он запоет. А он сегодня в своем монологе скажет три раза «Ой-ой-ой» — и начинает петь. А завтра скажет только один раз — и вот уже поет без предупреждения. А мы всегда сидим и напряженно ждем, когда он вдруг начнет, чтобы поскорее его подхватить. Все эти ситуации — это было очень занятно. Но интересно. Я не могу ручаться за какую-то точность, но я сравнила два момента. Первый, когда Толя говорил: «Это же самодеятельность… Что вы там делаете... Да кто это сказал, надо слушать профессионалов». Мы много об этом спорили. Я говорила ему: «Толя, сколько есть профессионалов, они все будут говорить разное. В творчестве сколько людей, столько и истин. Поэтому наша задача — просто найти вариант совместного соприкосновения». И второй, незадолго до конца, этой осенью, в сентябре—октябре, даже не помню, в какой момент это было сказано, я только отметила про себя эту фразу. Он сказал: «Как с этими профессионалами тяжело». Я говорю: «Ну, Толя…»

То есть он почувствовал, что и у профессионалов не все в порядке, чего-то такого и у профессионалов нет. И эта его последняя запись, где он поет «Майн Вег»! Я считаю, что она просто профессионально звучит. Толя с вокалом очень сильно продвинулся. Ведь он пел в первое время страшно непрофессионально и так стремился к профессионализму… Он же все время брал и читал книжки по теории музыки, по музыкальной

форме, какие-то вопросы задавал, постоянно к этому продвигался. И вдруг осенью, это было где-то в коридоре, я — просто: «Как дела?» И он мне выдает такую фразу:

— На самом деле, я думаю, взаимно обогащаются обе стороны, потому что профессионалам иногда не хватает вдохновения.

Я думаю, что у Толи был какой-то голосовой идеал. Он его искал, ему очень хотелось петь. Голос у него скорее актерский, характерный, такого плана, как у Утесова, Бернеса. Голоса такого рода тоже востребованы, и это великие певцы. Но он стремился и к классическому вокальному стилю. В конце концов у него все как-то сложилось.

Рита. Когда началась работа над спектаклем, я была с ним в паре, у нас всегда был близкий контакт. И я вспоминаю, как мне всегда было с ним неудобно. Он никак не умел подстраиваться к партнеру. Все не шло. Не шло, не шло. Не дает подачи, сам по себе существует. Не получается: вопрос — ответ, вопрос — ответ. И как за прошедшие 2–3 года это произошло! На мой взгляд, театр в какой-то степени это сделал. Слышание, подача, работа в партнерстве стали получаться. Дальше это вылилось в то, что Толя стал петь в ансамбле. Раньше, когда он пел в дуэте или в хоре, его голос вылезал, а он не слышал. Стал слышать. То есть шла постоянная работа над собой. И она очень видна, эта работа. Я думаю, и в человеческом плане эта ансамблевая работа дала какой-то результат.

Таня. Ваш дуэт появился не сразу и выстраивался очень долго. И вначале напряженно. Он вначале не слушал, говорил: «Мне неудобно делать здесь паузу». Я говорю:

— Без паузы невозможно.

— А мне неудобно.

Рита. Толя солировал. Он солирует, а я жду, что он мне наконец даст подачу. Я стою, набрала воды[75] в рот и жду его слов — когда мне по сцене надо эту воду выплюнуть. Ну, дай ты мне какой-нибудь знак, я же стою с этой водой. А он все играет, играет, ходит, играет. Это он играет, а я уже давно с водой во рту стою, и мне надо плюнуть уже. И постепенно, постепенно все удобней и удобней становилось играть вместе. То есть человек все время становился, продвигался.

Таня. Когда появилась сцена, где он играет с девочками — дочками Тевье, Толя очень не сразу к ней подошел. Потом уже стало видно, как он в этом общении растворяется, как ему приятно, что эти девочки — все его дочки, что они с ним.

Рита. Однажды на гастролях в Германии с утра было очень много репетиций, и в момент, когда возник какой-то перерыв, минута отдыха, я села

[75] Буквально, как требовалось по действию.

и посмотрела на все отстраненно. И вижу: вот этот отец, и вот вся его школа. И главное — что я вижу его лицо. Минута, видимо, была хорошая, репетиционная работа удалась, но это было полное блаженство, полное растворение, купание в каких-то лучах. И как он к девочкам подходил — они уже все стали его дочки: купание в этих лучах, в теплых волнах любви.

Таня. Мы проводили для Толи аналогию между ним и Тевье — он тоже пишет книжки, любит философствовать, все время разговаривает с шутками, его дочки здесь учатся, и школа для него тоже как дочки. То есть это его жизнь, только перенесенная в сценические рамки. Тевье — это абсолютно он. Поэтому после этого спектакля мы, конечно, никак не могли найти подобную роль. Потом в «Оливере» стали выстраивать Феджина — он тоже как папа, он принимает никому не нужных детишек. Ну, учит, как умеет, он же все равно их любит, по-своему о них заботится. И этот образ остался. Вся последняя сцена была переделана под него. Когда дети говорят ему: «Не бросай нас, Феджин!» — он отвечает: «Ладно», — и уходит с ними. Потому что все равно он — отец!

Рита. В роли Феджина был совершенно другой колорит, и Толя с ним тоже справился. Там были задействованы совершенно другие его человеческие черты. Но тоже было ощущение полной органики. Феджин ведь все время что-то считает, высчитывает, сберегает. И слова арии Феджина «Поразмыслим над обстановкой» — это же Толин текст, его перевод. Толя сделал его очень удачно, намного лучше, чем было в сценарии.

Таня. Однажды во время спектакля к нам вдруг подошел Федоров (автор переложения) и спрашивает: «Откуда у вас ноты? Это мое». Действительно, это вопрос авторских прав. Я стою и не знаю, что отвечать. И тут подходит Толя и спокойно говорит: «Во-первых, мы не используем материал в коммерческих целях. А во-вторых, это мой перевод». Когда моя приятельница, которая работала у Федорова, пришла посмотреть и послушать «Оливера», она сказала: «Ваш текст лучше. И Феджин ваш тоже лучше». У них Федоров играл сам. Но Толин Феджин оказался убедительней. В общем, профессионально было сделано.

Почему Толя все время говорил о профессионализме? Он начал думать, как завести у нас в школе театр на постоянной основе. Поставить его на широкую ногу и на легальные рельсы. Он тогда задался вопросом: может ли школьный театр быть такой единицей, которая всегда в работе, с постоянным репертуаром, и которая каждый раз может взять, сорваться и куда-то поехать на гастроли? Он думал об этом. Я говорю: «Ну, Толя, как это может быть? Это же дети. Когда они один раз спектакль сыграли — они его пережили, они его отдали». Он говорит: «Наверное, может быть и так. Но, наверное, может быть и как-то иначе». Так дело появилось и существовало столько, сколько у Толи был к нему интерес. После его душевного выхода из этого дела оно тоже завершилось.

Его душевное участие плавно перетекло из театра в «Дону». «Дона» является продолжением того, чем он занимался. Мы целый год ходили к Толе на совещания по спасению театра. В конце концов он просто увидел, что этот театр мертв. Толя долго пытался в это не верить, но постепенно он себе подготовил почву. Он придумал «Дону», когда мы играли последний спектакль — «Веселые ребята». Он нашел свое русло. Может быть, из «Скрипача на крыше» он на еврейскую музыку и вышел. Возможно, он все равно ее бы нашел. Но «Скрипач» ему явно помог.

Помнишь, я тебя спрашивала, что Толя делает — он же ушел из школы, чем он занимается? Поет, ты говорила. Что делает? — Поет.

Рита. По-видимому, это было всегда, начиная с гитары. Первый музыкальный контакт с Толей состоялся, когда он на наших вечеринках, посиделках брал гитару и мы вместе с ним «подвывали». С ним получалось очень просто: музыканты ведь никогда не знают слов, а он все слова знал. Ну а я знала все мотивчики — и у нас получалось. А потом это вошло в спектакли. Это было всегда и шло линией, параллельной с его деятельностью, в которой он тоже столько достиг! И в конце это, кажется, стало приоритетным. Интересно, если бы он еще пожил, как бы он вообще запел? Я думаю, он бы стал очень известным. Потому что последний диск — «Май вэй» — это довольно серьезная работа. Наверное, когда он слушал записи, у него всегда были претензии к себе. Когда себя слушаешь, всегда бываешь недоволен. Миша Стародубцев сказал, что Толя был недоволен этой записью, и я думала — почему? Все помарки — такая ерунда, потому что он действительно поет, как Псой Короленко сказал, «поверх вкуса», ему не надо заниматься вокалом до такой степени, чтобы вокал его не подавил.

Перед репетициями он всегда приносил — и, мне кажется, даже сам ходил и покупал — какое-то жуткое количество пакетов из «Макдоналдса», например, и огромные бутылки с пепси-колой. Дети все быстро разбирали, и он всегда смотрел на это с таким удовольствием. Роль отца, кормильца. У него она часто была связана с едой. Потом так же было и в Видном[76]. Поездки в Видное начались с «Анатовки», с «Оливера». И там происходило то же самое: хотя в Видном была хорошая еда, он и туда привозил сладости мешками. Все как-то широко делал. Все делал, чтобы людям было удобно. И во второй раз, когда мы поехали в Видное с новыми детьми, они за 10 дней выучили два спектакля.

Толя, поскольку он папа, отец, всегда был в заботе. Как только его желудок поджимал или он понимал, что подходит время, он подзывал ребят, давал им 500 рублей — это были серьезные деньги, — и они шли за едой. Там, где Толя, всегда было питье, еда, всегда были тепленькие места. Вот еще пример: мы с ним, когда пропевали наш любовный дуэт, выбегали со

[76] База отдыха школы № 548, предоставленная музыкальному театру Ефимом Рачевским.

сцены и тяпали коньяку, он у него всегда был. Кто-то Толе сказал, что от коньяка поется хорошо. Вот он и сам тяпнет, и мне даст тоже. Так мы и тяпали — мол, слава Богу, дуэт спели, а после дуэта уже близко конец.

По поводу дуэта у нас с ним был большой философский спор. Как петь — «**А** я тебя любил всегда» или «**И** я тебя любил всегда». Мы спорили очень долго. «Голда, скажи, ты меня любишь?» — «Ну, выходит, да». — «А я тебя любил всегда». В тексте написано: «А я тебя любил всегда». Толя с этим был не согласен, он всегда пел: «И я тебя любил всегда». Всегда так пел. И мы с ним даже ходили к равви — Мише Стародубцеву: «Миш, ну ты объясни ему, что это как-то не по-мужски, так зависеть от женского ответа. “Любишь, любишь, любишь?” — “Да, люблю”. — “Ну и я тогда люблю”. Нет чтобы сказать: “А я тебя любил всегда! ” Это же больше по-мужски». Но мы в этом не сошлись. Он так и пел до конца: «И я тебя любил всегда». (Он зависел от того, что я ему скажу — да или нет.)[77]

Таня. Он же и Феджина все время менял. И мы вносили в спектакль то, чего изначально не было: пожар придумали, в тексте этого совершенно нет. А все было придумано для того, чтобы у Феджина душа очистилась и он понял, что есть что-то дороже денег. Толя с удовольствием и с азартом пел арию Феджина, когда тот считает деньги. Но в глубине души его, видимо, коробил этот образ, и он все время хотел его как-то переделать. На самом деле есть сцена, когда Оливер приходит к Феджину перед казнью, это есть в новом фильме. Оливер узнает, что Феджин в тюрьме и его должны казнить. Оливер рыдает и просит его отвезти к Феджину. Его отвозят, и он прощается с Феджином, бросается ему на шею, плачет над ним, тот его не узнает — у него уже началось помешательство. В фильме такой конец. И у Толи Феджин получается очень человеческий, нежный. В конце нашего спектакля Феджин отказывается от денег и просто уходит. Почему он отказался от денег и просто ушел? Толя подумал и говорит: «Потому что его поразило что-то. В этот момент его что-то поразило, и он как-то сразу изменился. Он не может сказать: “Не надо денег”, — он даже не слышит про них, он идет пораженный. Он забыл про деньги, просто забыл про них, потому что его поразила какая-то мысль».

И в финале Бранлоу говорит ему: «Сэр! Деньги!» А Толя так просто машет рукой: «А!» — и уходит.

Рита. Мне пришло в голову, когда мы решили ставить «Оливера» после «Скрипача», что это прозвучит диссонансно, будет очень рискованно. Школа у нас еще совсем тихая, вальдорфская — 2000 год. Трудно себе

[77] Я помню Толины комментарии: «Тевье не будет в этом вопросе показывать свое моральное превосходство, размежевываться, противопоставляться: “Ты так — а я вот так!” Он великодушен — для него естественнее примирительное и объединяющее “И я тоже”».

представить, что будут выходить на сцену Феджин и его воровская компашка. И некоторые наши вальдорфские учителя говорили:

— Это совсем другое дело, ни в какие рамки не лезет. После «Скрипача» — ну, какое может быть сравнение!

И все равно Толе удалось сыграть Феджина-отца. Это было тоже очень нежно.

Как хорошо, что мы поиграли, так хорошо! Ничего не бывает в жизни слишком много, я бы еще поиграла. С Толей бы поиграла.

Nesnesitelná lehkost byti (несколько воспоминаний)

(воспоминания Алексея Семенова[78])

Легкость

Первое качество, которое все яснее становится заметным в Толе, — это *легкость*. Осознав это слово, я уже не смог отказаться от цитирования названия романа Кундеры, вышедшего во французском переводе в 1984 году и в чешском оригинале в 1985-м — в те годы, когда казалось, что все уже кончилось, и, оказывается, все уже начиналось… Тогда я не был знаком с Толей, но мне кажется теперь, что Толя все уже знал.

Попал в вальдорфскую школу я на рубеже 90-х годов в Сан-Франциско. Школа была маленькая и небогатая, занимались ею хорошие люди, и было очевидно, что это здорово. Потом я что-то читал… Через три года я впервые увидел Толю. Почему-то помню обстоятельства этого, хотя обычно бывает не так. Ольга Николаевна Держицкая, которая тогда опекала в московском департаменте образования негосударственные школы, подвела меня на четвертом этаже к человеку в очках (и, кажется, с бородой) и сказала: «Вот это директор вальдорфской школы Анатолий Аркадьевич». Я поморщился, потому что понимал, что даже в то время нельзя было быть честным директором вальдорфской школы в Москве. Толя *легко* объяснил мне в двух предложениях, о чем идет речь. Это вызвало большое уважение и симпатию.

[78] Алексей Львович Семенов — ректор Московского института открытого образования.

Дальше длительный туманный период, который я не могу хронологизировать. Видимо, в школу я впервые попал, когда она уже стала государственной. А потом уже пришло время отдавать Марфу в детский сад. Мои дети учатся в разных школах города, но до сих пор я не знаю, в какой сад отвести маленького, если не к Пинскому. И это притом, что Толя совершенно искренне (и, видимо, правдиво) уверял, что он в Саду не бывает никогда и понятия не имеет, что там происходит. Для меня же ясно, что люди в Саду — другие. Это не профессионалы дошкольного воспитания, большие или меньшие, которых я встречаю в ДОУ. Таких людей, как в Саду, я ожидаю встретить у своих друзей, а еще — в школе у Толи. Забавно, что именно в Саду я увидел повтор того, что впервые увидел в бедном муниципальном итальянском саду, где еду детям дают не порциями, а из общего котла (откуда кладут и воспитательницам), сколько кому надо. Это все очень *легко* и просто…

Вот что захотела написать Марфа (училась в Школе в 1-м и 2-м классе в 2000 году): «Когда я еще училась в школе 1060 у Толи Пинского, в коридоре стояли парты. Их было очень много. Мы с друзьями очень любили забираться на них и разговаривать. И вот один раз маленькая девочка — второклассница бежала мимо, споткнулась и ударилась о парту. Села на пол и начала плакать. Мы подбежали. Маленький, но ярко-синий синяк, как чернила, появился у нее на коленке. Вдруг, как добрая фея, появился наш Директор. Он дал девочке чупа-чупс и пригласил в кабинет. Мы с друзьями стали обсуждать, что же они там делают? Пару минут спустя эта девочка вышла из кабинета. Она просто светилась. Смеясь и улыбаясь, помчалась в неизвестном направлении. А вот и Анатолий Аркадьевич вышел с огромной улыбкой, как будто он проглотил ананас. И пошел куда-то. Даже мы удивились, как за 3 минуты человека из очень плохого настроения можно привести в очень хорошее?»

Из довольно раннего

Я позвал Толю на Таганку. Видимо, это было воскресенье, ворота оказались заперты, на звонок никто не отвечал. Я начал думать, что делать, Толя, не задумываясь, *легко* перелез (как-то перелетел) через забор (куда выше его роста) и нашел охранника.

Конечно, «Сиреневый туман». Это первое, что я услышал. Было это в ресторане «Пекин» — месте и в наше время довольно помпезном и респектабельном. Народу было мало, время — средне-позднее, выпили немного. Толя сказал: «Минуточку», — подошел к музыкантам, что-то сказал, взял микрофон и запел, *легко* и с удовольствием, «Сиреневый туман». Следующее — это была «Мама Зоя» и грузинские песни, потом «Анатовка»… Но, конечно, про музыку расскажут другие.

Толя и деньги

Нашему поколению (Толя и старше) пришлось осваивать-формировать понимание того, что такое деньги и как о них говорить. Кажется, Лем писал об ощущении неприличия при разговоре о деньгах «между интеллигентными людьми» (вроде секса — в Европе). Толя освоил новый язык незаметно, *легко*, так же как он на моих глазах продвинулся в английском…

Александр Григорьевич Асмолов (при Ткаченко) попросил меня прийти на какое-то экспертное обсуждение проблем российского образования, которое проводили представители чего-то международного (то ли Всемирного банка, то ли каких-то общеевропейских структур) и привести с собой толкового директора школы. Я позвал Толю. Обсуждение было активным, нам задавали вопросы о том, кто может собрать те или иные сведения, проверить их достоверность, обобщить. В какой-то момент Толя сказал, что можно на эту тему сделать многое, но сначала надо получить ответ на вопрос «Сколько за это будут платить?». Толе никто не ответил. Видимо, разговор о деньгах был там неприличен.

Раз в год дети и родители Школы проводят колоссальную ярмарку. Она занимает всю школу и содержит несколько десятков развлекательных и торговых точек. Шитье, выпечка, фотографии, керамика, десяток кафе, трактиров, островки занимательной науки, выступления музыкантов и актеров — все двигается, продается и покупается (и раскупается). Вся эта рыночная, ярмарочная культура формируется *легко*, как бы сама собой, и является необходимой частью школьной жизни. Наличие кассовых аппаратов все бы это крайне запутало, но, думаю, Толя бы и их интегрировал.

Родители в Школе оплачивают дополнительные платные образовательные услуги. Для Толи было делом скорее спорта, чем морали, проводить все операции с деньгами без всякой «налоговой оптимизации».

Работа

Я говорил о нашем первом вместе с Толей приходе в министерство. Довольно скоро снова понадобилось что-то делать, теперь уже не по собственной инициативе. Начиналось время Филиппова—Кузьминова. Толя был очевидно необходим, правда, нужен был бы десяток таких, как он, — находящихся внутри школы, но могущих посмотреть на нее со стороны. Толя был один, пожалуй, не скажу, что справлялся он всегда *легко*…

Толе как-то понравилось понятие «эффективная школа», он выяснил, что главным специалистом в этом является (если я правильно помню фамилию) Мортимор из Лондонского университета. Я как раз ехал в Лондон,

и Толя попросил меня найти там Мортимора и поговорить с ним. Я так и сделал, нашел, пригласил в Москву, получил бесплатную книжку и купил несколько. Толя начал со всем этим разбираться. Мортимор, кажется, так и не приехал, но результат получился у Толи и у меня *легко*.

Толя часто вспоминал нашу встречу в арабском кафе на Маяковке (его там давно уже нет). Мы пытались понять, что делать в образовании, и решили, в частности, что было бы хорошо создать курс интегрированной науки. Он взялся руководить этим делом, я — финансировать и критиковать. Мы в течение года регулярно встречались и сделали, как мне кажется, оптимально то, что можно было сделать *легко* командой квалифицированных людей в Москве того времени. Он, в частности, частично написал, частично перевел, частично собрал и издал около 7 книжечек «Интеграция». Было бы здорово к ним вернуться.

Легкое «нет»

При своей крайней отзывчивости и расположенности к людям Толя очень *легко* говорил: «Нет, я этого делать не буду» или «Нет, этого допустить нельзя», и ему многое удавалось.

Последние дела

К началу осени я прояснил для себя, что нужно делать, чтобы сделать информатизацию школы массовой реальностью (в десятках процентов школ). Я рассказал про это Толе у себя дома, куда он пришел, чтобы обсудить структуру «комплексных региональных проектов модернизации образования». Толя очень воодушевился. В частности, ему пришлась по вкусу возрастающая прозрачность школы. Он стал немедленно звонить Фрумину, на того это особого впечатления не произвело. Потом Толя очень живо откликался на мои письма, давал интересную конструктивную правку. В конце концов эта линия нашего общения захлебнулась по моей вине, я не успевал реагировать на его предложения. Сейчас все здесь развивается успешно, исходная поддержка Толи оказалась очень важной.

Лена Булин-Соколова[79] об этой встрече

«Уходя, Толя объявил, что едет в Америку, чтобы встретиться с одной из сестер Бэрри. Он узнал, что она жива, решил, что должен поговорить с ней о клейзмерской традиции, нашел ее, написал письмо и

[79] Елена Игоревна Булин-Соколова – жена Алексея Львовича.

летит в Нью-Йорк. Все это было *легко*, потому что интересно… Интерес к жизни и людям, желание понять их у Толи были очень острыми. Он стремительно и увлеченно включался в ситуацию, проблему, человека: начинал думать, обсуждать, писать, содействовать.

Мы привели нашу пятилетнюю Анечку к Толику в Школу, чтобы посоветоваться, как поддержать ее в желании узнавать новые вещи, учиться. Толик, поговорив с девочкой, решил, что вопреки принципам вальдорфской педагогики Анюта будет ходить в его Школу с 5 лет: “Я сам буду возить ее”. Целый год он каждое утро заезжал за Анечкой. Делал это он так, что мы не испытывали особой неловкости. Это было ему *легко*...

Если он считал, что что-то должно произойти, он брался и делал. Он так понимал жизнь…»

Примерно в то же время я получил от Толи его статью об Израиле и диаспоре. Я быстро ее прочитал и сказал, что очень сочувствую основным мыслям статьи, но для меня критический вопрос состоит в том, возможно ли повторение Холокоста. Толя сказал, что, конечно, нет. Я привел ряд аргументов в пользу того, что в современном обществе по-прежнему нет защиты от Холокоста, и посоветовал дать почитать текст Харшиладзе. Через месяц в Москве стали закрывать грузинские компании.

В понедельник я со своим другом Женей Бутманом зашел в Школу, мы обсудили дела, и Толя организовал небольшой концерт в крохотной комнатке наверху. В среду он был уже в больнице.

Легкость оказалась непереносимой…

Классный товарищ

(рассказывает Виктор Болотов[80])

С Анатолием мы познакомились во времена первых тусовок вокруг «Учительской газеты», Творческого союза учителей, всесоюзных совещаний, проходивших в разных местах. Но дружить мы стали намного позже, когда я переехал в Москву и стал работать в Министерстве образования.

Чем поражал меня всю жизнь Анатолий? Первое: у него было детское любопытство ко всему необычному. Если он видел что-то неожиданное, он

[80] Виктор Александрович Болотов — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ранее первый заместитель министра образования Российской Федерации.

мог прервать любую дискуссию, прекратить полемику и начать интересоваться тем новым, что он увидел или услышал. Такое детское любопытство в жизни очень редко встречается.

Второе: он никогда никого не боялся. Пойти против любых авторитетов в любой ситуации для него было абсолютно естественно. Многие фрондируют для пиара, а Толя всегда был настроен очень конструктивно, его интересовала истина, реалии. Если генерал утверждал, что крокодилы летают, Толя говорил: нет, не летают — или покажите мне, как они летают.

Его не интересовали посты и должности людей, которые высказывают ту или иную мысль, он всегда пытался разобраться с реалиями. И, естественно, попадал в оппозицию. Он был в оппозиции, по крайней мере вначале, ко всем министрам по очереди. Очень трудно он начинал работать с Филипповым. Для этого понадобился год. Для меня В.М Филиппов — один из тех людей, которые обладают гигантской работоспособностью и гигантской способностью учиться. Когда Анатолий увидел, что министр слышит разумные вещи, принимает и дает команду на их реализацию, он дал согласие стать его советником.

Для Толи как управленца было тогда лучшее время — ему удалось не только заявить новые идеи, но и сделать очень много, чтобы они стали реализовываться. Например, переход на другую отраслевую систему оплаты труда. Очень много он успел сделать по управляющим советам на школьном уровне. Я помню многочисленные дискуссии на координационном совете старого Министерства образования, когда из двух—трех десятков людей Толе не оппонировали только 2–3 человека. Так было при первых встречах. А на последних уже обсуждались конкретные документы, конкретные тексты. Это полностью заслуга Толи.

Профильное обучение в старшей школе, которое мы начинали с Фруминым. Втроем у меня в кабинете по субботам полгода спорили. Толя однажды сказал: «Что вы меня все время приземляете! Летать надо, а вы меня все время приземляете». Мы некоторые Толины идеи для будущего превращали в идеи и действия, которые можно было реализовывать сегодня. Профильное обучение — это тоже полностью проект Пинского, которому он, как и управляющим советам, успел порадоваться. Конечно, много работы у Толи было связано с содержанием образования, и одна из последних его работ — это базисный учебный план и организация учебного процесса, которые он делал в Ханты-Мансийске вместе с Еленой Чепурных и Алексеем Майоровым. Это тоже такое прорывное действие, которое сейчас оценить трудно. Лет через 5–6 можно будет понять, что здесь удалось сделать.

Безусловно, принципиально важны Толины вклады в вальдорфскую педагогику. Поскольку это не воспроизводство текстов Штейнера или практик, существующих в Германии, а создание оригинальной модели с

поправкой на сегодняшние реалии. Есть апологеты Вальдорфа, Монтессори, которые просто воспроизводят тексты и практики и создают в лучшем случае похожие вещи, которые существуют за счет того, что идет их гигантская подпитка и поддержка, то есть за счет искусственных техник. Живую эзотерику нужно кормить хорошо: и энергетически, и финансово. Толик же, принимая идеологию, выращивал практику естественную, культуросообразную для России. Безусловно, такова Толина школа — это я говорю как наблюдатель. Каждый раз, когда я в ней бывал, происходило такое просветление, такая зарядка от атмосферы школы, от детей! Для меня показательно, что случается с местом, которое было сделано и создано конкретным человеком, после ухода этого человека. То, что школа сохранила себя, говорит, что Толя сделал нечто не искусственное, а востребованное, то, что ложится на интенции, которые сегодня уже существуют.

Эта способность чувствовать интенцию, причем по всем направлениям — профильное обучение, управляющие советы, все, о чем я говорил, — это качество высокой интуиции, или, как у нас в Сибири говорят, «чуй на новое».

И при этом Толя — менеджер, организатор. Идеи многие высказывают, и даже ложащиеся в перспективу. Вопрос — что нужно сделать, чтобы они не оставались красивым текстом, а реализовывались. Для меня Анатолий был одним из самых сильных проектировщиков — руководителей проектов. За что бы он ни брался, он всегда мог набрать команду, группу поддержки и начать реализовывать замысел. Еще раз: «чуй» к инновациям, готовность создавать вокруг идей проекты и заниматься их реализацией на практике. Людей, которые могут это делать, точно не больше, чем пальцев на двух руках.

Еще одно отмечу как редкое качество. Он очень легко писал, при этом у него никогда не было вранья. У Джорджа Пойи есть тезис о том, что надо уметь различать истинное и правдоподобное. У Толи вранья вообще нет, и очень мало текстов правдоподобных. У него — истинное. Это тоже редкое качество.

И последнее, о чем я хочу сказать. Вот Толя в компании, когда дела пообсуждали и уже идет общий треп. Абсолютное отсутствие агрессивности. Я не помню, чтобы он проявлял агрессию. По содержанию мы ругались, спорили жестко друг с другом, особенно о профильном обучении: и Фрумин вопил, и я вопил, и Толя вопил, когда у доски работали, и не всегда цензурными словами могли друг друга обзывать. Но когда заканчивали деловые обсуждения и просто общались — абсолютная неагрессивность.

С Толей очень легко всегда было в командировках. Заряженность Толи на все новое, все интересное, абсолютная неприхотливость в еде за исключением двух запретов — курица и рыба, но при этом, если ничего другого не было, — никаких страданий по этому поводу, нет — значит, нет.

Классный товарищ…Последний проект, который мы задумали с Толей и с Алексеем Семеновым, — дистанционный сервис для подготовки к единым экзаменам — уже таким красивым и целостным, каким бы мог быть под руководством Толи, не будет.

О принадлежности к методологическому движению. Конечно, те люди, которые пришли через работу с Георгием Петровичем Щедровицким, друг друга определяли не по словам, а по запаху, по ментальности. У меня самые успешные проекты были с ребятами, которые прошли школу Г.П. в том или ином объеме. При этом, так же как и Анатолий, после плотного знакомства с ММК, мы перешли в другие сферы деятельности. Но схемы, которые мы рисовали друг другу на доске, помогали структурировать и тексты, и смыслы, и замыслы. Безусловно, Г.П мы вспоминали неоднократно и использовали опыт методологии в своих дискуссиях при подготовке проектов. Мы перестали заниматься интенсивной методологией в чистом виде, мы использовали ее в реальных проектах, в реальной жизни. К Г.П. мы оба относились с величайшим пиететом. Благодаря Г.П. мы стали тем, кем мы стали. Для Толи и для меня это так. Мы неоднократно обсуждали на посиделках, когда вышел сборник Хромченко[81], кто с кем поддерживает контакты, кто вместе работал. Время Г.П. — это было время, которое во многом нас сделало такими, какими мы стали.

О потерях. Тут два момента. Самое тяжелое потрясение Толи, которое я знаю за эти годы, — это, конечно, гибель девочки-второклассницы. Все, кто его видел в это время, понимали, как он переживает эту ситуацию. Я думаю, что она у него осталась в душе шрамом на всю оставшуюся жизнь.

Что касается его проектов, я не знаю ни одного порушившегося. Были заглохшие, где он не смог пробиться через инерцию, через дурь, через что-то еще. В отраслевой оплате труда он не успел пробиться. Непростая материя, не хватило как раз поддержки. Это единственный проект, который заглох тогда, а сейчас реанимировался. Хотя идеология, те драки, которые он начинал с ЦК профсоюза несколько лет назад, сыграли свою роль. Если бы Толя не вспахал это поле и не унавозил его, вряд ли бы там что-то выросло. Хотя выросли не совсем Толины идеи.

Поэтому говорить о разрушенных проектах я не буду. Когда по жизни возникала ситуация, что проект зарубили или кто-то подвел, у Толи было такое удивительное качество, может быть, тоже от Георгия Петровича: любое препятствие, которое у тебя возникает, любую неудачу воспринимать как основание для того, чтобы стать сильнее, мощнее, умнее. Преграды надо использовать как ступеньку. Делать вывод для себя: в этом месте, с этим человеком, этим я заниматься не буду. Или: вот здесь препятствие,

[81] ММК в лицах / сост. М.С. Хромченко. М., 2006.

пройти не могу — что нужно сделать, чтобы в следующий раз не поскользнуться, как его обойти. И у Толи эта способность была очень сильна: он понимал, что решение не проходит, понимал, что это не злобная позиция врага (в этих случаях он шел до конца) — значит, надо искать варианты, чтобы решить проблему с учетом этого нового обстоятельства. Он был всегда ориентирован на результат. Возникла временная препона, что-то не получается, но цель-то известна — хорошо, пойдем там, если здесь пройти нельзя.

И, безусловно, у него были две отдушины, которые ему позволяли делать все, что он мог, не оглядываясь. Это семья и песни. То, что семья всегда понимала, поддерживала, и то, что он мог душой отдохнуть, зарядиться за счет песен.

И плюс, конечно (и это очень важно) он очень гордился отцом. Я терпеть не могу мемуарный жанр, очень редко какие мемуары для меня были интересны. А вот Толину книгу об отце мне было очень интересно прочитать. Редкий случай, чтобы дети написали о родителях так, чтобы это было интересно любому читателю. Я, пожалуй, даже не вспомню такого.

Да, семья, родители и песни. Это тот ресурс, который позволял Толе при любых неудачах, после любого падения встать, встряхнуться и начать планировать, как достигнуть такого результата, на который он ориентирован.

Об отношениях. Вообще оппонентов у Толи, как у любого человека, который говорит про новое, всегда было больше, чем союзников. Особенно в инновационной среде много людей, которые думают, что поймали бога за бороду. У них уже вопросов нет, есть одни ответы. Каждый знает свою правду. Поэтому у Толи было много оппонентов, у которых были свои правды. При постановке того же вопроса у них были другие ответы. Я знал много людей, которые на этом превращались во врагов по жизни. А Толя мог (это тоже от Г.П.) различать конфликты на доске и конфликты в жизни. Я ругаю не тебя — я ругаю твою идею. Я возражаю не против тебя, я против твоей идеи. Я тебя люблю и уважаю, а твои идеи мне не нравятся. Такие присказки можно нередко услышать. А у Толи это было естественно. Даже в самой жесткой полемике, ведущейся публично, в средствах массовой информации, он никогда не дискредитировал людей. И люди это чувствовали. И оппоненты у него были не сумасшедшие, а те, кто обладал способностью различать идеологическое противостояние и личные качества. Другое дело, что Толя в определенных случаях минимизировал личные контакты. По-моему, у него 90% бодрствования были заняты работой, проектами, которые он реализовывал. У него времени не хватало пойти просто так на тусовку. У него круг постоянного общения был связан на 90% с людьми, которые были включены в его проекты.

Когда Толю в прессе обвиняли в чем-то, он обычно отвечал. А потом говорил: «Ну, это бедный человек, он не понимает, он в ситуации искреннего заблуждения» или «Понятно, он отрабатывает, он встал в такую по-

зицию, что должен защищать неправду». Но при этом он лично не сказал никому — козел, маразматик. Такого не было никогда. Поэтому Толиных врагов я просто не знаю. Были люди с ним не согласные, оппоненты, а врагов я не знаю.

О характерных случаях. Входим в Великобритании на какой-то прием к члену палаты лордов. Там все как полагается, все чопорно. И какое-то сооружение стоит. Толя его видит, подбегает к нему, начинает рассматривать, рычажки какие-то крутить. Я говорю: «Ну, Толя, а если это бомба?» Толя отпрыгивает от нее, смотрит, а потом говорит: «Да нет, вряд ли». И продолжает крутить и дергать рычажки. Лена Ленская может рассказать, как Толя защищал овечек в Великобритании.

История про овечек и не только

(рассказывает Елена Ленская)[82]

Я расскажу историю и про овечек, и про всю нашу поездку в Англию. Как мы туда все вместе попали? Тогда только замышлялась «Стратегия модернизации российского образования». И поскольку Толя взял на себя лидирующую роль в этом вопросе, возникла идея познакомить его с теми инновациями, которые мы связывали с этой стратегией. Нас тогда интересовали школьные попечительские советы, вопросы контроля качества образования и единого государственного экзамена и т.д.

До этой поездки я многократно сталкивалась с Толей, но такой длительный период времени мы провели вместе впервые. И что меня сразу поразило, так это его способность бегать во всех направлениях одновременно и очень активно реагировать на все, что происходит вокруг.

Если мы просто сидели за завтраком, то Толик знакомился со всеми официантами, разговаривал с поварами. Английский у него не Бог весть какой, но ему этого всегда хватало, и он переходил на любой другой язык, неважно, знал он его или не знал. И добивался понимания со всеми и всегда. А кроме того, он у нас сразу попал в должность обработчика всего, что мы видели и что нам казалось полезным, поэтому его присутствие было всегда необходимо.

И вот настал момент, когда мы прибыли в Лондон. До этого много мотались по разным школам, по маленьким городкам, изрядно устали и как

[82] Елена Анатольевна Ленская — зам. директора Британского Совета в Москве.

раз собирались вечерком посеминарить. И вдруг Толя исчез. Мы никак не могли понять, куда же он делся: день был воскресный, к тому же чем он не грешил — так это хождением по магазинам. Он сказал нам, что выйдет прогуляться, и вдруг пропал. Наконец вечером он возвращается.

— Толик, где ты был?

— А я в демонстрации участвовал.

Оказывается, он шел по улице и увидел пикет. Несколько трогательных английских старушек стояли и держали плакат, на котором были написаны имена — Долли, Полли, Молли и Пенни. Толя их спрашивает: «Что тут у вас такое?» — он всегда интересовался тем, что было ему непонятно. Они говорят: «Это наши овечки. У нас ящур, и из-за ящура к нам пришли санитары и забили наших овечек. Они у нас были членами семьи, долго у нас жили, мы о них заботились. Но нас никто не послушал. Мы говорили, что они здоровы, мы их никуда не выпускали. Забили всех домашних животных, и наших овечек тоже». Толя говорит: «Да, действительно, несправедливость. Можно, я с вами постою?»

Ну, он не только постоял, он выкрикивал с ними лозунги: «За Полли, за Молли, за Долли, за Пенни!» Выяснил много нового о жизни фермеров в Великобритании. И, когда пришел в гостиницу, сказал: « Здесь полный беспредел творится. Старушки решили, что сельским хозяйством заниматься больше не будут. Им заплатят компенсацию, они ее заберут и уедут куда-нибудь».

Вот так Толя поучаствовал в политической жизни Лондона. Я потом узнала: эти санитарные команды действительно себя ужасно вели. На глазах у хозяина забивали его скот, выкапывали ямы, все жгли. Потом несколько дней стоял этот запах.

Так что Толя старушкам всерьез помог, гражданскую позицию проявил.

После его возвращения мы говорим: «Вот, ты весь вечер шлялся, в ресторан идти уже поздно, надо питаться тем, что поблизости продается». Пошли в ближайшую лавку, а там, как это часто бывает, хлеба не оказалось. Мы ему говорим: «Толик, ты самый молодой, пойди, поищи хлеба».

Он ушел и опять пропал. Потом возвращается с целым подносом. А там не только хлеб, а тосты, намазанные маслом, булочки, вообще какая-то еда.

— Откуда это все?

— Ну, там такой официант из Пакистана, мы с ним очень хорошо поговорили. Он рассказал, как он сюда приехал, как ему здесь трудно, и никто его не поддерживает.

Кончилось тем, что этот официант всем, что у него было на кухне, с Толей поделился.

Это мои впечатления, связанные с его стилем жизни и способом общения с миром.

Теперь о его способности к модернизации образования.

Я работаю в этой сфере, мне положено в ней разбираться, и она мне интересна. Мне интересно, что из английской системы можно позаимствовать для нашего образования. Но у меня совсем другой способ действий, довольно медленный. Я начинаю что-то рассказывать нескольким людям. Сначала они говорят, что нет, это все ерунда, это не подходит. Потом у них находятся еще какие-то аргументы. Потом кого-то начинают цеплять мои рассказы.

У Толи все было по-другому. У меня возник такой образ: еще не поставлены ворота, а мяч уже на поле брошен, и Толя устремляется с ним вперед в надежде, что ворота будут поставлены туда, куда он велит.

Точно так же он поступал с английскими инновациями. Про компетентностный подход впервые он услышал именно в Англии. Когда он вернулся, меня ждала длинная тирада на эту тему — устная и электронная. Причем он мне прислал свое послание, чтобы я его откорректировала. Хотя я на длинные электронные письма не всегда быстро отвечаю, но на Толины длинные письма я отвечала всегда немедленно. То ли у него был такой стиль письма, то ли его энтузиазм передавался на расстоянии. Но где-то через день я ему отправила ответ. Он мне прислал еще какие-то соображения. В течение 2–3 дней мы с ним переписывались на эту тему. Уже через полмесяца все это было опубликовано, положено на стол министру, и еще месяца через два появилась «Стратегия модернизации», куда все эти инновации вошли блоками.

Еще один интересный момент того же периода работы над «Стратегией». Я помню, когда мы в первый раз собрались и стали обсуждать, что нужно поменять в содержании образования. И поскольку среди нас были представители разных дисциплин, стали обсуждать и компетентностный подход в целом, и что он означает для разных специальностей.

А я к тому времени с Толей поцапалась из-за того, что он позвал на эти обсуждения людей из министерства, абсолютно безнадежных. Толик ведь очень верил, что если придут люди, то получится что-то очень хорошее. Если он во что-то окунался, то начинал к этому относиться очень трепетно, и всюду этих людей звал, возил, включал их в свою рассылку.

Я видела постоянно растущий список его рассылки. И хотя поначалу ничего об этой рассылке не знала и не просила, я была, конечно, тут же в нее включена, и все Толины и другие статьи об образовании стали мне приходить.

Я сейчас не буду называть коллегу из Министерства образования, которого Толя пригласил, но получилось вот что. Виктор Фирсов, математик, ныне уже покойный, вдруг родил мысль, которая мне, как специалисту по английскому языку, сразу же легла на душу. Фирсов говорит: «Ну что мы тут морочим голову, делаем вид, что надо давать детям выбор из трех языков, когда уже везде английский изучают как обязательный первый иностранный. Давайте поставим себе эту задачу и так и включим его в содержание».

Коллега из министерства не выступил ни «за», ни «против» и ходил в мрачном молчании, хотя все остальные это предложение поддержали и высказались самым бурным образом.

Вскоре начались проблемы. Еще не было высказано ничего, кроме пожелания, а мне вечером уже позвонила дама, моя коллега, специалист по немецкому языку, к которой я, кстати, отношусь с большим уважением и когда-то работала под ее началом: «Боже, неужели все это правда? Неужели вы хотите выкинуть все остальные языки?!» — «Нет, мы ничего не собираемся выкидывать. Мы просто хотим, чтобы все знали английский, потому что без него нынче уже нельзя». — «Нет, ну вы же понимаете, что это значит. Министр ни за что не разрешит, чтобы все выкинуть, а английский оставить».

Я спрашиваю: «А у вас внуки какой язык в школе изучают?» Она говорит: «Английский, но они же и немецкий знают». Я говорю: «Ну вот, надо, чтобы и у всех детей было точно так же. Инесса Львовна, вы же немецкий намного лучше знаете, но первым для внуков выбрали английский, потому что без него просто невозможно».

Дальше начался полный сумасшедший дом. Собирались без меня, мне ничего не сообщали и меня осуждали. Написали даже письмо президенту про то, что я большой разрушитель российского образования. Правда, Инесса Львовна его не подписала.

Ну а теперь — прорыв Толика в этом вопросе, когда он понял, что стало происходить. Я долгое время об этом никому не говорила, потому что мне было неудобно за мое сообщество, но потом при встрече я как-то его спросила: «А знаешь, во что это все вылилось?» Он схватился за голову и сказал: «Нет, мы именно так вставим это в “Стратегию модернизации”. Я сам пойду к министру». И, действительно, мы в таком виде вставили этот блок в «Стратегию». С той оговоркой, что если кто-то в спецшколе учит немецкий, то он должен учить и английский тоже. Чтобы не было такой программы, в которой есть только немецкий или французский, а английского нет.

Я все равно расхлебывала эту кашу еще года три. Но Толик на этой позиции стоял жестко. Из нашей поездки он привез четыре идеи, и все их проработал. Я, кстати, не знаю, где он поймал идею профильного обучения. В Англии еще не было школ со специализацией, они только обсуждались как замысел. Но, поскольку Толя обладал уникальной коммуникативной способностью, он со многими людьми об этом говорил и где-то, видимо, это уцепил: профилизация началась именно с этого момента. Хотя потом она тоже пошла торным путем. Опять-таки из-за Толиной уверенности, что люди все в общем-то хорошие и, если им все объяснить, они поймут.

Но как только появились коллеги из Академии, приоритеты у них оказались другими. Явно отстраивалась другая задача: чтобы как можно больше академических сотрудников получили кусок хлеба и разрабатывали никому не нужные курсы, которые потом детям втюхают, хотят они этого или не хотят.

Еще одна идея — школьные управляющие советы. Вот где мы ругались! Боже мой, как мы ругались! Мы с самого начала решили, что берем

этот подход и советы нам нужны не для того, чтобы собирать с родителей денежки, а для того, чтобы управлять школой. А для этого надо управленцев как-то учить. Они все заняты, работают, и надо придумать такие способы обучения, чтобы до всех дошло, чем они управляют, и на это не уходила уйма времени. И мы решили сделать пособие, где будет популярно рассказываться, как работает школа, как финансируется, как происходит распределение бюджета, как составляется учебный план, кто на что может влиять и т.д.

У нас уже был полезный опыт: мы обучали учителей писать учебники. И я в это очень верила: учителя, прошедшие обучение и продолжавшие работать в школе, значительно лучше осваивают новые подходы, чем академики. У академиков уже есть свои «тараканы» в голове, с которыми им очень жалко расставаться, и они за них так цепляются, что в новые концепции не очень-то и входят. А учителя сработали у нас очень четко. Не без огрехов на первом этапе, но потом очень хорошо. Поэтому я Толику говорю: «Давай соберем команду людей, которые все работали в школе, — поскольку в управляющие советы входят и учителя — и попросим их рассказать человеческим языком, как работают советы и в чем их полномочия». Толик сказал: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Для того чтобы так написать, да еще и понятно, и без избытка педагогических терминов, нужны люди с талантом писателя». — «Ну, тогда получится, что будешь писать ты. У тебя есть для этого время?» — «У меня времени нет. Но все равно они не напишут никогда. Ты что же — хочешь, чтобы у нас Львов Толстых учили?» — «Ну, это же не для Льва Толстого задача. Это все-таки попроще. Единственное, что от них требуется, — это писать так, чтобы их супруг или шеф, например, все понял». Долго мы за этим столом объяснялись, просто до хрипоты. Если он входил в раж, он кричал, ругался и т.д.

Дальше пригласили британского тренера. Он к этому тренеру сначала отнесся с подозрением. Потому что в Англии уже присмотрел кого-то, а ему посоветовали взять другого человека — он с ним тоже, конечно, встретился, — как более влиятельного и статусного. Это был Нил Девис — председатель Ассоциации членов управляющих советов Великобритании. Нил теперь говорит: «Я боялся Толи до дрожи в коленках, с ним разговаривать невозможно. Я только ему на один вопрос отвечаю, а он мне следующий задает совершенно из другой области. Я только начинаю ответ разворачивать, а он опять новый задает, и опять из иной сферы. Это гениально. Я сразу понял, что он гениальный человек, но боялся его и боялся оплошать».

Так вот, когда Нил приехал сюда и мы собрали людей, чтобы их тренировать, возникла проблема из-за того, что пригласили чудовищно плохого переводчика — чьего-то мужа. Поверили на слово, что он хороший, а вышло что-то невероятное. Давно таких плохих не видела. Во-первых, он вообще не понимал смысл того, что переводил, а во-вторых, умудрялся

просто не переводить. И Толя стал это делать за него. Когда я перевожу, это понятно, это моя специальность, но и Толик хотел быть переводчиком. Вставал на мое место, говорил: «Я сейчас все скажу, как должно быть». Тот переводчик краснел, пыхтел, ругался, но переводил Толик.

Там тоже произошла битва слона и носорога, потому что он мне сказал: «Ты видишь? Вот, посмотри, что они написали! Они написали какую-то чушь. Посмотри, какая канцелярщина, какой это ужас».

Надо отдать Толику должное. Уже к концу сессии пошел нормальный текст, потому что мы сели, обговорили, чего мы точно не пишем, каких слов не употребляем. Так вот, когда наконец стало получаться, Толик тут же сказал: «Да, оказывается, так можно. Я поверил, так можно». Текст вышел вполне вменяемый. Толик остался доволен, Нил в итоге тоже.

Кстати, о Ниле. Толик если с кем-то дружил, то дружил до конца. С Нилом он подружился. В конце концов, он понял, что Нил полезный человек, стал ему посылать на экспертизу фрагменты закона по управляющим советам, увидел, что срабатывает. Переводила ему уже дочка Анечка, и этот барьер тоже ушел. В какой-то момент Нил засобирался к Тони Блэру — там демократия, и время от времени кого-то из представителей образовательной сферы приглашают на всякого рода беседы. У Нила, надо сказать, в характере много общего с Толиком. Он собрался и пишет Толе, что завтра должен увидеться с Блэром — что ему сказать, с какими пожеланиями выйти? Толик написал целое письмо о том, что у нас нужно по этой теме делать. Я ему сказала: «Толик, Тони Блэр — человек с большим ресурсом, просить у него очередные 30 тысяч вроде как-то глупо, надо помасштабнее». В результате того, что Нил так компетентно побеседовал с Блэром, появились совсем другие деньги, хотя и не такие, как мы хотели вначале. Но главное — Нил вошел в такой фавор, что его даже послали представлять Великобританию на встрече «большой восьмерки». Идеи там были те, что Толя ему подкинул, Толя был фасилитатором включения Нила в молодежную «восьмерку». Так что тандем получился замечательный.

Итак, направления модернизации: компетентностный подход, профильное обучение, управляющие советы и последнее, связанное с ЕГЭ, — управление качеством образования.

Толик был среди тех людей, которые убедили министра в том, что нужно делать внешний экзамен. И надо сказать, что он сам с этим никогда в глубине души до конца не мог согласиться, но раз решил так сделать, то эту систему и стал отстраивать. Несмотря на какие-то свои пожелания и претензии.

А теперь вернемся к поездке. Она была феерической во всех отношениях. Поехали Болотов, Фрумин, я, Толик и Коган — люди все сумасшедшие насчет образования. Но я помню не только это, а еще и наши удивительные светские вечера. Я помню, как мы с Толиком пели, играли, и он меня потряс. Что он поет под гитару, я знала, мы и раньше пели. Но тут он

говорит: «Слушай, а ты знаешь “Сильву? ”» — «Знаю, конечно». — «Давай петь дуэт Сильвы и Эдвина!» — «Толик, я не вытяну». Толик берет ноту, и видно, что он такое удовольствие от этого получает!

И при рождении еврейского ансамбля я тоже присутствовала. Раз Толик меня «сосчитал» как друга, то стал приглашать, несмотря на некоторые расхождения по национальному признаку, на все еврейские тусовки в ресторан «Цимес». И на моих глазах сказал: «Да что это! Что они поют? Какую гадость!» А в ресторане пели что-то вроде «тети Сони», а-ля Одесса, весьма малоудобоваримое. И он заявил: «Я через год здесь буду петь со своим ансамблем». — «У тебя что, ансамбль есть?» — «Нет, но будет».

И ровно через год пел.

Две встречи[83]

(воспоминания Нила Девиса[84])

У меня много хороших воспоминаний об Анатолии, но два из них особенно яркие.

Впервые я встретил Анатолия в штаб-квартире Британского совета в Лондоне в марте 2004 г. Председатель Национального совета управляющих Англии попросил меня встретиться с группой русских, которые хотели побольше узнать об английской системе школьных управляющих советов. Я зашел в комнату, где было около шести человек, ни один из которых, казалось, не умел улыбаться. Я почувствовал себя как-то неудобно, но вскоре понял, почему эти люди совсем не улыбались — их лидер был намерен получить как можно больше информации, и да помогут небеса тому, кто встанет на пути между ним и знаниями, которые он так стремился получить.

Тот человек, который задавал многочисленные вопросы и был лидером группы, и был Анатолий. Должен признаться, он ужасно напугал меня небывалой кучей своих вопросов. Вопросы не кончались до тех пор, пока мой друг Анатолий не выходил курить. И тогда весь мир замирал, потому что русская делегация покидала «некурящее» здание и отправлялась на улицу на перекур. А потом они возвращались и — вопрос, вопрос, вопрос… и он говорил: «О, я понимаю, но я должен пойти на улицу, выкурить сигарету и подумать». И вся делегация снова уходила на перекур. Это хождение туда-сюда продолжалось 1 час 45 минут. До того момента я ни разу в жизни не думал, что люди курят, чтобы о чем-то подумать. Встреча оказалась успешной, так как спустя шесть месяцев я получил приглашение принять участие в

[83] Перевод А.Пинской.

[84] Нил Девис – председатель Ассоциации членов школьных управляющих советов Великобритании.

конференции в Москве и рассказать на ней об опыте британских школьных управляющих. Итогом этого визита стало то, что я присоединился к образовательной команде, которую возглавлял Анатолий. Впоследствии он написал пособие для российских школьных управляющих, а также подготовил и издал методическое руководство по обучению и подготовке управляющих.

Другое мое воспоминание об Анатолии связано с одним из проводимых им семинаров, на котором обсуждались материалы, которые должны были войти в пособие. Практически все за столом, кроме меня, разговаривали друг с другом, а Анатолий пытался слушать какого-то одного человека. Я молчал, потому что пытался понять то, что говорила мне моя переводчица, а ей было совсем непросто следить за всеми восемью беседами, проходившими одновременно.

Анатолий ударил кулаком по столу и сказал: «Может быть, вы все замолчите (заткнетесь) и будете тихо сидеть и слушать!» Моментально комната погрузилась в тишину, и можно было услышать, как булавка падает на пол. После такой реакции Анатолия все старались быть краткими. Насколько я понимаю, он очень редко повышал голос и бил кулаками по столу, поэтому, судя по его реакции, люди поняли, что сделали что-то не так. Когда порядок был восстановлен, мы продолжили работу и успели сделать еще кучу всего полезного в тот день. Его вопросы не прекращались, даже тогда, когда мы обедали. У меня был набитый едой рот, а он все равно спрашивал меня о чем-то. Я понял, что его бесконечные вопросы были следствием жажды знаний. Их он получил в изобилии.

Я считаю одной из привилегий своей жизни то, что мне довелось знать Анатолия и работать с моим другом. Мне доставит столько же удовольствия, сколько, я не сомневаюсь, доставило бы и ему, наблюдать, как школьные управляющие становятся эффективным голосом в образовательной системе по всей России.

О бесстрашии и гражданском сознании

(рассказывает Ефим Рачевский[85])

Я начну с Клуба директоров[86]. Так органично сложилось, что Толя стал содержательным лидером в московском Клубе дирек-

[85] Ефим Лазаревич Рачевский — директор образовательного центра «Царицыно».

[86] О Клубе директоров см. также в воспоминаниях А. Каспржака.

торов[87], а я — в каком-то смысле организующим. И получилось, что тогда мы — вне зависимости от клуба — начали общаться. Я помню, мы с ним покупали для клуба какое-то мясо, какое-то вино, и естественно, что, когда мы это делали, мы обсуждали не столько специфику приготовления рыбы и мяса, сколько какие-то образовательные проблемы. Я обычно общение на подсознательном уровне меряю такой категорией: мне скучно с человеком или нет. С Пинским мне не было скучно, мне этого было вполне достаточно. Пересечений каких-либо у нас не было абсолютно никогда. У него своя школа, у меня — своя: мы даже про школы мало говорили. Но, естественно, мы обсуждали казавшиеся нам тогда глобальными проблемы модернизации образования, причем не употребляя слова «модернизация».

Есть такое толкование тезауруса: когда в компании пять человек, кто-то рассказывает анекдот, четверо смеются, один спрашивает — про что? У нас с Толиком не было необходимости спрашивать «про что». Мы с полуслова понимали, что смешно, что не смешно. Надо сказать, что я ко всему этому вместе взятому — к Клубу директоров, к его попыткам что-либо изменить — относился очень несерьезно. Клуб мне был не очень интересен. Что мне было интересно, так это то, что после него мы с Пинским иногда заходили в ресторанчик и там общались. Вот это было интересно. А в целом меня привлекала в этом деле в чистом виде клубность. Я выступил с инициативой приходить в смокингах. Толик купил себе тогда смокинг. И был единственный день, когда Каспржак надел пиджак, — на прием в честь Кезиной.

Но параллельно стали происходить совершенно другие события. Было открытое письмо Пинского министру Кинелеву в «Комсомольской правде», потом его открытое письмо министру Тихонову. После этого открытого письма потихонечку в Толином школьном кабинете, который вызывал у меня всегда ощущение подвальности, стал собираться неформальный кружок. Мы собирались регулярно, раз в неделю: Болотов, Каспржак, Кузьминов, иногда заходил Соловейчик, иногда появлялся Марк Мусаргский, я точно помню, что не было ни одной женщины, Семенов бывал, Адамский иногда. Цели и задачи не ставились никакие. Ставились бутерброды с колбасой, с сыром — собирались все ближе к вечеру, — и постепенно все это вылилось в Форум «Российская школа». При этом Кузьминов был тогда уже ректором, Болотов был уже замминистра, да и все мы были теми, кем мы были.

И одним из первых информационных выплесков стал «круглый стол» в редакции газеты «Первое сентября», где мы в первый раз рассказали про то, чего мы хотим. Никто не вел никаких записей, только Толя иногда что-то писал — мы еще не были активными пользователями электронной

[87] Неформальное объединение директоров московских школ, в основном инновационной направленности, возникшее в середине 90-х годов.

почты. А вот примерно через год уже пошла общая переписка. Я полагаю — хотя никогда раньше об этом серьезно не думал, — нет, пожалуй, я совершенно точно знаю, что абсолютное большинство шагов, связанных с реформированием образования, было заложено в этом Толином кабинете. Был последний дофилипповский год, когда мы зарегистрировали Форум. Мы дискутировали, делать ли его общественной организацией, а Толик проявил себя тогда так, как проявлял и позднее: он никого долго не стал спрашивать — он его зарегистрировал.

Что меня привлекало в Форуме? Ну, во-первых, интересно. Во-вторых, сколько себя помню, мы всегда устраивали какие-то кружки, каким-то андерграундом занимались, а это было очень похоже на андерграунд. Пока не вышла первая брошюрка, в которой были устав и декларация. Что мы ощущали тогда? Что за нами есть какая-то сила, есть возможности что-то изменить. Это был 1997–1998 год. В 1999-м уже появилась концепция профильного обучения. Мы собирались с Толиком на Погодинской, и он не предпринимал сначала никаких шагов к председательству. Но потом так получилось, что Толик стал вводить регламент, потому что все хотели говорить очень долго и много. Особенно после того как появлялась бутылка водки. Она обязательно появлялась, но совсем немного, чуть-чуть — сначала чай с бутербродами, потом водка с бутербродами. Каждый хотел высказаться, потому что каждого переполняло желание что-то изменить. Именно тогда возникла проблема индивидуализации образования — инициатором выступил Толик. Тогда возникла проблема эффективной школы — инициатором был Толик. Марк Мусаргский был приглашен консультантом как экономист.

После оформления Форума и параллельно с этим стал затухать директорский клуб. Клуб стал гаснуть, хотя явным позитивным следствием существования клуба было то, что люди стали общаться. Думаю, что и самому Пинскому клуб перестал быть интересен. Наверное, по тем же причинам, что и мне. Когда он пытался что-то говорить о системе многоканального финансирования, видно было, что 95% сидевших там людей не понимают, о чем идет речь. Они привыкли к тому, что им приносят наличку, какие-то псевдоблаготворительные взносы, и не понимали, что школа в принципе может быть оператором образовательных услуг.

К этому же времени относится один случай. Я раньше говорил о Толином бесстрашии, так вот, это про то же. Есть два вида бесстрашия. У меня есть приятель — он не чувствует боли, ему ничего не страшно. Он может прыгнуть с 5-го этажа. У него проблема с головным мозгом. У Толика не было проблем с головным мозгом. Но, по всей видимости, был некий прошлый опыт. Я считаю, что одна из составляющих этого прошлого опыта — создание школы, ведь это было очень и очень нелегко. Итак, я называю это качество «гражданским бесстрашием», хотя звучит пафосно. На самом деле это так.

Собрал нас Бунимович в МГД[88] — он первый раз стал тогда депутатом — и устроил встречу с Черником, а Черник был замруководителя московской налоговой службы. Толик делал вариант доклада по поводу неправильного налогообложения школ, и Черник пытался что-то сказать. А Пинский говорит: «Не смейте меня перебивать, я директор школы. Директоров школы нельзя перебивать». Такой маленький пример его гражданского бесстрашия. Помню его работу с прокуратурой. Прокуратура приходила в школу с проверкой. Толик им спокойно и детально показывал, что они неправы.

Я полагаю, что первое влияние Форума «Российская школа» на образование возникло в период министерства Филиппова. Для Толика это было формализовано тем, что он стал советником министра. Он к этому не относился иронично. Я над ним смеялся, а он любил корочку доставать и показывать.

Получается очень интересная закономерность. Директорский клуб был вытеснен Форумом «Российская школа», а Форум был забыт и вытеснен реальной работой по модернизации образования. Уже не было необходимости встречаться в Толиной школе, хотя я очень скучал по этим встречам и спрашивал: Пинский, ты почему нас не собираешь? Он говорит: некогда, надо писать тексты, надо то и это делать. И тогда Форум перерос — я уверен, что обстоит именно так, — в РОСРО. Почему я считаю, что он перерос в РОСРО? Я полагаю, что «связником» стал Кузьминов. Потому что РОСРО возник по инициативе Кузьминова и Пинского. Это было летом, Толик мне позвонил в Сороки и спросил, войду ли я в РОСРО. Я спросил, что такое РОСРО, что за люди? Когда он сказал, что за люди, я ответил, что, конечно, я войду в РОСРО.

Дальше все повторилось. Точно так же, как маленькая компания — Форум «Российская школа» — была настолько референтной для министерства, что в 1999 году нас по инициативе Филиппова вывезли куда-то под Москву, и мы начали формировать Основные направления модернизации российского образования, так же потом произошло и с РОСРО. Компания была та же, к ней присоединилась Таня Кличко, заезжал Марик Мусаргский, появились сестры Абанкины. Было самое начало 1999 года. Первым предметом обсуждения РОСРО стали стандарты.

Фактически сопредседателем РОСРО был Толик, хотя формально им становился лидер политической партии — Явлинский, Хакамада (кстати, Толик с ней довольно быстро нашел общий язык). Председательские функции брал на себя Кузьминов, а когда он куда-то уходил или уезжал, то это делал Толик. Толик был бесспорным лидером РОСРО. А потом РОСРО стал набирать силу и уже был совершенно референтным органом для министерства: туда приглашался любой замминистра, приглашался министр,

[88] Московская городская дума.

приглашались финансисты. Там шли достаточно жесткие и аргументированные дискуссии по поводу пути развития образования в России, и не было такого заседания, где Толику неформально не принадлежала бы лидерская функция.

В чем это выражалось? Прежде всего в том, что все то, что имело продолжение, — в основном это были идеи Пинского. Так было с подушевым финансированием, с необходимостью изменения системы оплаты труда, с проблемой экономики школы в целом. При поддержке Кузьминова и в союзе с ним Толик поставил на РОСРО вопрос о необходимости адекватной статистики образования, которая отсутствовала, и там же было впервые заявлено о необходимости общественно-государственного управления, хотя в не очень явном виде — эта идея оформилась несколько позднее. А самое главное — происходила драка вокруг стандартов. Почти все предметы школьного образования были обсуждены на РОСРО. Но самая жаркая дискуссия была по двум предметам — математике и литературе. Был демарш математиков во главе с академиком Арнольдом. И тут важна была особенность Пинского — хочу, чтобы это прошло рефреном через все мои воспоминания, — его ирония, чуть-чуть еврейски-местечковая ирония. Эта еврейская местечковость придавала его иронии некое благодушие, и люди не обижались. Совершенно точно, не обижались. Он начинал так: «Я очень глубоко вас уважаю, вы самый лучший человек и т.д., но это надо делать не так, а лучше бы это сделать примерно вот так». У Толика, конечно, это звучало по-другому.

В то же время шла уже чисто практическая работа с министерством. Министр не просто лояльно относился к Пинскому, Пинский был для него, наверное, одним из самых авторитетных людей в образовании. При этом Толик умел ни с кем из замов не ссориться. С Киселевым Александром Федотычем — это обмен анекдотами на еврейскую тему, с Шадриковым — глубокое уважение, я полагаю, искреннее, со стороны Толика. Естественно, что самая плотная, самая теплая связь существовала с Витей Болотовым, который был тогда первым замминистра.

Еще один эпизод этих лет. Один из штрихов жизни Толика. Первое совещание по управляющим советам в Королеве. Семинар трехдневный, приехали люди из разных регионов, отовсюду: Сибирь, Красноярск, Вологда — было человек 50... На другой день на 2 часа дня была договоренность о встрече с Филипповым. Автобусы были заказаны на час дня. И вдруг звонок о том, что министр должен быть в это время у президента. Звонят, спрашивают, нет ли возможности встретиться в 12. Пинский подходит ко мне — что будем делать? А у меня отношение простое: ну, не увидят люди министра, ну и что. Но Толику важнее было, не чтобы люди увидели Филиппова, а чтобы Филиппов увидел людей, — я это понял потом. А если он вцепится в какую-то идею, он ее не отпустит. И тут он мне стал напоминать какого-то военного человека: он достал мобильник, стал немедленно

вызывать такси, и где-то минут через 20–30 к нашему зданию стали колонной подъезжать местные таксисты на своих «жигулях». Где-то был раздобыт один автобус, Толя всех рассаживал и колонну отправлял из Королева в Москву на Люсиновскую[89]. Завел всех к министру, и первое, что он сказал, — «Вот, Владимир Михайлович, люди пришли», примерно вот так. Моментально это все как-то сделал, я бы, наверное, не смог так. Я бы сказал: «Ну, и фиг с ним». А Пинский наметил, что встреча должна быть, он же залезал во многие мелочи, на самом деле для него мелочи были существенны. И это удивительная черта — то, что его действительно волновали детали.

Так вот, РОСРО не затормозился, когда началась работа с министерством по написанию различных программ. И так появилась программа по профильному обучению. Сначала концепция, потом программа, а затем уже была сделана программа Основных направлений развития российского образования. Именно при филипповском министерстве были совершены реальные шаги, все остальное потом было уже совсем другое. При этом РОСРО не умирал, а, наоборот, происходила некая диффузия: решения и рекомендации, принятые на РОСРО, реально влияли на решения, принимаемые министерством. Сопредседателем РОСРО стал Андрей Кокошин от «Единой России». Благодаря РОСРО, благодаря Кузьминову возникли центры и институты на базе «Вышки».

При этом, естественно, мы перестали собираться у Толи. До такой степени перестали, что я даже не то чтобы его ругал, а скорее просил: «Ну, давай так просто поговорим. Без руководства, политиков, давай просто поговорим». Ему было некогда. Тем не менее нам иногда удавалось встречаться вдвоем, мы заходили в ресторанчик (избегая «Елки-палки», где у него был конфликт). Ему было не все равно, что есть, он достаточно разборчив в еде, но мы старались, чтобы все было поближе, времени было немного. Мне очень сильно не хватало этой рефлексии вдвоем. А, с другой стороны, когда мы с ним вдвоем полетели в Сороки,[90] за эти 3 или 4 дня вообще не говорили об образовании.

Еще эпизоды

Это было в час ночи. Мне позвонил Пинский и спросил: «У тебя гитара есть?» Я говорю: «А что такое?» — «Я тут учу девушек петь песни». Я говорю: « Толя, где?» Он отвечает: «Я точно не знаю, но какой-то это лес. Если у тебя есть гитара, то мы сейчас найдем способ, чтобы ты ее привез». У меня гитары в жизни никогда не было, я говорю: «Я сейчас найду людей, у которых есть гитара, и мы что-нибудь придумаем. Пока я стал названивать, через полчаса он мне звонит: «Не ищи, я уже нашел гитару. Я учу петь группу девушек». Он ведь много раз сам пел в ресторанах.

Есть еще одна черта у Толика, она мне очень нравилась, я ее связывал с его богатым немецким опытом. Он очень не любил, когда его обманывали в мелочах. Официанты, таксисты, гаишники. Он всегда проверял счет и всегда отстаивал свои права. Ну, хотя бы в ресторане «Елки-палки». Это не мелочность, это то, что я боюсь называть «гражданским сознанием»: положено так, я налогоплательщик, так должно быть. Примерно так. Это важная сторона, которая, увы, присутствует не у многих. Вот я точно знаю, что у моей дочери Лизы она присутствует. Она вникает в подобные обстоятельства, включая гаишников.

В Сороках мы поехали на еврейское кладбище на автобусе. Прошлись по кладбищу, я показал могилы своих родственников, мы посмотрели на захоронения жертв фашизма, а когда стали выезжать, я предложил посмотреть цыганское поселение. И тут появляется Мирче — цыганский барон, подходит к Пинскому, они о чем-то говорят, и я помню такую фразу барона: «Я смотрю в твои глаза и понимаю, что тебе можно верить». После чего была дана команда, они вынесли печенье, вино — цыгане это редко делают. Тут же накрыли на капоте машины барона («Лендровер», кажется), стали выпивать и закусывать. Толя пригласил его на концерт, на который он, кажется, не пришел. Он дал визитку Толе. Ходили пожилые цыганки, они предложили гадать, но Толя отказался. Они не пели, не попрошайничали, а, наоборот, показывали себя в богатстве. Вся встреча длилась минут 30–40.

На базаре в Сороках есть слепой музыкант. Я этого музыканта с детства помню. У меня осталась фотография его и Толика. Фотография такая, будто Толик пытается впитать в себя эту песню. Хотя он потом, конечно, смеялся.

Он почему-то производил очень сильное впечатление на так называемых простых людей. В Сороках я его привел в «Теплый дом», где собираются по субботам все евреи. Там была пожилая женщина Аня по кличке Варьетта — это на идише «сплетница». Она раньше работала в Сороках на телефонной станции телефонисткой и слушала все разговоры, а потом все, что она слышала за смену, — кто, что, кому рассказывал по телефону — знал весь город, но на нее не обижались. Узнав, что Пинский — музыкант, она сказала: «Господин Пинский, вы должны послушать настоящую еврейскую песню». У нас в Сороках принято было обращение «мадам» — мадам Рачевская, например, а к мужчинам — «господин». Мы с ним хотели куда-то пойти перекусить, но остались, и она пела ему минут 30 разные фольклорные вещи. Он с юмором к этому относился, говорил ей спасибо, они целовались долго. Ей было лет под 80.

Когда мы с ним встречались, его очень живо интересовала театральная жизнь моей жены. Я думаю: «Что такое, может, это потому, что он себя

[89] Министерство образования находилось на Люсиновской улице.

[90] Толя с Ефимом поехали в Сороки готовить гастрольную поездку «Доны» по черте оседлости, состоявшуюся летом 2004 г.

в чем-то чувствует артистом?» Но потом он меня детально всегда спрашивал про папу и про Леву, и я понял, что не в этом дело. Его просто искренне совершенно интересовало: а какой у них режиссер, а что она делает? Это черточка очень важная, на мой взгляд. Я помню, как он у меня просил Шимутину[91]: выяснял степень ее занятости и что она делает. Потом говорит: «Слушай, Хаим, дай мне Шимутину». Я говорю: «На сколько?» Ну, дай, говорит, недельки на две, а там видно будет.

Я был совершенно потрясен, когда Толик приехал ко мне на 50-летие в школу и привез весь свой струнный оркестр. Кстати сказать, на парадные сборища Клуба директоров он тоже тащил струнный оркестр, который там играл. Когда он меня насиловал, заставляя петь в «Доне», я не мог ему доказать, что не сумею, я привел последний аргумент: мне Наташа не разрешает. Он говорит: «Все, тогда я сдаюсь». Я никогда не забуду, как он мне показывал и объяснял, как играет оркестр, — я же в этом ничего не понимаю. Он очень детально объяснил, показал. Для меня это было открытие. Кстати, Пинский мне объяснил, как летают самолеты. Я, честно говоря, не понимал, и Толик мне нарисовал крыло в профиль. В каком-то ресторанчике мы сидели, и он мне объяснял, как летают самолеты.

Я очень хорошо помню его доклад, сделанный на выезде, где были директора Южного округа. Его пригласили сделать доклад про профильное обучение, которое всем казалось диким. И было так ясно, что Пинский, конечно, не директор, т.е. он фактически директор, но на самом деле, как ни пафосно это звучит, он стратег. Мы вместе были на семинаре директоров еврейских школ в Подмосковье — Толик Каспржак, Пинский и я. Сначала я выступил, потом Толик Каспржак на них наорал — он же громко всегда говорит, потом вышел Пинский. Он им рассказывал, рассказывал, рассказывал, потом он начал петь. Он пел с кем-то из «Доны». Что с директорами стало происходить, когда все кончилось! Они не просто подходили к нему адрес записать, а хотели хотя бы дотронуться до него рукой — все это было очень трогательно. Стали зазывать его к себе. Они смешные все были, и он чувствовал, что они смешные.

Вообще мы о еврействе с ним говорили довольно много. Не на уровне той версии идишкайта, которую он потом описал в своих текстах, а исключительно в такой ностальгически-народной тональности. Я вспоминал какие-то эпизоды, рассказывал, он жадно все это слушал — про мешпоху, про отношения, про традиции. Мы никогда не говорили о проблемах антисемитизма. У меня было такое ощущение, что Толик понимал, что антисемитизм есть, но это было то, что я опять же называю высокими словами, — гражданское мужество. Ему было наплевать на них и на то, кто они такие, эти антисемиты.

[91] Елена Николаевна Шимутина вошла в команду, работающую над темой общественного управления.

Я как-то подумал, что об антисемитизме говорят люди, не лишенные комплексов. Есть анекдот про то, как заику не взяли на работу диктором. Его спрашивают: «Ну, как?» Он отвечает: «Не взяли. Потому что еврей».

Мы все время с ним ругались по поводу произношения слов на идише. Я настаивал, что «мама» — «Моме». Он говорит: это у вас там, у бессарабов, «Моме», а надо «Маме» и т.д. Он говорил, что наш идиш вульгарный, я настаивал на том, что его идиш сплошь состоит из заимствований.

Мы с ним порознь ездили в Англию. И я высказывал сомнения в его знании английского языка. Он поначалу все произносил так, как написано, — он ведь сам изучал языки. И его понимали. На всех языках его понимали. Он и пел так же: он же не учился пению, консерваторию не заканчивал. Он самоучка. Это бесстрашие: «Я могу выйти. Петь. Могу говорить по-английски — меня поймут». Его понимали. Это мужество. Это то же самое, что школьное здание заполучить, и взаимодействовать с тогдашним Векслером — то же самое. То есть если его что-то сильно интересует, дело ему интересно, он обязательно это дело доведет до результата. И так же с фантастическими историями про его вождение: как он въехал в троллейбус, например.

А помнишь на границе ситуацию? Когда Толя не хотел давать взятку. Он был согласен на взятку в 100 долларов, но не 150. Он всегда реально оценивал официантов, гаишников и т.д. Такую взятку я готов дать, но такая — это слишком много. Чем все кончилось? Я не в первый раз пересекал границу. Я понял, что с Пинским спорить бесполезно, просто добавил свои деньги и отдал взятку. Чтобы какая-то челядь из него вытягивала его трудовые деньги и пыталась им помыкать — он этого не допускал. А под челядью я имею в виду всех — от начальника налоговой службы Москвы до таможенника на границе.

Абсолютно свободный человек

(воспоминания Евгения Бунимовича [92])

Мы познакомились с Анатолием Аркадьевичем не так уж давно. Жаль, могли бы и раньше. Немало было в жизни мест и обстоятельств, в которых мы могли и даже должны были пересечься. Но — разминулись.

Это было десять лет назад. Свежеизбранный депутат Московской думы, я пришел на заседание «круглого стола» московских директоров

[92] Евгений Абрамович Бунимович — депутат Московской городской думы, возглавляет комиссию по образованию и культуре.

школ. С половиной я был так или иначе знаком — все-таки всю жизнь провел в школе. Слышал, разумеется, и про Пинского, но никогда с ним не общался. И надо сказать, что даже в этой среде директоров известнейших московских школ, лицеев, гимназий, где каждый был штучным, ярким, даже на этом фоне он выделялся. Всякий директор хорошей школы, который смог что-то реальное сделать в этой жизни, смотрит на весь остальной мир немножко как на недоразумение. И не особенно стремится весь этот мир преобразовать. Лишь бы ему не мешали делать то дело, которое он, директор, знает и умеет.

С Анатолием Аркадьевичем дело обстояло иначе. Было ясно, что ему этого мало. Ему нужно было, чтобы не только у него все было складно и разумно, ему было позарез необходимо, чтобы те вещи, которые самому ему казались простыми и естественными, поняли наконец и другие.

Впрочем, в образовании немало и таких мечтателей, которые сами вроде бы что-то там нашли и очень хотят, чтобы этим воспользовались другие. Проблема таких мечтателей в том, что кроме красивых слов они ничего предложить не могут. Пинский был другим. В нем было совершенно невероятное, даже парадоксальное сочетание смелых и вроде бы заоблачных идей — и абсолютно земного, здравого умения их реализовывать. Вроде бы, если трезво глянуть на то, что происходит вокруг, ясным становится, что никакие замечательные, чистые проекты, в центре которых — ребенок, его интересы и мечты, на нашей грешной земле реализованы быть не могут. Меня поразила глубокая убежденность А.А. в том, что эти планы могут быть реализованы, а главное — его равно свободное владение абсолютным языком этих идей и в то же время реальным, вполне материальным языком, который необходим, чтобы все это воплотить.

Для меня самого вопрос языка тогда стоял серьезно. Я пришел в другой мир, мир чиновный, и для меня было важно сохранить свой мир, свой язык. Я понимал, что, даже если начать говорить на этом канцелярите, все равно будет отчетлив акцент. И вот я увидел человека, который говорил на своем языке, и, тем не менее, было совершенно очевидно, что с ним трудно будет не согласиться даже самым заскорузлым чиновникам, потому что все было очень внятно, с абсолютной уверенностью в том, что это выполнимо, и, самое главное, с убедительными основаниями для того, чтобы это выполнялось. Вера в то, что можно все устроить разумно и естественно, отличала А.А. от других традиционных московских интеллигентов, которые знают, что вокруг все ужасно, что ничего сделать нельзя, и потому не отказывают себе в праве даже не пытаться что-то сделать. Его убежденность, что все можно обустроить нормально, по-человечески, сочеталась с тем, что для этого он предлагал простые и ясные пути.

Когда через некоторое время мне предложили возглавить комиссию по образованию, которую создала партия «Яблоко», и я понял, что обречен

ее возглавить, я поставил только одно условие: работать не с партийными функционерами, а с профессионалами, которые понимают, как надо преобразовывать наше образование, что нужно делать со школой. И первый, кого я пригласил, был Пинский. Надо сказать, что мы плохо понимали мир политический, но зато хорошо понимали, что такое образование и чего мы хотим добиться. Это была гремучая смесь политической наивности с человеческой ответственностью. Раз нужно было написать программу образования, мы сели ее писать. Позже, когда я решил поинтересоваться, что делают остальные партии, другие комиссии, где их программы, выяснилось то, о чем мы уже начали догадываться. Никаких реальных программ, в том числе и образовательных, либо вообще не существовало, либо они были на полстраницы и написаны в стилистике «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, поэтому голосуйте за нас». На этом безрадостном фоне мы и писали свою образовательную программу, при этом обратившись за помощью к лучшим специалистам. Я помню, с каким удовольствием, с каким упоением мы все это делали, — и это было самое главное.

При этом мы с А.А. обнаружили одно существенное расхождение в методах работы со взрослыми, с теми, кто мешал проводить какие-то осмысленные идеи. А.А. всегда ужасно удивлялся их непробиваемости: он считал, что как любого ребенка можно научить, развить — так и взрослым можно доказать, объяснить. Я тоже был уверен, что детям многое можно объяснить и многому научить, а вот люди взрослые с их грузом предубеждений и предрассудков бесперспективны, и работать с ними практически бесполезно. А он считал, что можно все всем объяснить, достучаться, надо только внятно все изложить. И излагал, объяснял, пытался достучаться…

* * *

Это было романтическое время, когда казалось, что многое можно сделать, многое будет сделано, и что-то, кстати говоря, сделать удалось. Потом, когда появился новый министр образования В.М. Филиппов и захотел привлечь специалистов для осуществления преобразований в области образования, он пригласил фактически всех членов моей комиссии, начиная, конечно, с Пинского. Из чего следовало, что мы с А.А., наверное, действительно выбрали самых интересных, самых профессиональных людей, и это хорошо. Но следовало и то, что других нет, и это плохо.

Это было вообще замечательное время: нас было немного, но мы были вместе, и нам казалось, что что-то разумное, человеческое действительно может быть реализовано. Вот еще один характерный забавный штрих. Позже, когда Кремль заказал знаменитую программу больших преобразований, ее должен был делать Центр господина Грефа — большими

силами, за большие сроки и большие деньги там делались программы по всем областям, в том числе и по образованию. Когда через год они сделали и предъявили в первом приближении известный документ, в нем была одна удивительная сноска. Эта единственная сноска была в разделе «Образование» и звучала примерно так: «При подготовке документов были использованы материалы комиссии по образованию партии “Яблоко”». «Яблоко», как известно, партия оппозиционная. Тем не менее эта очень большая и очень государственная структура была вынуждена на первом этапе (потом сноску, разумеется, убрали) признать, что многое из того, что предлагалось, уже было разработано до них — очень маленькой и очень неформальной группой единомышленников. Мы тогда действительно смогли нащупать много интересного, важного, необходимого. К сожалению, далеко не все это реализовано, а то, что реализовано, нередко было искажено до неузнаваемости.

По правде сказать, какой я политик, а уж А.А. — тем более, но история дала нам тогда почувствовать, как делается политика, как на нее можно влиять в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. В Госдуме происходила смена руководства комитетов, обычные политические игры. У «Яблока» появилась возможность возглавить один из комитетов, и мы встретились втроем — с А.А. и Явлинским. Сидели в ресторане, ели, пили, и А.А. уверенно объяснял Григорию Алексеевичу, что если уж брать не почту и телеграф, а комитет в Госдуме, то нужно брать именно комитет по образованию. Была и кандидатура, мы договорились с «яблочным» депутатом ГД А.В. Шишловым, который, правда, не занимался до того образованием, но казался (и оказался) человеком толковым, серьезным и к тому же выпускником физматшколы, что вселяло некоторые надежды. Мы обещали помощь — все что возможно. Убежденность Пинского была заразительна. К полуночи Явлинский сдался, а наутро в радио- и теленовостях объявили, что «Яблоко» получило комитет по образованию и возглавил его Шишлов.

Мы созвонились с А.А. и обсудили, что вот так, в ресторане, под телячьи котлеты, наверное, и делаются все перевороты. Начиная с театрального переворота, осуществленного Станиславским и Немировичем, как известно, в «Славянском базаре», заканчивая переворотами и путчами государственными. «А что же тогда они все делают в своих банях и саунах?» — спросил я озадаченно. «Может, все-таки моются?» — предположил А.А., который, как я уже отметил, никогда не уставал надеяться на лучшее.

За десятилетие моего пребывания где-то около власти это был единственный эпизод с таким быстрым и внятным публичным результатом. Всем было ясно, что это дело рук Явлинского, многим было ясно, что и я в этом участвовал, и мало кому было известно, что автором и мотором всего был Пинский. Именно его абсолютная убежденность плюс квалификация

давали уверенность в том, что все можно сделать. И сам он никогда не бросит, не кинет, и не в том денежном смысле, как это теперь у нас принято, об этом вообще не могло быть речи, а в самом настоящем. Своим профессионализмом, своей работоспособностью и умением включиться полностью в дело он, собственно говоря, и гарантировал во многом успех. Через год Александр Шишлов был назван Человеком года в образовании.

* * *

Я упомянул о тоне, об интонации в разговоре с властью. После моего первого выступления на правительстве Москвы один депутат удивленно спросил, как это у меня не дрогнул голос, будто я там выступаю всю жизнь, да еще говорю своими обычными словами. Я отшутился, объяснил, что я учитель, стало быть, мои коллеги — Моисей, Магомет, Христос, Будда, где уж тут робеть перед мэрами и премьерами. А.А. это было свойственно в куда большей степени. Его интонация — а за этим стоит очень многое — была всегда абсолютно одинаковой. Совершенно не важно, разговаривал он с первоклашками в школе или с начальством, — всегда звучала абсолютно одинаковая, уникальная, только его интонация. Был ли это еврейский ресторанчик или заседание департамента образования, урок в пятом классе или крупное международное совещание — это всегда была спокойная, естественная и при этом очень домашняя интонация. И становилось ясно, что все связанное с его делом, с образованием, со школой — это не работа. Это его дом, часть его жизни. Это и была его жизнь.

Иногда это казалось слабостью. Я помню коллегию министерства, на которой он был основным докладчиком по очень жестким вопросам. Несколько членов коллегии, для которых образование — это ремесло, карьера, диссертации и уж никак не сущность и смысл жизни, слушая предложения А.А., почувствовали то единственное, что, собственно, они и способны чувствовать, — угрозу того, что от них уплывает часть бюджетного пирога, что они могут потерять часть силы, власти, раз появляются какие-то другие, да к тому же малопонятные им силовые поля. Они стали задавать вопросы, по сути совершенно абсурдные, но по форме складные. Это были люди поднаторевшие, которые многих пересидели, и простодушие интонации А.А. меня тревожило. Казалось, он не сможет с ними справиться, он шел с открытым забралом, а надо было изощренно защищаться и одновременно нападать. И невозможно было ему толком помочь, он был разработчик, докладчик, он и должен был отвечать. И было совершенно невероятно, как он все на том же своем языке, совершенно не похожем на язык, которым пользуются на министерских коллегиях, каким задавались вопросы, абсолютно определенно и просто всем все объяснял. И настоял-таки на своем. Его апелляция к здравому смыслу, к детям, к тому, для чего

все делается (а это он понимал очень ясно) каким-то удивительным образом обезоруживала самых изощренных противников, собаку съевших на такого рода обсуждениях. Причем это не был вопрос искусства полемики. Он создавал ощущение «ну о чем еще речь, ведь и так же все понятно». И это передавалось другим.

Интонация была одинаковой в любых обстоятельствах. Иногда я был в позиции начальника, как в той же комиссии «Яблока», а иногда наоборот. Так было, например, когда я работал над новыми экспериментальными заданиями для экзамена по математике 9-го класса. Я занимался этой частью общей работы, ибо математика — моя профессия, и только через некоторое время узнал, что во главе всего проекта стоит А.А. Мои коллеги удивились, когда совещание участников проекта было назначено в его школе. Ведь начальники обычно всеми силами стараются «повысить градус», чтобы все понимали, куда, к кому они пришли. А здесь все было иначе.

И опять я услышал ту же интонацию, увидел ту же цельность и естественность. Что могло его заставить быть другим? Наверное, ничего. Это и есть незаемная, внутренняя свобода. «Просто абсолютно свободный человек», — уже потом, на прощании с А.А., сказал о нем Явлинский.

Откуда эта свобода? Можно, как у Чехова, по капле выдавливать из себя раба. Но это все-таки видимое усилие, упорная работа. Надо все время напрягаться, выдавливать чего-то… Я встретил А.А. человеком зрелым, вполне сформировавшимся, не знаю, что было до того, но никакого усилия по самоосвобождению не видел в нем никогда. Думаю, что это все-таки было даровано ему свыше. Такая естественность и цельность казалась беззащитной, но на самом деле была абсолютно несокрушимой. И поскольку было ясно, что сдвинуть это никуда нельзя, лучше было с этим смириться.

Не хотелось бы, чтобы от всего сказанного осталось ощущение идиллии. Мы очень много спорили, в каких-то вещах расходились, совсем не всегда сходились во мнениях. Вот конфликтов не помню, трудно представить себе конфликт с А.А., но, конечно, были разные взгляды, разные позиции. Да и было бы странно людям, пытающимся о чем-то задуматься, иметь по всем вопросам схожие суждения. Помню довольно жесткую нашу полемику, причем публичную, на слушаниях в редакции «Известий». Пинский высказывал какие-то новые идеи, часть из них меня устраивала, часть — нет, но в принципе все это можно было обсуждать, корректировать. Но меня задело не содержание, а форма. А.А. все время ссылался на президента, повторил «как сказал президент» раз пять, если не десять. Притом что, будучи настоящим профи, А.А. разбирался в вопросах образования лучше любого президента. Мне эти ссылки казались особенно нелепыми, ибо мы вместе и порознь не раз участвовали в разработке всяческих аналитических документов, с которыми потом выступали и мэр, и министр, и президент, так что не исключено, что то, на что он ссылался, он сам и написал, а уже потом это в какой-то

степени было учтено в послании президента. Я недовольно перебил его: «Уважаемый Анатолий Аркадьевич, вы столько лет в образовании. Что же, пока все это не произнес президент, вы были не в курсе того, о чем говорите?» Конечно, это было обращение не столько к А.А., сколько к аудитории, которая ехидно загудела.

Надо сказать, что, в отличие от ситуации с коллегией, А.А. мне достойного отпора не дал. Он посмотрел на меня немного растерянно, и во взгляде его читалось: «Ну понятно же, что я ссылаюсь на президента не потому, что не знал этого сам. Просто у нас теперь есть хотя бы некоторая поддержка с самого верху. Нам будет легче проводить разумные идеи. Ради этого можно и сослаться лишний раз».

Все-таки это была если не публичная ссора, то намеренное обидное для А.А. высказывание. И поэтому, когда мы встретились через несколько дней, у меня, конечно, не было никаких претензий (я уже говорил, что с Пинским невозможно было находиться в состоянии ссоры), но все-таки какое-то послевкусие было. А он, мне кажется, даже не вспомнил. Забыл или не хотел помнить. Было ясно, что происшедшее вообще никакого отношения ни к чему не имеет. С другими уважаемыми коллегами не так. Бывают и напряжение, и ссоры, и амбиции. Мы просто сели и продолжили вместе что-то делать. Как всегда, срочное.

Не случайно на юбилее А.А., рассказав этот эпизод, я напомнил, как в советское время в московской синагоге висели две молитвы. Одна за мир, другая — за советское правительство. И в том, как он ссылался на президента, было не желание «задрав штаны, бежать за комсомолом», а вот эта вековая горькая национальная мудрость.

* * *

Анатолий Аркадьевич был одним из самых ярких и удивительных людей российского образования, А может, и самым удивительным. Удивительным — во всем. Вот мы с женой и друзьями, сбежав с официозного концерта и банкета, приехали во всей Москве известный своей дешевизной и простодушием грузинский ресторанчик «Мама Зоя». Взяли еще не запрещенного тогда грузинского вина, боржоми. На сцене появилось забавное трио со скрипочкой и гармошкой, затянули хрестоматийное «Тбилисо», спустились в зал, направились к нашему столику.

И что я вижу? Один из этой колоритной троицы, слаще всех выводящий это самое «Тбилисо», — не кто иной, как почтенный директор знаменитой московской школы, автор многих ученых трудов, советник самого господина министра образования Анатолий Аркадьевич Пинский. Собственной персоной!

Любой другой в такой ситуации, пожалуй, мог бы выглядеть неловко, нелепо, но только не А.А. Он счастливо улыбался, мы улыбались в от-

вет, даже пытались подпевать, он представил своих друзей-музыкантов и потом еще спел, перейдя на идиш, колыбельную, ту самую, которую мне когда-то пела бабушка.

Поэтому, когда А.А. появился у меня с проектом фестиваля песен на идиш, я не удивился. Кроме встречи в «Маме Зое» был уже и «Тевье-молочник» в его школе. Но идея клейзмерского фестиваля в Москве все равно казалась провальной. Песни далекого детства, мир бабушек и прабабушек, это будет что-то мемориально-почтительное. Кому это нужно? Грустно, что идиш-культура уходит и ее не хранит не только Россия, но и Израиль — страна с другим языком, с другим образом мыслей. От щемящей интонации культуры идиш в Израиле не то что избавляются, но хотят представить миру другой образ еврейской культуры.

Мне было ясно, что я не могу не помочь этому проекту, но абсолютно не верю в успех предприятия. Тоскливо было даже представить себе, как А.А. с его энтузиазмом, уверенный в том, что все будет замечательно, будет стоять посреди никому не нужного концерта и стараться что-то спасти. И было заранее его жаль.

Проект оказался успешным. Хотя слово «успех» не совсем точное, успех может быть у чего ни попадя, у любой поп-звезды. Куда важнее живая жизнь, которая теперь уже несомненна во всей этой затее, оказавшейся востребованной, несмотря на все мои логические доводы. На концертах я увидел и каких-то удивительных людей из местечек, живых носителей идиш-культуры. Мне казалось, что уже не только этих людей нет, но и местечек таких нет, все это было невероятно и пронзительно. И одновременно я увидел настоящих европейских и американских профессионалов, для которых это тоже дело жизни. И тут же были модные фигуры мира московских клубов, причем не попсовые — Псой Короленко, Иван Жук. А сердцем, мотором и вообще всем был, конечно, Анатолий Аркадьевич.

В школе у меня был по пению трояк, да и то потому, что неудов по пению не ставили. Я не очень хорошо понимаю, как именно пел Пинский. Да я и не в консерваторию пришел. Это было живо, ярко, трогательно, заразительно. Я не знаю, каким будет дальнейший путь фестиваля, потому что это — его детище, и сколько бы людей ни числилось среди организаторов, ясно, что Дона-фест, Идиш-фест — это Пинский. Наверное, фестиваль изменится. Но он вдохнул жизнь в большее — в саму идиш-культуру, которая казалась в Москве полностью утраченной…

Много, конечно, о чем еще можно вспомнить и рассказать. Но памяти не приказывают. Я помню Анатолия Аркадьевича Пинского прежде всего именно таким — счастливым, домашним, напевающим бабушкину колыбельную.

Он был человеком ренессансного типа

(рассказывает Исак Фрумин[93])

В 1998 году было сформировано правительство Примакова, и всем было ясно, что это переходная ситуация. В это время работал форум «Российская школа», вырабатывались новые идеи, но серьезных программ реформирования образования не выдвигалось. При Примакове разрабатывалась Образовательная доктрина Российской Федерации, которая означала откат: отказ от ценностей свободы, интеграции в мировое сообщество. Все эти проблемные точки Доктрины обсуждались на форуме «Российская школа».

Параллельно с группой, которая работала над Доктриной, стала собираться другая группа — на базе Высшей школы экономики под руководством Кузьминова. Была создана экспертная группа, в которой активное участие принимал А. А., разрабатывавшая вопросы содержания образования. Когда В. М. Филиппов был переутвержден в качестве министра образования, то есть перешел из правительства Примакова в правительство Касьянова, он, по всей видимости, осознал, что то направление развития школы, которое было представлено в Доктрине, не соответствует тенденциям социально-экономического развития страны, общей идеологии модернизации. И именно тогда он поставил на группу, которая была близка к Высшей школе экономики и в которой одну из ключевых ролей играл Анатолий Аркадьевич. Фактически Филиппов и возглавил тогда работу этой группы над выработкой программы модернизации образования.

Программа «Яблока» сыграла в этом роль, но не больше, чем целый ряд других программ. Потому что идеи общественного участия в управлении, проблема объективной оценки качества кочевали тогда из программы в программу. Но надо признать, что именно благодаря настойчивости и последовательности Пинского ряд важнейших идей, таких как идея компетентностно ориентированного содержания образования, нашли свое очень ясное воплощение в программе модернизации. Можно утверждать, что Анатолий Аркадьевич был одним из ключевых ее соавторов. И после того как эта программа была принята правительством и стала основой разворачивания правительственной политики, Анатолию Аркадьевичу, который оставался директором школы, было предложено стать советником министра. И уже в этом качестве он курировал и разрабатывал ряд важнейших направлений реформы образования.

[93] Исак Давидович Фрумин — в 90-х годах директор гимназии «Универс» г. Красноярска, позднее координатор образовательных программ Всемирного банка.

Кроме этого, Анатолий Пинский стал душой созданного в то время, опять-таки на базе ГУ–ВШЭ, РОСРО — Российского общественного совета развития образования, который попытался объединить вокруг себя не только либералов, но и всех людей, заинтересованных в развитии российского образования. РОСРО стал площадкой для коммуникации относительно различных стратегий, которые возникали в то время в российском образовании и боролись за то, чтобы стать базовой стратегией развития.

В этом качестве Анатолий Аркадьевич отстаивал прежде всего два направления работы, вернее, отстаивал все, но свой энтузиазм и интеллектуальные усилия он вложил в два направления: это общественное управление образованием — автономия школы при общественном контроле и профильное обучение. Он всегда подчеркивал, что автономия не означает свободу учителей делать все, что они захотят, а общественное управление не означает помощь общественности административным структурам, которые стоят над школой. Его идеалом была школа, которая управляется всем школьным сообществом, в которое входят и учителя, и ученики, и их родители. Последовательно и настойчиво, как и все, что он делал, он пытался претворять эти идеи в жизнь. В то время был подготовлен законопроект о школьных управляющих советах, который, к сожалению, не получил продолжения. Но, тем не менее, Толе удалось сделать так, что эта идеология стала доминирующей в дискуссиях о развитии управления образованием.

Конечно, один из самых дорогих для него интеллектуальных «детей» последнего времени — это проект профильной школы. Потому что именно Пинский понял в свое время, что никакие перемены в стандартах образования без изменения структуры того, как учится ребенок в старшей школе, не помогут реально повысить качество образования. Только профилизация, которая понималась им как индивидуализация, могла разрешить противоречие между необходимостью дать школьникам фундаментальные и одновременно прикладные современные знания, умения и навыки и невозможностью дальнейшей перегрузки содержания образования. Он со всей страстью продвигал эту идею.

Было очень интересно, как она эволюционировала. В первоначальном варианте этой концепции предполагалось, что ученые из московских кабинетов разработают пять ли, десять — неважно — профилей и потом все школьники будут двигаться по ним. Но после первых же проб и дискуссий с реальными людьми, которые в этом принимали участие, Толя понял, что это может превратиться просто в новую, более изощренную форму жесткого администрирования учебного процесса и самой учебной деятельности ученика. Он резко и решительно перенес центр идеологии профильного обучения с заранее подготовленных профилей на индивидуальные образовательные траектории.

В этой работе у Пинского проявилась фантастическая способность объединять людей. Он, понимая, что в команде стратегов и реформаторов, к которой он принадлежал, не хватает людей, которые способны реализовывать идеи профильного обучения в тексте учебных планов, в предметных методиках и т.д., предложил сотрудничество РАО, Институту содержания и методов обучения. Этот институт славился как оплот всего консервативного в педагогической науке — не настолько, как Институт воспитания, но почти. Толя сумел с этими людьми начать работу, и работали они вместе очень эффективно.

К сожалению, здесь надо сказать, что после смены руководства министерства совершенно необыкновенным образом этот проект был у Пинского отобран. По-видимому, кто-то решил, что мавр сделал свое дело. Проект передали в руки людей, которые, вероятно, не вполне понимали и понимают его общую идеологию. Мы можем теперь только предполагать, насколько успешным было бы сегодня профильное обучение в России. И можно только надеяться на то, что, поскольку сама эта идея довольно понятна и понята благодаря Пинскому широкой педагогической общественностью, она сама взойдет. Хотя, конечно, Анатолий организовывал распространение профильного обучения как системный, очень четкий проект, который сегодня уже дал бы свои плоды.

Не хотелось бы думать о том, какой удар по его здоровью это нанесло. Он чрезвычайно тяжело это переживал, он встречался с министром, писал письма в министерство, но по формальным причинам в пересмотре решения о том, кто будет вести этот проект, было отказано, и он переживал это как потерю очень дорогого для себя дела.

Но надо сказать, что А.А. это не сломило. Он придавал большое значение дистанционному профильному обучению, возможностям новых информационных технологий, и в разговорах с друзьями он делился своими планами, что в следующем, 2007 году он займется этой формой обучения, которая позволит резко индивидуализировать учебный процесс в школах, которые сегодня не имеют возможностей для профильного обучения, прежде всего в сельских.

Уйдя с позиции советника министра, он сосредоточился на работе в Центре социально-экономического развития школы Высшей школы экономики, и последним его детищем, вместе с А.И. Адамским и И.М. Реморенко, стал дизайн нового этапа национального проекта, комплексный проект развития региональных образовательных систем. Именно Пинскому принадлежит выбор основных направлений: новая система заработной платы педагогов, подушевое финансирование, общественное управление и оценка качества образования. Он сформулировал основные рамки для движения регионов в этом направлении и очень радовался, что национальный приоритетный проект «Образование» приобретает черты системной институциональной реформы. Это был его последний и, к сожалению, незаконченный проект.

В последние несколько лет в жизни А.А. случилось два очень тяжелых трагических события, не говоря уже о смерти матери в 2003 году. Одно — это когда у него отобрали проект профильного обучения. Он же занимался им 22 часа в сутки: когда у него этот проект отобрали, он не знал, как себя

вести. При этом он поступил очень благородно по отношению к ВШЭ, потому что выигравшая организация, которая перехватила этот проект, предложила Пинскому работу в качестве индивидуального консультанта. И он отказался, потому что его условием было, что они возьмут на контракт ВШЭ.

Страшным ударом для него было и то, что случилось 1 сентября 2004 года, когда после замечательного праздника начала учебного года в результате несчастного случая во дворе школы погибла ученица второго класса. Друзья помнят, как Толя переживал это событие, как он пытался помочь ее семье и винил себя в том, что, занимаясь работой в области образовательной политики, он уделял меньше внимания школе. Это событие послужило для него толчком к тому, чтобы отказаться от директорства, потому что, как он говорил в разговорах с друзьями, работа директора школы очень ответственная, требует полного вовлечения, и ею нельзя заниматься по совместительству. Для него это было мучительное решение, но он его принял, несмотря на то что до этого лет 7 спокойно совмещал эту работу с массой других.

Особенностью Пинского как управленца в больших национальных проектах было то, что он пытался управлять ими «в ручном режиме». Он не просто придумывал какой-то проект и из Москвы рассылал его по тысячам школ. Он пытался дойти до них лично. Он очень эффективно работал с информационными технологиями и безумно много ездил по регионам, встречался с людьми, лично смотрел, что происходит. Поэтому эти проекты были уникальны, и поэтому они реализовывались с такой результативностью. Потому что традиционно проекты в образовании осуществляются у нас так, что приглашают людей в Москву, дают им какую-то инструкцию и отпускают обратно. Потом эти люди присылают бумагу о том, что они сделали. Здесь была ситуация совсем другая. Фактически создавалась такая виртуальная команда, объединявшая людей из разных регионов, которая весьма успешно работала совместно. Это касается и общественного управления, и профильного обучения. И, к сожалению, этот стиль абсолютно неповторим, его нельзя заложить ни в какие управленческие схемы. Это либо есть, как у Толика, либо этого нет.

В 2003 году по опросу экспертов «Учительской газеты» Пинский был признан Политиком года в образовании. Это всех поразило. Как человек, не имеющий никакого официального статуса — ну что такое советник министра? у министра был десяток советников, — не являющийся ни депутатом, ни лидером партии, ни правительственным чиновником, может считаться Политиком года в образовании? Но Толя был Политиком года именно потому, что он был публичный политик, он работал с людьми, он встречался, он объяснял, он убеждал.

Для меня очень важно, что с Толиком никогда не было проблемы, о чем говорить, и разговоры с ним всегда, в любой обстановке, были какими-то содержательными. Потому что он мог, например, задать вопрос: «А правда, этот человек умный?» Это, казалось бы, житейский, обычный вопрос.

Но затем мы долго могли вести разговор о том, почему он умный. Что он такого умного, замечательного сделал?

И второе, конечно, в нем было поразительно. Сказать откровенно, некоторые люди утомлялись от его активности. Это понятно. Когда ты сидишь и спишь целыми днями, а тебя кто-то все время будит и тормошит, этот человек будет раздражать. Но сам Толик очень редко раздражался. Я бы сказал, что он удивлялся: почему людям не делать столь очевидные разумные вещи? Почему они делают столь очевидно глупые вещи? Он иногда меня спрашивал: «Ну вот как ты считаешь, почему же он так себя ведет?» И мне всегда было очень трудно это объяснить. Потому что он не признавал, что люди могут быть плохими изначально. Он считал, что либо это человек глупый, тогда он может ошибаться, либо, если это умный человек, у него есть какая-то задача. Она, наверное, очень правильная, но только вот он, Толик, ее не понимает. Его искренне это заботило. Поэтому, наверное, были люди, которые к нему относились нехорошо, но врагов у него не было. Не было людей, которых он считал бы своими врагами. И это, конечно, очень поучительно и поразительно.

Рождение «Доны» тоже весьма показательно для Толика. Это было в ресторане еврейской кухни. Шли дни еврейского праздника Хануки. Какая-то артистка пела известный шлягер. У нас была такая очень многонациональная компания. Среди нас был один мусульманин, и он спросил: вот в этом ресторане — они не знают еврейских песен? И выяснилось, что они не знают. Ну, мы, как водится это среди интеллигентов, посокрушались — это надо же, как жизнь устроена неправильно, — а Толик сказал: «Что значит неправильно? Надо устроить ее правильно. Надо организовать, чтобы здесь пели нормальные песни». И буквально через два месяца он мне позвонил и сказал, что я могу прийти на пробный концерт ансамбля «Дона». И могу сказать откровенно, что я страшно в этот момент ему позавидовал. Это огромное счастье. В каждом из нас есть немножко Обломова, то есть человека, который лежит и думает: хорошо бы и то еще сделать, хорошо бы и это еще сделать. Я не знаю, может быть, у него были какие-то неосуществленные мечты. Но на моих глазах все, о чем он говорил «вот, хорошо бы это сделать», в той или иной форме рано или поздно делалось. И вот это абсолютно поразительно.

Он был человеком ренессансного типа, который занимался и философией, и музыкой, и образованием, интересовался духовными практиками, и который был очень радостным[94].

---

[94] Уже на пике болезни мы были с Толей на приеме у врача-рефлексотерапевта. Тот провел обследование своими альтернативными методами и спрашивает Толю: «У вас бывают состояния немотивированной тревоги или тоски?» Мы все отвечаем: «Нет. Бывают состояния немотивированной радости!» Врач еще что-то поделал и говорит: «Ну да! Он такой человек. Человек Радости».

Вот так это все и было

(рассказывает Елена Чепурных[95])

Последние несколько лет — это период нашей совместной работы: моей в министерстве и его как советника министра. Это был период непростой по многим причинам: затевалась и осуществлялась реформа, и воспринималась она неоднозначно. Самое сложное было связано со школой, в высшем образовании было проще, были понятны международные образцы и то, что мы будем двигаться в том же направлении. А вот со средним образованием было ясно, что его невозможно привести к стандартам западного — европейского или американского — образования. И было мало людей, которые могли соединить западный и свой, российский опыт для того, чтобы в конечном итоге был найден путь для России.

Наше с Толей общение носило в начале характер постоянной дискуссии, постоянного диспута. Я вставала на точку зрения школьного учителя и пыталась сказать, почему я не принимаю что-либо, исходя из ситуации человека, у которого в результате наших действий возникнет больше проблем, больше работы. А у Толи была конечно же либеральная, продвинутая точка зрения. Мне казалось, он все время боялся, что чего-то не успеет. Я ему говорила: «Ну что ты торопишься? Давай еще чуть-чуть подумаем» — «Нет, давай ввязываться». Я говорю: «Я не могу ввязываться, мне кажется, это и это не до конца продумано». Наши споры, хотя и не переходили на личностные вещи, могли выливаться в 20–30-минутную перепалку на заседании координационного совета. И я точно знаю, что, если бы я с кем-то так спорила и это был бы не Толя, я бы обижалась. Ведь мы, друг друга не оскорбляя, все-таки друг друга не щадили. Но мы заканчивали этот спор и выходили совершенно спокойно, без внутреннего напряга, переходили на нормальное человеческое общение по поводу детей, завтрашнего дня и т.п. Наверное, это нам удавалось потому, что мы прекрасно понимали, что каждый из нас пытался защитить свой, сильно отличающийся от представлений другого, мир образования. И, что мне кажется самым важным, мы в результате к чему-то приходили.

Это было непростое время. К нему все по-разному относились и по-разному делали свое дело. У некоторых это был процесс. Сколько он будет длиться — кто знает: ну, обсуждаем и обсуждаем вопрос. Были темы, которые обсуждались по 5–6 лет и так ни до чего и не доходили. А Толя был очень сориентирован на результат.

[95] Елена Евгеньевна Чепурных — заместитель министра образования В.М. Филиппова, позднее заместитель председателя правительства ХМАО.

Вторая вещь поразительная — это то, что ему не хватало только своей точки зрения или точки зрения министерства. Хотя так можно было бы гораздо проще решить любые вопросы: сами договорились — и все. Он хотел в любом случае услышать точку зрения людей, которым придется это все выполнять. Проекты большие, с огромным числом территорий, разноплановых, разномастных, с огромным числом людей. Он хотел слышать если не учителя, то директора или общественного управляющего. И это было ценным.

Я думаю, единственное, чего он не мог до конца принять, — это ситуация с профсоюзами. Он не мог принять (и злился от этого) того, что они вообще ничего не хотят. «Мы ничего не хотим менять, оставим все как есть, потому что то, что у нас было, — это самое лучшее, оставим это на века». Он говорил: «Их невозможно убеждать, потому что они просто не хотят слушать. Не хотят вообще ничего предлагать». Он же по своей сути человек очень добрый, я ему говорила: «Ну почему ты с ними становишься таким агрессивным?» Потом я поняла, что это потому, что они его не слышали, а он пытался до них достучаться всеми удобными и неудобными способами.

***

Когда ты работаешь в министерстве и у тебя такой широкий круг знакомых, то в день рождения появляются подарки. Есть такие дежурные подарки: духи, букеты цветов. И вспомнить, кто эти духи подарил, практически невозможно. Каждый из Толиных подарков я помню и знаю, что это подарил точно он, и никто другой. Либо это было связано с определенными событиями, либо они сами по себе настолько нестандартны, либо он находил какие-то особенные слова.

У меня был период времени, когда я раздумывала: то ли мне из министерства уходить, то ли оставаться. Он, видимо, почувствовал, что я нахожусь в этом размышляющем состоянии, и принес мне на день рождения такую задумчивую обезьяну. Она была, как роденовский мыслитель, настолько погружена в себя, что он мне ее поставил на стол и говорит: «Вот ты посидишь еще немножко со своими размышлениями, и с тебя можно будет лепить такой же портрет». И каждый подарок что-то символизировал. Я все время хотела похудеть, и он принес мне лебедя: «Ну, пусть это будет у тебя как образец для подражания». Каждая вещь, которую он дарил, появлялась не потому, что надо было сделать подарок, а потому, что он хотел, чтобы она осталась в памяти.

Ну а если говорить о последнем годе, который прошел до дня его рождения, для меня, конечно, это была проверка взаимоотношений. После ухода из министерства многие отношения потерялись. Многие остались просто на уровне хорошего дружеского звонка. При такой резкой смене

деятельности, когда после Москвы я уехала достаточно далеко, вошла в систему, которую не знала, для меня это было самое тяжелое время. Даже труднее, чем 1996–1997 годы, когда происходили забастовки учителей, когда приходилось отвечать на острые вопросы, когда я понимала, что не могу дать слово, потому что его невозможно выполнить, и от растерянности опускались руки. Это было, конечно, очень непросто. Но когда я приехала в Ханты-Мансийск, на меня смотрели как на человека, который явился с федерального уровня: «Знаем ваших, министерских, вы только руководить умеете, сами ничего сделать не можете». А мне нужно было реализовывать проект, за который я взялась. И я поняла, что у меня не хватит времени, не хватит сил все оформить, написать, сделать, во-первых, потому что проект касался очень многих аспектов и, во-вторых, потому что по каким-то вопросам моих знаний просто не хватало. Тогда я ему позвонила и сказала: «Знаешь, я не уверена, что у меня здесь получится, по одной простой причине: пока я начну тянуть одно звено, у меня сразу же завязнет другое, потому что надо начинать сразу же по нескольким направлениям, тогда что-то было бы возможно».

И когда он мне сказал, что прилетит, я предупредила: «Толя, у меня нет денег. Ты должен понять, я только начинаю работу. Нет ни программы, ни научных денег, ни командировочных денег. Я заместитель председателя правительства, у меня нет даже структуры, которая могла бы тебя пригласить».

Он говорит: «Ну, нет — значит, нет. Значит, будем работать так, как мы с тобой раньше работали». И он прилетал ко мне практически каждый месяц. Выкраивая в своем очень плотном рабочем графике 2–3 дня, понимая, что, если я прилечу в Москву, я все равно буду разрываться между домом (потому что мне хочется повидать домашних) и тем, что надо сделать. Он понимал, что на месте мне будет работать в любом случае легче: с утра до вечера можно заниматься делом. И количество бумаг, которые мы сделали, написали, конечно, показало, что, если бы был он, я и еще 3–4 человека, можно было бы вообще все заново организовать. Мы выстроили законодательную базу и приняли законы — сразу же, одновременно закон об образовании, общественно-государственном управлении, образовательные стандарты. Все решали сразу же с родителями, с методическим обеспечением, с повышением квалификации — всем этим мы занимались.

Поэтому я понимала, что краду огромное количество времени. Я приходила на работу в полвосьмого в Хантах, это было полшестого в Москве. Либо у меня уже была от него электронная почта, либо часов с семи я знала, что могу совершенно спокойно ему позвонить и какие-то вещи проговорить. Сложность была еще в том, что он мастерски владел компьютером, а я на тот момент еще очень плохо. Он-то мог мне все написать, и было бы проще, если я бы ему могла быстро ответить. У меня это на первом этапе

не получалось, поэтому я была вынуждена будить его в семь, в половине седьмого утра: «Толь, ты меня прости, но я могу тебе только наговорить, с чем я согласна, с чем нет».

И, как ни странно — я до сих пор не могу понять почему, — у нас больше не было таких острых дискуссий, как в министерстве. То ли жизнь меня несколько пообтерла, сняла с меня спесь, то ли он стал более терпим к этому моменту, то ли мы оба с ним, встречаясь с людьми, поняли, что там, внизу, в школе дальней глубинки, все не так, как на уровне московской школы. Но за последние полтора года, что мы с ним работали, у нас не возникало принципиальных расхождений, двух разных точек зрения. Точка зрения была общая, просто выстраивался механизм, который и был главным. Мы ведь понимали, что, если мы не выстроим с самого начала механизм, по которому сможет действовать директор школы, своего рода органайзер, у нас ничего не получится.

Может быть, произошло то, что произошло: и он, и я были несколько отодвинуты от реформ образования, и для меня, и, я считаю, для него ханты-мансийский период был этапом, на котором мы хотели попробовать доделать все, что мы не успели сделать на федеральном уровне. Меня это мучило, угнетало, потому что оставались вопросы: то, что мы делали, было правильно или неправильно? И мне кажется, наш с ним щенячий восторг, когда в июне месяце были приняты все законы, которые мы сделали, — общественное управление, закон об образовании, закон, который касался детей-сирот и детей-инвалидов — этот восторг был связан не с тем, что мы это сделали. А с тем, что мы все это задумали еще в 2002–2003 году и это, значит, было правильно, хотя тогда встречено очень скептически. Значит, мы правильно считали, правильно решали все эти вопросы.

Мы с ним придумывали, как узнать точку зрения родителя на работу учителя. Он что-то набросал, я что-то поправила в соответствии со своим пониманием, потом мы с ним пришли в школу. И оказалось, что нужно не выставление оценки, что шкала для школ может быть разная в зависимости от того, что у кого болит, в каждой школе это будет свое.

И опять-таки мы делали работу, которая нам интересна, и самым главным для нас было — примут это в школе или не примут. Он приезжал последний раз в июле, и мы с ним разговаривали с директором школы. Директор сказал: «Вы знаете, у меня наконец появился механизм. Я его, конечно, доработал сам, под свою школу. Но вы, Елена Евгеньевна, скажите своим людям, которые писали, что они все сделали правильно». Мы с ним вышли. Я говорю: «Вот видишь, тебе сказали». Он говорит: «И тебе». Я говорю: «Помнишь, мы с тобой обсуждали, в чем сложность работы на федеральном уровне?»

На федеральном уровне ругать тебя будут все, это обязательно, но никто тебе никогда не скажет спасибо. Там ты все делаешь в большом масштабе

и безлико — как министерство. Имя называют, только если ты что-то сделал неправильно. Если правильно, никто на это никак не реагирует. Поэтому, в любом случае, мне кажется, что для нас Ханты-Мансийск — это было очень значимо. Может, я ошибаюсь, преувеличиваю, но мне казалось, что у него в работе с Хантами был кураж. Причем с точно выдержанным сроком. Он мне говорил: «Я не успеваю это сделать к 12-му». Я говорю: «Ну и черт с ним, давай сделаем к 15-му» — «Ты меня не расхолаживай». Я говорю: «Ну, я же все-таки заказчик. Я тебе говорю, что ничего страшного не произойдет».

Вот так это все и было.

Я говорила, что не справляла свое пятидесятилетие. Убежала, скрылась. Толя спрашивал почему. Я говорю: «Я не переживу. Когда мне принесут эту красную книжку с оливковой ветвью — я просто умру». И когда он мне сказал, что будет справлять юбилей, я говорю: «Ты что, с ума сошел? Ну зачем тебе это надо?» Он говорит: «Нет, ты знаешь, надо все-таки собрать людей, всем вместе немножечко попраздновать, это будет интересно».

Я сама для себя потом решила, что юбилеи нужны для того, чтобы кто-то успел все сказать. Там, на юбилее, все, что люди говорили, они говорили от души. Это были очень разные люди. Они успели ему сказать, может, не так много, как хотелось бы, но, тем не менее, сказали. А сейчас мы пытаемся сказать то, что не сказали тогда.

Мне всегда казалось, что я не могу об этом говорить, потому что если у людей есть хорошие отношения, то они подтверждаются делами, и разговаривать на эту тему не надо — все может проверяться только в делах. Сейчас думаю, может быть, я была неправа. Может, надо было говорить все это раньше.

Он понимал, что мир творится именно им

(рассказывает Ирина Абанкина[96])

Наверное, мы с Толей пересекались уже очень-очень давно. Когда люди живут в Москве, они обязательно попадают в такие точки культурных событий, в которых невозможно не быть. Но, наверное, мы

[96] Ирина Всеволодовна Абанкина — заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики.

не всегда друг друга идентифицировали, у нас тогда не было тесных контактов. Мы начали вместе работать и существовать в общем пространстве в 2000-х годах в Высшей школе экономики.

Почему я считаю, что наши первые пересечения случились существенно раньше? Потому что, читая Толины статьи, я нашла ссылку: в ней Толя упоминает о лекциях Мамардашвили о Декарте и Канте, которые тот читал на факультете психологии МГУ[97] еще в 80-е годы. Для меня эти лекции были большим событием в жизни, и я тоже на них ходила. Там собиралось довольно много народа, мы с сестрицей часто опаздывали, и, чтобы слушать, приходилось забираться куда-то на верхотуру.

Оказывается, там был и Толя, это была очень важная точка, в которой завязывалось много узелков, и каждый из нас потом это вспоминал, осмысливал. И это создавало не вещественное, но очень важное внутреннее, даже духовное пространство, в котором мы общались.

Я знаю, что и Толя, и я были в разных методологических тусовках — Г.П. и Пети Щедровицкого. Несколько раз мы пересекались на больших форумах. Экономистов в методологических кругах было немного, и мы смеялись, что Г.П. «отдохнул» на нескольких профессиях, кооптируя из них членов в свое движение. Это были психологи, педагоги, даже архитекторы. Многие из методологов — и Слава Глазычев, и Олег Генисаретский, и Александр Раппопорт — были, скорее, архитекторы. А вот среди экономистов методологов оказалось, как ни странно, меньше всего. И мы с Танечкой[98] оказались втянутыми в методологические обсуждения как раз архитекторами, которые привлекли к ним еще нескольких наших коллег, но, в общем, немногих. Очевидно, для Г.П. экономисты были не самыми подходящими людьми.

А Толя умел находить общий язык с очень многими людьми совершенно разных профессий. Наверное, для него это была редкая возможность обеспечить полноту своих замыслов. Он умел говорить с экономистами, с юристами, с педагогами, с психологами, и, главное, он умел не только говорить — он умел с ними вместе работать и с ними вместе делать очень важные и серьезные комплексные проекты. Это удивительная и очень конструктивная Толина способность.

Мне хочется сказать про тот период, когда мы работали в Высшей школе экономики. Толя был инициатором многих и многих идей. Если он понимал, что он один не справится, он умудрялся втянуть людей, которые

[97] Лекции читались в Институте психологии и педагогики («Давыдовском»), находившемся неподалеку от факультета психологии.

[98] Татьяна Всеволодовна Абанкина, также сотрудничавшая с А. Пинским в образовательных реформах.

ему действительно всерьез помогали. Шла прекрасная работа с А. Шишловым[99]. Мне сейчас очень жаль, что многие регионы пишут о том, как хорошо в богатых областях нормативно-подушевое финансирование позволяет реализовать все замыслы и программы развития, а в других, победнее, это сделать трудно. Сейчас в газетах выходит много таких статей. Все как будто очнулись, только что увидев всю глубину дифференциации в финансировании образования между регионами и между школами. И мне все время хочется задать вопрос: а где вы были тогда, когда именно Толя Пинский, убедив в этом Шишлова, собрав вокруг себя всех нас — и Наташу Типенко, и Володю Клеманова, — пытался пробить идею федерального норматива на выполнение государственного стандарта? Норматива, для всех одинакового и умноженного на региональные коэффициенты стоимости бюджетных услуг. Чтобы бедные получили столько, сколько им нужно, а богатые, используя свои ресурсы, могли бы задействовать, в том числе, и свои средства.

Мы тогда много хотели сделать, причем одновременно, в комплексе: и новый образовательный стандарт, и финансирование этого стандарта. Мы очень много печатались, Толя ездил по регионам, собрал всех специалистов и экспертов, убедил Филиппова сделать рабочую группу в министерстве, которая бы работала вместе с Думой. Я хочу сказать, что умение Толи формировать команды, быть лидером этих команд, вести за собой людей было абсолютно уникальным. Многие за этим даже не успевали. Поэтому я и говорю, что Толя — это тот самый ветер перемен, который умеет мчаться вперед, захватывая всех в свой водоворот. Он успевал, умудрялся все делать, придумывая и опережая. И сейчас его очень не хватает, не хватает его энергии, не хватает его умения договариваться, его креативности, позволявшей преодолевать очень многие сложности.

И, конечно, очень приятно, что многие регионы, с которыми он работал, в которые он вложился своим потенциалом организации работ, нового видения перспектив школы, ее взаимодействия с окружением, оказались в лидерах и в победителях. Это во многом его заслуга.

Профильная школа сегодня почти общее место. А ведь когда-то, когда Толя ее начинал, казалось, что сопротивление так велико, что это никогда не прорастет, никогда не получится. И он, все видя и будучи уверен в своих идеях, пытался убедить в них других и даже где-то смягчить их перспективность. Чуть-чуть отступал назад только для того, чтобы сделать хоть какой-то шаг в развитии. И тут его энергии, его умению не унывать можно было только завидовать. А еще он умел отдавать другим тех «детей», которые

[99] Александр Владимирович Шишлов, депутат Государственной думы от партии «Яблоко».

уже выросли. Конечно, в свое время мы очень переживали, когда проект профильной школы у Толи фактически забрала себе РАО. Мы проиграли этот проект на этапе, когда уже шло масштабное внедрение. Если бы кто-то другой оказался на Толином месте, не знаю, сумел бы он это пережить так мужественно, как пережил это Толя. Придумывая новые идеи и расставшись с профильной школой, он умудрился за этот оставшийся ему очень-очень короткий срок создать проект комплексной модернизации региональных образовательных систем.

Толя умел различать тех людей, на кого можно положиться, сделать своими соратниками, и тех, с кем он умел вместе работать, внутренне понимая, что ему будет трудно на них опереться и найти такой компромисс, чтобы они не препятствовали движению вперед. Он ведь умел и с профсоюзами разговаривать, и с министерством, с теми сотрудниками, которые совсем не хотели перемен. Я вообще удивляюсь, как Толя мог так долго работать — фактически всю жизнь — в системе образования, такой консервативной! Но он так многого в ней добился: и со школой, и с новыми идеями, и с реальным реформаторством образования на всем необъятном пространстве.

Надо сказать, что он очень много при этом читал и обдумывал, причем те книги, которые, казалось бы, были совсем не из его сферы. С ним можно было обсуждать самые концептуальные экономические работы. Он с легкостью цитировал Хайека, философские труды. Сейчас начинают печатать его тексты — они складывались для него в цельную и очень последовательную картину мира.

И главное — в этой картине мира он видел развитие. Она совершенно не была застопорившейся, сложившейся, такой, в которой уже ничего не зависит ни от него, ни от прожитой им жизни. Толя — редчайший человек, который понимал, что мир творится именно им, и мир будет таким, каким, как он считает, мир должен быть. Он старался сделать мир интересней, добрее и динамичнее. И ему очень много удалось, очень много. Я счастлива, что мне достались какие-то годы, в которые я могла уже не только пересекаться с ним в некоторых точках культурных событий, отмечающих вехи нашей жизни, а действительно вместе работать.

Толя мог позвонить поздно вечером или рано с утра. Я вообще не знала, спит ли он когда-нибудь. Когда-нибудь он хотя бы отдыхает? Мне кажется, он все время думал о том, что нужно сделать и как все задуманное воплотить.

При этом его отзывчивость к другим людям иногда меня просто восхищала. Он в любой момент готов был предложить свою помощь, тут же поговорить, помочь финансово. Неважно, очень близким был ему человек или не очень. Тут как раз он не делил людей на тех, на кого он может опираться в работе, и тех, которые просто существуют вокруг. Тут главным

было его желание помочь, причем в ту же секунду, когда это нужно, а не потом, когда-то, цокая языком: «Вот, не успел». Он всегда это успевал. Толя — точно из тех людей, про которых Экзюпери сказал, что их можно позвать в любую минуту дня и ночи и они придут на помощь.

Толя очень веселый человек, он любил анекдоты и почти никогда не обижался. Единственно, когда мне удавалось заметить, что Толя обижается, это, наверное, тогда, когда он человека считал очень близким, а тот оказывался немного дальше, у него своих планов было немножко больше, чем хотелось бы Толе. Он тогда мог обидеться, но, вообще говоря, это совсем ему было не свойственно. И таких конструктивных, необидчивых людей очень мало.

Я считаю, что он был гением человеческих отношений: он умел соединять людей. Иногда это были люди, которые без него вряд ли могли бы общаться, вряд ли могли быть вместе. А через него, с его помощью возникал очень-очень широкий круг. И я помню его юбилей, куда пришли самые разные люди: и добившиеся больших успехов и должностей, и те, кто просто раздумывает над проблемами жизни и образования и не стремится ни к какой карьере. Но все они все равно оставались Толиными друзьями, и во всех них есть главное качество — это люди очень небезразличные к жизни, которые хотят оставить в ней добрый след.

Он очень легко писал. Многие завидовали тому, с какой легкостью он пишет, и пишет ровно то, что хочет сказать. В газетах, в журналах, в книгах.

Он мог очень легко позвонить самому высокому человеку, позвонить и решить возникший вопрос или проблему. Преград и барьеров для него просто не существовало, поэтому он и был очень эффективен.

И еще одна Толина сторона, которая, как мне кажется, нас сближала. Толя очень любил сцену. Может, это свойственно нам всем, Обезьянам, мы ведь с ним с одного года. Мы с Танечкой тоже очень любили сцену — и в школе, и в университете. Но нам казалось, что уже прошло наше время, это, наверное, уже не для нас. А у Толи было по-другому. Ему не казалось, что его время прошло. И тот проект, который он затеял в конце жизни, — никто не думал, что получится в конце, тогда казалось, что это самое начало, — проект, связанный с чертой оседлости, с песнями, со школьными спектаклями, был замечательным. Мы все были полны пессимизма, думая, что это может не получиться, не состояться, а у него получилось. Получилось потому, что он себя вдохнул в этот проект. Умение Толи дарить себя, свою душу людям, мне кажется, это удивительно бескорыстное дарение. Редкий человек, который так это может сделать.

Параллельно с этим он ведь работал нисколько не меньше нас. Нам казалось, что мы так устаем, что ни на что не хватает времени. Ну, разве почитать какие-то книги, самим сходить в театр, но уж никак не становиться креатором новых проектов, которые прозвучат не то что на всю страну — на

весь мир. Ведь он умудрился побывать с ними во многих странах и заразить своей идеей очень-очень многих людей, вернув им какие-то особенно трепетные, важные и нужные корни, традиции, что-то очень глубокое и потаенное.

Он не часто бывал здесь, в институте, и это было всегда по делу, на другое ему не хватало времени. Может быть, он понимал подспудно, что его время должно быть иной плотности по сравнению со временем других людей. И он не тратил его на разговоры, просто сидение, он всегда был даже немножко эффективнее остальных, и надо сказать, что вялость ритма в других людях — это единственное, что ему было трудно вынести. Иногда он с такими людьми безжалостно расставался, расходился. Ведь внутренне на самом деле в каких-то вещах он был не то чтобы жесткий, но очень определенный человек. И переспорить его, переубедить было абсолютно невозможно.

В Вышке он расставался с некоторыми людьми, не хотел продолжать с ними работать, может быть, с точки зрения этих людей, не всегда справедливо. Но просто плотность его времени, его темп, ритм не позволяли ему находить здесь компромисс. Поразительно, что даже внутри Высшей школы он был самым «рыночным» из нас. Более того, придя из такой нерыночной сферы, как образование, он именно рыночные, современные механизмы хотел в нее внедрить. И иногда поражался, как мы, экономисты-рыночники, глядя на образование, опасаемся и считаем, что эти отношения там неприменимы и не смогут поработать. Мы часто были готовы оставить систему образования такой же законсервированной и несовременной. А Толя, наоборот, изнутри этой консервативной системы готов был к рывку и к развитию. Это было поразительно.

И надо сказать, что, понимая иногда, что и здесь нас опережает, он не настаивал на своей позиции. Но если можно было в свою позицию нас втащить хоть на четверть шага, хоть на половину наших мыслей, у него это получалось, он это, конечно, умел делать. Я хотела вспомнить только один эпизод в нашей жизни, когда он нас пытался в чем-то убедить, а мы сопротивлялись и высказывали кучу всяких опасений, рисков. Он тогда любил рассказывать анекдот про двух грузин и медведя, когда один не выдерживает возражений и опасений другого и спрашивает: «Я не понимаю, ты на чьей стороне — моей или медведя?» Вот и он любил спрашивать: «В конце концов, я не понимаю, вы на чьей стороне — на стороне перемен и новых идей или на стороне консервативной позиции?» И приходилось осознавать, что легко быть на стороне консервативной позиции, по крайней мере, легче видеть риски и невозможности. Гораздо труднее сделать шаг вперед вопреки всем рискам, вопреки сопротивлению системы и недоверию все-таки продвинуться, а не остаться на старых позициях. Если люди умудрялись, умели подхватывать то, что он делает, это всегда получалось.

Притом что Толя был идеологом разработок и проектов, он умел работать в проекте, удерживая все его грани. Он прекрасно держал в голове экономику проекта, финансы проекта. И управленческую часть, и содержательную. В этом он редкий человек, действительно очень современный человек, который управлял временем проекта, управлял финансами проекта и умудрялся организовать разных людей на разных этапах для того, чтобы они в этом проекте участвовали, вложились в проект и достигли результатов.

Очень много говорят про проектные подходы, читают много разных курсов и лекций, но очень мало реальных людей почти из воздуха могут придумать идею проекта, раскрутить ее, найти финансирование, запустить и финансирование, и людей, реализовать проект и получить результат, причем в некоторых проектах в масштабах всей страны как минимум. Это и профильное обучение, и общественное управление, и экономические механизмы: нормативно-подушевое финансирование и система оплаты труда. (Меняется она сейчас в точности так, как Толя говорил, или по-другому, неважно.)

Умение вычленить ключевые точки и не сводить все к разговорам, топя в дискуссиях, но превратить в проекты, которые финансируются и которые захватывают людей, — это, конечно, проявление Толиного масштаба, эффективности и, я считаю, просто талантливости. Без таланта трудно все это себе представить.

Наверное, близких людей он щадил меньше всего. Чем ближе были к нему люди, тем, мне кажется, он был к ним требовательнее. Ему хотелось, чтобы они понимали его просто с одного слова и вздоха. Он считал, что непонимание со стороны Марины просто невозможно. Она просто должна быть его продолжением, в его делах, в его мыслях.

С девчонками так же. И только один раз я заметила, как Толя заволновался о Зое. Что-то у нее вроде бы не получается в университете, и возникает критическая ситуация. Зоя тогда сама целиком справилась со всей ситуацией. Никаких Толиных ресурсов и помощи, вообще говоря, не понадобилось. Но я поняла, насколько дороги ему и Марина, и девочки, и как он на самом деле внутренне за них волнуется, и как ему хочется, чтобы они были всегда успешными и самостоятельными. Он готов был помочь и разделить с ними любую трудную ситуацию. И мне он от этого стал как-то ближе.

Когда мы обсуждали эту проблему, он, в отличие от своей обычной привычки бросать портфель неизвестно куда, положил его на колени и сидел, прижав его к себе. Редко можно было увидеть Толю с таким жестом: когда он держит что-то в руках и прижимает к себе. Наверное, это у него было подсознательное, и эту защитительно-оградительную позу я у Толи видела очень редко, а вот по отношению к Зое заметила. Я думаю, это

действительно для него были очень близкие и родные люди, для которых кольцо его рук было очень важным и поддерживающим.

Конечно, никто из нас не мог поверить, что может произойти что-то такое. Мы ведь были с ним очень близко, и никто не замечал, что Толя болен.

Толи очень не хватает, с одной стороны, с другой — он подарил так много, сделал так много. Может быть, сейчас у него есть возможность оттуда видеть, что происходит, и мы очень рады, что дело не рухнуло, что хватило энергетики проекта для того, чтобы его продвигать: и общественное управление, и профильную школу, и комплексные региональные проекты модернизации, в которых есть нормативы финансирования и система оплаты труда. Это все движется, и вполне успешными темпами. Наверное, Толино покровительство уже оттуда свою роль здесь играет. Конечно, это первый год, когда совсем близко с нами Толи нет. Как точка отсчета, как взгляд Толиными глазами на ситуацию, он останется, наверное, навсегда. Целиком Толя, наверное, еще не ушел и долго будет с нами. Потому что его идеи оказались масштабнее и намного длиннее, чем его физическая жизнь. Так обидно, что не хватило просто физических сил. Что болезнь в какой-то момент оказалась просто чуть-чуть сильнее. Наверное, болезнь — это единственное, на что у Толи не хватило внимания, умения построить диалог и найти компромисс.

Безусловно, мы очень долго были под прессом и не верили, что то, что мы обсуждаем, может реализоваться. И в 70-е и в начале 80-х нам точно повезло: мы учились у Шаталина, и это был глубокий демократизм, которого хватило на всю жизнь. Я помню, как Явлинский однажды сказал: «Мне не посчастливилось у него учиться». Нам посчастливилось быть в этой атмосфере удивительного уважения — друг к другу, к студентам — и демократизма, которого хватает на несколько поколений. Говорили мы тогда очень много и книжек читали много. Собирались и обсуждали на кухнях и в мастерских, сидели до ночи, до утра. Но не у всех хватило потенциала из этого сделать дело. Более того, сделать так, чтобы масштаб этого дела захватил всех.

С точки зрения вкладов в культуру я и Г.П. считаю скорее человеком культуры, чем философии как предмета. Во многих регионах остались связанные с ним люди, которые могли на себе, сквозь себя пронести инновации. Без таких людей совсем ничего не получается. И уж совсем единицы, и именно к ним принадлежит Толя, это те, кто сумел реализовать наши умные и интересные разговоры конца 70-х — начала 80-х. Когда еще не виделось, кто во власти сменится и что будет, и не верилось в возможность хотя бы глотка свободы, в возможность делать то, что мы хотим, и умеем, и что у нас получается. Толя именно из тех, кто, говоря о чем-то еще в те годы, точно знали, что они, и именно они, смогут это сделать. И наше счастье, что у Толи это получилось, что ему хватило энергии поверх барьеров — это у Пастернака точно про него — это сделать. Потому что 80% тех умнейших разговоров

так и осталось только разговорами. Это не мало, когда столько людей о важном думают и говорят, но это гораздо меньше, чем сумел сделать Толя. Сумел, иногда огрубляя, иногда распрямляя замысел под ситуацию, чтобы не усложнять ее и чтобы замысел мог реализоваться. И я считаю, что наша система образования, наши дети все-таки благодаря и Толиному усилию сейчас, через 20 лет, существуют в другой стране. В том, что у детей другие школы и другие отношения с учителями, огромная Толина заслуга.

Комиссар

(рассказывает Сергей Зверев[100])

Мы познакомились с Толей не так давно – лет 6 назад. В тот момент, когда собиралась инициативная группа и создавался Российский совет поддержки развития образования. Мы тогда достаточно много времени проводили вместе. Встречи происходили несколько раз в неделю. А поскольку в этой инициативной группе было немного людей, которые курили, мы довольно часто откалывались от коллектива и имели возможность поговорить.

В первый момент Толя произвел на меня достаточно странное впечатление, потому что он имел собственную точку зрения, а зачастую и уже написанный текст, практически по всем вопросам, которые тогда обсуждались. Когда поднималась какая-то тема, он мог достать из портфеля папку и сказать: «Вот, я тут об этом написал кое-что!» Потом я понял, что это не графоманство, а отражение того, что у него существует свое стройное видение всех проблем образования, которые мы тогда обсуждали – от дошкольных до вузовских.

И он никогда не стеснялся: для него не существовало авторитета, чина, положения — он всегда очень четко отстаивал свою точку зрения. Его глубокие познания сочетались с такой чертой, которую я назвал бы хорошей (в самой высокой степени) наивностью. Для него всегда было более всего удивительно, почему люди, которые должны и могут что-то сделать, этого не делают. Всякие интриги, всевозможные каверзы тех, кто должен за что-то отвечать, вызывали у него протест и удивление.

Он был человеком увлекающимся, светлым и не понимал, как же можно играть в такие игры, в которые играли наши высокопоставленные товарищи, отвечающие за финансирование, программы образования и т.п.

[100] Сергей Александрович Зверев – глава информационного агентства КРОСС, занимающегося вопросами образования.

Потом, когда мы стали общаться более подробно, я не переставал удивляться, потому что он часто звонил мне и говорил: «Я написал статью и послал ее тебе – прочти». Мне всегда было очень интересно – это всегда был Пинский. Он всегда имел какое-то свое слово.

При этом я практически не помню его грустным. Даже когда что-то не получалось, он, конечно, печалился, потом как-то встряхивался и начинал смеяться, шутить. Мы вообще отличались на всех наших сборищах: постоянно устраивали какие-то шуточные перепалки либо вместе подшучивали над кем-то.

С ним всегда было приятно общаться. Уже практически год прошел, а понимание того, что произошло, не наступило. Дело в том, что в последние года три мы не так часто встречались. Бывало, что не виделись по нескольку месяцев. Потом он звонил, появлялся, или я звонил. И теперь у меня такое ощущение, что просто так сложилось, что он это время не звонил, не приезжал, но он обязательно приедет.

Вообще вспоминать тяжело, трудно описывать картинки, потому что у меня есть сильное ощущение от него. Есть ощущение умного, светлого, веселого, глубокого.

Я иногда задаюсь вопросом: чем было для него его дело? Это был не бизнес и не служба. Он был абсолютно увлечен им, делал все с огромным энтузиазмом. Наверное, если бы он жил во время революции, он был бы таким же энтузиастом-революционером, пламенным комиссаром. Да, такой комиссар…

То, что произошло несколько лет назад, то, как Толя кардинально перевернул свою жизнь, на меня произвело совершенно неизгладимое впечатление. Потому что я искренне считаю, что для того, чтобы в возрасте уже не юношеском в один прекрасный день сказать просто « Все, теперь я занимаюсь совсем другим» нужно иметь необыкновенную силу.

Я знал, что Толя пел, знал, что он увлекался театром, и честно могу сказать, когда Толя пригласил меня к себе в школу на спектакль, я почувствовал себя в трудном положении. Потому что школьный театр – это дело такое непростое, и я, по правде сказать, отлынивал, избегал этого похода. И когда приехал, увидел спектакль, совершенно поразился. Там была уникальная атмосфера: я совершенно не увидел директора и его учеников. Это были абсолютно увлеченные люди, которые не зависели от того, сколько им было лет и какое положение они занимали, какой статус имели. Это была группа увлеченных людей, которые делали общее дело, причем делали его на приятно-профессиональном уровне.

И, тем не менее, когда он приехал ко мне и сказал, что ушел из школы и теперь то, чем он занимается, это музыка, фестиваль и вообще возрождение песни на идише, я, честно могу сказать, поразился. Сделать это может человек очень внутренне сильный – очень сильный, потому что надо

фактически полностью перевернуть свою жизнь. Абсолютно перевернуть свои привычные представления, привычный ритм. Это совсем другое дело. Это непересекающиеся плоскости.

Надо сказать, что и в той сфере он был успешен. Это было видно по тому, как с ним общались, как он общался, как горел. Я единственный раз видел Толю не склонным к шуткам и в состоянии высочайшей степени устремленности, когда приехал на заключительный концерт первого фестиваля и там с ним столкнулся. Это был тот самый момент, когда с ним невозможно было разговаривать, он был как натянутая струна.

В последние годы клезмерская музыка стала делом его жизни. Его интересы в значительной степени сконцентрировались в этой плоскости.

Наверное, он такой человек, про которого нельзя сказать – «нам будет его не хватать». У меня абсолютно нет ощущения, что он ушел. У меня такое чувство, что такие люди не могут уходить. Они не уходят. Они остаются. Они настолько оставляют какой-то след, какое-то ощущение от общения с собой, что я постоянно чувствую, что сейчас раздастся звонок, откроется дверь, он войдет, посмеется. И все пойдет по-старому.

Пройдет время, и то, что сделано сейчас, сыграет свою роль

(рассказывает Сергей Кравцов[101])

С Анатолием Аркадьевичем я познакомился 5 лет назад. Это был 2002 год. В то время я работал в Российской академии образования. Как-то раз, зайдя в кабинет к М.В. Рыжакову, я увидел А.А. Пинского. Он встал и представился. Сказал просто: «Пинский». Тогда я о нем практически ничего не знал: кто он, какие у него работы, чем он занимается. Так произошло наше первое знакомство. В то время Виктор Александрович Болотов как раз искал себе помощника. Видно, у него был разговор с Анатолием Аркадьевичем на эту тему, и, когда меня ему представили, он сказал: «Есть такая ситуация, Виктор Александрович ищет помощника, может, вы бы и могли им быть». Для меня, конечно, это было очень неожиданным. Я работал в научной среде, и мне отчетливо хотелось попробовать себя в какой-либо образовательной госструктуре. В принципе, это была моя мечта. И сразу же А.А. позвонил В.А. по мобильному и

[101] Сергей Сергеевич Кравцов — помощник В.А. Болотова.

сказал: «Виктор Александрович, есть кандидатура. Ты ищешь помощника, есть кандидат». На что Виктор Александрович ответил: «Я сейчас в Лондоне. Ну, есть так есть. Хорошо. Пусть он придет ко мне, когда вернусь». После этого мы обменялись контактами, и А.А. сказал, чтобы я ему позвонил. Затем мы договорились о встрече, о работе, и наконец состоялась моя встреча с Виктором Александровичем. В итоге уже около 5 лет я работаю помощником В.А. Болотова. Так Анатолий Аркадьевич сыграл в моей судьбе очень значительную роль. Не было бы этой встречи и его рекомендации, не было бы того, что произошло потом в течение 5 лет моей жизни.

Дальше я очень хорошо помню последнюю нашу встречу. Анатолий Аркадьевич не знал, что болен, он был на приеме у В.А. по каким-то своим вопросам. И я помню очень хорошо последний разговор с ним, когда он рассказал мне, что в Ханты-Мансийске ушла Елена Евгеньевна, но вице-губернатором стал А.М. Майоров и есть хорошие возможности, что все дополнительные работы будут идти. Он строил планы по развитию образовательной системы Ханты-Мансийска[102].

И первая, и последняя встреча с ним мне очень хорошо запомнились. Хочу сказать, что Анатолий Аркадьевич был и остается для меня человеком прежде всего очень порядочным, человеком слова, человеком дела: если он сказал, он сделает, если он принял решение — значит, он будет добиваться того, чтобы оно исполнилось. Человеком, который болеет за дело и верит искренне в то, что он это делает правильно. Человеком, который, несмотря на то что не имел больших чинов и к ним никогда не стремился, был очень хорошим организатором. Он умел сплачивать людей, создавать команду, умел вести за собой и достигать поставленных целей. И это было непросто. За этим — огромная работоспособность и очень хорошее, дружеское отношение к окружающим людям.

На мой взгляд, пройдет время — и то, что сделано сейчас, а также труды, статьи, очерки Анатолия Аркадьевича сыграют свою роль. Его опыт работы и то, что им написано, будут изучать и педагогические вузы, и следующие реформаторы системы образования. Те, кто будет заниматься развитием образования, постоянно будут обращаться к работам А.А., потому что в них заложены именно те основы современной школы, современного образования, которые, я думаю, в течение следующих 5–10 лет будут претворяться в жизнь. Он в своих работах заложил организационные механизмы, связанные с системой оплаты труда, профильным обучением, индивидуализацией, общественным управлением, которые лягут в основу разработок, программ, концепций и планов. Построение новой школы толь-

[102] А.А. Пинский руководил рядом образовательных проектов, выполняемых по заказу Ханты-Мансийского автономного округа.

ко начинается, потому что пока школа живет еще в ситуации советской системы, а не информационного общества и рыночной экономики. Пока школа не соответствует запросам, которые современное общество к ней предъявляет, и для того, чтобы она отвечала нуждам рыночной экономики и запросам современных учащихся, потребуется немало времени и усилий.

Перспективные разработки в трудах А.А. — это результат того, что он смотрел далеко вперед. И так жаль, что не все свои начинания он смог довести до завершения. Но очень многое он сделал, в локальных вещах довел до конца. И, самое главное, он заложил основу для дальнейшего развития, оформил направления, куда может идти школа.

Когда я пришел работать помощником В.А. — он был в то время первым заместителем министра образования России, — то должен был заниматься профильным обучением. Концепция была разработана в 2002 году, и стоял вопрос внедрения, экспериментальной апробации в регионах. Анатолий Аркадьевич руководил проектом, который осуществлялся в рамках Федеральной программы развития образования, а на меня ложилась функция координации всей этой работы, менеджмента. И по этой работе в 2003—2005 гг. я постоянно взаимодействовал с А.А. Практически каждый день, бывало и в выходные дни. По электронной почте мы переписывались ежедневно, по нескольку писем в день. Сотни писем, телефонные звонки, постоянное общение, постоянное обсуждение вопросов, совещания, рабочие группы. Постоянные контакты. И в этих контактах я очень многому учился. Как организовывать работу: разговоры касались не только профильного обучения, но и более широкой проблематики, вообще связанной с развитием школы. Таким образом, начиная с 2002 г. мы практически работали вместе. Вначале у нас была небольшая рабочая группа, потом она увеличилась. Мы собирались каждую неделю, проводили 3–4 раза в год совещания с региональными и муниципальными руководителями образования. Идеология этого проекта состояла в том, что Концепция задавала рамку, а пути, конкретное наполнение нужно было отработать вместе с регионами. То, как организовал работу А.А. и внутри федеральной рабочей группы, и с регионами, заложило старт, основания для продвижения Концепции. И те материалы, которые тогда разработали, апробировали, были потом опубликованы во многих книгах и статьях. И накопленный опыт используется сейчас во всех территориях.

А.А. очень хорошо умел находить общий язык с регионами. Его представители регионов просто любили. Они приезжали ради Пинского, услышать Пинского. Он с ними по-простому, на понятном им языке мог говорить. Потому что он сам был директором, был учителем школы. И людям очень импонировало то, что с ними работает А.А. Это взаимодействие, которое он организовал, позволило решить многие вопросы профильного обучения. Так было с сельской школой, когда говорили, что профильное

обучение приведет к ее разрушению, а все оказалось совсем не так. Так было с итоговой аттестацией. Ведь фактически как часть этого эксперимента вводилось независимое оценивание после 9-го класса. Многие регионы это встречали в штыки, и на координационном совете у министра критиковали идею независимого оценивания. Говорили, что не получится, надо оставить старую систему. А получилось наоборот, регионы идею приняли. Сегодня мы эту работу продолжаем в рамках всероссийской системы оценки качества образования, а ведь вся она проистекала из профильного обучения как одно из направлений этого большого проекта.

Сейчас в проекте участвуют уже 67 регионов, а сначала их было 9. И они работают добровольно, никто их не заставляет. Из федерального бюджета им не помогают. То, что было начато тогда как отдельные направления реформы, сейчас уже рассматривается как задачи на общероссийском уровне. То есть семена, заложенные А.А., дают сейчас всходы, и мы видим их развитие. Я думаю, что дальше это будет расти и крепнуть.

Для меня очень важно отметить еще одно. А.А., если у него что-то не получалось, никогда не вешал носа, никогда. И когда проект, который он три года реализовывал, руководил им (вела проект Высшая школа экономики), в 2005 году выиграла другая организация, конечно, это было для него очень тяжело. Но он, тем не менее, решил продолжать работу и заниматься комплексным проектом: все направления, которые прописаны в Концепции модернизации образования, совместить и на уровне отдельного региона реализовать в комплексе. И сейчас это стало составной частью национального проекта образования.

Что меня еще удивило в А.А. — это то, что вне зависимости от того, как он много работал и какое имел колоссальное количество дел, он находил время на увлечения. Пример — его концертная деятельность, его группа «Дона». У меня есть первый диск, который я часто слушаю в машине. Он, несмотря на то что у него не было настоящего музыкального голоса, пел душою. Он пел душою.

И еще одно — его жажда жить. Его энергия, жизненная позиция, которая заключается в том, что он может, если возьмется за дело, вести его до конца. В частности, его деятельность в концертах и создание группы «Дона» — для меня это было удивительно. То, как он пел, как он себя держал, как он умел говорить с публикой, говорит о многом.

Хочу сказать, что для меня важно, что он был директором школы, который внедрил вальдорфскую педагогику. Я с ней знаком не был, но я видел учеников школы и понял: то, что он делал, он делал правильно. Потому что все, что мы делаем, в конечном счете нужно для того, чтобы было хорошо ученику. Ведь система образования — это та система, через которую проходят все. Я увидел школу, увидел отношения между учителями, отношение к директору: с одной стороны, он был свой, а с другой — он был директором, руководителем. Не таким руководителем, который показыва-

ет, что да, он руководит школой. Его учителя очень уважали, его любили дети. И те дети, которые мне встречались в школе, были открытыми, и вся школа, ее атмосфера, и даже охранник школы.

Не знаю, может, он подбирал охранников, но в его школе оба охранника были особенные. Гена с гармошкой. И другой, Володя. А.А. кричит из кабинета: «Володя!» И тот спокойно к нему в кабинет приходит, что-то помогает. Школа начинается с такого охранника, как Володя, — такой большой, усатый, добрый. Интересно, что охранники не менялись. Может, он их правда специально подбирал?

Возможно, кому-то покажется, что это мелочи, но на самом деле это не мелочи, особенно если это школа. И в школе такая атмосфера — гармоничная, именно гармоничная, что очень важно для большого города, для центра Москвы. И дети не замученные, жизнь интересная, разнообразная, все время происходят выставки, концерты, а темы всегда разные, и такие творческие учителя. Такая школа у него получилась.

Получилось создать школу, нормальную, государственную школу, которая не только дает знания, но и формирует личность.

Занимаясь проектом на уровне Министерства образования, мы часто собирались у него в школе. Это правильно, потому что он сам вышел из этой среды: был учителем, директором, потом советником министра образования, и чувствовалось, что он школу знает — знает, как она действительно живет. В его кабинете, в этих удобных креслах все располагало к нормальным переговорам, к диалогу.

Конечно, удивительно, как он общался с детьми. Такое впечатление, что Анатолий Аркадьевич про каждого ребенка в своей школе знал что-то — о нем, о его семье. Он шел по школе, останавливался и разговаривал с детьми. Дети задавали ему вопросы. А когда он отвечал, он отвечал как директор и в то же время он общался с ними совершенно свободно, с интересом. То есть он сам поддерживал в школе эту свободную, дружескую атмосферу и в то же время он, как директор, мог ее организовать.

И когда это случилось с девочкой, с Владой, я его видел — видел, каким это было для него ударом, как он это воспринял и как это переживал…

С Мишей Случом в своем кабинете.
Конец 1990-х гг.

На работе.
Конец 1990-х гг.

На празднике. 1990-е гг.

С Татьяной Рокитянской в школе

«Сильва» в школе, 1997 г.

Сцена из спектакля
«Анатовка».
Толя – Тевье.
Конец 1990-х гг.

С дочками Аней и Зоей
после выступления школьного
музыкального ансамбля
«Диссонанс».
Конец 1990-х гг.

Толя вручает аттестаты
первому выпуску
2000 г.

С коллегами на празднике
«Последнего звонка».
Слева от Толи – Миша Случ,
справа – Миша Стародубцев.
Начало 2000-х гг.

С семьей Идрисовых.
Начало 2000-х гг.

На каникулах в Египте.
Начало 2000-х гг.

С коллегами.
Начало 2000-х гг.

С Ефимом Рачевским, 2002—2003 гг.

На выездной конференции.
Впереди Исак Фрумин,
2003 г.

В школе с Мариной, 2003 г.

На школьном празднике, 2003 г.

В школе с М. Барбером

В школе с М. Бамбером и У. Коноваленко

Там же

На празднике 1 сентября, 2003 г.

В своем кабинете. Начало 2000 гг.

С учениками на празднике «Последнего звонка», 2004 г.

На празднике «Последнего звонка», 2004 г.

В школе, 2002—2005 гг.

В школе,
2002—2005 гг.

На конференции
в школе,
2005 г.

На конференции
в школе,
2005 г.

Последние годы

I do it my way

(воспоминания Хольгера Лампсона[103])

«Анатолий здесь? Нет?! Жаль!»

«Ага, Толя здесь! Здорово!»

Стояла перед входом в школу его машина или нет — присутствие Толи ощущалось непосредственно. Все знали, что движется, а что застыло на месте. Его непосредственное присутствие непроизвольно задавало рамки и направление развития для всего вокруг. Он вел.

Когда мы впервые встретились в директорском кабинете, речь зашла о проведении моего курса в помещениях школы. Я был поражен, с какой прямотой он формулировал то, что хотел, и с какой открытостью он готов был реагировать на то, что, в свою очередь, планировал предпринять я. Он был сама конкретность и деловитость. Я чувствовал себя совершенно свободно. Такое развитие беседы стало для меня полной неожиданностью. Приглушенные голоса и опущенные взгляды в приемной («Анатолий Аркадьевич на месте») настроили меня на нечто совершенно противоположное. И много дней спустя меня не покидало редкое ощущение: вот свободный человек действует по неким понятным, естественным правилам. Для него приемлемо все, что твердо стоит на земле, а не витает в воздухе.

Через некоторое время была основана «Дона». Меня пригласили к сотрудничеству в качестве консультанта по вокалу. На первой репетиции я задал вопрос о контрабасе и аккордеоне. Анатолий вытащил мобильный, и уже к следующей встрече ансамбль пополнился двумя новыми музыкантами! И такие ситуации повторялись раз за разом. Обсуждение, нехватка — и после минутного раздумья его звонок… Не могло не потрясать, каким коротким был в его случае путь от головы к рукам. Доступ к миру не был заставлен внутренними барьерами, дорога от замысла к реализации была пряма и напрасно не петляла.

Как создавалась «Дона»? Конечно, существовал внешний повод, и о нем есть кому рассказать. Но для меня внутренняя причина заключалась в том, что Анатолий просто был одаренным природным певцом. Его голос привлекал и обволакивал слушателя своим прокуренно-теплым задушевным звучанием. Пространство наполнялось особой атмосферой. Юношески-идеалистические ноты отзывались в сердце слушателя. Толе было что отдать. Музыкальная переполненность искала выхода. Еврейская песня с ее глубокой душевностью, юмором, мудрым порядком оживала в его исполнении. Я все еще вижу, как он поет Haben wir a Nigendel, и зрительный зал вместе с музыкантами и слушателями превращается в одну большую радостную семью, которая наслаждается самим фактом существова-

[103] Хольгер Лампсон – немецкий музыкант и педагог.

ния в мире музыки. Незабываема в его исполнении маленькая мелодрама Frieling («Весна»). Ему удавалось воплощать на сцене почти невозможное: еврейская судьба в гетто представала передо мной без неуместной сентиментальности или идеологичности. Он пел просто и трезво, но при этом с таким настроением, с такой серьезностью! Покинутость, страдание, тоска и затем, как чудо, утешение, реальное переживание потустороннего бытия. История, о которой он пел, переставала быть прошлым, превращаясь в непосредственное, потрясающе реальное настоящее.

Но для меня истинным лейтмотивом все же звучал известнейший шлягер Фрэнка Синатры, исполняемый им на идише, — I do it my way. У его интерпретации невозможно отнять удивительной интенсивности и внутренней искренности. Песня была словно для него написана. Благодаря ей он мог выразить нечто глубоко личное: радость предпринимательства, широту души, человечность!

В этом и во многих других связанных с «Доной» воспоминаниях Анатолий раскрывается для меня как по-настоящему значительная личность, жизнь которой со смертью не закончилась. Он воплотил высокий идеал, осуществившись во всей своей многосторонности, данной человеку, — и как мыслитель, и как творец, и как художник. В I do it my way воплотилась его предприимчивость, в Frieling — огромное присущее ему чувство историко-политической ответственности. Глубокая убедительность его исполнения проистекала из того, что в тяжелейших политико-экономических условиях он вел свою школу как истинный предприниматель и как ответственный политик открывал доступ к плодам ее педагогической деятельности. Он был тем, что он пел. Он был индивидуальностью не только на сцене, но и в жизни, он пережил победы и поражения, без которых не обходится ни один путь, и остался до конца верен самому себе.

Благодарность и память

(вспоминает Михаил Стародубцев[104])

« ... А кому мила свобода, тот, как ласточка, взлетит!»
«Дона», перевод Анатолия Пинского

Я не еврей. С этим ничего не поделаешь.

Зимой 2004 года Толя предложил мне создавать вместе с ним ансамбль еврейской песни.

[104] Михаил Леонидович Стародубцев — профессиональный музыкант, постановщик спектаклей школьного музыкального театра. Миша познакомился с Толей в середине 90-х, но поскольку его воспоминания сконцентрированы на последних годах их совместной работы, они помещены в данный раздел. Печатается на основе публикации в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

Все мои знания на тему еврейской музыки на тот момент — это песни сестер Бэрри и мюзикл «Скрипач на крыше», который я ставил в школе и в котором Толя, директор, играл главную роль, Тевье-молочника. «Скрипач» стал заметным событием в школьном сообществе. Конечно, в нем участвовала почти вся старшая школа, многие педагоги вместе с детьми играли в оркестре или на сцене. Но, как говорится, спектакль по-настоящему «состоялся» во многом благодаря Толиному участию. С ним становились предельно естественными многие метафоры. Одна из главных — «дом в центре местечка», в котором все правильно и добротно, но вместе с тем всегда есть маленькая загадка, тайна «третьей лестницы», никуда не ведущей, существующей исключительно «для красоты». Так же просто и естественно звучало из его уст представление «дочек»: «Это — моя, и это — моя, и это — моя, и это — тоже моя». И школа, возведенная и возводимая им, где он директор и родитель, — его дом, и все школьные дети, заботливо опекаемые им, — его дети.

Тогда, за пять лет до ансамбля, занимаясь «Скрипачом», мы, конечно, изучали, как могли, тему еврейства, традиций («Tradition!»). С Толиной подачи узнавали детали жизни и быта шолом-алейхемовского местечка. Книга Телушкина «Еврейский мир», как-то «случайно подсунутая» Толей, стала на тот период моей настольной.

Все это замечательно: спектакли с успехом игрались, песни сестер Бэрри порою слушались. Но вот о песне, о бытовавшей/бытующей еврейской песне, о песне народной, о песне на языке идиш, что-то вразумительное я впервые узнал только после Толиного приглашения. «Антология» (знаменитый «Козленок») появилась у меня задолго до этой нашей встречи (если точно — за десять лет!). Но «ожила» книга лишь в ансамбле.

Это теперь, спустя три года, я могу пытаться различить какие-то нюансы, сказать кому-то: «Тут, братец, нужно произносить по-другому — это идиш тебе, а не какой-нибудь немецкий», или оценивать на слух качество и количество «крехтцев» в единицу времени, да мало ли чего еще. Тогда же, в начале, сама идея еврейского ансамбля казалась безумной авантюрой. Правда, будоражащей и интересной благодаря Толе. Каждую репетицию предварял шквал информации. Толя все время что-то «выкапывал». В самом начале, помнится, рассказал нам историю знаменитой песни «Бэлц», про то, как немцы заставляли ее петь в концлагере перед каждым обедом (нравилась?). Вообще, любая из песен, с которой мы начинали работу, его стараниями непрерывно обрастала новыми и новыми подробностями. «Дона», кажется, стала своеобразной рекордсменкой: одиннадцать различных исполнений были им найдены, продемонстрированы и прокомментированы с разных позиций! Для нас в то время было открытием, что во всем мире ее знали и пели: на английском, иврите, идише, даже на японском! Толя добавил к этому списку русский вариант своего

перевода, выучив (на минуточку!) все остальные. Может, поэтому, когда встал вопрос о названии коллектива, выбора почти не было — «Дона».

Каждое его открытие — радость, захватывавшая и нас. Попутно, вслед за его детской радостью узнавания. Его мечты как-то ненавязчиво становились и нашими. Его проекты и планы — нашей жизнью. В Толином случае счастливо работала и обратная «формула»: едва только у кого-нибудь появлялась интересная идея, мечта (ясное дело, недостижимая), ему достаточно было посмотреть своим пристальным взглядом поверх очков, задуматься на какое-то мгновение — и мечта-идея удивительным образом становилась жизнью, изменяя всю окружавшую нас реальность. Не забуду, как житейски-просто и без каких-либо осложнений, даже не выходя из оркестрового класса и не прерывая репетиции, он договорился о приезде в Москву на «Дона-фест» Адрианны Купер, которая, как говорили, на тот момент якобы не собиралась больше в Россию. Для нас все это выглядело как чудо, которое совершилось у нас на глазах, причем обыденно, среди прочих текущих дел. Что здесь сработало: привычная деловая хватка, умение убеждать или личное обаяние? Не знаю. Но благодаря этому звонку исполнилась наша идея-мечта: мы не только увидели и услышали легендарную певицу в незабываемом дуэте с ее подругой, блистательной канадской пианисткой Мерилин Лернер, но и получили возможность спеть для них, получить их комментарий и, как наивысший подарок, музицировать вместе!

Наталкиваясь на наши «профессиональные штучки», Толя лукаво коллекционировал примеры «звездного непрофессионализма». Бернес, Утесов, сестры Бэрри… И при этом — учился. Вокал, сольфеджио, идиш. Откровенно не понимал, как это — не учиться. И в результате непрерывно менялся, совершенствуя музыкальные навыки, убеждая своими открывающимися умениями нас, «морщившихся профессионалов». Было стойкое ощущение, что он занят в жизни только «Доной»: ищет, слушает, переводит, договаривается с каждым, обсуждает и составляет репертуар и планы репетиций, торопит с аранжировками и разучиванием песен. При этом сам постоянно учит все новые и новые песни, в которые успел влюбиться. Учит быстро, точно, со всеми тонкостями произношения и исполнения. Если согласен, изменяет какие-то нюансы, а порой и всю концепцию песни, мгновенно. Если нет — стоит до последнего.

Трудно представить, что там, за стенами оркестрового класса, было его директорство, многочисленные выступления с лекциями, статьи, публикации, книги, интервью, прокладывание новых путей педагогики на общероссийском уровне, строительство новой, более цивилизованной модели российской школы…

Понимая необходимость учебы для всех, создал и вокруг «Доны» школу — ее фестивали. В школе всегда много друзей, потому что настоящая

учеба похожа на плавание — без теплой дружеской среды, подобной океану, разве поплывешь?

Да и где научишься лучше плыть, как не в самом плавании? И счастье — не только плыть, но и наблюдать, как этот «океан» заботливо «держит на плаву», «несет» на себе даже недавнего и пока еще робкого «пловца». В короткий срок, начиная с первого маленького семинара в Видном в августе 2004 года, вокруг «Доны» появилось множество абсолютно разных, великолепно понимающих, тонко чувствующих и поддерживающих друзей! Это ли не главное богатство? В своем очерке во втором выпуске «Музыки идишкайта» Толя подробно и тепло описал свои и наши встречи с Фимой Черным и Сюзанной Гергус, с Сашей Даниловым, Мариком Ковнацким, Стасом Райко, Полиной и Мерлином Шеперд, с Алиной Ивах и Яной Овруцкой, с Пашей Короленко, с Аллочкой Данциг, Женей Лопатник, Юрой Хаинсоном, Геной Фоминым, Ирой Сигал, с Аней Смирнитской и ее замечательными «Партизанами», Ваней Жуком, Женей Лизиным… Такие все разные. Такие родные.

Очень трудно смириться с тем, что Толи нет. Есть какой-то очень стойкий «эффект присутствия» его самого во всем, что он делал. Даже на памятном концерте, своеобразном «музыкальном приношении Толе Пинскому», объединившем разные составы «Доны», ощущалось его присутствие. Как очередное его чудо. Так говорили зрители. Так чувствовали стоящие на сцене.

В конце встречи были показаны фотографии. В основном снимки с обоих «Дона-фестов», с «Клейзфеста» в Киеве, снимки с концертов и репетиций. На них Толя в окружении друзей-музыкантов купается в океане дружества, любви. И звучит песня, знаменитый хит Фрэнка Синатры My way, откопанный Толей в исполнении сестер Бэрри на идиш, — Mayn veg (говорят, немногие коллекционеры знали о существовании этой записи). Леша Розов обработал фонограмму и вдвоем с Мишей Альтшуллером за две бессонные ночи они сделали удивительно цельный слайд-фильм на музыку Mayn veg в Толином исполнении. Никто никогда не слышал этой записи. Она планировалась для диска, но по каким-то соображениям в него не вошла. И вот звучит знакомый голос, тихий, ровный, постепенно поднимаясь до эмоциональной кульминации, становясь все более трепетным и страстным. И я ловлю себя на мысли: «Это по-настоящему трогает, и точно так же трогало бы, будь он жив, потому что это исполняет настоящий профессионал».

Вот так даже после своего ухода Толе в который раз удалось нас удивить…

Я не еврей, но благодаря Толе значительная часть меня теперь бесповоротно принадлежит еврейской песне.

Я никогда не был директором, но Толя был одним из немногих, у кого я учился быть ответственным.

Мечты и идеи посещают и меня, но умение «держать их в руках» и неуклонно воплощать прочно связывается в сознании именно с Толей.

И еще. Я понял, что все мои разрозненные и разнообразные ощущения от наших с ним взаимоотношений в конечном итоге сливаются у меня в одно стойкое чувство — чувство благодарности.

Человек дела

(рассказывает Марк Ковнацкий[105])

В ноябре 2004 года я прилетел с концертами в Россию. После концерта в Санкт-Петербурге приехал в Москву, чтобы дать в столичных клубах серию концертов с моей московской группой Berl, Shmerl & Sons. На один из концертов пришел Пинский. Нас представили друг другу, и Анатолий пригласил меня посетить репетицию «Доны». Через несколько дней я с музыкантами из Berl, Shmerl & Sons пришел в школу, возглавляемую Пинским, в которой располагалась репетиционная база «Доны». У одного из музыкантов «Доны» был день рождения, и после совместного музицирования были устроены небольшие посиделки в честь именинника. Именно тогда Толя и рассказал мне, что в марте 2005-го планирует провести в Москве небольшой региональный семинар с участием Мерлина и Полины Шеперд из Великобритании. Это было очень интересно, и я, как бы невзначай, спросил: «Толя, а почему бы вам не провести не маленький семинар, а полноценный фестиваль клезмерской музыки, тем более что до сих пор в Москве ничего подобного не проводилось?» Реакция была потрясающая: «Ну, давай проведем». Вот так вот просто, как будто речь шла о назначении даты следующей репетиции «Доны». В тот момент решительность Пинского вызвала у меня достаточно скептическую реакцию: уже сколько народу пыталось провести нечто подобное, и ни у кого пока что не получилось. Но уже через месяц Пинский связался со мной и уточнил даты предстоящего фестиваля. В кратчайшие сроки был собран состав преподавателей, приглашенных участников, продумано расписание, найдены спонсоры (в том числе и сам Пинский). И это за считанные месяцы до планирующегося мероприятия!

Фестиваль прошел с оглушительным успехом. Впервые московская публика смогла в течение недели оценить мастерство лучших клейзмерских музыкантов из самых разных городов и стран. Своим успехом фестиваль был прежде всего обязан человеку, организовавшему весь этот праздник еврейской музыки, — Анатолию Пинскому. Более того, на «Дона-фесте» Пинский не остановился и летом 2006 года провел региональный семинар «Музыка идишкайта». Есть такое выражение — «человек слова». В случае с Толей я бы предпочел выражение «человек дела». В отличие от своих предшественников, которые много говорили и обещали, но ничего не смогли добиться, Пинский просто взял и организовал в кратчайшие сроки фестиваль, с самого начала получивший самую высокую оценку у музыкантов.

[105] Марк Ковнацкий — профессиональный музыкант, автор и исполнитель клезмерской музыки. Живет в Германии. Печатается на основе публикации в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

Его песня…

(вспоминает Псой Короленко[106])

Толя — внимательный к деталям человек. Неожиданно внимательный. Я удивился, когда узнал, что он любит мою песню «Крошка Хавелэ». Где и откуда он мог узнать ее? Она нигде не была записана! Может быть, она где-то есть, на каком-нибудь сайте, о котором я и сам не помню… А он вот встретил ее и запомнил. Потом мы часто пели ее вместе. Он был, насколько я знаю, директором вальдорфской школы. Я не знаю его в этой роли, но чисто умозрительно представляю себе, что такая роль ему очень подходит. Если бы я ничего о нем не знал, из разных вариантов его биографии я бы указал пальцем на этот вариант. Это соответствует его ауре, его любви к деталям. Мы как-то говорили с Аленой Аренковой[107] из Питера, что Толя и его проект «Дона» — это такой «троянский конь» аутентичной, живой и продвинутой клейзмерской музыки на концертах мейнстримного направления, где поют Клара Новикова, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Малежик. Толя с ансамблем «Дона», выступая на этой сцене, за собой ведет музыку, о которой бы зрители никогда не узнали, и культовых фигур этой музыки. Они могли бы остаться неизвестными нашему зрителю, будучи при этом известными во всем мире. Толя был выше поверхностного деления музыки на легкую и тяжелую, попсовую и этническую и так далее. Он шел поверх вкуса, потому что у него — больше чем вкус. Это душа. Это душа, которая пела.

[106] Псой Короленко — псевдоним Павла Эдуардовича Лиона, филолога, журналиста, поэта и композитора, автора и исполнителя еврейских песен. Печатается на основе Интернет-публикации и публикации в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

[107] А. Аренкова – автор и исполнитель клезмерской музыки.

***

Путь Анатолия Пинского — замечательная иллюстрация к высказыванию Любавичского ребе, согласно которому для людей, подлинно верующих во Всевышнего, смирение и уверенность в себе являются двумя сторонами одного и того же качества. Пинскому дано было какое-то оптимальное сочетание харизмы и отзывчивости, логики и интуиции, детской непосредственности и взрослых социальных навыков. Это помогало ему с максимальной отдачей осуществлять служение на поприще науки, педагогики, политики и искусства. Научные разработки Анатолия Пинского, директора Центра социально-экономического развития школы при Высшей школе экономики, воплотились при его же практическом участии в приоритетных реформах школьного образования. С его именем связаны концепция профильного обучения старшеклассников и государственно-общественная система управления школой. Его идеи внедрялись им же самим в его родном детище — первой московской вальдорфской школе, директором которой он был в течение многих лет.

На примере Анатолия Пинского хорошо видно то общее, что есть у хороших преподавателей, артистов и политиков. Это способность эффективно обмениваться информацией в реальном времени с большим количеством людей, сочетать уважение к аудитории с умением привлекать внимание к своей речи и своим мыслям. Анатолий должен был находить контакт с людьми на различных форумах, конференциях, «круглых столах» по вопросам управления образованием, в лекционных аудиториях, в стенах родной школы, где он был среди прочего и режиссером спектаклей, и артистом, часто игравшим главную роль. Многим запомнились его Тевье в «Скрипаче на крыше» и Феджин в «Оливере Твисте», еврейские роли, предвосхитившие еще одно важное направление его публичной деятельности. Несколько лет назад Анатолий Пинский создал в Москве ансамбль еврейской песни «Дона». Роль этого творческого объединения в московской еврейской культурной жизни уникальна. Будучи непременным участником больших концертов и фестивалей, ориентированных на мейнстрим, «Дона» вела за собой целую плеяду «нишевых» музыкантов, представляющих мировые тренды, но мало известных широкой аудитории. Можно вспомнить фестиваль «Еврейская весна» (2005), на котором многие москвичи, скажем прямо, даже евреи, впервые познакомились с клейзмерской музыкой.

«Дона», названная в честь известной еврейской песни, в свою очередь дала имя московскому международному фестивалю еврейской музыки «Дона-фест», основателем которого стал Анатолий Пинский. В рамках «Дона-феста» (теперь «Идиш-фест») выпускается сборник статей и текстов «Музыка идишкайта», с каждым годом все более интересный, как и сам фестиваль. Гала-концерты выходят на DVD. Посмотрите в записи, как Пинский

поет на «Дона-фесте — 2006» свою любимую песню «Об их мир а нигндл». Он поет «мит кавонэс» — вся душа настроена на песню, он отдается ей полностью, он по-хасидски весел и открыт. А ведь именно это и значит петь. Однажды я подарил приятелю DVD с записью этого концерта, в котором сам участвовал. И вдруг почувствовал, что мне как-то жалко расставаться с ним. Но тут вошел Анатолий и со словами: «У тебя еще нет этого диска?» — вынул его из сумки и протянул мне, как будто понял, о чем я думаю. Он это умел.

Есть такие люди, встречи с которыми ты ждешь как праздника

(рассказывают Ефим Черный и Сюзанна Гергус[108])

Фима: Толя одним из первых понял, что еврейская песня — это имя собственное, это живое существо, при помощи которого можно контактировать с людьми, и, может быть, отчасти поэтому возникло желание не только создать «Дону», но и организовать клейзмерский фестиваль. Поскольку фестиваль — это общение, школа, обучение, что было для Толи весьма важно, он сам, как педагог, считал, что это необходимо. И не зря одним из самых первых Толиных шагов был поиск людей, которые могут ему и его коллегам из «Доны» дать начальный курс еврейской песни.

Его предложение несколько удивило меня, и при первом знакомстве я подумал: «Чтобы такой солидный, серьезный человек, как Пинский, чтоб он сегодня учился, так это надо многое в себе поломать». Но когда я увидел впервые, как он это делает и как он просит повторить каждое идишское слово, я понял, что то, чем он собирается заниматься, слишком для него серьезно, и поэтому не надо бояться, а нужно пойти ему навстречу.

Он один из немногих участников фестиваля, кто, находя новую песню, всегда интересовался, когда, кем и зачем она создана. Наверное, немногие знают, что имя ансамбля — «Дона» — стало поводом собрать целую коллекцию песен «Дона». Чтобы узнать, откуда все эти «Доны» произошли, Толя собирал, спрашивал, интересовался множеством вариантов.

Для меня это в какой-то степени выглядело забавным, потому что эту песню я исполняю уже не первый год. Я знал, что Джоан Байес ее испол-

[108] Ефим Александрович Черный и Сюзанна Александровна Гергус — профессиональные музыканты, исполнители клезмерской музыки, живут в Молдавии.

няет, что она переведена на разные языки, — ну, вот и все. А этот самый Пинский решил, наверное, как педагог и как ученый, докопаться до самых тонких косточек этой «Доны».

У меня перед встречей с Толей был некий трепет. Есть такие люди, встречи с которыми ты ждешь как праздника. И, когда ты знаешь, что это встреча лишь на короткое время, ты огорчаешься уже до ее начала. Хотя у нас, конечно, было немало и встреч долгих. Толя очень любил встречаться в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Уют, тишина, спокойствие, красивая атмосфера. Один раз мы приехали в Москву, и я спрашиваю Сюзанну:

— Может быть, предложим Толе посидеть в кафе «Му-му»?

Толя говорит:

— Какое «Му-му»? Я знаю один тихий итальянский ресторанчик.

Сразу создается атмосфера. Такое впечатление, что Толя знает в этом ресторанчике все. Знает, из чего состоит это блюдо. Возможно, он был здесь, а возможно, что-то интуитивно ему подсказывало. Начинался разговор, и мы боялись упустить малейшее слово, малейший жест, потому что это что-то невообразимое, когда человек тебя настолько вовлекает в атмосферу того, что происходит, что создается ощущение какого-то полета, необыкновенной свободы, и легко говорить обо всем. И даже думаешь, что уже не музыка нас связала, а какие-то другие человеческие чувства притягивают, та самая харизма, магнетизм.

Тут даже сложно подобрать слово. Потому что даже в интонациях, в его медленной последовательной речи существовала какая-то поэтическая музыка. Он говорил прозу, как стихи. Такое впечатление, что его фразы состояли из строф. И слово за словом, строфа за строфой рождалось большое стихотворение. И это завораживало всегда. И самым грустным было расставание. Невозможно было остановиться, было ощущение, что разговоры эти такие, что можно сутками говорить: не пить спиртное, не обязательно курить, а говорить, говорить — и будет бесконечно интересно. Мне казалось, что Толя очень легко держит высокий интеллектуальный градус, а это дано очень-очень малому числу людей.

Сюзанна: Он приходил в ресторан, потому что ему нужно было окружение комфорта и ощущение удобства в общении с людьми, с которыми он туда пришел. Такие моменты присутствовали во всем, что он делал. Ему нужно было создать территорию комфорта. И то, что он знает, как создавать территорию комфорта, я точно видела. Если это его рабочий кабинет, надо сделать так, чтобы ты не чувствовал, что это кабинет и сейчас зайдет секретарша и кого-то вызовет. Если это репетиция, то обязательно нужны кофе, бутерброды.

Я расскажу историю. Потрясающий момент — знакомство с Анатолием Аркадьевичем. В этот момент я видела просто человека, преподавателя — в сторону все ранги, потому что ничего не показывало его ранга. Такой обыкновенный, спокойный, только почему-то обо всем все знающий человек. Задавая вопрос, он уже знал, что услышит в ответ, но все равно продолжал им интересоваться. После нашего первого общения он предложил:

— А почему не перейти на ты? С Фимой я на ты, со всеми на ты.

— Анатолий Аркадьевич, я не умею, у меня проблема.

— Да бросьте вы. Я же могу.

— Разрешите мне остаться на вы. Вы говорите мне ты, а я буду попрежнему — вы, Анатолий Аркадьевич.

— Хорошо, Сюзанночка. Как ваше отчество?

— Александровна.

— Хорошо, Сюзанна Александровна.

Вот так мы и остались.

Обычный звонок в Кишинев: «Сюзанна Александровна? Добрый день, как дела?» В этом был элемент иронии, но это и показывало глубокое уважение друг к другу. В этой игре было уважение, которое он выказывал мне, полное доверие и расположенность.

Я как-то увидела передачу, которую ведет М. Швыдкой и в которой выступал Е. Бунимович, она шокировала, поразила меня. Я впервые увидела, как этот человек был искрометен в своих суждениях, рассказах. А я не настолько привыкла к демократии, к свободе, и то, что говорил с экрана человек такого высокого полета, было революцией в моей душе. Зная, что Евгений Абрамович — друг Анатолия Аркадьевича, тут же набираем номер:

— А мы вот сейчас смотрели передачу…

Мне на минуту дают Анатолия Аркадьевича. Я говорю:

— Анатолий Аркадьевич, я сейчас смотрела передачу и хочу вам сказать: не у вас появился соперник, но у него поклонница.

Я помню его реакцию: это был сплошной хохот.

Другой момент. Поехал ансамбль «Ашкиназим» выступать в клуб во время фестиваля. После концерта я стала рядышком с Анатолием Аркадьевичем, спрашиваю:

— Ну, как это было?

— Хорошо!

— А моя любимая песня «А-яй-яй» была?

— Там все было а-яй-яй.

Фима: Там все было а-яй-яй! Понимаешь, нет проходных фраз, нет проходных слов. И это создает атмосферу, когда ты слушаешь и твой пускай маленький интеллект немножечко да разовьется.

Сюзанна: Вы знаете, что я называю языком Пинского? «Пинский язык» — особый язык, с которым я прежде не встречалась. Человек так разговаривает, так строит фразу, что каждое слово фразы выбрано не с сухой математической точностью, но выверено мыслью и опытом, который за спиной.

Фима: Мне кажется, он для разговора искал таких людей, которых отличало умение его понимать, слушать и умение тянуться, быть на равных. И когда находился человек, который мог с ним дышать одинаково, то и ему и этому человеку становилось так комфортно, что не хотелось расставаться и расходиться. И так сложился определенный круг людей, которым он многое доверил, людей, которых Толя открыл для себя и которые по-настоящему открыли для себя его.

Сюзанна: Несмотря на свое бесконечное бесстрашие, он все равно нуждался в чьей-то поддержке. Поэтому он подходил и каждый раз спрашивал: все ли так, все ли как нужно? Он не был в этом уверен до конца, на сто процентов. Шестым чувством он понимал, что да, так, потому что людям хорошо. Но он хотел абсолютно сознательно быть в этом уверен.

Я вспомнила, как он со мной работал над одной песней, которая ему давалась не совсем легко. Это были проблемы выбора тональности, голосовые проблемы, и он попросил меня: давайте отойдем и тихонечко поработаем. Вы мне дайте эту ноточку. Пока ему большие умы объясняли, почему не получается и как надо, он попросил: давайте попробуем. Без всякой задней мысли мы сели и попробовали. Эта песня не звучала ни разу на фестивале. Но как ее пел Толя! Он не взял ее в репертуар, она очень сложная, трудная вокально, но для него это было преодолением еще одной ступеньки в его достижениях.

Фима: Однажды Толя прислал запись только что сделанной аранжировки и попросил дать свою оценку. Я послушал, Сюзанна послушала, мы проговорили, наши мнения разошлись, я написал. А в этой аранжировке была партия скрипки, которая все перекрывает и, на мой взгляд, неуместна. Я написал об этом с комментариями. И Толя отвечает короткой фразой: «Ну, ты монстр, Фима!» Толя опять готов учиться и соглашаться. Он не закрывается! Он уже два года поет, где-то уже гремит. А тут: «Именно это я сказал Розову! То, что ты, Фима, написал».

Толя ищет поддержки кого-то из музыкантов. У него же нет музыкального образования. Но есть свое мнение, и если оно еще и подтверждается мнением того, у кого образование есть, это становится важно, когда решаются вопросы аранжировки. Был случай, когда споры дошли до крайнего уровня, было собрание, и Пинский сказал: «Так, я, в конце концов, сам принимаю решения, что здесь правильно, а что нет». Все ошалели, но были вынуждены согласиться. В результате Пинский — он же умный человек — все равно с ними советовался. Но он хотел прекратить эти дурацкие споры. Сколько можно — решение должно быть принято.

В музыке Толя больше тяготел к драматическому сюжету и развитию. Ему этого не хватало, он искал драматический момент в пении. Не зря «Дона» пела песни гетто, в них много драматики, театра, и в «Доне» по Толиной задумке много драматизма. Это его актерский интерес.

Сюзанна: Страстное желание и в этом солировать, внутреннее убеждение и стремление еще в чем-то себя проявить. Это не от тщеславия или самолюбия, а от неуемного желания и в этом реализоваться тоже.

Фима: И еще одно. Это интерес ко всему, что его трогает. Когда Толя подарил мне книжку об отце, я удивился — что он делал двадцать лет назад? Почему только сегодня пришел к музыке? По-моему, эта книга о том, как Пинский пришел к клейзмерской музыке. Если это уже было в Пинском давным-давно, если сейчас он просто восстановил это в себе — значит, у него только не было повода, не было какого-то манка, который бы привел его к песне раньше. А в какой-то момент он проявился и сказал: «Доколе… Ну надо уже!»

Если писать о жизни Пинского в клейзмерской музыке, то первой частью должна быть книга об отце, и одной из частей — книга об автоинтеграции, потому что это тоже часть клейзмерской музыки. Почему? Потому что Пинский одним из первых серьезно задумался над тем, чтобы не просто дать перевод перед началом песни, а чтобы песня звучала еще и по-русски во время исполнения. И это тоже проблема автоинтеграции, потому что он хотел себя чувствовать русским евреем. Он русский еврей. И поэтому «Автоинтеграция» — книга о клейзмерской музыке для Пинского. Вот эти две книги, а посередине собственно сама музыка. Это характерно для него.

Меня всегда смущал этот вопрос: почему он так поздно занялся клейзмером? И удивительно то, что получилось в результате. Я не скрою, люди приезжают на клейзмерский фестиваль из года в год и привозят по одной песне. Если представить, что «Дона» записала за два года два диска, то это можно сойти с ума и сказать себе: «Ну это ж надо!» Записала два диска, а сколько еще песен! Ты не знаешь еще много песен, которые Пинский пробовал. Тут была жадность, жадность настоящая, хорошая, добрая.

Сюзанна: Что такое за два года два диска? Не каждый большой музыкант, который от горшка занимался музыкой, дошел до зрелого возраста и решил записать свой диск, не каждый это делает за год. А тут два диска! Это невероятная работа, потому что создание диска — это концепция, это материал, это выстраивание бесконечных составляющих. Чтобы все это перелопатить, нужно заниматься только этим день и ночь, и до того еще лет десять, чтобы успеть все сделать с такой скоростью. А у него, мы же прекрасно знаем, была не только музыка, был миллион всего.

Хочу перевести на другую тему: мои наблюдения как женщины. Анатолий Аркадьевич за столом на кухне, здесь, в Видном. Со всеми, в общей массе, ест где-нибудь, как-нибудь, во время сейшенов, стоя, на коленях.

И я не помню, чтобы я даже летом увидела его просто в футболке или в рубашке. Всегда в костюме. Такая внутренняя обустроенность человека — всегда быть при костюме, в любое время суток. Встает человек в шесть утра, мы еще не легли, а он уже встал — он в костюме. И то же самое вече-

ром, в любых условиях. В быту абсолютно неприхотлив. Но всегда свежий, всегда готов ко всему. Очень спокоен. Сколько бы ни возникало самых сумасшедших ситуаций, самых неразрешаемых: «Сейчас, сейчас подумаем». Настолько спокойно: «Сейчас что-нибудь сообразим». Напрягается он, а ты расслабляешься: если нужно, значит, это сейчас будет.

Фима: Я уже рассказывал про первые концерты, когда Женя Славина сказала: вот, есть Толя Пинский, — и мы приехали. У нас было такое настроение: ну и что, еще один ансамбль, ну, посмотрим. Мы стали напевать, а он: «Знаешь, мы вот это возьмем себе, и это». Я еще ничего не предлагал, а он: «Вот это мы хотим взять, это хотим взять».

А по поводу дисков вот что важно: для Пинского диски — это не только этапы пути, но еще и очередная книга. Он любитель запечатлевать время, для него диск — это запечатленное время. И снимать наш фестиваль на видео для него очень важно, это тоже концентрация времени. Вот песня про гетто — давай я запишу ее на диск, это как «я напишу рассказ». Это не только этап, это культурный слой еврейской Москвы. Он есть на каждом диске. Это первый посыл. А уж как сложится жизнь диска в дальнейшем — другой вопрос. Нужно сделать главный шаг.

Хочу сказать о фестивалях. Людей на них собирает клейзмерская музыка. Это понятно. Они единомышленники. Понятно. Они знают, зачем едут. Тоже понятно. Но самый важный момент: они, тем не менее, очень разные, и иногда случаются всякого рода конфликты. Музыкальные, человеческие, творческие — разные. На этом фестивале первоначально был задан такой тон — в первый день, с первой встречи, — что здесь невозможно делать ничего плохого. Невозможно плохо играть, плохо разговаривать друг с другом, ругаться. Взять хотя бы Толино пение с утра, когда он шел по зданию, по коридорам и пением будил людей — это ноу-хау. Если тебя будят песней, то это значит, как у Евтушенко, мы — «утренний народ». Все будет хорошо: мирно и качественно. И таких деталей очень много. А кухня? «Пинская кухня»! Я понимаю, что Толя людей, работающих на кухне, специально по Москве не собирал, просто невозможно для «птенцов Пинского» готовить плохо.

Есть много разных моментов, и есть то, что держит фестиваль на «Пинском уровне». Это ощущение Вудстока, творческого раздолья, это неконтролируемый процесс! И это идет от Толи. Его жестикуляция, артикуляция, стать, порода не позволяют, чтобы было иначе.

Сюзанна: Я думаю, что это самоорганизация Анатолия Аркадьевича. То, что он мог собрать музыкантов или людей из образования и со всеми говорить своим языком, при этом никак не выказывая, что человек, с которым он беседует, в чем-то ему уступает, а наоборот, давая другому почувствовать себя в роли учителя. Он всегда давал нам почувствовать, что он у нас что-то берет, это было на равных.

Фима: Это высочайшее проявление интеллигентности. А поскольку ты ощущал, что этот человек многогранен и многосторонен, ты до последнего момента не верил, что он может не разбираться, например, в этом вопросе. Тебе казалось, что это шутка, что он хочет проверить твои знания. Но потом ты понимал, что он совершенно искренне не знает, ну чего-то же он может не знать! И ты в результате отдавал ему все больше и больше, это был взаимообмен. И это прекрасно.

Курить — это было такое священнодействие. Толя, например, рассказывал: «А ты знаешь, вот Володя Гойхман в первый раз приехал — с ним приятно покурить. Он курит сигареты «Дойна», они так пахнут! Приятно покурить, еще сигареты хорошо пахнут — хорошие беседы получаются».

Сюзанна: Иногда глобальные вопросы решались во время курения. Я помню, что именно в курилке зарождались идеи, которые потом воплощались и превращались в бомбы, просто в бомбы. А начинались они с курения. За сигареткой какие-нибудь одна-две фразы — и вдруг: «А знаете, а если…»

Фима: Когда Пинский тебя приглашал курить, ты был совершенно уверен, что сейчас что-то серьезное предстоит обсуждать. Будь готов к важному разговору. Мне кажется, на него тоже сигарета навевала какие-то темы, создавался какой- то градус, нельзя было просто так курить. И это время для него не терялось, а использовалось для обсуждения разных проблем.

Сюзанна: Анатолий Аркадьевич советовался не только с нами, он советовался с каждым, потому что ему было важно узнать, что ощущает тот или иной участник — неважно, первогодок он или 21 год в этом деле, — как он себя ощущает, комфортно ли ему с преподавателями, как он ориентируется в материале, как что организовано. Поэтому он выдергивал и спрашивал каждый раз кого-то другого, и я предполагаю, что он потом фокусировал разные впечатления и уже делал свои выводы и определял дальнейшие действия. Но, безусловно, это не было только нашей привилегией — покурить и обсудить дела.

Фима: Я думаю, что он больше доверял людям в профессиональном плане, когда видел, что у них уже есть результаты работы. Уже сам имея какой-то опыт, он говорил о них: «мэтр такой-то» или «мэтр такой-то»: «Вы знаете, у нас на концерте в Кишиневе были такие мэтры: Слава Фарбер, Володя Гойхман, Фима Черный». Для него это была высокая гордость, что мэтры пришли на концерт и слушали. Когда он возвращался с концерта или с гастролей, тут же присылал мне свои заметки: «К нам подошла такая тетечка и спросила о том-то. Ты себе представляешь? Как ребенок!» Что-то такое ребячливое, искрометное и ребячливое было в нем. И такой удивительный юмор!

А что касается телефонных разговоров, то они бывали и на минуту, и на час. Иногда он звонил, задавал вопрос, на который надо было ответить

«да» или «нет». И мы понимали, что он куда-то торопится: «Все, все, пока. Я просто хотел это вам сообщить, не мог в себе держать». То же самое Сюзанна. Она говорит: «Давайте позвоним Пинскому. Ему это нужно сказать. Все обойдутся, а Пинскому нужно сказать. Потому что я очень хочу, чтобы он это знал». Даже о своем, бытовом, вне музыки — чтобы Пинский это знал. И он всегда продолжал тему, радовался. Говорил: «Да, очень хорошо. Рад за тебя». Какое-то время мы обсуждали то, чем мы с ним делились, так было всегда.

Возвращаясь к тому, что он говорил «Сюзанна Александровна». Это касалось всех женщин. Я не встречал мужчин, которые, относясь галантно и находясь в очень тесных отношениях с женщинами, никогда не давали повода для каких-нибудь сплетен, никогда. Почему? Потому что всегда было понятно, что это своего рода аристократ. У аристократа есть свои жизненные принципы. Аристократу надлежит по закону делать женщинам комплименты, помогать им, подавать руку. Есть правила, которые надо соблюдать. И они соблюдались безукоризненно.

Сюзанна: Я никогда как женщина не ждала комплиментов от Анатолия Аркадьевича. Для меня было намного важнее, что он со мной разговаривает на равных, как коллега, абсолютно уважительно, никоим образом не выказывая своего превосходства. Вот это для меня было самым ценным, и мне было очень комфортно в такой ситуации. За это я так ценю наши беседы.

Фима: Он поехал в Америку познакомиться с музыкантами-звездами, которых приглашал на фестиваль. Мы бываем на многих фестивалях, и я себе не представляю, чтобы организатор Веймарского фестиваля поехал в Америку познакомиться и посмотреть, подходит ли ему тот или другой музыкант как преподаватель. Посмотреть, что это за характер, что за личность, что за идеи. Это очень интересное решение, и оно тоже в стиле Пинского. Его смелость: он ни с кем не боится быть выше или ниже. Он приходит и создает атмосферу, и человек становится частью происходящего.

Сюзанна: С первой секунды, где бы он ни находился — в глухой деревушке, в большом городе или в Нью-Йорке за столиком с Клэр Бэрри — моментально это так.

Фима: У нас есть подруга, художественный руководитель общинного центра. Когда Толя с «Доной» приехал в Кишинев, он посетил на короткое время общинный центр. И она спрашивает:

— Кто этот человек?

Я говорю:

— Анатолий Пинский, руководитель ансамбля «Дона».

— Я понимаю, что он руководитель ансамбля, но кто он такой?

— Что ты хочешь от меня еще услышать? Где он работает? Он художественный руководитель ансамбля.

— А что еще?

— Он директор вальдорфской школы, советник министра образования России.

— Вот, это я хотела от тебя услышать. Я же вижу, что этот человек — серьезный человек и большой человек.

Я говорю:

— Галя, он абсолютно свой и простой, и пусть тебя не смущают все его звания и регалии.

Иногда так бывало поначалу, но через какое-то мгновение создавалось поле, которое сметало эту стену, ломало ее, и все становилось легко и просто.

Сюзанна: Еще история. Мы два месяца катались по Германии. И один из концертов у нас был в городе Эрфтштадт, который находится в 20 минутах от Кельна. Там есть вальдорфская школа, и так случилось, что мы давали концерт в этой школе. Один из преподавателей подошел к нам и заговорил по-русски. Я говорю:

— А я знаю такую же вальдофскую школу в Москве.

Он говорит:

— И я знаю эту школу, я там бывал. В 92-м году примерно. У меня там друг работает — Толя Пинский.

— Вы знаете Пинского? — это как связующее звено.

— Да, это мой друг.

Я говорю:

— Это мой друг!

— Я ему письмо напишу на русском языке.

И пишет: «Дорогой Анатолий, ты, надеюсь, меня помнишь. Я позвоню…»

Сюзанна: Для меня очень яркий момент — то, как возникла идея пригласить на фестиваль Адрианну Купер. Разговор происходил здесь, в Видном. Сидели Алина Ивах, я и Анатолий Аркадьевич. Сидели и размышляли: «Был один фест, был другой фест…» Он говорит:

— Ребята, давайте думать дальше, кого пригласить из иностранцев.

— Анатолий Аркадьевич, а вы не хотите пригласить Адрианну?

— А она приедет?

— Алина поговорит, они очень дружат.

— А как ее координаты?

— Одна секунда, Анатолий Аркадьевич. Я открываю свои записи и даю координаты. Это вообще-то сногсшибательная идея. В моей голове такое «ох!», если это состоится. А что состоится, сомнений уже не было — после того как прозвучало «координаты» на второй же секунде разговора. И это характерно для него: если какая-то идея выдвигается и ты в этот момент способен ее продолжить, то у него уже окончательно вызрело — «да».

И дальше наступает «как». Как сразу, не отходя, на месте все организовать. После этого последовали рассказы про то, как Адрианна хороша. Что было дальше? То, что мы получали по e-mail и слышали по телефону по поводу знакомства с Адрианной Купер, — это для меня было непередаваемое ощущение. Я ведь уже знала этого мастера, и когда Пинский произнес, что он счастлив общением и дружбой с Адрианной, это было бальзамом на мою душу. Есть! Я себе сказала: «Есть!» Они сошлись. По-другому не могло быть, потому что Адрианна — величайшего уровня персона. Музыкальную часть сейчас в сторону — она человек, и не с американской ментальностью, а наш, добрый, все понимающий и знающий. Она прекрасно все оценивает и входит в наше нутро, несмотря на то что родилась и выросла там, за океаном. Как могли не слиться эти две души?

Он упивался своим знакомством с ней, радостью общения. Он говорил: «Нам так интересно, мы с ней столько общаемся, столько говорим». Реакция Адрианны мне стала известна только теперь, когда мы смогли увидеться и обменяться всего двумя фразами, потому что нам обеим на эту тему не хотелось говорить. Мы решили, что все сделаем то дело, ради которого приехали, и этим мы друг другу высказываем свое отношение к происшедшему. Но то, как она ощущает Толю и их общение, мне понятно в не меньшей степени, чем слова, сказанные об этом Толей на русском, родном языке.

Во время фестиваля, 2005 г.

Во время фестиваля, 2005 г.

С Зоей на фестивале, 2005 г.

Концерт «Доны», 2005 г.

С участниками фестиваля, 2006 г.

«Дона», май 2006 г.

«Дона», май 2006 г.

«Дона», май 2006 г.

Толя в мае 2006 г.

В кафе «Маргарита» в апреле 2006 года. 50-летие Марины

Толя и Марина. Там же

Толя и Марина
в школе
в мае 2006 г.
На совместном
юбилее Марины
и Риты Парсадановой

Дуэт Толи и Риты.
Там же

С Женей Штейнером.
Там же

Толин юбилей
в ресторане «Мама Зоя»
19 июня 2006 года

Толин юбилей
в ресторане «Мама Зоя»
19 июня 2006 года

Толин юбилей
в ресторане «Мама Зоя»
19 июня 2006 года

Это была исполнившаяся мечта

(рассказывает Адрианна Купер[109])

Я была очень рада, что Толя решил приехать в Нью-Йорк. Сначала он говорил мне, просто как о своей мечте, о том, как он хочет увидеть Клэр Бэрри. Это была как будто фантазия. Я сказала ему, что Клэр часть года живет во Флориде, и он подумал: «Может быть, тогда я съезжу, навещу ее во Флориде?»

Потом мы обсуждали время, когда она все же бывает в Нью-Йорке, а потом он начал планировать клейзфест и захотел встретиться с некоторыми музыкантами, в том числе с Алисией Свигалс[110], Дэвидом Кракауэром[111] и со мной, чтобы обсудить предстоящий фестиваль. И тогда план сложился окончательно: ведь Клэр тоже была в Нью-Йорке в это время.

Мне показалось, что, оказавшись в Нью-Йорке, он поначалу был немного недоволен. Он поселился в отеле в очень хаотичном и шумном районе, в самом центре города. И его первые впечатления от города, как он говорил мне, были такими, будто все находится в каком-то хаосе и сложно понять, что вокруг происходит. Но потом он прошелся по разным районам, понял, как устроен город, и был очень воодушевлен.

Он зашел навестить меня в офисе, где я работаю. В этом здании находится несколько культурных еврейских организаций. Там же размещается редакция очень важной еврейской газеты Jewish Forward. Газета издается на двух языках: идише и английском. На идише она выходит уже лет сто, а на английском — последние 30 лет. Она стала голосом американских евреев. Я познакомила его с редактором этой газеты: он русский эмигрант, Борис Сэндлер. Они пообщались какое-то время, по-моему, позже даже вышла статья о его визите, хотя я точно не помню. А потом я долго разговаривала с Толей. Он хотел взять у меня интервью.

Он был одним из наиболее «полных» людей, которых я когда-либо знала… У него были особые пристрастия: вещи, которыми он страстно загорался, песни, которыми он загорался, и особенно еврейская (идишская)

---

[109] Адрианна Купер — одна из наиболее авторитетных мировых исполнительниц на идише, номинант на премию «Грэмми», директор Центра культурной еврейской жизни в Нью-Йорке.

[110] Алисия Свигалс — одна из ведущих клезмерских скрипок, одна из основателей ансамбля «Клейзматикс».

[111] Дэвид Кракауэр — кларнетист, один из наиболее известных мировых исполнителей клезмерской, а также джазовой музыки.

культура. И была идея, что с помощью театра люди могут понять всю еврейскую культуру.

Моя организация давала концерт в Ботаническом саду на Род-Айленде, и я пригласила его. Я выступала на этом концерте, а еще выступали Алисия и моя подруга, театральная актриса, которая говорит с детства на идише. Она произвела на Толю сильное впечатление. Я думаю, тогда он впервые увидел то, что представлялось ему важным и для «Доны», — театральность может привлекать и приобщать к еврейской культуре больше и больше людей. Театр способен «демократизировать» еврейскую культуру для многих.

Я думаю, он был глубоко демократичным человеком. По моему опыту, он представлялся мне необыкновенно мыслящим и толерантным человеком. Он искал что-то новое, хотел быть свободным и экспериментировать с идишем. Когда он пришел на концерт в Ботанический сад, он открыл для себя несколько вещей. Он увидел очень непринужденную, расслабленную атмосферу. Это был летний концерт, все сидели на траве — пожилые люди принесли стулья, а другие просто расстилали покрывала и целыми семьями сидели на них, многие взяли с собой еду. И я думаю, его поразило то, что все было так непринужденно и люди чувствовали себя абсолютно естественно.

В концерте были затронуты все аспекты еврейской песни — как традиция, так и инновации. Была молодежная группа, которая спела немного на русском, немного в стиле панк, и ему очень понравилось такое разнообразие.

Потом мы отправились вместе в индийский ресторан. Он пригласил нас и был очень щедр. Он много говорил про еврейство. Когда он общался с молодыми людьми, я видела и понимала, что он, через свою работу, открывает и своим собственным детям «дорогу» быть евреями.

Алисию всегда очень волнует вопрос безопасности. Думая про поездку в Россию, она спрашивала про безопасность. Она сказала, что много слышала о пропаже людей и других плохих вещах, и спросила: «А на концертах будет охрана? Будет ли все безопасно?» А Толя посмотрел на нее и сказал: «Ты знаешь, я не могу жить и все время волноваться. Я просто живу». Но он также убедил ее в том, что все будет абсолютно безопасно. Я думаю, что эта смелость позволяла ему быть реформатором в сфере образования, идти против системы и быть инноватором в еврейской культуре.

Я думаю, именно слово «демократичный» имеет особое значение. Я была рада, что он решил приехать в Америку. Он мыслил как русский и в то же время как западный человек — свободный и не подавленный властями. Это делало его очень важным человеком для русской еврейской культуры. Было видно, что он знает, как общаться с властями, а с другой стороны, он умел ладить и находить общий язык с молодежью.

В конце концов мы назначили день, чтобы встретиться с Клэр и сходить вместе на ланч. Мне кажется, сначала мы что-то перепутали и в результате сдвинули наш поход на следующий день. У меня очень хорошие отношения с Клэр, мы дружим, как и еще с несколькими пожилыми исполнителями на идише. Клэр уже в возрасте, но она по-прежнему полна сил, хотя на самом деле у нее проблемы с сердцем и она плохо видит: ее всегда кто-то сопровождает.

Итак, мы отправились втроем на ланч. Мне было приятно смотреть на то, как они общаются, видеть, насколько эта встреча важна для них обоих. Для него, я думаю, это была исполнившаяся мечта — ведь он столько слышал про концерт сестер в Парке Горького, их приезд в Россию. Даже несмотря на то, что они тогда совсем не пели на идише и у них был международный репертуар, для русских евреев они олицетворяли собой идишскую культуру. Их музыка полна радости, счастья, интересна с профессиональной (музыкальной) точки зрения, она была вполне современна в середине XX в. И я думаю, что он видел в Клэр одновременно и молодую, и пожилую женщину.

Он вспоминал те давние времена и знал все про их концерт в Москве, хотя я сомневаюсь, что он сам был там. Но при этом он все знал. Он спросил ее, и она рассказала, насколько они с сестрой были ошеломлены и удивлены тем, как их встречала публика, какая любовь и нежность исходила от зрителей — они чувствовали ее начиная с того момента, как спустились по трапу самолета, и на протяжении всего концерта. Она рассказывала, что поток зрителей нахлынул на них и в тот момент они немного испугались, но это проистекало из большой любви и огромного восторга.

Клэр сейчас пожилая женщина, немного стесняется, потому что плохо видит, волнуется. Для нее эта встреча была прекрасна, думаю, вот почему. Вы же знаете, пожилые люди становятся неинтересны окружающему миру. И Толин удивительный интерес к людям, сам факт, что он решил познакомиться с ней и пригласил в ресторан, «оживили» ее, и она сразу вспомнила множество событий и подробностей, а он задавал ей прекрасные вопросы, и она рассказывала замечательные истории из своей жизни.

Она рассказала, что, когда она была еще маленькой девочкой, ее мама очень хотела, чтобы она пела. Но у них не было пианино. А у соседской девочки было, и она регулярно брала уроки музыки. Тогда Клэр нарисовала на картонке клавиши и стала приходить на занятия к той девочке: сидела и играла на своей нарисованной клавиатуре. Так она научилась играть на фортепиано — на кусочке картона. А потом эта девочка переехала, и Клэр уговорила купить у нее пианино. Так что она много рассказывала о своем детстве — очень живо, ярко, описывала разные случаи, рассказывала о своих отношениях с сестрой, о том, сколько они для нее значили. А потом о том, что она не хотела больше выступать после ее смерти. Толя был удивлен некоторыми историями и давал ей понять, что она может рассказывать

столько, сколько ей хочется. И опять же, это очень здорово наблюдать, как пожилой человек, которому есть что рассказать, общается с тем, кто действительно хочет все это слушать.

И последнее — о фестивале. Качество студентов, участников «Дона-феста» очень высоко в сравнении с тем, как обычно бывает на аналогичных мероприятиях. Это делает фестиваль особенным и важным. Каждый ощущает свою силу и уважение. Как учителя, мы действительно это чувствуем…

У нас еще будет время

(воспоминания Михаэля Дорфмана[112])

Мой папа много ездил в командировки. Иногда в большие города — в Киев, в Москву, иногда в маленькие карпатские села и галицийские местечки. Он часто брал меня с собой. Мы заходили в учреждение — в столичное министерство, в курортную гостиницу, в провинциальную аптеку или маленький магазин, — и я неизменно становился свидетелем чуда. Папа осматривался, безошибочно находил правильного человека, подходил и говорил волшебные слова *«Вос махстэ?»*, что по-еврейски значит «Как дела?». И человек, который до того нас не знал и даже в глаза не видел, занятый своим делом и погруженный в свои заботы, оставлял дела, находил для нас время, помогал в новом месте, приглашал домой, становился хорошим знакомым, даже другом. У евреев это называется *ланцман* — земляк. Сложившийся за тысячелетие кодекс еврейского землячества начинал работать и помогать жить. В точности как легендарные законы восточного гостеприимства. Мне долго казалось, что вместе с еврейским языком, с идишем, эта теплота и близость утрачены — так же, как умение сочувствовать ближнему. Но когда встречаешь хорошего человека, оказывается, что все это живет. А хороший еврей, по-нашему, это прежде всего хороший человек, *а-мэнч*. Так я почувствовал, когда нашел близкого по духу человека — Анатолия Аркадьевича Пинского.

* * *

Собственно, я никогда не встречался с ним лицом к лицу. Наше знакомство ограничилось телефонными разговорами, взаимным интересом и

[112] Михаэль Дорфман — журналист, продюсер, гражданин Израиля, живет в США. Печатается на основе публикации в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

симпатией к делам друг друга, а самое главное — активной перепиской в течение последних полутора лет. Началось все с того, что Анатолий написал и попросил разрешения разместить на сайте московского ансамбля еврейской песни «Дона» мою работу о еврейском писателе Исааке Башевисе Зингере «Портрет художника, который ни в какие рамки не лезет» (http://www.lebed.com/2005/art4394.htm). Журнальный вариант повести тогда вышел в иерусалимском журнале «Нота Бене». Я охотно согласился и послал ему полную авторскую версию. В работу о Башевисе Зингере я вложил много личных мыслей и идей о творчестве. Анатолий безошибочно это почувствовал и написал мне об этом. Так у нас сразу сложилось удивительное чувство близости и взаимопонимания. Я скоро перестал удивляться близости наших мыслей и идей. Это чувство хорошего единомыслия с Анатолием не покидает меня и сегодня, когда Анатолия больше нет с нами.

* * *

Я тогда писал о незаслуженно забытой сатирической антиутопии Арона Цейтлина «Вейцман Второй, или Конец Еврейского государства» (http://www.lebed.com/2006/art4552.htm), и песня на слова Арона Цейтлина «Дона-дона» в переводе Анатолия великолепно легла в строку. Он сумел передать трагический тон поэзии Цейтлина.

Вот на рынок катит бричка,
Грустный в ней телок лежит.
А высоко в небе птичка,
Вьется ласточка, кружит.

Припев:
Как смеется ветер,
Гонит тучи прочь,
Он смеется день и вечер,
И еще всю ночь.
Дона-дона, дона-дона...
«Хватит хныкать, — крикнул возчик. —
На кого тебе пенять?
Сам родился ты теленком,
Сам не хочешь, друг, летать».

Припев:
И за что телят зарежут,
Им никто не объяснит.
А кому мила свобода,
Тот, как ласточка, взлетит.

Анатолий перевел песню с английского текста, который широко популяризовала Джоан Байес.

Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But who ever treasure freedom
Like the swallow, has learn to fly

Я заметил Анатолию, что в еврейском оригинале более трагический оттенок, и дело не в том, кому мила свобода, а в том, что родившийся свободным не будет рабом. Буквально у Цейтлина:

Биднэ клебер тут мен биндн
Ун мен шлепт зей ун мен шехт
Вер с'хот флигл флит аройфцу,
Из бай кынен нит кейн кнехт
Несчастных телят связывают,
Их тащат и их убивают.
Кто имеет крылья, взлетает вверх
И никто не сделает его рабом.

Анатолий попросил меня помочь перевести. Он советовал не спешить, полагал, что у нас много времени. Стихи писать мне не дано, да и идиш у меня далеко не совершенный. Однако где их возьмешь сегодня, знатоков совершенного. Мы не торопились, и я отложил перевод. Анатолий приглашал меня на московский фестиваль еврейской песни «Идиш-фест — 2007», где предложил провести два семинара, и еще у нас были всякие совместные планы. Вот я и думал, что привезу исправленный перевод. Мы с ним строили планы на будущее, веря, что у нас в запасе неограниченное время. Я сделал подстрочник, а Таня Сергеева из Литвы, которая всегда помогает переводить стихи к моим текстам, предложила свой вариант — уже после того как Анатолия не стало.

Как теленок — будет связан
И на бойне в срок убит...
Тот же, кто имеет крылья, —
Тот не раб, тот улетит!

Тем временем мы с Анатолием начали делать интервью-диалог. Анатолий много писал о направлениях еврейской песни в России, хотя отказывался говорить о «направлении». «Все-таки мало нас, и «направление» очень связано с творческой манерой, продюсингом артиста или коллектива», — писал Анатолий. У меня не сохранилось текстов, но Анатолий заверил меня, что у него все в сохранности, и когда я буду в Москве, то мы будем иметь время...

* * *

Мне очень нравилось огромное внимание Анатолия к деталям, к мелочам. Он, как никто, умел найти пример или сравнение, когда маленькая деталь или частный случай не просто иллюстрировали, а проясняли очень сложную идею. Наверное, это талант педагога — роль, в которой, к сожалению, я не знал Анатолия. Позже мы переписывались о сборнике «Музыка идишкайта-2006», куда вошла и моя статья-интервью (http://www.zvuki.ru/R/P/13304) с музыкантом и продюсером Джоном Зорном «Музыка радикальной еврейской культуры». Сборник под редакцией Анатолия Пинского и Анны Смирнитской мне кажется знаковым, и его значение для еврейской культуры в России еще ждет своей оценки.

* * *

В сентябре Анатолий прислал мне проект сборника к новому «Донафесту», который позже решено было переименовать в «Московский международный фестиваль еврейской музыки “Идиш-фест-2007”». Я предложил туда несколько текстов. Мы активно обсуждали идеи популяризации фестиваля. Когда-то в Израиле я сумел убедить кандидата на пост премьер-министра спеть перед аудиторией русскую песню. И сам спел с ним дуэтом. Кандидату понравилось, и он проделывал это во время предвыборной кампании перед каждой русской аудиторией. Кончил он пением «Калинки» в дуэте уже не со мной, а с Иосифом Кобзоном. Позже он не раз говорил, что я дал ему идею, как покорить сердца русскоязычной публики. Об этом я вспоминал как-то в статье 2005 г. «Шарон по-русски больше не поет» (http://www.lebed.com/2005/art4089.htm). Позже мы перебирали несколько других, совсем уж неконвенциональных, кандидатов. Я побывал до того на фестивале этнической и литургической музыки в Марокко и был под впечатлением удивительного мультиэтнического сплава арабских, испанских, израильских, итальянских и африканских музыкантов, вместе исполнявших свою музыку. Я предложил пригласить Людмилу Зыкину, с которой мне однажды довелось беседовать. Я очень высоко ценил ее мудрость и интеллигентность. «Вот это замечательная идея, если Зыкина споет с клейзморим, — радовался Анатолий. — У нас еще будет время...»

* * *

Во второй половине 2006 г. наша переписка стала особенно оживленной. Анатолий писал мне, что старается ввести в школе курс идиша. Я был

довольно скептически настроен, полагал, что лучше общий курс еврейской культуры, не подчиненный всяким «измам», а рассказывающий о красоте, юморе, умении смеяться над собой, потому что когда смешно, то ничего не страшно. Я послал Анатолию свой пока не опубликованный текст «Как учили быть евреем», посвященный идишским школьным пословицам, поговоркам и дразнилкам, да и вообще тому, как учили в начальной еврейской религиозной школе — хедере. Неожиданно Анатолий предложил мне сделать по статье спектакль, дополнить его песнями и прибаутками. Я начал работу, полез в архивы. Я не спешил. Мы убеждали друг друга, что у нас есть время...

* * *

Анатолий интересовался каждым шагом, по-детски радовался каждой находке. Помню, уже перед самой госпитализацией он писал мне: «...простите, Бога ради, я очень слабо сейчас соображаю, все же лечусь в очень специальных формах. Пропорции веществ в крови у меня зашкаливают за нормы по некоторым позициям раз в 25–40, т.е. голова плохо варит. Но над текстом — где понял — посмеялся, здорово!».

* * *

Я знал Анатолия как горячего любителя и активиста нашей культуры, а он играл в жизни еще много профессиональных, личных и общественных ролей. Я догадывался, что он, как когда-то говорили, «государственный человек», советник министра, член различных государственных комиссий, неизменный участник элитных еврейских мероприятий и произраильской деятельности. Я и сам много участвовал в общественной и политической жизни и со временем перенял свойственное этому миру циническое отношение к речам. Я как-то перестал чувствовать парадоксальность и юмор откровенных благоглупостей, сопровождающих такую деятельность. И я не переставал удивляться тому, как Анатолий сумел не утратить чувствительности к чиновной и политической жвачке, а то и просто к идиотизму и враждебности, которая, увы, встречается и среди тех, кто послан помогать. Анатолий рассказывал мне: «Лет 10 назад мы с детьми из моей школы поставили мюзикл “Скрипач на крыше” (очень здорово было: дело человек на 50, мы потом с успехом ездили в Германию и Голландию, выступали в России, я играл Тевье). И вот, мы показали спектакль в театре “Шалом”. Пришли посол Германии в России фон Штудниц и директриса российского «Сохнута» г-жа Леви. После спектакля я подхожу к одному профессору, другу г-жи Леви, и говорю ему: “Слушай, предложи тихонько Леви, чтобы она вывезла детей в Израиль, там поиграть «Анатевку»”. Он мне отвечает: “Ты сошел с

ума? Ты хоть понимаешь, что для нее мюзикл на основе Шолом-Алейхема — это антигосударственная, вредоносная вещь?” Я был поистине шокирован». В другой раз он писал: «Председатель «Сохнута» приехал получать деньги, которые ему собрали, и... ляпнул сдуру обычную сионистскую жвачку, что “евреи Америки не имеют будущего”. Когда-то меня пригласили на встречу с Шароном в Москве. Сидело много умных и уважаемых евреев, а он вещал: “Чего вы тут сидите и слушаете старого вояку? Все, что вы делаете, не нужно... Идите скорей домой, собирайте чемоданы и уезжайте в Израиль...”» Я тогда поинтересовался: может, кто-то возмутился, встал и ушел? Анатолий ответил, что нет. Однако на встречу с Ольмертом, который как раз тогда случился в Москве, он уже не пойдет. А на следующий день прислал ссылку на короткое сообщение под длинным названием «Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал российских евреев поскорее собрать чемоданы и перебраться на историческую родину». «Лица новые, а песни старые», — написал Анатолий, снабдив письмо смайликом. Я понимаю сейчас, ему было не до веселья. Ему оставался тогда от силы месяц, и болезнь съедала его. А он писал мне, больному гриппом: «Не болейте, достаточно, что я болею. Не спешите. У нас еще много времени...»

* * *

Анатолий был внимательным читателем моих статей, давал советы и обсуждал тексты. Перед самым своим уходом он писал: «Насчет пародии как несущей конструкции идишской песни. Я бы сказал, что как *одна из* основ это, бесспорно, было и есть, ибо хуцпа («дерзание» на идиш) — она универсальна, по крайней мере для ашкеназа. Но как *главная* основа — я все же воздержался бы. Возьмите классику, ну, например, “Рожинкес мит мандлен” Голдфадена (от него совсем-совсем близко к бродеровским музыкантам), или совсем иную, но тоже классику — “Идише маме”. Это все же иное, верно?» Мы спорили, и этот спор нашел свое отражение в цикле статей об идише, который сейчас печатается в петербургской еврейской газете «Ами». Я посвятил цикл статей памяти Анатолия. Я привык к его оригинальному взгляду, к его спокойным советам и замечаниям. И я понимаю, что потерял Читателя, может быть, того самого, единственного Читателя, о котором мечтает любой автор.

* * *

Перед самым уходом Анатолий опубликовал свою программную статью «Автоинтеграция» (http://www.russiandenver.50megs.com/pinski.html), являющуюся, на мой взгляд, одним из важнейших документов культурного возрождения русскоязычного еврейства. Символично, что она стала как

бы его завещанием. Мы с Анатолием обсуждали статью с самого начала, и он присылал черновики для редакции. В окончательном варианте он учел некоторые мои замечания. Я отредактировал английский перевод «Автоинтеграции» и постарался сделать все, что в моих силах, чтобы манифест Анатолия дошел до читателей. Там нет руководства к действию, зато очень много мудрых идей и прогнозов, которые неизбежно осуществятся. Я и сам написал свой ответ «Так победит еврейская революция» (http://www.russiandenver.50megs.com/autointegration.html), который больше, чем мои предложения, призван помочь популяризовать текст Анатолия. Анатолий читал мой текст. Он посоветовал расширить мои соображения об опыте ХАБАДа, который я предлагал внимательно изучить. Я учел замечания, и Анатолий даже успел его послать в газеты перед самым уходом в госпиталь.

Вероятно, Анатолий встретил смерть с улыбкой. В Живом журнале я нашел запись: «Его смерть была для меня неожиданностью, как и для всех... Просто я его видела относительно недавно в берлинской клинике. Мы разговаривали, потом расстались, я уехала к себе, и через несколько дней это произошло... Я видела его живым, и, может быть, так и хорошо[113]». Анатолий ушел в Хануку, праздник света, праздник огней, и это очень символично для Анатолия, который нес свет, был светлым человеком. Он ушел в расцвете сил. На него было завязано очень многое, возлагалось много надежд. Другой блогер из Живого журнала сразу после кончины Анатолия цитировал известные стихи Ахмадулиной: «По улице моей который год звучат шаги — мои друзья уходят...» Не знаю, может быть, потому, что меня обычно окружает молодежь, или потому, что так получилось — менялось окружение, города, языки и страны, — но «на моей улице» такое несчастье случилось впервые. Ушел близкий человек. Только на нашей, еврейской улице смерть человека не означает конца. У нас говорят: «Умер, шмумер — лишь бы был здоров». «Мои романы начинались с того, что кто-то умер, — рассказывал еврейский писатель Йосл Бирштейн, — ведь только если человека не стало, можно начать рассказывать историю и тем самым вернуть героя к жизни». Пока мы помним, Анатолий Пинский, сохранивший древнее искусство собирать людей вместе, живет с нами и в нас. Для памяти у нас еще будет много времени.

[113] Запись сделана, вероятно, Полиной Серковой, выпускницей нашей школы, находившейся в Германии и вместе с еще одним нашим выпускником навестившей нас в берлинской больнице.

Один из последних разговоров

(вспоминает Лариса Зверева[114])

Один из последних разговоров с Анатолием состоялся на репетиции «Доны». Он собирался ложиться на обследование в клинику. Я спросила его: «И что же говорят врачи?» На что Анатолий рассказал историю, которая произошла с ним в молодости: «…Я был тогда примерно в таком возрасте, что и Миша Блинков сейчас, у меня в горле обнаружили опухоль. Меня поставили на учет в онкологии. Это была какая-то доброкачественная опухоль. Врачи предложили ее удалить. Мама моя очень беспокоилась, и стоял вопрос о том, делать операцию или нет. Нам сказали, что вот, есть один известный профессор медицины, к которому нужно попасть и посмотреть, что он скажет. Чтобы к нему попасть, нужно было иметь связи. Мама договорилась, нам было назначено время. Мы пришли, он осмотрел меня и говорит: “Можно оперировать, давайте выберем день”. Я его спрашиваю: “А можно ли обойтись без операции? ” Он пожал плечами: “Можно и не оперировать, тогда пойдите, поставьте свечку Николаю-угоднику, вдруг поможет”. Ну, поскольку меня особо это не беспокоило, решили оставить все как есть. Примерно через полгода я пришел отметиться в онкологический центр, врач меня осмотрела и говорит: “Как хорошо вам все сделали, прооперировали, даже следов не заметно, очень аккуратно”. Я ей говорю: “Да нет, ничего мне не делали”. — “Молодой человек, не морочьте мне голову, у других врачей сделали операцию и не хотите говорить”. Вот так все обошлось, но факт остается фактом — опухоль исчезла».

Я тогда спросила Анатолия: «А как же вы — ставили свечку Николаю-угоднику?» Он говорит: «Не знаю, может, мама и ставила…» Потом репетиция закончилась, Анатолий пожал ребятам руки, меня обнял: «Счастливо, Ларисочка! Счастливо, друзья!» Еще несколько раз мы общались по телефону. Анатолий был уже в клинике. «Дона» как раз готовилась к празднику Хануки. 17 декабря должны были состояться выступления в Московском еврейском общинном центре и в ресторане «Цимес», куда Анатолий приглашал друзей на празднование. Я беспокоилась о предстоящих концертах, даже не подозревая, насколько все серьезнее. Мы обсуждали возможность его участия в концерте. Он сомневался. На другой день я звоню и говорю: «Ну как мы без вас, может быть, все-таки получится быть 17-го?» — на что он ответил: «Ларис, это невоз-

[114] Лариса Зверева — профессиональный музыкант, солистка ансамбля «Дона». Печатается по публикации в альманахе «Музыка идишкайта-2007».

можно… Не переживай, Ларисочка, все будет хорошо! Как там Лолита?» Последняя его эсэмэска была разослана доновцам: «Друзья, я говорил с Леей Ратнер, она согласна на «Дону» с пением Альтшуллера. Сейчас ответственным за концерт должен стать Миша А., ибо ему петь. Так что готовьтесь, счастливо. Толя». И мы продолжили готовиться. Через несколько дней Анатолий улетел в Германию, и вестей от него больше не было. 14 декабря, во время нашей репетиции вошел Миша Стародубцев и сказал: «Ребята, извините». Мы перестали играть. «Толя в Германии умер…» Горе обрушилось внезапно. Мир рухнул. Слезы, потоки слез. Поверить в это, понять, что ЕГО С НАМИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО! Мы все были его детьми и осиротели. «Дона, дона, дона, доночка, дона!» — его голос, его душа, память о нем в песнях и в наших сердцах!

Приложения

А. Пинский
ИГРА
(критико-философский анализ)[1]

…Суть же беседы состояла в том,
что Сократ вынудил их признать,
что один и тот же человек
должен уметь сочинить и комедию,
и трагедию и что искусный трагический поэт
является также и поэтом комическим.
Оба по необходимости признали это,
уже не очень следя за его рассуждениями:
их клонило ко сну.

Платон «Пир»

За последние десятилетия феномен игры все более широко и интенсивно выступает, во-первых, в роли предмета разных специальных теоретических исследований (искусствоведческих, педагогических, психологических, этнографических и т.д.), во-вторых, в качестве средства и/или формы организации самых разных специальных же практик и техник: психотерапия, спорт, управленческое дело и т.д., в-третьих, и для нас это самое главное, в сфере повседневной, обыденной жизни людей и обыденного сознания. Игровые установки, отношения, игровые формы, наконец, само слово «игра» все более часто обнаруживаются в динамике массовых ценностных ориентаций, в метаморфозах повседневной речи, в межличностных отношениях формальных и неформальных групп, в процессах восприятия и оценки произведений искусства, в брачно-семейных отношениях. И это, очевидно, еще далеко не все. Игра начинает выступать и осмысляться как «универсалия культуры» [14], и таковое обстоятельство делает понятной и необходимой установку на философское исследование

[1] Наиболее ранний сохранившийся текст А. Пинского, датированный 1984 г., по которому в том же году им был сделан доклад в кружке ЦСКА. См. часть I «Третья декада». — *Примеч. сост.*

игры, которое, подчеркнем сразу же, по самой своей сути должно качественно отличаться как от конкретных, предметных исследований отдельных игр, так и от попыток рассмотрения игры в целом, проделываемых в рамках специальных научных предметов.

Часть I

1. Начало исследования игры в рамках традиционной научно-исследовательской парадигмы — «начинать с простых фактов» — позволяет, конечно, сформировать представление об особом совокупном объекте изучения. В этом случае этот объект будет, по идее, представлять собой всю совокупность «фактов игры», реально осуществленных «актов игры». Далее мы должны будем попытаться во всей этой массе выделить общие стороны всех этих единичных «фактов» и заместить их одним «обобщенным» образом, их абстрактно-общим. После этого мы, по-видимому, смогли бы говорить об игре не как о разрозненном множественном объекте, а как об особом предмете исследования (ср. сопоставительно с [3. С. 180–181]).

Однако в случае игры такой путь сразу оказывается тупиковым, ибо мы тотчас обнаруживаем, что нет никаких строгих оснований для объединения в одной плоскости игры шахматиста и игры ребенка, игры трагического актера и игры красок в мыльном пузыре, игры дипломатической и игры дидактической и т.д. Никаких оснований, кроме одного: что все эти «вещи».понятным для всех компетентных носителей языка образом обозначаются с привлечением слова «игра». Поэтому исходным пунктом анализа для нас выступает множество фиксированных в естественном языке высказываний, в которых характеристикой некоего процесса, деятельности, состояния является слово «игра». Это множество мы будем называть множеством И-текстов.

2. В настоящее время нет специальной науки и/или школьного учебного предмета, в которых формировалось бы специально-научное и дискурсивно расчлененное понятие игры. Тем не менее в естественном обыденном языке множество И-текстов функционирует исключительно адекватно: компетентные носители языка производят и понимают конечные тексты этого множества, по слову Канта, на уровне всеобщей сообщаемости и без посредства понятия. По нашему убеждению, это невозможно объяснить иначе, чем, допустив у них всех наличие обыденной интуиции игры (далее — ОИИ), которая и обеспечивает процессы коммуникации в пределах И-текстов, производство и понимание последних. «Работа» этой обыденной интуиции позволяет также квалифицировать те или иные И-тексты как

осмысленные и, что также важно, позволяет строить новые И-тексты[2] .Иными словами, ОИИ выступает в процессах коммуникации как автоматически действующее средство, но не как предмет, то есть сама она не тематизируется, берется некритически. Образно говоря, в пределах коммуникации на обыденном языке и в рамках обыденного сознания ОИИ всегда надежно действует из-за спины, но не находится перед глазами.

2.1. При этом огромная широта и одновременно четкость ОИИ позволяют использовать слово «игра» как иллюстрацию или метафору (т.е. опять-таки как средство) в самых отвлеченных и рафинированных концепциях. Зачастую характеристика чего-то как игры, апелляция к игре оказываются равнозначны указанию на нечто предельно самоочевидное, не требующее дальнейших определений. И в то же время она наделена каким-то интуитивно достоверным, хотя и скрытым от прямого умозрения содержанием [33. С.13]. Мы привели слова Э. Юдина, используемые им для описания некоторых сторон понятия деятельности.

Однако если на сегодняшний день понятия такого ранга, как «деятельность», «мышление», «пространство», «добро» и некоторые другие подверглись большой философской проработке, то можно ли то же сказать и про игру? А ведь она в каком-то смысле равномощна таким глобальным категориям и, если воспользоваться математическим оборотом, не раскладывается по их базису. Вуарен точно подметил, что игра все время ускользает из сферы больших категориальных оппозиций [9]. Вот мы спрашиваем: «Добро или зло?» «Да не о том речь, — отвечают нам. — Игра!» Или: «Истина или ложь?» — ответ аналогичный.

Для иллюстрации философской значимости этого феномена достаточно указать на ряд, условно начинающийся с гераклитовского «Вечность есть играющее дитя» и кончающийся марксовой характеристикой труда в коммунистическом обществе как свободной игры человеческих сущностных сил [1. С. 189]. Но, к сожалению, показательно, что, например, в «Антропологии» Канта слово «игра» используется более четырех десятков раз, причем в ряде мест ключевым образом, а в предметный указатель к тому оно не попало; то же самое можно сказать и по поводу предметных указателей к солидным изданиям платоновских «Законов» и «Государства» [15, 20].

3. Введя представление об ОИИ, обратимся к теоретическим работам, посвященным отдельным играм и игре как таковой. Массив этих работ подразделяется на две группы. К первой можно отнести исследования по предметному описанию игр, например психологический аспект деловых игр или функции игры в воспитании детей в доклассовых обществах и т.д.

---

[2] Сопост. со следующим тезисом Н. Хомского: «Главное, что должна учитывать любая серьезная лингвистическая теория: взрослый носитель того или иного языка может в случае необходимости построить новое предложение на родном языке, и другие носители того же языка немедленно поймут его» [27.С.465] — *Примеч. авт.*

Ценность таких трудов несомненна, ибо в них описываются многообразные проявления феномена игры. Однако они мало помогают в его философском анализе, ибо в своих установках и рабочих методах исследования позитивно-описательной ориентации не тематизируют и не проблематизируют самый феномен игры — в конце концов, автору ясно, что речь идет именно об игре, и он (справедливо) полагает, что это же ясно и его потенциальному читателю. Соответственно для понимания предметного смысла таких работ достаточно той же самой ОИИ.

Другую группу составляют работы философско-методологической принадлежности, долженствующие вскрыть собственную сущность, специфику игры как таковой. При этом игра в результате трактуется то как «преимущественно моделирующая деятельность» [16], то как «ориентировочная, опробовательная деятельность» [26], то как совокупность описывающих игру правил [18], то как деятельность неутилитарная [12] и т.д.

Не имея возможности детально разбирать каждую из этих концепций, на отдельных примерах позволим себе утверждать, что таковые характеристики не вскрывают «клеточку» игры, не устанавливают ее выраженную специфику.

Например, дети разыгрывают некое сражение, играя в войну. Это игра, и деятельность детей моделирует определенные социальные явления. Но вот стратег, мысленно или на плане, макете, продумывает предстоящее сражение — это тоже моделирование, но уже явно не игра.

То есть моделирующая деятельность может выступать как игра, но для того она должна быть именно игровой. И, что самое главное, эмпирически установив возможность сочетания, синтеза моделирующей деятельности и игры, никак нельзя настаивать на наличии необходимой связи между ними.

Другой пример: трактовка игры как неутилитарной активности. Действительно, многим играм чужд утилитарный интерес. Но, во-первых, не всем — например, дипломатическая игра его явно имеет; во-вторых, многие вещи, игрою не являющиеся, например бескорыстная дружба, тоже его лишены.

Так почему же мы конструируем такие утверждения, и понимаем, и признаем за правильные? Потому что процессы их порождения и понимания обуславливаются действием ОИИ. А почему мы не можем признать их всеобщую правильность по отношению к игре вообще? Как раз потому, что в них ОИИ не бралась критически.

3.1. Ср. сартровскую критику психологической трактовки эмоции: «Если спросить себя, делает ли возможными эмоции самая структура человеческой реальности и как она это делает, то все это казалось бы психологу бесполезным и абсурдным: зачем исследовать, возможна ли эмоция, ведь она несомненно есть. Именно к опыту обратится опять психолог, чтобы установить границы эмоциональных явлений и их определение. По правде говоря, он мог бы здесь заметить, что уже имеет идею (в наших словах: «обыденную интуицию». — А.П.) эмоции» [24. С. 121].

Соответственно суждения типа «игра — это моделирующая деятельность» только вскрывают то, что уже было в этой интуиции, в ОИИ, и являются аналитическими, а не синтетическими. Следовательно, как известно из опыта философской мысли, таковые суждения не расширяют реально нашего познания (Кант [15, т. 3. С. 111]).

3.2. Вопрос о сущности игры также не может решаться в описании и анализе сложившихся ее функций. Например, основной функцией игры является педагогическая (К. Гроос и др.). «Какими бы внешними или внутренними факторами игра ни мотивировалась — усталостью, избытком сил, стремлением к соперничеству, подражанием, — смысл ее в том, чтобы быть школой поведения. Природа как бы специально предоставила высшим животным и человеку длительный период детства, игр, чтобы развивать жизненно важные органы и функции» — вот примерная краткая характеристика этой концепции в [13. С. 14]. Но здесь самое время заметить, что та самая «природа» или «культура» предоставила и соответствующую форму поведений и деятельностей, форму именно игры. И различные деятельности во всей системе педагогического воспроизводства с успехом заимствуют как бы извне эту форму, игру, причем либо «автоматически», бессознательно, благодаря уже многим тысячелетиям успешного употребления, либо намеренно, осознанно, как, например, в системе конструируемых дидактических игр дошкольников, то есть либо «естественно», либо «искусственно». Но есть все основания писать эти слова именно в кавычках.

3.3. Не редуцируя (как средство) и не тематизируя (как предмет) обыденную интуицию игры, мы в анализе любых игр, их функций, аспектов и сторон остаемся вращаться в пределах этой интуиции. Повторяем: мы подходим к некоторому данному явлению и уже знаем, что это именно игра, и, более того, бессознательно, интуитивно считаем, что мы знаем, что такое игра. Но то, что закладывает наша ОИИ в начале, то мы и получаем в конце. Анализ простейшей и важнейшей связки «некая игровая деятельность» все время ведется по плану деятельности — моделирования, обучения, состязания и т.д. А ОИИ все время сопровождает развертку плана деятельности, оставаясь при этом константной, самотождественной.

Все это вынуждает нас к необходимости редукции ОИИ. Мы должны подойти к нашей основной проблеме в состоянии ума, не знающего, что такое Игра[3]. Разумеется, в результате такой редукции мы сразу не усмотрим

[3] Подобный ход в начале исследования большого и, главное, «скользкого» объекта, разумеется, не нов. Из крупных примеров последних десятилетий можно привести методологическое требование глоссематики: “В определенном смысле глоссематика предполагает, что, приступая к изучению языка, мы не имеем о нем никаких предварительных сведений (требование табула раса)» [25. С. 308]. — *Примеч. авт.*

сущность этого феномена, наоборот, мы максимально далеко от него отдалимся. По крайней мере, мы максимально отдалимся от его некритического понимания. Но результаты, полученные на этом пути, впоследствии помогут полнее и рельефнее увидеть сущность исследуемого феномена.

Отметим, что такой метод в целом соответствует общему положению В.И. Ленина о диалектике познания: «Движение познания к объекту всегда может идти лишь диалектически: отойти, чтобы вернее попасть» [4. С. 252]. Становясь на путь редукции ОИИ, мы понимаем, что в дальнейшем нам придется в какой-то точке развертки просто постулировать нечто как игру, как «клеточку» игры. Также понятно, что это постулирование «клеточки» игры потребует дальнейшего восхождения к конкретному. Кроме того, надежность исходной абстракции должна обеспечиваться достаточно всеобщей базой всего рассмотрения.

Однако все это, по сути, должно относиться к положительной tatru, а здесь сразу сформулируем главный результат критики: редукция обыденной интуиции игры позволяет обнаружить, что игра не необходима по отношению ко всякой системе деятельностей.

Займемся разъяснениями этого резкого положения.

4. Прежде всего отметим, что, говоря о деятельностях и деятельности, мы имеем в виду не всю совокупность индивидуально-человеческих и общественных процессов, отношений, активностей, состояний и т.д., иными словами, мы не отождествляем деятельность и жизнь. Если воспользоваться выражением Э. Юдина, использованным им по другому, конечно, поводу, то можно сказать, что с самого начала мы обсуждаем деятельность, а не Деятельность [33. С. 25].

Говоря более узко, мы будем иметь в виду только специализированные деятельности (специализированные в принципе, т.е. в прошлом, в настоящем или в обозримом будущем), профессионализированные в рамках одной или нескольких профессий, обладающие своими специфическими целями, проблемами, задачами, средствами, методами, материалами, продуктами и т.д. Носителями таких деятельностей выступают специалисты, или профессионалы: токари, физики, педагоги, проектировщики, технологи. Каждая из этих деятельностей может быть охарактеризована только ей присущими нормами, образцами, и, хотя эмпирически она может осуществляться с известными отклонениями от последних, требования точного понимания и описания системы деятельностей обуславливают необходимость выделения и фиксации четких характеристик той или иной деятельности, справедливо квалифицируя все выходящее за их рамки как к деятельности не относящееся. Так, если чертежник за работой на минуту перестал чертить и, скажем, стал мечтать и курить, то мы говорим, что он осуществляет в этот момент то, что к его деятельности как чертежника не относится. Поэтому при теоретическом анализе проблем, связанных с той

или иной деятельностью или с их системой, целесообразно относиться не к бесчисленным эмпирическим примерам, а к идеальным «моделям» (типам, образцам и т.д.) отдельных специальных деятельностей. Впрочем, все это давно известно и описано в соответствующей литературе.

И здесь очень существенно, что в любую из известных схем описания деятельности игра не входит как необходимый компонент. В отдельных деятельностях игра, правда, эмпирически присутствует, например как организационная форма, но никогда нет априорной необходимости в таком присутствии. Так, деятельность научения может во многих своих частях организовываться в игровой форме, но в принципе это же может осуществляться и без игры, пусть и намного менее эффективно. Соответственно мы утверждаем, что ни «вертикальное» рассмотрение любой специальной деятельности (скажем, углубление по составу операций), ни «горизонтальное» (скажем, по отношениям и кооперациям различных деятельностей между собой) не выводят нас с необходимостью на феномен игры. Все это можно развивать и иллюстрировать еще и еще, а можно резюмировать понятным положением:

Редукция игры не приводит к редукции деятельности.

Или, выражаясь старым языком:

Можно мыслить без противоречия существующее и деятельное, но неиграющее человечество.

4.1. Среди попыток обнаружения и фиксации игры в какой-либо части, подразделении системы деятельностей наиболее серьезного внимания заслуживает концепция игры как «особого педагогического творения» [29. С. 94]. По сути эта концепция близко смыкается с классической формулой Д.Б. Эльконина: «Игра — это ведущий вид деятельности ребенка». Несомненно, что эта формула верно фиксирует положение дел. Но как мы должны видеть ее статус? Фиксирует ли она в обобщенной форме массив наблюдаемых явлений или же вскрывает сущность феномена игры?

Не имея возможности детально останавливаться здесь на анализе этой концепции, ограничимся утверждением, что основные положения вышеприведенной критики применимы и к детской игре, так же как и к ролевой, деловой и т.д., т.е. к любому специальному аспекту феномена игры вообще. Конечно, необходимость воспроизводства всей системы человеческих деятельностей требует наличия особой специализированной деятельности — педагогической. При этом можно различать деятельность взрослого, обучение, и деятельность ребенка — усвоение, учение и т.п. Но опять-таки нет никакой необходимости в том, чтобы процессы усвоения описывались как по преимуществу и изначально игровые. Наоборот, сущность процессов обучения и усвоения должна и может характеризоваться в своем рафинированном виде безотносительно к игре. Впрочем, уже не нова мысль, что логически (а также фило- и онтогенетически) «сначала» играют взрослые, а дети им только подражают; причем способность подра-

жания является необходимым условием педагогического воспроизводства в целом. По нашему предположению, с детской игрой в процессах обучения и воспитания произошло, по сути, то же самое, что и с лозановскими методами в обучении иностранным языкам, только в неизмеримо больших пространственных и временных масштабах. А именно, игра просто «подвернулась» педагогике как эффективнейшее средство решения собственно педагогических задач, изначально с игрой не связанных.

4.2. Вернемся к самому началу настоящих заметок, где вводилась дистинкция: игра в специальных теоретических исследованиях, в специальных техниках и практиках — и игра в обыденной, повседневной жизни. В принципе это различение сводится к всеобщей категориальной оппозиции специальное — универсальное. Редукция ОИИ показала нам, что игра не порождается имманентно в комплексе деятельностей, то есть в плоскости «специального». Поэтому мы утверждали, она не может быть адекватно и в полной мере описана в пределах того или иного научного предмета (специального же!), ибо мы хорошо знаем, что исходные методы и средства исследования должны быть соотносимы с главными чертами исследуемого объекта. Тогда возникает вопрос: а не может ли игра в своем целом адекватно воспроизводиться на междисциплинарном уровне, короче говоря, не должна ли игра трактоваться как система и адекватно исследоваться в рамках и средствах системного подхода?

Здесь сразу же необходимо принять во внимание, что советская методология последних десятилетий убедительно показала деятельностный характер наук [21;22;30, особенно С. 212–213]. Установлено, что и научные знания (теории, законы, онтологические картины) суть определенные продукты этих специфических научных деятельностей. Системный же подход, возникший из первоначальной установки на преодоление узкой специализации отдельных наук, их окукливания (для иллюстрации этого достаточно внимательно прочитать обобщающие и программные работы таких авторов, как Берталанфи или Раппопорт [7а; 23]), в своей основе, тем не менее, сохранил ориентацию на формы, нормы и идеалы научности[4]. Именно поэтому мы считаем возможным утверждать, что системный

[4] Такая во многом не вполне осознаваемая ориентация на идеалы академической научности характерна не только для системного подхода. Например, призыв к построению философии по образцу науки исходил от такого даже «антинатуралиста», как Э. Гуссерль. В своей многозначительно названной статье «Философия как строгая наука», точно и остро охарактеризовав состояние современных ему и предшествовавших философских учений как форм выражения миросозерцания отдельных гениальных мыслителей, Гуссерль заключал: «Миросозерцания могут спорить: только наука может решать, и ее решение несет на себе печать вечности» [10. С. 52]. — *Примеч. авт.*

подход, осуществляющий специфический синтез и кооперацию частных наук, не выходит из плоскости «специального». Вследствие этого заведомо несостоятельными оказываются его иногда встречающиеся интенции на «всеохватность», универсальность, на статус особой философии. «С одной стороны, концепции типа общей теории систем (в различных ее модификациях) претендуют обычно на предельно широкий охват реальности, по сути дела на всю реальность, поскольку она может быть представлена состоящей из систем. С другой стороны, не только в своих содержательных постулатах, но и в форме методологической рефлексии теперь уже многообразные варианты общей теории систем обычно не покидают почву конкретно-научных обобщений... Иначе говоря, подобные концепции являются принципиально не-философскими» [32. С. 169].

И если для краткости воспользоваться содержательной тавтологией «система — это то, чем занимается системный подход» и учесть, что последний, как, в конце концов, и деятельность, не покидает плоскости «специального», то все вышесказанное можно подытожить так: В своей начальной (исходной, чистой и т.п.) характеристике игра не есть деятельность, игра не есть система. Соответственно поиск сущности игры в принципе не может начинаться ни в специальных научных предметах, ни в системном подходе, ни в теории деятельности. В своей основе эта проблема, как мы настаиваем, проблема философская. «Конечно, и проблему человека (и игры. — А.П.) можно попытаться целиком решать в рамках “науки о человеке”. Но то, что изучается о человеке специальными науками, относится к компетенции антропологии, психологии, социологии и т.п. А то, что имеется в виду под проблемой человека, по самому своему существу составляет предмет философского анализа» [32. С. 174]. И если мы справедливо понимаем игру как феномен, присущий человеку, то и в основу ее философского анализа мы должны положить не какие-либо специально-научные характеристики человека, а принципиально философскую его трактовку как универсального, «родового существа» (Маркс).

Часть 2

Но не означает ли это, однако, что деятельность,
даже в своей универсальной форме,
в форме проявления бытия, будучи предметом
философской онтологии, а тем более
в своей конкретно-эмпирической форме,
будучи предметом психологии,
возникает не из самой себя и определяется
не только через самое себя? Надо полагать,
что в качестве опосредующего во всех этих случаях
“звена” деятельности выступает прежде всего
и главным образом эта самая вечно стоящая
перед своей неразрешенной задачей (и в силу этого
вечно обновляющая себя и свое общественное бытие)
личность с ее изначальной потребностью в самоизменении
через изменение природы. Именно это вечное
стояние перед своей “еще не разрешенной задачей”
и заставляет человека действовать и находить
для своей деятельности конкретные формы.

А.Е. Шерозия [28. С. 57]

5. Собираясь постулировать игру как специфически человеческий феномен, мы исходим из принципиальной избыточности человека как родового существа по отношению ко всякой наличной ситуации его жизнедеятельности, что подчеркивалось еще Марксом, когда он устанавливал фундаментальное отличие человека от животного: «Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность». Для человека же его жизнедеятельность «не есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается воедино... Именно лишь в силу этого он есть родовое существо» [3. С. 565].

5.1. Психическое отражение или мышление в узком смысле слова[5] воспроизводит в идеальном плане внешнюю живому существу среду. Это, как было показано еще Бернштейном, является необходимой предпосылкой объяснения бесспорной видимой целесообразности поведения живого существа в постоянно изменяющихся условиях [6; 8. С. 105]. Психическое

[5] Сопост.: «Если основанием деятельности является сознательно формулируемая цель, то основание самой цели лежит вне деятельности» [19. С. 151]. — *Примеч. авт.*

отражение не является еще тем «органом» или «средством», которое обеспечивало бы принципиальную избыточность человека и его качественное отличие от других живых существ. У Энгельса были глубокие основания утверждать, что у людей «общи с животными все виды рассудочной деятельности... И только по степени они различны» [2. С. 537]. Психическое отражение, или мышление, просто формирует в идеальном плане отраженную картину сущего.

5.2. Только особая способность рефлексии, или, продолжая цитату из Энгельса, того «диалектического мышления, которое имеет своей предпосылкой исследование природы самих понятий», позволяет человеку занимать внешнюю позицию по отношению к определенностям сущего и формировать цели, принципиально внеположные всему составу сущего[6], то есть конституировать план должного. Имея в виду принципиальное несовпадение сущего и должного, взятых синхронистически, мы для обозначения этой элементарной формы человеческого существования будем пользоваться, за отсутствием общеупотребительного приемлемого термина, выражением «диадная ситуация» (нас не удовлетворяют такие уже аксиологически нагруженные термины, как «двойственная» или «разрывная» ситуация и т.п.).

Подчеркнем здесь, что содержание и уровни должного определяются не волюнтаристически, в рамках претензии того или иного индивидуального сознания, а имеют объективную значимость и определенность. Должное человека — это не то, чего ему сиюминутно хочется, а то, что ему должно. На наш взгляд, определенная заслуга Фрейда состояла именно в том, что он в своей методологеме бессознательного деиндивидуализировал «основные», первичные влечения и постулировал их как объективно и всеобще существующие, общезначимые. Правда, Фрейд это проделал в натуралистической и психологистической парадигме, что, кстати, в дальнейшем вызывало в разных формах неприятие у некоторых видных представителей послефрейдовского анализа (Юнг, Фромм и другие), которые пытались выходить в более широкие культурно-исторические и социальные горизонты. Показательно, что именно Юнг сформулировал положение, резко контрастирующее со многими установками современной либерально-буржуазной психотерапии, ориентированной на компенсацию и коррекцию сугубо частно-субъективистских «проблем клиента»: «Высшая точка зрения еще не говорит, что объективно данное при всех обстоятельствах является нормальным. Объективные условия могут быть исторически или пространственно ненормальными... Единичный человек может, конечно, при этом процветать, но только до тех пор, пока он со всем его окружающим не погибнет за прегрешения против общих законов жизни» [35. С. 15].

[6] Далее, где специально не оговаривается иное, мы будем пользоваться этим термином только в отмеченном смысле. – *Примеч. авт.*

Кроме того, фиксация факта диадной ситуации сама по себе не ведет к однозначной его оценке. В марксистской диалектике развитие ситуации, происходящее через опредмечивание одних целей, формирование последующих и т.д., выступает как основа всякого прогрессивного развития, и в первую очередь развития самого человека. По Марксу, только уже упоминавшееся несовпадение человека с его жизнедеятельностью, и уж тем более с его деятельностью, позволяет его деятельности осуществляться как свободной. А, например, Ницше таковое несовпадение расценил как безысходно трагическое, что и позволило ему изречь: «Человек — это больное животное». Фрейд в соответствии со своей «всеобщей» концепцией невроза уточнил: больное неврозом. Социокультурные основания глубокого пессимизма этих мыслителей эпохи позднего капитализма, не видящих положительных эволюционных тенденций в обществе и не верящих в возможность его революционно-практического преобразования, многократно исследовались и квалифицировались в советской философской литературе.

6. Как уже говорилось, диадная ситуация является элементарной и всеобщей формой существования человека. Первый основной ее тип — это нормально- или слаборассогласованная ситуация, когда величина различия сущего и должного активизирует духовные потенции человека (мышление и рефлексию), не оказывая на них сильных деформирующих воздействий; последнее имеет место в так называемой критической ситуации. В случае слаборассогласованной ситуации осуществляются направленные вовне, экстраверсивные процессы по опредмечиванию целей, обеспечивающие снятие рассогласования и воспроизведение его на более высоком уровне развития ситуации в целом. Осуществляется предметно-практическая деятельность по преобразованию в первую очередь внешней, то есть природной и социокультурной, среды. Внутренний, субъективный план ситуации выступает здесь в форме нравственной ответственности (практического разума) субъекта за процесс и результаты своей практической деятельности. Все это составляет принцип практической деятельности, и в этой «чистой структуре» нет, разумеется, никакого места феномену игры, нет даже намека на него.

7. Очевидной противоположностью слаборассогласованной диадной ситуации является сильнорассогласованная, когда различие сущего и должного настолько велико, что в субъекте начинают функционировать неадекватно или просто парализуются вышеобозначенные потенции, по крайней мере одна из них — мышление (М) или рефлексия (Р). В этом случае имеют место в первую очередь интраверсивные, внутренние компенсаторные процессы. Комбинаторно здесь возможны три простейшие ситуации (пп. 7.1 — 7.3). Знаком «–» обозначается сильная неадекватность, в принципе отсутствие, парализация; знаком «+» обозначается соответственно обратное.

7.1. М–Р–

В нашем понимании, это соотношение составляет принцип невроза[7] или, как иногда выражаются, «ухода в невроз». Человек неадекватно отражает в мышлении окружающее и на деле адекватно не относится к себе (ср. некритичность как характерный симптом). Усвоенные ранее нормы и навыки социального поведения, воспроизводясь машинообразно и автоматически, позволяют долгое время сохранять внешние формы жизнедеятельности; однако до той лишь поры, пока невроз не «вспыхнет в психозе» (Фрейд) или не вызовет выраженных психосоматических отклонений, хотя время такой эскалации может, вообще говоря, и превышать эмпирический срок жизни индивида. Вторичные особенности — интра/экстраверсия — дают внешние границы: шизоидность или истероидность.

7.2. М+Р–

Здесь имеет место феномен переживания. Только надо точно учитывать различия мышления и рефлексии. В сильном переживании — не путать с эмоцией! — человек понимает все вокруг происходящее, понимает «до ужаса отчетливо», но ментальная деятельность остается все время имманентной переживаемой ситуации. Иногда говорят, что при переживании все понимаешь, но уже ничего не ощущаешь. Переживание, как отметил Ф. Василюк, это то, что человек делает, когда делать нечего, когда «нет выхода» [8]. Мы бы добавили — когда нет и рефлексивного выхода. Ибо рефлексивная позиция есть, по определению, внешняя (в которую выходят) по отношению к рефлектируемой ситуации.

7.3. М–Р+

Такое сочетание определяет, на наш взгляд, принцип эмоции. В полной противоположности переживанию эмоция характеризуется чистой выраженностью самоощущения, и если переживание относится к трагично-реалистически осмысляемой ситуации, то эмоция относится к совершенно неадекватно осмысляемому окружающему (или, по выражению Сартра, «магическому миру» [24. С. 130]). Переживание все знает, но ничего не ощущает; эмоция все ощущает, но ничего не знает. «Эмоция имеет место тогда, когда мир (связанных причинными отношениями) средств внезапно исчезает, а на его месте появляется магический мир» [24. С. 137]. Способность рефлексии применяется к материалу, не опрозрачненному, не расчлененному мышлени-

[7] Это слово (а также см. пп. 7.2 и 7.3) употребляется нами для условной типологической характеристики определенной диадной ситуации; мы понимаем, что такие термины могут вызвать недоумение и протест психологов и психиатров, но они и не претендуют на то, чтобы в обобщенной или любой другой форме представлять все смыслы и реалии, установленные в конкретных научных предметах или сложившихся техниках и практиках, например в психотерапии. Для условного обозначения достаточно минимальной смысловой корреспонденции. — *Примеч. авт.*

ем, она продуцирует лишь самоощущение, длящееся, и потому «нельзя выйти из эмоции по своей воле, она должна сама себя исчерпать (там же).

Рассматриваемые феномены — невроз, эмоция и переживание — все вводились на основе анализа типов существования человека в сильнорассогласованной диадной ситуации. Легко подметить, что всех их роднит одна черта: в рамках каждого из них человек не осуществляет активно-преобразующего отношения ко всему целому ситуации, в которой он находится. Невроз выступает как безнадежная попытка возврата к растительному существованию (безнадежная, ибо идет против объективного закона жизни человека, который, к счастью или к сожалению, уже «съел яблоко»); в основе эмоции лежит продуцирование химеры (или, если по Сартру, «конституирование магического мира»), в результате чего мышление слагает с себя обязанности трезвого и реалистичного понимания мира, а рефлексия рефлектирует только дурную субъективность ощущения; наконец, в переживании рассогласованная ситуация отражается в мышлении адекватно, даже слишком адекватно, но рефлексия не находит сил сделать свое дело и вывести человека во внешнюю позицию[8].

Невроз, переживание и эмоция — это феномены не активные, не практические. Может быть, как-то косвенно и опосредованно их можно связывать с общей психологической теорией деятельности, но объявлять, скажем, эмоцию деятельностью — это апеллировать уже не к деятельности, а к Деятельности.

Поэтому можно сказать, что эти феномены находятся по ту сторону принципа деятельности, более мягко — по ту сторону человеческой предметно-практической деятельности, целеорганизованного преобразования внешней, природной и социокультурной, среды.

Казалось бы, связка адекватного мышления и функционирующей рефлексии должна служить достаточным условием необходимой реализации как раз принципа деятельности (см. рис. 1).

[8] Так, когда принцесса Элизабет в переписке с Декартом несколько раз прямо поднимала вопрос о соотношении трезвого мышления и сильных жизненных потрясений, в том числе тяжелых болезней (что в конечном итоге выходит на проблему истинной цены и роли философии в реальной жизни), то философ настойчиво повторял, что «даже среди наиболее печальных явлений и тягчайших скорбей всегда можно оставаться довольным, поскольку будешь пользоваться разумом» (письмо от 6 окт. 1645 г.) или: «Мы можем вполне отвечать за себя, только будучи “в себе”, и для людей меньше значит потерять жизнь, чем потерять пользование рассудком» (письмо от 1 сент. 1645 г.) (цит. по: [11. С. 225, 239]). — *Примеч. авт.*

М/Р	+	–
+	Деятельность	Эмоция
–	Переживание	Невроз

Рис. 1

8. Однако существует особый, третий класс ситуаций, когда, с одной стороны, сохраняется полнота мышления и рефлексии, с другой же — реализация принципа деятельности по отношению к внешней действительности сопряжена с актуализацией деструктивной реактивности последней. Здесь наличность адекватного мыслительного отражения (т.е. теоретического и практического разума) оставляет субъекта экзистенциально вменяемым и ответственным на уровне самосознания, и если бы всякая ответственность имела бы исключительно интраверсивный характер, то данная ситуация могла бы иметь единственное разрешение — в общей форме так называемого героического действия (по максиме «спасение чести выше спасения жизни»). Тем не менее в огромном числе случаев ответственность связывается с внеположными субъекту определенностями, и тогда ситуация разрешается за счет того, и только того, что способность рефлексии конституирует принципиально новую внутреннюю позицию (отношение, установку) — игровую.

8.1. Для поясняющего примера разберем классический случай, описанный еще Жане: к нему приходит женщина, желая исповедаться, но посередине рассказа она впадает в истерику. Сартр, обсуждая этот случай в своей статье об эмоции [24], вскрывает много интересных обстоятельств, но одно важное направление анализа им, на наш взгляд, упущено. А именно: представим, что в результате визита должны были бы быть достигнуты некоторые практические цели. Наудачу предположим, что клиентка должна была бы получить свидетельство о своей вменяемости, важное для некоей тяжбы, значимой для ее детей, близких. В этом случае ее аффект, эмоциональный истерический взрыв привел бы ее к противоположному результату. Но что делать, если она не может действительно высказаться до конца, а интуиция того требует? Причем условия ситуации не позволяют прекратить рассказ, и при этом же она сама себе уже не может позволить уйти в эмоцию. Ответ — она должна суметь сыграть. Она должна репрезентировать себя дважды: с одной стороны, рассказать правдивую для врача легенду, с другой же — постоянно держать в рефлексии сознание того, что это именно легенда. И если она сумеет сыграть, то она и выиграет эту игру. И тогда она, во-первых, достигает внешнего, целезапланированного результата, т.е. ведет себя деятельностно, практично; но — и это во-вторых — она центрируется на реф-

лексивной позиции, и именно последняя определит все происходящее как именно игру. Поэтому вышеназванная двойственность может быть условно охарактеризована так: с «наивной», внешней точки зрения клиент выступает как «деятель», но со своей внутренней точки зрения она есть «рефлексант», и, повторяем, именно второй момент дает собственно игру. Теперь не составит труда указать условное место игры на рис. 1: по сути, это точка пересечения двух основных разделительных прямых, точнее — окрестность (в математическом смысле) этой точки.

9. Феномен игры, таким образом, в своей «клеточке» проистекает из особой рефлексивной позиции, из особой позиционности, конфигурированности рефлексии, которая двояко репрезентирует бытие личности: во-первых, как «деятеля» в наличной ситуации; во-вторых, как «рефлексанта», центрирующегося на рефлексии двойственности своего существования — как внутри ситуаций, процессов деятельности, так и во внешней им рефлексивной позиции. Для реализации таковой связки необходимо вечное движение в пределах этой связки, постоянная осцилляция. При этом, повторяем, именно эта установка, позиционность рефлексии впервые конституирует игру как таковую. Она может специфически окрашивать, аранжировать различные деятельности (а также поведение, общение, речь), при этом как бы раздваивая их в формах, смыслах, значениях. Поэтому в своих кратких метафорических характеристиках игра эффективно схватывается не в однозначных («понятийно точных») характеристиках, а в фигуре оксиморона типа «играть — быть деятельным в безделье», «игра — закономерность без закона», «игра — неопределенная норма» и т. д. (примеры взяты из Канта).

9.1. Такая «клеточка» игры есть, понятно, абстракция, в чистом виде не реализуемая (см. последнее предложение п. 8.1). Любые же ее реализации всегда несут в себе тенденции утери собственно игрового, соскальзывания с точки игры в иные сферы. Феноменологически это означает, что у игры (игрока) всегда есть опасность заиграться — дальнейшее довольно ясно из рис. 1.

10. Именно потому, что игра в своей сути не есть нечто специальное (которое принадлежит отдельным специальным деятельностям или схватывается в специальных научных предметах и т.д.), а есть определенность универсального в человеке, именно поэтому в своем наиболее чистом и беспримесном виде она выступает в некоторых классических произведениях литературы. Здесь можно сослаться на три наиболее ярких примера: во-первых, это вся тема сказки Андерсена про голого короля, во-вторых, это главный герой великого и, по нашему мнению, еще не совсем оцененного по достоинству романа Гашека, наконец, в-третьих, это суть авторской позиции в «Дон Кихоте» Сервантеса. Непревзойденный анализ «Дон Кихота», проведенный Эрихом Ауэрбахом, многое освещает в проблеме игры, притом с большой философской точностью и глубиной:

«Есть у Сервантеса такое неопределимое “нечто”, такое начало, которое упорядочивает все целое и дает ему выступить наружу в специфически “сервантесовском” освещении. Вот это очень трудный момент... Что же это за “нечто”, которое организует все целое и всему дает выйти в специфически сервантесовском свете? Это и не философия, и не тенденция, и даже не взволнованность непрочностью человеческого существования или мощью судьбы, как у Монтеня или Шекспира. Это жизненная позиция по отношению к миру, а стало быть, и к предметам своего искусства; мужественный и уравновешенный дух определяет в основном эту позицию. Есть радость от многообразной чувственной игры, а есть еще нечто по-южному терпкое, гордое. И это не позволяет слишком серьезно воспринимать такую игру. Он видит эту игру и придает ей форму, и игра эта радует его, и он хочет порадовать и читателя, дать ему культурно развлечься. Но он не встает тут ни на чью сторону: он нейтрален. Позиция Сервантеса такова, что мир становится ареной игры, и в этой игре каждая фигура оправдана уже тем, что она существует и она на своем месте. И неправ один только Дон Кихот в своем безумии... Он один неправ, он один в упорядоченном благоустроенном мире. Дон Кихот сам убеждается в правильности целого, возвращаясь незадолго до смерти к общепризнанному порядку мира. Но разве мир на самом деле правильно устроен? Вопроса об этом Сервантес не ставит... И это нас никак не задевает. Стоит появиться Дон Кихоту, который решительно ничего не исправляет и никому не помогает, и все счастье и несчастье обращается в сплошную игру... И в тонах этой многогранной, перспективной, воздерживающейся от суждения и даже от постановки вопросов нейтральности заключается мудрость мужества, которую можно выразить словами самого Дон Кихота: “Пути, по которым господь приводит верных в рай, суть многоразличны”. И этим сказано, что мудрость Дон Кихота в конечном счете мудрость благочестивая... Сервантес судит теперь лишь о вещах, которые касаются его занятия, его профессии — литературного творчества; он выступает лишь против плохо написанных книг. А что касается земного мира вообще — все мы грешники... И здесь, на земле, порядок необозримой реальности погружен в игру... И этот образ понравился Сервантесу, понравился многообразием и светлой нейтральностью, в которую безумие погружает все, что встречает на своем пути. И еще понравилось ему, что безумие это пронизано героикой и идеализмом, и что оно оставляет простор для мудрости и человечности... После Сервантеса никто в Европе и не делал попыток

дать такой светлый и притом столь свободный от всякой критики и проблемности образ повседневной действительности; не могу даже представить себе, кто и когда мог бы попытаться еще раз сделать это» [5. С. 357–361].

10.1. Приведенные выдержки, характеризующие сущность позиции Сервантеса, фиксируют целый комплекс моментов, важнейших во всей проблематике игры. В нем мы сейчас хотели бы выделить следующее. Сервантес, по сути, строго разделяет сферу своего ремесла, своей профессии, т.е. специального, где он единственно и выносит свои оценки по поводу дурно написанных книг, и сферу «земного мира вообще», повседневности, образ которой выступает у него как игра.

Но самое тонкое и главное состоит в том, что, несмотря на всю безоценочность и «нейтральность» этой игры, в конечном счете она выступает как нечто пронизанное в своей наличности «героикой, идеализмом и человечностью», выступает как феномен, природа которого как бы и есть собственно этическое, нравственное[9]. Это обстоятельство принципиально важно в понимании игры, и его необходимо связывать с содержанием п. 9, где вопрос решался на уровне конституирования игры.

10.2. Сказанное также хотелось бы сопоставить с очень тонкими суждениями А.Ф. Лосева, сделанными по поводу характернейшего, как мы понимаем, для всей нашей проблематики лица — Сократа. Ведь именно вокруг этой фигуры, как известно, впервые в европейской истории полно и выпукло концентрируются темы иронии и игры. Показательно, что, во-первых, само слово «ирония» впервые встречается в греческой прозе только в платоновских текстах о Сократе [17. С. 55]. При этом, во-вторых, Сократ был как раз тем мыслителем, который «расстался с космологизмом и натурфилософией своих предшественников, обратившись исключительно к проблемам человеческого сознания и поведения» [17. С. 62]. И абсолютно не случайно, что, в-третьих, как раз «здесь и зародился этот могучий и гибкий инструмент сократовской философии, именно его ирония» (там же). И, наконец, в-четвертых, эта ирония «всецело пронизана этикой» (там же).

Вопрос об их соотношении исключительно интересен и важен и должен служить предметом безотлагательного отдельного исследования.

II. Мифологема игры. Из истории мысли давно известно, что зачастую различные содержательно-логические, дискурсивные процессы анализа некоего феномена или же его логико-генетического рассмотрения свертываются в некоторую картину, в пределах которой сам этот феномен постулируется. Причем таковые картины уже характеризуются той или иной степенью отхода от строгой логичности дискурсии и обнаруживают в себе обязательный компонент некоей образности, условности, не доказательности, а показательности. Наиболее рельефно факты такого рода наблюдаются в мифологических конструкциях дофилософского мышления (и тогда вряд ли можно говорить о предшествовавшей логической проработке) и в относительно ранних философских традициях — достаточно вспомнить многие платоновские мифы о происхождении таких вещей, как красота, любовь, знание.

По нашему мнению, если мифологемы не претендуют на «объективную», «натуральную» истинность, а служат иллюстративным средством, то иногда небесполезно их конструировать. В данном пункте мы рискнем набросать нечто вроде мифа «О происхождении игры», на котором и хотелось бы замкнуть всю излагаемую выше концепцию игры.

1. Вообразим себе некую первобытно-родовую общность *S*. Ее определяющая характеристика состоит в том, что это есть социальное, сверхбиологическое единство, причем феномен, принципиально отличающий эту человеческую общность от всяких форм животных объединений, есть именно нравственность (вопросы этого круга подробно рассматриваются в [7]). Этот феномен кладет границу принципам естественного отбора внутри общности и впервые характеризует человека как такового, т.е. как социальное, т.е. как нравственное существо[10].

Это сообщество *S* имеет, таким образом, систему различных нравственных норм, которую мы обозначим через *N*, и осуществляет определенные деятельности — *D*. В пределах такой монады нет никакой игры.

2. Теперь представим себе две общности — *S*1 и *S*2, характеризующиеся своими *N*1, *D*1 и *N*2, *D*2. Существенно, что *N*1 не равно *N*2, т.е. имеются разные табу, разные тотемы и т.п., и это исключительно затрудняет взаимодействие *S*1 и *S*2. Есть много оснований полагать, что долгие тысячелетия все редкие встречи отдельных сообществ выливались только в столкновения, в стычки, подобно упругому удару твердых тел.

3. Пусть, однако, в силу определенных обстоятельств эти две общины пытаются вступить в мирное взаимодействие. Можно предполагать, что такие влечения обуславливались потребностями обмена, теми или иными кооперациями их деятельностей (идеалист мог бы здесь предположить в основе таких конвергенций априорную тягу человечества к безотчетному в

[9] Ср. с афористическим высказыванием Йохана Хейзинги: «Во всяком нравственном сознании, основывающемся на признании справедливости и милосердия, вопрос “игра или серьезное”, который, в конце концов, остался нерешенным, навсегда умолкает». — *Примеч. авт.*

[10] «Той роковой чертой, которая отделяет первобытную родовую общину от предчеловеческого стада, Дарвин считал нравственность — феномен, не поддающийся биологической интерпретации» [7. С. 175]. — *Примеч. авт.*

своей основе, всеобщему объединению и общению и т.д. — мы не входим в детали и споры, а исходим из факта начала объединения первоначально раздельных обществ). В этом случае требуется осуществление некой *D′*, как бы промежуточной по отношению к *S*1 и *S*2. Однако эта требуемая нами *D′* не имеет никакого этического коррелята *N*1, что делает ее реально невозможной, ведь деятельность осуществляется через людей, а для описываемого этапа человеческой истории, мы знаем, были совершенно нетерпимы всякие, сколь угодно мелкие (на наш взгляд), отступления от «своих» норм.

4. И тогда в качестве необходимого условия осуществления *D′* и, следовательно, самой возможности взаимодействия этих общностей возникает особая фигура посредника («дипломата»). Если, например, он принадлежит *S*1, то в определенном смысле он должен принять и нормы *N*2, чтобы взаимодействовать с *S*2, и только через него может начаться контакт *S*1 и *S*2. Аналогичное рассуждение применимо к посреднику из *S*2.

5. Таким образом, по предположению, «цельный» человек был вынужден, выполняя посреднические миссии, в некотором смысле раздваиваться, заимствуя чуждые ему нравственные нормы. И можно только гадать, насколько этот процесс был долог и мучителен. Ведь общеизвестна «цельность» архаического сознания, общеизвестно, насколько точно и безоговорочно члены даже сохранившихся родовых общин подчинены системе норм своего коллектива, насколько недопустимы для них никакие отклонения. Но историческая необходимость, как известно, со временем всегда преодолевает необходимости личные. Возникшая фигура посредника-«дипломата» была первым олицетворением игрока, первым воплощением игры и одновременно исходной точкой ее дальнейшего развития и метаморфоз. Первая игра — это игра дипломатическая, политическая, как следует из данной мифологемы.

Некоторые итоги.

В критической части мы пытались показать радикальную недостаточность таких подходов к игре, когда она рассматривается предметно (или «аспектно»), т.е. в тех или иных специальных рамках или с тех или иных специальных позиций. В своей сути такие попытки сводятся к трактовке игры как некоей особой деятельности, потому что всякий деятельностный подход, несмотря на определенную всеобщность понятия деятельности, в конце концов имеет своим реальным основанием формы и схему деятельности (деятельностей) специальной (специальных). Далее мы ввели представление об обыденной интуиции игры. И посредством ее редукции мы хотели показать принципиальную внеположность феномена игры системе деятельностей. Пытаясь очертить то целое, в котором игра впервые конституируется как таковая, мы пришли к необходимости введения всеобщих определений человека как родового, универсального существа. Отталкиваясь от фундаментального положения Маркса, мы ввели «клеточку» игры на основании условной типологии основных ситуаций существования человека — диадных ситуаций; мы ввели постулированно феномен игры как отдельный тип, конституируемый особой позиционностью рефлексии. Рефлексия, таким образом, выступала как некий духовный механизм, впервые порождающий собственно «игровое»; субстанцию же этого «игрового», его ткань мы положили как в конечном итоге собственно этическое, нравственное. Рискнув замкнуть все это в конструкции условной мифологемы, мы попытались схематически показать «возникновение» игры в антропогенезе. И это, как теперь легко видеть, вернуло весь круг анализа в ту точку, от которой мы отталкивались, более того, которую мы критиковали. Ведь мы, по сути, опять-таки попытались показать возникновение игры из потребностей развития той же самой деятельности, но взятой не внутри условного стабильного «монадного» сообщества, а взятой в плане кооперации, общения и конвергенции двух монад. Трудно сказать, относится ли это противоречие к разряду диалектических, но один из его корней нам ясен: ведь мы, с одной стороны, вели лейтмотивом идею об отсутствии необходимости происхождения игры из универсума деятельности, этого мы достигали в вышеупомянутой редукции; с другой же стороны, мы попытались показать возникновение игры как необходимое и вообще все рассуждение вести в рамках пусть и особой, но все же логической необходимости, именно в ней пытаясь обрести доказательность концепции. Но, как мы теперь понимаем, это был единственный путь философского исследования игры, в противном случае нам бы пришлось сменить жанр и писать, скажем, романтическое эссе про игру.

Тем не менее мы считаем, что, связав деятельность внутри сконструированной нами мифологической монады с необходимо положенным нравственным коррелятом, мы до некоторой степени вышли за пределы принципа деятельности и охарактеризовали игру в терминах универсальных. Буде это действительно так, то тем самым подтверждается важная гипотеза о том, что в игре снимается частичность тех или иных специальных деятельностей и обеспечивается реализация принципа развития.

Дальнейшая развертка изложенной концепции должна, по нашему мнению, вестись в общем ключе восхождения от абстрактного к конкретному. Для этого потребуется проведение самых разных типов исследований: историко-философского, лингвистического, социологического и т.д. Вся эта работа, долженствующая, при всем прочем, и ассимилировать поистине необъятный эмпирический материал, нуждается в отдельных исследованиях.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20.

3. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.

4. Ленин В.И.

5. Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976.

6. Бернштейн Н.А. О построении движений. М., 1947.

7. Бородай Д.М. К вопросу о социально-психологических аспектах происхождения первобытно-родовой общины // Принцип историзма в познании социальных явлений. М., 1972.

7а. Берталанфи Л. История и статус общей теории систем // СИ[11].

8. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984.

9. Вуарен М. Что такое игра? // Культура. 1982. № 4.

10. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. М., I911.

11. Декарт Р. Соч., т. 1. Казань, 1914.

12. Демин И.В. Труд и игра как виды и аспекты человеческой деятельности // Вестник МГУ. Сер. «Философия», 1983.

13. Добринская Е.И., Соколов Э.В. Свободное время и развитие личности. Л., 1983.

14. Исупов К.Г. В поисках сущности игры // Философские науки, НДВШ. 1977. № 6.

15. Кант И. Соч. в 6-ти т. М., 1964–1966.

16. Клаус Г. Философские аспекты теории игр // Вопросы философии. 1968. № 8.

17. Лосев А.Ф. Ирония античная и романтическая // Эстетика и искусство. М., 1966.

18. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970.

[11] СИ — здесь и далее — ежегодники «Системные исследования». — *Примеч. авт.*

19. Огурцов А.П., Юдин Э.Г. Деятельность // Философский энциклопедический словарь.

20. Платон. Соч. в 3-х т. М., 1968—1972.

21. Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.

22. Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.

23. Рапопорт А. Различные подходы к общей теории систем // СИ. 1969.

24. Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций // Психология эмоций. М., 1980.

25. Спанг-Ханссен Х. Глоссематика // Новое в лингвистике. 1969.

26. Устиненко В.И. Игра и эстетическая деятельность. Канд. дис., 1969.

27. Хомский Н. Логические основы лингвистической теории // Новое в лингвистике. 1969.

28. Шерозия А.Е. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки: итоги и перспективы // Бессознательное. Т. 1. Тбилиси, 1978.

29. Щедровицкий Г.П. Методологические замечания к педагогическому исследованию игры // Психология и педагогика игры дошкольника. 1966.

30. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // СИ. 1981.

31. Щедровицкий Г.П. Проблемы построения системной теории сложного «популятивного» объекта // СИ. 1975. М., 1976.

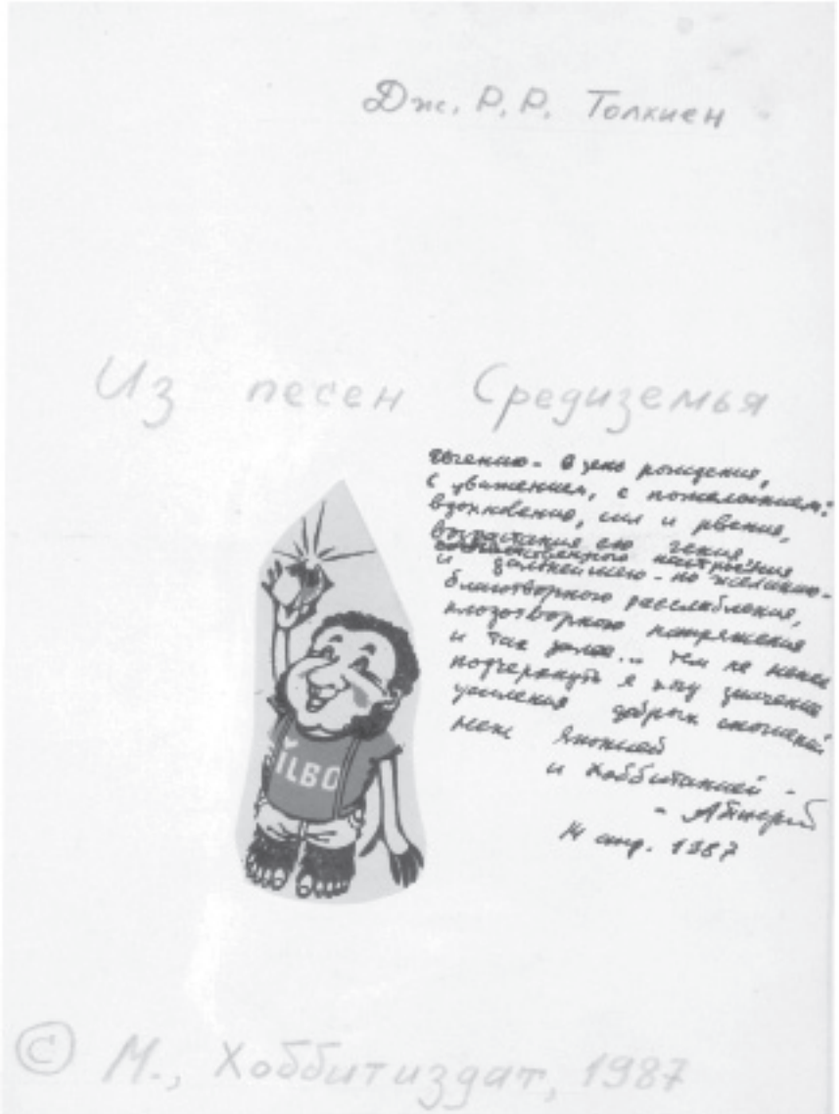
32. Юдин Э.Г. Отношение философии и науки как методологическая проблема // Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.

33. Юдин Э.Г. Системность и деятельность // СИ. 1976. М., 1977.

34. Юнг К.Г. К вопросу об изучении психологических типов // К.Г. Юнг. Избранные труды по аналитической психологии. Т. 3. Цюрих, 1939.

35. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1924.

Приложение 2



Дж.Р.Р. Толкиен[1]

Из песен Средиземья

М.: Хоббитиздат, 1987

The Road Goes Ever On

Дорога вдаль и вдаль идет —
по кручам скал, в тиши лесов,
то занырнет в пещерный ход,
то вьется вдоль глухих ручьев,
под снежных вьюг лихую сыпь
и сквозь цветущий мак весной,
по шелку трав, по сколам глыб
и горной змейкой под луной.

Дорога вдаль и вдаль идет
под облаком и под звездой,
но незаметно завернет —
и ноги приведут домой.
Глаза, знакомые с огнем
И с черным ужасом тюрьмы,
Глядят на позабытый дом,
На луг, деревья и холмы.

* * *

Ты видишь эту узкую дорогу,
Поросшую терновником колючим?
Она Путь Праведных. Его осилить
Пока смогли лишь несколько могучих.
Ты видишь ту петлистую дорогу,
Всю в лилиях ярчайших по краям?
Сие Путь Зла, хотя иные люди
Его зовут Дорогой к Небесам.

А видишь ту веселую дорогу,
Что в папоротник юркнула лесной?

[1] Книжка переводов из Толкиена, которую Толя отпечатал на машинке в нескольких экземплярах и подарил друзьям. — *Примеч. сост.*

Дорога эта — в край Прекрасных Эльфов,
Туда мы в полночь забредем с тобой.

Невеста-тень

И был человек одинокий. Тогда
Тянулась уж дней и ночей череда.
И глыбой резной он недвижно сидел.
И тени еще не имел.
И белые совы под зимней луной
На темя к нему опускались порой,
И чистили клювы, и думали: «Вот,
И летом сей каменный не оживет».

И некая в сером пришла одеяньи,
В каком-то неверном и зыбком сияньи.
Мгновение длилось; она все стояла,
Да в волосы травы с цветами вплетала.
И он пробудился. И глыба расселась.
Он сбросил оковы сжимающей силы.
И в этот же миг он пожрал ее тело,
А тень ее кругом его охватила.

Отныне ее не отыщешь путей
Под солнцем, луной и звездой;
Она — где-то ниже. Где нет уж ночей
И дней. Но особой порой,
Однажды в году, когда тайны кругом
В пещерных провалах зияют,
Они до рассвета танцуют вдвоем
И общую тень оставляют.

Стихотворение из какого-то очень древнего, полупонятного и ныне утерянного фрагмента, повествующего о смутных событиях баснословно далеких времен. В сборнике «Похождения Тома Бомбадила и другие стихотворения Красной Книги» числится под № 13.

В умершем городе

Громадный холм под тяжким бастионом
Глядит в морской лазоревый эфир.
Под ярким солнцем на просторных склонах
Блистают храмы — мрамор и порфир.
И падают решеткой бурой тени —
От тех стволов, что мощно проросли
Сквозь скалы, — на слоновой кости стены
Высоких ратуш. Из сухой земли
Встает дерев безлиственных громада,
Как черного базальта колоннада.
Там память лет уходит, как вода,
Лишь тени меряют часы упрямо
Своей длиной. И все молчит. И храмы
Сном каменным забылись навсегда.

Последний корабль

Проснулась Фириэль перед зарей.
Сумрак белесый плыл.
Где-то вдали петух золотой
Звонко проголосил.
Деревья темнели молча кругом,
Птичий раздался писк,
И под проснувшимся ветерком
Зашевелился лист.

И свет неясный в окне вставал
И ей струился в глаза,
И свет как будто слегка мерцал,
И серебрилась роса.
И Фириэль встала, открыла дверь,
Как в полусне ступая,
И босиком пошла по траве,
Ноги в росе купая.
В подол рубашки ее льняной
Были вшиты бериллы.
Она спустилась к воде речной
И прислонилась к иве.
Зимородок в воду упал,

Брызнули капли льдисто.
Камыш клонился и бормотал,
Кувшинка стелила листья.

Напев откуда-то зазвучал.
В сияньи она стояла,
Струились волосы по плечам,
Их заря зажигала.
Вел голос песню под звон струны,
Под флейт перепев печальный,
Под говор андуинских чистых струй,
По звон колокольный дальний.

Белый корабль с веслом золотым
Шел по воде голубой.
Скользили лебеди перед ним,
Ведя его за собой.
О, Дивный Народ Эльфийской Земли!
Серебряно-серые там гребли —
Последние Эльфы той земли,
А Трое в Коронах стояли и пели,
И волосы их пламенели.

Лиры звенели у них в руках,
Песне внимали гребцы:
«Листва зелена, трава высока,
Звонко кричат птенцы.
Земля здесь воздух поит с утра
Дыханьем лесных цветов,
Сюда не скоро придет пора
Колючих и злых снегов.

Тогда куда ж ты гребешь на заре?
Куда тебя воды несут?
Не к той ли черной, пустой норе,
Сокрытой в густом лесу?
Быть может, к Северным Островам,
Чей берег скалист и дик?
Иль — к одиночеству, по волнам,
Под чаек прощальный крик?»

«Нет! — отвечали они. — Туда,
До грани земных путей,
Где плещется Западная Вода,
И — через Моря Теней —
Мы возвращаемся в Эльфа Дом.
Белое Дерево там растет,
И блещет Звезда на седины волн,
На глянец Последних Вод.

И Странам Смертных сказав “прощай!”,
Уходим из Средиземья!
Далекий колокол зазвучал —
Уходим, призыву внемля.
Цветам не расцвесть, травам не встать,
Солнце с Луной падет,
Но будет Колокол тот звучать,
И дальше мой Эльф плывет».

Застыл корабль под веслом гребцов,
Они у нее спросили:
«Ужели ты наш услыхала зов,
Дева земная, Фириэль?
Идем, для одной у нас место есть!
Подобная эльфу дочь Земли,
Идем! Твои дни скоротечны здесь!
Уплыли все корабли!»

Смело шагнула она к реке,
И в ужасе вдруг застыла:
Увязли ноги ее в песке,
Их глина цепко схватила.
Корабль заскользил, продолжая путь,
Вопль достиг Корабля:
«Я не могу! Не могу шагнуть!
Не отпускает Земля!»

Обратно тою же шла тропой.
Солнце вовсю светило.
Она вернулась к себе домой.
Погасли ее бериллы.
Фириэль волосы заплела,
Надела простой наряд

И принялась за свои дела.
И скоро настал закат.

Семь Рек за годом уводят год.
Плывут облака в тиши.
Ива грустит. Солнце печет.
Колышутся камыши.
И более никто из людей
Не видел в Смертных Водах
Плывущих к западу кораблей.
И песнь растворилась в снах.

* * *

И снова нет конца пути,
Давно забыт родной порог,
И должен я опять идти;
И я приду — коль хватит ног —
На горных троп далекий сход,
На торный тракт, глядящий вдаль,
И встречу тех, кто шел вперед.
Но что за ним? — скажу едва ль.

Дорога вдаль и вдаль идет…
Но что за ней? — скажу едва ль.

* * *

Я часто думаю о том,
Что было до меня.
О людях, что придут потом,
Когда исчезну я.
Но, в думы прошлого уйдя,
Услышу я в конце
Стук возвращающихся ног
И голос на крыльце.

* * *

Прекрасный сэр (ему я отвечал),
Хоть человек когда-то страшно пал,

Хоть он давно и крепко осужден,
Но не всецело безнадежен он.
Еще на троне он, пусть в Низшем мире,
И сохранил лоскут былой порфиры.
Он со-творец. Единый Белый Свет
В нем преломлен на множество цветное
И ткет живые формы тыщи лет,
Из одного сознания в другое.
Пусть в мире мы пустот не оставляли,
Пусть в каждой щелке — эльф иль гоблин въяве,
Пусть мы драконьи зубы засевали,
И даже пусть творить богов дерзали —
Мы все еще свободны в древнем праве:
Самим творить, и по тому закону,
По коему мы сами сотворены.[2]

[2] Последние два перевода не вошли в сборник, но были опубликованы в книге А. Пинского «Пайдейя». — *Примеч. сост.*

Приложение 3

А. Пинский
Автоинтеграция[3]

Опыт современной постановки еврейского вопроса

Вековая проблема — так называемый еврейский вопрос — как и в былые годы, сильно волнует умы и в наши дни. Неразрешимая подобно квадратуре круга, эта проблема отличается от нее тем, что остается жгучим вопросом дня, и именно потому, что она имеет не только теоретический интерес, но изо дня в день обновляется в действительной жизни и все настойчивее требует своего разрешения.

Леон Пинскер «АВТОЭМАНСИПАЦИЯ.
Призыв русского еврея к своим соплеменникам» (1882)

Если я лишь для себя — то что я?
Гиллель

1

Словами, приведенными в эпиграфе, начиналась знаменитая брошюра Леона Пинскера, легшая в основание сионизма конца XIX века. Герцль выступил на полтора десятилетия позже — его не менее знаменитое «Еврейское государство» (с характерным для того времени подзаголовком «Опыт новейшего разрешения еврейского вопроса») вышло в 1896 г.

Однако если сегодня элементарно задуматься над фразой Пинскера, то сразу видишь, что акценты существенно изменились.

[3] © А.А. Пинский (A. Pinsky), 2006.

Первая газетная публикация — в «Международной еврейской газете» (в трех выпусках, окт. 2006 г., №37–38); первая журнальная публикация – в журнале «Корни»; первая Интернет-публикация — на сайте «Доны» http://dona-dona.ru/doc/autointegration.doc. — *Примеч. сост.*

В сущности, «неразрешимой проблемой» оказывается сегодня не еврейский вопрос сам по себе. Если я, с самого детства и молодости живя в Советском Союзе, глухо и весомо ощущал этот «вопрос», то мои дочери, учившиеся в школе уже после распада социалистической империи и получавшие паспорта без графы «национальность», конечно же, никакого такого «вопроса» не ощущали. В детстве и молодости я нередко уклонялся от того, чтобы публично декларировать себя как еврея, для моих же дочерей все это, хвала Создателю, просто и искренне непонятно. Кардинально изменилась ситуация с центральным моментом еврейской жизни и еврейского духа: с внутренней и публичной еврейской идентификацией. И это касается, бесспорно, не только моей семьи. И не только России.

Сегодня уже практически нет роковых проблем в жизни евреев во всем мире (в так называемой «диаспоре»), но поистине «жгучим» выступает вопрос о жизни еврейского государства. Острым общемировым вопросом, связанным с еврейством, сегодня является иной — собственно вопрос о состоянии и перспективе дел в Государстве Израиль. По сравнению с реалиями столетней давности вектор еврейской проблематики повернулся на 180 градусов.

2

События второй ливанской войны сегодня видятся как крайне значимые. Понятно, что эту ситуацию неустанно обсуждают евреи. Но также многие мои друзья и знакомые «гоим» в последнее время все чаще спрашивают: «Как ты думаешь, что там по сути происходит? Куда все это идет и чем это вообще-то кончится?»

Вопросы эти, взятые в своей сути, касаются не столько политической или военной, сколько более глубокой — логической и идеологической — стороны дела. Повторю: если во времена Пинскера и Герцля люди думали: «Какова перспектива разрешения еврейского вопроса?», то сегодня в таком формате никто не мыслит. Разве что антисемиты. Сегодня старый вопрос формулируется по-новому: «А какова перспектива разрешения всей ближневосточной ситуации с Израилем?» Если воспользоваться ключевым словом классического сионизма более чем столетней давности, этот вопрос можно было бы услышать и так: «А когда и как ситуация на Ближнем Востоке станет нормальной?»

Лет шесть—семь назад, будучи в туристической поездке в Египте, я задал этот вопрос водителю автобуса, который вез нас долгой дорогой из Хургады в Каир. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, как смотрят на собеседника, который вдруг задает вопрос с заведомо понятным, ребенку ясным ответом, и ответил кратко: «Mister, never of course» («Мистер, ну конечно же никогда»).

Я вспомнил этот эпизод через пару недель после начала второй ливанской войны, потому что заметил, что события вновь подняли и обострили в душах людей это чувство, почти дремавшее несколько лет, но, честно говоря, никогда не исчезающее полностью. Чувство, что «все это никогда не кончится». «Все это» — то есть перманентная война между Израилем и его арабским окружением, ближним и дальним.

Юридически, кстати сказать, ситуация зафиксирована почти уж как 60 лет. Все знают, что Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 г., что 15 мая войска арабских государств объявили ему войну и совершили вторжение на его территорию. Но немногие в курсе того, что 19 мая 1948 г. Временным советом Израиля было объявлено чрезвычайное положение и оно до сих пор ни разу официально не отменялось и юридически продолжает действовать.

3

Положение дел, когда в государстве всегда, с момента его возникновения, действует чрезвычайное положение, очевидным образом нельзя считать нормальным. Это крайне важно, ибо базовой идеей классического сионизма являлась идея нормализации. Утверждалось, еще со времен Герцля, что евреи смогут зажить нормальной жизнью, только когда они создадут свое национальное государство и что, по существу, цель создания этого государства как раз и заключается в обеспечении условий нормальной жизни для евреев.

Идея нормализации выступала как рамочная, она была важнее и шире всех ее возможных модификаций и вариаций: должно ли быть это новое государство светским или религиозным, социалистическим или капиталистическим — даже это уже было вторично.

Но нельзя назвать нормальной жизнь государства, которое все время, начиная с момента своего рождения, постоянно находится в состоянии войны. И которое обречено находиться в состоянии войны просто потому, что его соседи, живущие со всех сторон государства и гораздо, стократно более многочисленные, чем оно, не признают это государство.

С идеей нормализации теснейшим образом была связана и идея убежища. Считалось, что еврейское государство в первую очередь должно будет обеспечить всем евреям мира (по крайней мере той значительной их части, которая совершит алию) безопасное убежище. Суммируя весь исторический опыт страны, следует отчетливо сказать, что и эта идея оказалась несостоятельной. Жить сегодня евреям в Израиле опаснее, чем в Нью-Йорке или в Москве, в Лондоне или Буэнос-Айресе.

Но есть и иные, не менее глубокие и серьезные причины, связанные с уже названными, по которым сегодня проявляется кардинальная трансформация самих оснований сионистского проекта. Я имею в виду две взаимосвязанные вещи: во-первых, радикальное ослабление, поступательную нулификацию антисемитизма и, во-вторых, фактическую и моральную легитимацию еврейской диаспоральной жизни.

4

Сионизм Герцля начался с острой реакции Теодора, весьма ассимилированного венского еврея-журналиста, на дело Дрейфуса. Одно время, как известно, Герцль подумывал о решении еврейского вопроса путем массового принятия евреями христианства, но потом пришел к выводу, что в «неизбывно антисемитском» окружении и это не поможет. Предтечи сионизма фактически исходили из аналогичных чувств и мыслей: мы, евреи, со времен разрушения Второго храма живем в «чужих» странах, и у нас никогда здесь не будет нормальной жизни, ибо мы для них суть чужаки, а потому к нам всегда будет обращено жало антисемитизма. Совершенно естественно, что эти чувства подкреплялись российскими погромами конца XIX—начала XX века и дошли до немыслимой остроты после Холокоста.

Но именно после того как мир признал и осознал феномен Холокоста, антисемитизм исторически вступил в фазу своего исчерпания и обнуления. Это факт. Если европейские революции XIX века, начиная с наполеоновской Франции, поставили в повестку дня вопрос о равных правах для евреев, то сегодня законодательство практически всех развитых стран содержит строгие санкции за антисемитизм. Антисемитизма сегодня практически нет в стране проживания крупнейшей и сильнейшей еврейской общины, в США; антисемитизм сходит на нет в ранее классической антисемитской стране, в России; антисемитизм просто как слово немыслим в Германии.

Единственный ареал, где антисемитизм жив на государственном уровне, — это арабские страны, но и то в значительной мере он выступает не как антисемитизм, но как «антиизраилизм», то есть он коренится не столько в отношении к евреям, сколько в отношении к Государству Израиль. Горька ирония истории, и даже представить себе такого не могли бы основатели сионизма: иссякание антисемитизма в странах диаспоры — и еврейское государство как основной источник роста антисемитизма в мире…

Итак, один из базовых силлогизмов классического сионизма звучал так: «Антисемитизм неизбывен — ergo нормальная жизнь евреев в государствах диаспоры невозможна — ergo надо создать свое государство». Сегодня ясно, что исходные члены этого силлогизма уже во многом несостоятельны. Герцль с присущей ему элегантной простотой слога писал: «Богатым евреям, вынужденным теперь пировать при опущенных шторах, можно будет в своем государстве свободно наслаждаться жизнью». Одна-

ко сейчас в очень многих странах есть очень много богатых евреев, и они вовсе не пируют при опущенных шторах.

И дело здесь не только в изменении сознания граждан разных стран. Дело и в изменении облика еврейства — в уходе со сцены «кафтана, пейсов и меховой шапки» (перечисление из знаменитой речи Макса Нордау на Первом сионистском конгрессе), в прекращении бритья женских голов при замужестве, в лавинообразном росте нерелигиозного еврейства и т.д. Резкость восприятия евреев как чужаков, во многом непонятных и потому неприятных, кардинально снизилась после «дегеттоизации» еврейства, начавшейся с Гаскалы и еще не закончившейся в наши дни.

5

Основателям сионистского проекта жизнь в диаспоре казалась радикально неправильной не только из-за опасностей антисемитизма, но и из-за угрозы полной ассимиляции и утраты евреями своей национально-культурной идентичности. «Пусть мы и сможем, живя в диаспоре, получить гражданские права, понижать угрозы антисемитизма, повышать свое экономическое благополучие и т.п., но мы не сможем избежать угрозы перестать быть евреями» — так звучала основная аргументация.

На сегодня ясно, что и эти аргументы не обладают непреложной силой. Жизнь еврейских общин в самых разных странах (в первую очередь в США, но не только) складывается так, что евреи вполне оказались способны сохранять свою еврейскую идентичность.

Более того, эта идентичность ныне ширится и развивается, в том числе, что понятно, и из-за исторического спада антисемитизма. Несколько упрощая мысль, можно сказать, что во многих странах, где ранее многие евреи стыдились, уклонялись (и публично, и внутренне) признавать себя евреями, сегодня евреем считаться даже в чем-то престижно.

Мне вспоминается такой недавний разговор. Я спрашиваю у одной еврейки из Казани: «Сколько в Казани евреев?». Ответ: «До 90-х годов было около 8–9 тысяч. Сейчас примерно две трети уехало, и евреев на сегодня осталось примерно 10 тысяч».

Всемирное возрождение музыки клейзмера, идишской песни, растущий интерес и уважение к языку идиш — лишь ряд из многочисленных примеров удержания и развития еврейской идентичности, в первую очередь по отношению к евреям диаспоры.

Я видел сильные еврейские сообщества в России, в США, в других странах, и эти люди, во-первых, вовсе не считают себя неполноценными евреями и, во-вторых, вовсе не считают свою жизнь «в галуте» какой-то второсортной и ущербной. И любому современному разумному человеку на это, по существу, нечего возразить.

В этом отношении Государство Израиль, особенно на первых порах своего становления, взяло на себя не очень-то благовидную роль, всячески пытаясь дискредитировать понятие «галутного еврея» и языка идиш, пытаясь буквально продавить свой тезис «отрицания диаспоры». С прагматической точки зрения можно понять, что молодое государство, боровшееся за становление собственной новой идентичности, вело такую политику, но с моральной и исторической точки зрения такую политику нельзя принять. Порой она доходила до немыслимых форм. На Шестой конференции Гистадрута Бен-Гурион сделал выговор Ружке Корчак, участнице восстания в Виленском гетто, за то, что она сделала свой доклад на «чужом и режущем слух языке», то есть на идише. Мне передавали слова Бен-Гуриона, который в начале 40-х годов на вопрос о том, почему он не делает все возможное для спасения ашкеназских евреев от истребления, ответил: «Для меня хорошая дойная корова в Палестине дороже сотни пейсатых». Ицхак Табенкин изрек: «Ужасна скорбь о десятках тысяч убиенных, не менее ужасен позор нашей слабости». Хаим Вейцман как-то выразился о евреях, уцелевших в лагерях смерти и прибывших в Палестину, как о «пыли человеческой». Амнон Рубинштейн, бывший министром просвещения в правительстве Рабина, ко всему этому адекватно отнесся: «Такие высказывания трудно не только оправдать, но и просто охватить разумом».

История в конце концов разрулила и эти вещи. Но быть в курсе и помнить о них необходимо. Понадобилось 40 лет, чтобы в 1995 г. раввинат Израиля вычеркнул из поминальной молитвы, произносимой в День памяти катастрофы и героизма, слова «шли как овцы на убой». Авторитетный профессор Иерусалимского университета Эли Барнави подвел черту в начале XXI в.: «Сионизм сегодня? Не более чем кучка идеологического хлама».

6

Нет сомнения в том, что создатели сионизма и, далее, отцы-основатели страны исходили из глубоких, порой гениальных идей, что они принимали решения, исходя в абсолютном большинстве случаев из искренних побуждений. Столь же ясно — теперь, оборачиваясь на пройденный путь, — что было сделано немало ошибок, принято немало спорных решений и что история показала, мягко говоря, неоднозначность ряда абсолютно ключевых предпосылок, на которых строился весь грандиозный проект.

Столетие назад выкристаллизовались три идеологии возможного развития жизни еврейства на земле. Во-первых, это ассимиляционизм (жизнь в разных странах, пускай вполне благополучная, но с утерей еврейской идентичности). Во-вторых — сионизм. И, как пишет Исраэль Бартоль (Иерусалимский университет), «между этими двумя крайностями было, казалось, место для третьего пути: национального существования в диаспоре».

В начале века многие (Бунд, Дубнов и др. автономисты) возлагали все свои надежды именно на него. Но в XX в. этот путь не реализовался. Почему? Продолжим цитату из Бартоля:

> «Не сионизм и не абсорбция помешали осуществлению этого третьего пути, а катастрофическое воздействие двух тоталитарных режимов — советского и расистского. Эти два сеятеля зла в XX в. каждый по-своему, но с одинаковой нетерпимостью сделали невозможным существование еврейской национальной самобытности на европейской почве».

Я спрашиваю: это необратимо и навсегда?

Очень трудно, даже в гипотетической модальности, начинать отвечать на этот вопрос. И главная проблема состоит в следующем. Постсионистская эра, о которой говорят многие еврейские ученые, наступает не только в Израиле. Она наступает во всем мире. И это совершенно новая ситуация для всего еврейства. И мы можем лишь осторожно и наощупь в ней ориентироваться, ибо для нее в истории нет прецедентов. Что это значит сегодня, что это значит для нас?

Государство Израиль с самого своего возникновения явным образом претендовало на монополизацию еврейской идентичности. И оно сильно продвинулось на этом пути по понятным причинам, в том числе и потому, что всякий еврей, проживающий в любой точке земли, естественно, желал стране Израиль безопасности, побед и успехов, потому что он был и остается всегда в главном с ней солидарен. Абсолютно прав был Раймон Арон, написав:

> «Никакой еврей, будь он верующим или неверующим, сионистом или антисионистом, не может быть объективным, когда речь идет об Израиле и о миллионах евреев, которые построили государство на земле, равно святой для последователей трех религий Книги».

Но правомерно ли на основе фактора солидарности безоговорочно монополизировать фактор идентичности? А ведь это позиция... К примеру, вовсе не случайно, но весьма последовательно пишет Шломо Авинери (бывший генеральный директор израильского МИД):

> «Не следует понимать, будто Государство Израиль явилось сегодня заменой еврейской религии, но функционально оно играет сегодня сходную роль в существовании народа. Именно Государство Израиль способно в наши дни служить общим знаменателем, объединяющим всю совокупность разнородных факторов еврейского бытия».

Или:

> «В Израиле и в своей солидарности с ним, более чем в любом ином факторе, евреи мира видят центральный ценностный элемент своего самоопределения как евреев. Таким образом, Государство Израиль — это центральный пункт самоопределения не только для евреев, живущих в нем: оно более всякого другого фактора определяет бытие евреев, проживающих в диаспоре».

Эту точку зрения можно понять. Но можно ли ее принять? В конце концов, можно вспомнить и ту точку зрения, которую выдвигали несколько десятилетий назад горячие радикал-сионисты: «Если ты не делаешь алию, ты вообще не еврей». Сейчас, правда, так говорить стало уж как-то совсем немодно и неуместно, но разве почти не о том же, по сути, говорит Авинери? Лет пять назад я был приглашен на встречу московской еврейской общественности с Ариэлем Шароном в отель «Марриотт». Премьер Израиля произнес весьма интересную энергичную речь, а в конце ее сказал: «Здесь присутствует около сотни очень умных людей. Но все же я не понимаю одной простой вещи: почему вы все сидите в этом зале отеля и слушаете старого еврея-служаку? Ничего этого, честно говоря, не нужно. Нужно одно: скорее идти домой и паковать чемоданы».

Принять такую точку зрения — значит закрыть тот «третий путь», о котором говорилось выше. Да и можно ли ныне вообще всерьез принимать лозунг «Нет еврея вне Израиля»? В конце концов, еще в 1897 г. Ахад-ха-Ам трезво писал:

> «Правда горька, но при всем том она лучше иллюзий. Мы должны признаться себе, что собирание всех рассеянных недостижимо естественным путем. Можно когда-нибудь создать еврейское государство, но даже тогда большая часть нашего народа останется разбросанною по разным странам».

Более того, послушаем честное признание Бен-Гуриона (работа «Еврейское выживание»):

> «Начиная с установления Государства, сионизм оказался перед лицом тяжелого, возможно, самого трудного испытания, и оно не прошло мимо. Когда встал выбор, ехать ли в Израиль или оставаться в изгнании, то и сионистские массы, и их лидеры в равной мере выбирали оставаться. <…> Этот факт ясен со всей очевидностью. Исторические факты не могут опровергаться, осуждаться или соотноситься с модными течениями. Их нужно

понимать и оценивать. Из них должны быть сделаны выводы, чтобы изменить и исправить то, что должно и может быть изменено и исправлено».

И тогда — в условиях проживания большей части евреев во всем мире, а не в стране; в условиях невозможности чисто израильской идентификации еврейства; в условиях спада общей ортодоксальной религиозности в мире в целом и еврейского народа в частности; в условиях сохранения, пробуждения и нарастания еврейской идентичности у множества людей — в полном объеме встает старый вопрос: «А кто есть еврей?»

7

Вековечный вопрос: а кто, в сущности, является евреем? Ответ на него очень труден и одновременно очень прост. Очевидно, что сегодня еврей вовсе не обязательно должен быть религиозен в ортодоксальном смысле, не обязательно должен носить пейсы, делать сыну брис на 8-й день или не звонить по телефону в субботу.

Понятно, что значительное влияние на этот вопрос оказал израильский Закон о возвращении, учитывающий нормы Галахи. Для множества людей всех стран здесь сильно играла сама ситуация возникновения Государства Израиль как новой и по определению предельно авторитетной инстанции: «Ну, если само еврейское государство так решило про евреев…» Согласно Закону о возвращении и Галахе, евреем является тот, у кого мать была еврейкой, плюс тот, кто прошел «конверсию» (гиюр). Хотя правила гиюра всюду разнятся, тем не менее, по прецеденту Шошанны Миллер (1980), Закон о возвращении распространяется на людей, прошедших различные, в том числе реформистские, формы гиюра. В самом Израиле при этом признается лишь гиюр, проводимый в рамках ортодоксии. В реформизме принцип «у кого мать еврейка» одновременно расширяется («или отец») и сужается («и тот, кто ребенком был воспитан как еврей»). При этом Закон о возвращении после «прецедента брата Даниэля» (польский еврей Освальд Руфайзен, спасший в Европе множество евреев во время Холокоста, принявший католичество и пожелавший в 1962 г. получить израильское гражданство по Закону о возвращении, в чем ему было отказано) был дополнен нормой «и не перешедший в иную религию».

Можем ли мы сегодня удовлетвориться этими нормами? Крайне сомнительно. Чем отец-еврей в отношении еврейства ребенка менее полноценен, менее «евреен», чем мать-еврейка? Непонятно. Если представляется бесспорным, что еврейство есть не только (и не столько) религиозная, то есть иудаистская, идентичность, но и идентичность национальная, то можем ли мы признать обоснованным и справедливым решение по «делу

брата Даниэля»? Конечно же, не можем (тем более что сама Галаха гласит, что «еврей не перестает быть евреем, даже если он совершил грех»). В принципе, можно ли сейчас удовлетвориться той объективацией еврейской идентичности, которая проистекает из «Закона о возвращении или из различных религиозных толков иудаизма? Очевидно, невозможно. Много более глубокое определение, более универсальное и одновременно более точное, дала Анна Франк: «Евреем может считать себя всякий, кто страдает».

Но лучший и наиболее точный ответ на вопрос о том, кто является евреем, дал Сартр: «Евреем является тот, кто считает себя евреем». Этот ответ исходит из центрального момента проблематики, а именно из момента идентификации.

Очень важно, что для этой идеи имеется серьезный исторический прецедент. В период сильной иммиграции середины 50-х годов в Израиль приезжали сотни тысяч людей, не являвшихся евреями в строгом смысле Галахи. В марте 1958 г. министр внутренних дел Бар-Ехуда (партия «Поалей Цион») издал директиву для служащих регистрационных ведомств: «Всякое лицо, чистосердечно декларирующее свое еврейство, следует регистрировать как еврея, не требуя от него иных доказательств».

Дальше, правда, ситуация развивалась непросто. Эта директива вызвала волну негодования среди религиозных кругов, и уже в июле 1958 г. правительство несколько изменило директиву, добавив в нее условие «и не принадлежит к другому вероисповеданию».

Тогда Бен-Гурион обратился к 50 мудрецам, проживавшим как в пределах Израиля, так и вне его, с тем же вопросом: «Кто есть еврей?». Сорок пять из них согласились отвечать на этот вопрос, 5 отказались. Тридцать семь заявили, что согласны с определением Галахи. В правительстве произошли перестановки, министром внутренних дел стал представитель религиозной партии, в январе 1960 г. он издал «процедурное распоряжение», которое определяло, кто есть еврей. А именно: «тот, кто рожден от матери-еврейки и не принадлежит к другому вероисповеданию, а также тот, кто принял иудаизм по правилам Галахи». Однако Верховный суд Израиля, рассматривая в 1969 г. «дело Шалита», постановил, что Закон о регистрации населения является светским законом, и поэтому критерий определения еврейства с позиций этого закона не может быть религиозно-галахическим. Процедурное распоряжение 1960 г. было признано незаконным, в законы о регистрации и о возвращении была внесена поправка, согласно которой было снято окончание определения, то есть слова «по правилам Галахи».

Все это интересно, но, однако, не имеет силы решающей аргументации. Сегодня считать, что евреем по крови является тот, у кого мать еврейка, а отец не еврей, но при этом же считать, что не является евреем человек, у которого мать не еврейка, а отец еврей, лишено всякого смысла (научного, социального, нравственного). Тот факт, что Государство Из-

раиль принимает своим нормативным актом (законом, ордонансом, инструкцией и т.д.) сегодня одну версию внешней идентификации, а завтра другую, ничего не меняет по существу. Государство Израиль не обладает высшей юрисдикцией по отношению ко всему еврейству, и в частности по отношению к еврейской идентификации.

Много более точно к этому вопросу подходит, например, современный бюллетень «Еврейский мир», когда пишет следующие программные слова:

> «Еврейский мир — это все, кто сохраняет свою принадлежность к еврейскому народу и ведет тот образ жизни, который соответствует его представлению о национальной культуре. Сегодня, в условиях ассимиляции и нерелигиозности, из религиозного верования иудаизм становится национальной традицией, создает основу национальной жизни, которая соответствует нормам современной морали и этики, уровню просвещения. Современность вырабатывает новые формы светской еврейской жизни, которые опираются на источники иудаизма как историческую основу национальной культуры. <…> В светской еврейской жизни главной формой сохранения принадлежности к еврейству остается ощущение общности с исторической судьбой своего народа, признание своего генетического и исторического родства, культуры, национальной традиции, праздников и памятных дат».

Итак, еврейство — понятие не статическое и не определяющееся лишь внешней атрибуцией. Еврейство — понятие динамическое и в первую и последнюю очередь связанное с внутренней идентификацией. Просто если человек знает, что поколения его предков были английскими лордами или русскими крестьянами, то весьма маловероятно, что он начнет считать себя евреем. Хотя это и не исключено. Равным образом, если человек знает, что его предки были евреями, то весьма маловероятно, что он перестанет себя считать таковым же, хотя бы в глубине души. Но и это, увы, не исключено.

> «В свободном обществе все евреи (а не только прошедшие гиюр) являются “евреями по выбору”» (Давид Бьяле, Университет Беркли).

Существенным также является вопрос о людях, которые не говорят «Я еврей», а говорят «Среди моих предков разных кровей есть и евреи, и это для меня важно». Такие люди вполне могут иметь ощущение общности с исторической судьбой еврейского народа, признание своего генетического и исторического родства с ним, с его культурой и т.д. Фактически речь идет о вполне реальном и правомерном феномене человека, который внутренне идентифицируется с несколькими национальностями. Никто не вправе сказать ему: «Пожалуйста, все же определись, кто ты!» Такой подход есть просто нонсенс.

Я полагаю, что такие люди, разумеется, при их желании, вполне могут быть интегрированы в семью еврейского народа, оставляя при этом за собой и иные идентичности. Эта идентификация в принципе может быть внутренней (то есть человек ощущает и рефлектирует ее в своей душе, не манифестируя вовне) либо внешней, вплоть до приобретения соответствующего документа. То есть еврейская община, к примеру, может сказать человеку: «Мы знаем, что ты венгр или швед, но мы также считаем тебя своим братом-евреем, членом нашей семьи».

К сожалению, мысль человечества еще очень слабо продумала эту проблематику, соответственно в языке еще не выработались и не отстоялись нужные термины. Но если возникнет разумная дискуссия по этому кругу вопросов, то ясно, что в конце концов и терминология сыщется.

По аналогии со старой партийной терминологией уже давно говорят о «евреях и сочувствующих». Интуитивно ясно, что вполне можно говорить, например, о «франкоевреях», о «евронемцах», «евроамериканцах» или «англоевреях». Человек может ощущать в себе несколько национальных идентичностей, причем так, что одна из них оказывается ведущей, например: «Я считаю себя русским, но при этом я отчасти еврей, а еще в малой мере поляк». Вопрос об идентичности очень тонок и многогранен, конечно же, к нему нельзя подходить с однозначными топорными мерками. Никто не доказал, что наряду с привычным случаем моноидентификации невозможна и полиидентификация. Несколько упрощая слова, вполне можно говорить о «полных» и «частичных» евреях, о «евреях по рождению» и «евреях по духу» или о «евреях по сопричастности».

8

Знаменитый Артур Кестлер (еврей по рождению) в 50-х годах сформулировал жесткий силлогизм: после создания Государства Израиль «еврейский вопрос» снят с повестки дня, поскольку теперь у евреев нет оснований каждую субботу мечтательно молиться о том, чтобы на следующий год оказаться в Иерусалиме. В течение почти двух тысяч лет оказаться в Эрец Исроэл «ибер айн юр» было невозможно, а после 1948 года стало возможным. Тогда чего уж тут молиться, надо ехать.

В другой своей книге Кестлер утверждал:

> «Приходится сказать, что евреи наших дней не имеют собственной культурной традиции, а обладают лишь некими привычками и особенностями поведения, почерпнутыми путем социаль-

ного наследования из болезненного опыта гетто и из религии, к которой большинство не принадлежит, но которая при этом сообщает ему псевдонациональный статус. Окончательное разрешение парадокса заключается либо в эмиграции в Израиль, либо в ассимиляции с окружающим народом».

Но диаспора вечна. И на то есть свои глубокие причины. Майкл Даймонт, автор известной книги «Евреи, Бог и история», справедливо писал:

> «Наличие диаспоры явилось необходимым условием продления еврейской культуры за пределы срока жизни обычной цивилизации. Если бы не изгнание, они представляли бы сегодня не большую культурную силу, чем остатки караимов. Сегодня, как и некогда, снова существуют Государство Израиль и диаспора. Но, как и в прошлом, Израиль сегодня — это цитадель иудаизма, его гавань спасения, центр еврейского национализма. А диаспора продолжает оставаться универсальной душой еврейства. Сохранится ли еврейство в будущем? Если оно сохранит свою волю к выживанию, будет продолжать находить новые средства выстоять в изменившихся условиях и сохранит диаспору как постоянный фактор своей истории, то оно может сохранить и свою творческую активность. Одна лишь воля к самосохранению и способность отвечать на вызов недостаточны для выживания. Для этого необходима диаспора, которая должна быть составной частью истории евреев».

Можно и иначе увидеть корни этой ситуации. Человеческие натуры очень различаются; наверное, сейчас совсем уж общим местом является фраза «Все люди разные». Различия эти проходят по различным же основаниям, порой поверхностным, порой глубоким. Одним из самых фундаментальных различий человеческих типов является давно установленное, в частности в психологии, различие интровертности и экстравертности. Душа одних людей преимущественно обращена внутрь себя (берем понятие «себя» в широком смысле, в том числе и в смысле своего же сообщества, своего народа), душа других — вовне.

То же можно сказать и про господствующую культурную и социально-политическую установку различных групп евреев (при этом, как известно из жизни, в среде евреев вообще все различия очень сильны; недаром говорят «два еврея — три синагоги»).

Для интровертированных евреев жизнь в своем сообществе (в своей стране, в своей культуре, в своем местечке) самодостаточна, все остальное воспринимается либо, увы, как необходимость, либо даже как нежелательная помеха, угроза. Для экстравертированных евреев жизнь в своем сообществе недостаточна для самореализации, она тесна, им нужно выйти во внешние контексты, в иные сообщества, в иные страны и народы. Одни евреи, попав в свою гомогенную национальную среду, говорят: «Как хорошо, наконец-то вокруг меня родные евреи!» Другие, видя то же самое, говорят и чувствуют ровно противоположное: «Это ужас, вокруг одни евреи!»

Итак, имеет место факт: одни евреи более обращены вовне, к другим народам, они «геополитические экстраверты», это люди диаспоры. Другие более обращены внутрь себя, внутрь своего сообщества, это «геополитические интроверты», это люди страны. Еврейство должно равным образом служить себе и миру. В Государстве оно преимущественно обращено на себя, в диаспоре, то есть в мире — на весь мир.

Более того. Я полагаю, что со временем сам термин «диаспора» («галут», «голус») будет упразднен, и не в силу какого-то законодательно-семантического акта, но в силу растущего осознания его нынешней бессмысленности. Если мы живем в Англии или России, в Венгрии или Аргентине, в Австралии или Голландии, в США или Норвегии — мы живем в мире, мы живем на Земле, а не в изгнании. Мы живем среди людей, а не «в рассеянии». Если у нас есть дома в этих странах, то на каком основании кто-то нас будет считать бездомными? Силлогизм Кестлера можно выправить одним способом: после возникновения Государства Израиль жизнь вне его не стала для еврея бессмысленной, но бессмысленным стало употребление понятия «диаспора».

Сегодня и в будущем есть и будут евреи Израиля, и есть и будут евреи Мира, и они полностью равноправны: национально, морально, духовно.

Увы, Леон Пинскер, ставя в эпиграф своей «Автоэмансипации» цитату из трехчастного изречения Гиллеля (Мишна, «Пиркей авот», 1:14) привел только первую и третью части («Если не я за себя, то кто же? Если не теперь, то когда же?») и не привел очень важной второй части: она воспроизведена в эпиграфе к данной статье.

9

Если уже много десятилетий жизнь евреев в мире становится все более благополучной, то все более тревожным становится вопрос о том, каковы перспективы развития событий с Государством Израиль. Логически возможны следующие варианты.

Во-первых, может еще ряд лет сохраняться нынешний статус-кво, т.е. состояние по сути перманентной войны с соседями, с паузами, конечно. Этот вариант весьма вероятен и весьма нежелателен. Подобное состояние крайне опасно, неустойчиво и в конце концов может начать разрешаться по какому-то из существенно худших сценариев: тяжелое военное поражение, эскалация все более разрушительных форм ведения войны и проч.

Во-вторых, достижение твердого мира на любых приемлемых условиях. Этот вариант крайне желателен и, увы, обладает невысокой вероятностью.

В-третьих, исчезновение Государства. Этот вариант сколько-то вероятен и просто катастрофичен — как для евреев страны, так и для евреев всего мира. Если события пойдут по этому пути, то, помимо прочего, они просто могут начать граничить с беспрецедентно разрушительной и смертельной для человечества третьей мировой войной.

Наконец, в-четвертых, реализация старой идеи территориалистов о построении еврейского государства вне Палестины. Условно говоря, это возобновление «проекта Уганды» или, говоря сегодня, это идея «переезда Израиля». Я не буду здесь давать содержательную и вероятностную оценку данного варианта.

Территориалистскую идею сегодня трудно не только оценивать и обсуждать, но даже и высказывать вслух. Напомним лишь некоторые факты.

В чем всегда было трудно упрекнуть англичан, так это в глупости. Англичане (Джозеф Чемберлен) говорили Герцлю примерно следующее: «Мистер Герцль, мы понимаем ваши устремления и во многом им готовы содействовать. В конце концов, у значительной части вашего народа есть понятное желание жить так, как живут многие и многие народы, жить в стране, где евреи будут в большинстве, где они будут “титульной нацией”. Но мы вас предупреждаем: в этом регионе основать жизнеспособное, нормальное еврейское государство будет крайне затруднительно, быть может, просто невозможно. И поэтому мы предлагаем вам другой вариант, например Уганду».

Герцль сначала согласился с доводами англичан. Во многом это определялось его стремлением оперативно, быстро решить проблемы эмиграции евреев из России, где ширились погромные события. На Базельском сионистском конгрессе 1903 г. по предложению Герцля было решено (295 голосов против 178) послать специальную комиссию в Уганду для выяснения обстоятельств и условий на месте. Но на конгрессе 1905 г. религиозная часть конгресса, составлявшая его большинство, эту идею однозначно не поддержала и склонила Герцля к публичному пересмотру его позиций.

Однако Сыркин и Зангвилл основали в целях сохранения и развития территориалистского проекта, в частности угандийского, Еврейскую территориалистскую организацию (ITO). После неудачных зондирующих попыток в Канаде, Австралии, Киренаике (Ливия), Месопотамии (Ирак) и Анголе, после появления Декларации Бальфура территориалистское движение фактически сошло на нет, и в 1925 г. ITO самоликвидировалась. Как пишет сегодня Еврейская Интернет-библиотека, The organization's failure was due to its inability to secure a definite project, and its lack of sensitivity toward the historic and traditional sentiments of Jewish identity.

10

В чем ныне состоят главные дефициты и проблемы ситуации еврейского народа в мире?

Одна из кардинальных проблем заключается в том, что еврейство на сегодня не имеет единой всемирной инстанции, могущей в качестве субъекта международного права говорить от имени евреев всего мира, от еврейского народа как целого. От имени евреев (и, кстати, не только евреев), проживающих в Эрец Исроэл, представительствует Государство Израиль, но более половины евреев проживает в иных странах, и, следовательно, народ в целом не имеет представительского органа. Это свидетельствует о том, что великая и естественная для любого народа историческая задача — задача интеграции для еврейства еще не решена. Никто, кроме самих евреев, эту задачу не решит и решать не будет.

Как может быть разрешена данная проблема? Один из путей, его можно назвать политическим централизмом, состоит в создании некоего глобального еврейского союза (точный термин пока неважен, он в конце концов найдется) как субъекта международного права. Для того чтобы стать полноправным субъектом международного права, данный орган в числе своих учредителей должен иметь государства как инстанции, являющиеся, по общему правилу, первичными субъектами международного права. Быть может, задача привлечения ряда государств, в том числе Израиля, США, Великобритании, России, Германии и других, в число соучредителей такого союза окажется решаемой. Близкий к сказанному вариант (если он реализуем с юридической и прагматической точек зрения) — преобразование Всемирного еврейского конгресса в субъект международного права путем кооптации ряда государств в число его соучредителей.

Основные задачи такой организации — назовем ее здесь Всемирный еврейский союз (WJU) — видятся не столько как политические, сколько как культурные, информационные, благотворительные, научные.

Однако, быть может, время ныне уже таково, что любые политические централистские проекты имеют мало шансов на успех. Люди все меньше верят, что выстраивание той или иной «крыши», претендующей на покрытие всех реальных процессов жизни, идущих «под ней», сможет оказаться делом чистым и благотворным. В конце концов, любая централизующая инстанция, будь то государство, партия, суперкорпорация и проч., — это не более чем аппарат функционеров, а историческое доверие людей к любым функционерам сейчас невелико и продолжает снижаться.

При этом все же надо понимать, что централистский вариант имеет в себе старые добрые преимущества: возможность централизации информации, представительских функций и финансовых средств для реализации различных значимых проектов.

Другой важный вопрос, нуждающийся в разрешении, — это легитимация еврейской идентичности для любого человека.

На наш взгляд, признание человека евреем должно происходить на основе принципа самоидентификации и соответственно «автоконверсии» (автогиюра). Любому человеку будет достаточно (например, по аналогии с исламом, где для обращения в ислам достаточно произнести исламский символ веры) декларировать себя в качестве еврея. Заявление делается в присутствии свидетеля и подписывается заявителем и свидетелем; это заявление затем может быть легитимировано любой еврейской организацией, гражданской или религиозной, любой страны, которая в данном случае выступает как дополнительный свидетель — юридическое лицо. При этом под еврейской организацией понимается любая законно зарегистрированная организация любой страны, в названии которой фигурируют слова «еврей», «еврейский» и/или производные от них (буквально или по несомненному смыслу, например «иудаистский», «ашкеназский», «сефардский» и др.) и которая имеет в числе своих основных уставных целей цели, связанные с поддержкой, развитием, распространением, сохранением еврейской культуры, в целом или в отдельных ее составляющих (например, образование, религия, наука, музыка, языки, социальная помощь и др.).

Автоидентификация может производиться на основании декларирования себя в качестве еврея как «еврея по крови» (например, для тех случаев, которые не принимаются по ортодоксальной Галахе: только отец еврей, а также для формальных мамзерим и т.д.) либо в качестве еврея как «еврея по духу» (по убеждениям, ценностям, вере). Это декларирование может быть открытым либо конфиденциальным по желанию заявителя.

Человек также может войти во всемирное еврейское сообщество, будучи «человеком многих национальностей», человеком с полиидентификацией, в числе которых есть и еврейская. Это может быть указано в соответствующем документе.

Всемирный еврейский союз (в варианте отстроенной центральной инстанции) либо иная организация, например соответствующий Интернет-сайт, может вести реестр евреев мира (аналогично реестру национальных переписей в различных странах) и заносить в него всех евреев, в том числе зарегистрировавшихся по описанному выше способу. Всякий человек имеет право по своему заявлению быть выписанным из данного реестра.

Справедливости ради отметим, что данная модель автоидентификации может быть в принципе реализована и в условиях отсутствия центральной инстанции.

Заключение

Вне зависимости от того, как история будет решать вопросы глобального организационно-политического устроения еврейства в современном мире, необходимо ясно сформулировать основные содержательные принципы, касающиеся каждого отдельного еврея и еврейского народа в целом. Мы видим эти принципы в следующем виде.

Евреем является всякий человек, считающий себя евреем и чистосердечно декларирующий себя в этом качестве.

Евреи могут жить сосредоточенно, т. е. создавать самостоятельные национально-государственные образования (в первую очередь имеется в виду Государство Израиль, провозглашенное 14 мая 1948 г.), либо жить рассредоточенно, индивидуально или общинами разного масштаба в любых иных странах мира, где это не запрещено местными законами. Обе основные формы жизни евреев морально равноправны, обе должны и могут быть полезны для человечества.

Евреи мира поддерживают и уважают Государство Израиль, Государство Израиль поддерживает и уважает евреев мира.

Основные ценности еврейства — жизнь, свобода, справедливость, духовность, мир, законопослушность, терпимость, альтруизм (благотворительность), индивидуальная ответственность взрослого человека, приоритетность детства и образования, юридическое и духовное равноправие всех людей без различия пола, расы, вероисповедания. Еврейство отклоняет всякие идеи национальной, расовой, культурной, религиозной исключительности.

Евреи могут мыслить, говорить и писать на основных еврейских языках (иврит, идиш, ладино), а также на любых иных национальных языках. Языковая принадлежность человека не имеет формального отношения к его еврейству. Сохранение, развитие, изучение основных еврейских языков должно евреями цениться и поощряться.

Еврейство имеет богатую развивающуюся культуру, восходящую к прошлому еврейского народа, к его истории и религии. Поддержка и развитие еврейской культуры должны евреями цениться и поощряться.

Еврей может исповедовать иудаизм в различных его направлениях (ортодоксальный, консервативный, реформистский, реконструктивистский и др.), либо не исповедовать никакой религии, либо исповедовать любую иную традиционную религию, чьи ценности не противоречат основным ценностям еврейства, либо разделять гражданскую религию страны своего пребывания. В любом случае религиозная идентификация есть полностью индивидуальное и свободное действие каждого взрослого человека.

Я думаю, что сегодня разумные люди доброй воли вряд ли будут выступать против сформулированных принципов. Я уверен, что их искреннее принятие поможет решить множество трудных проблем: во-первых, интеграцию евреев мира между собой, во-вторых, интеграцию евреев с миром, в-третьих, обретение мира для Государства Израиль.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя 3

Часть 1. **А. Пинский.** Статьи, очерки, автобиографические тексты

Автобиография 6

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ДЕКАДЫ: 1956–1976

«Воспоминания об отце, А.А. Пинском» 9

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА: 1976–1986

А. Пинский «Третья декада» 31
А. Пинский. Фрагменты из статьи «Воспоминания о Г.П. Щедровицком» 52

ЧЕТВЕРТАЯ ДЕКАДА: 1986–1996

То, что я искал в методологии, я нашел у вальдорфцев. Интервью А. Пинского журналу «Кентавр» 59
А. Пинский. К истории Московской свободной вальдорфской школы 70
А. Пинский. Очерк вальдорфского движения в России (фрагмент) 92

ПЯТАЯ ДЕКАДА: 1996–2006

А. Пинский. Быть для министра «Илларионовым» 95
А. Пинский. О «Доне» и «Дона-фесте»: краткий очерк 99
А. Пинский. Июльские (2004 г.) гастроли «Доны»: краткая информация 114
А. Пинский. Нью-йоркские рефлексии 117
А. Пинский. Встреча с Клэр Бэрри 121

Часть 2. **А. Пинский** в рассказах и воспоминаниях родных и друзей

50–70-е годы 128

Впервые мы встретились в совсем несознательном возрасте (Е. Степанова) 129

Каждый раз он удивлял меня чем-то новым (С. Белкин) 132
О Толике Пинском (А. Клевцов, Е. Кукуев) 136

70–80-е годы 144

Относиться к игре как к жизни (Е. Кнорре) 145
Наши пути идут все равно в чем-то близко
(О. Ковалева, Н. Типцов) 148
Мы все вместе образуем группу душ
(С. Казачков, П. Мейксон) 151
Он праздновал каждое мгновение
своего бытия (А. Кожа) 161
Он не мог не чувствовать, что с этой игрой
все непросто (С. Межов) 163
И вошел Толя… Человек, который за свои пятьдесят
так и не успел повзрослеть (А. Каспржак) 168
Мы учились вместе (А. Адамский) 172
Толя, каким его помню и вижу (Е. Штейнер) 178
Об одной песне (А. Юркевич) 194
Хранитель (С. Поливанова) 199
В памяти осталась едва ли не каждая
из наших встреч (М. Хромченко) 204
Был бы Толя, это было бы по-другому
(С. Чистякова, Н. Родичев) 206
Не спугнуть бы (В. Рокитянский) 210

Начало 90-х – начало 2000-х 224

Игра о вальдорфской школе (М. Шаскольская) 225
Я это тебе организую (М. Горге) 231
Встречи с Анатолием Пинским (О. Ольтманн) 233
Так школы не живут (А. Соловейчик) 235
Такой большой папа (А. Сердюк) 236
Как хорошо, что мы поиграли!
(Т. Рокитянская, М. Парсаданова) 237
Nesnesitelná lehkost byti (несколько воспоминаний)
(А. Семенов) 245
Классный товарищ (В. Болотов) 249
История про овечек и не только (Е. Ленская) 254
Две встречи (Н. Девис) 260
О бесстрашии и гражданском сознании (Е. Рачевский) 261
Абсолютно свободный человек (Е. Бунимович) 269
Он был человеком ренессансного типа (И. Фрумин) 277

Вот так это все и было (Е. Чепурных) 282
Он понимал, что мир творится именно им (И. Абанкина) 286
Комиссар (С. Зверев) 294
Пройдет время, и то, что сделано сейчас,
сыграет свою роль (С. Кравцов) 296

Последние годы 318

«I do it my way» (Х. Лампсон) 319
Благодарность и память (М. Стародубцев) 320
Человек дела (М. Ковнацкий) 324
Его песня (П. Короленко) 325
Есть такие люди, встречи с которыми ты ждешь
как праздника (Е. Черный, С. Гергус) 327
Это была исполнившаяся мечта (А. Купер) 347
У нас еще будет время (М. Дорфман) 350
Один из последних разговоров (Л. Зверева) 357

Приложения 359

Приложение 1. А. Пинский. Игра
(критико-философский анализ) 359
Приложение 2. А. Пинский. Песни Средиземья 382
Приложение 3. А. Пинский. Автоинтеграция.
Опыт современной постановки еврейского вопроса 390

Анатолий Пинский — пять декад

Составитель *М. Пинская*

Выпускающие редакторы: *Т.А. Гудкова, Л.М. Филькова*
Художественный редактор *А.М. Павлов*
Компьютерная верстка *Н.Е. Пузанова*

Подписано в печать 11.01.2008. Формат 60×88 1/16
Гарнитура Helios. Усл. печ. л. 24,98. Уч.-изд. л. 22,1
Тираж 1000 экз. Заказ № . Изд. № 951

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3
Тел./факс: (495) 772-95-71

Для заметок